

Андрей Белый

# Петербург



# Андрей Белый

## Петербург

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=174705](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174705)  
Петербург. Стихотворения: Эксмо; Москва; 2008  
ISBN 978-5-699-31063-0*

### Аннотация

Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) – одна из ключевых фигур Серебряного века, оригинальный и влиятельный символист, создатель совершенной и непревзойденной по звучанию поэзии и автор оригинальной «орнаментальной» прозы, высшим достижением которой стал роман «Петербург», названный современниками не прозой, а «разъятой стихией». По словам Д.С.Лихачева, Петербург в романе – «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе».

# Содержание

Пролог	4
Глава первая,	7
Глава вторая,	96
Глава третья,	192
Глава четвертая,	263
Глава пятая,	383
Глава шестая,	459
Глава седьмая,	598
Глава восьмая,	748
Эпилог	806

# Андрей Белый

## Петербург

### Пролог

Ваши превосходительства, высокородия, благородия, граждане!

.....

Что есть Русская Империя наша?

Русская Империя наша есть географическое единство, что значит: часть известной планеты. И Русская Империя заключает: во-первых – великую, малую, белую и червонную Русь; во-вторых – грузинское, польское, казанское и астраханское царство; в-третьих, она заключает... Но – прочая, прочая, прочая.

Русская Империя наша состоит из множества городов: столичных, губернских, уездных, заштатных; и далее: – из первопрестольного града и матери градов русских.

Град первопрестольный – Москва; и мать градов русских есть Киев.

Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что – то же) подлинно принадлежит Российской Империи. А Царьград, Константиноград (или, как говорят, Константинополь), принадлежит по праву наследия. И о нем распространяться не

будем.

Распространимся более о Петербурге: есть – Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что – то же). На основании тех же суждений Невский Проспект есть петербургский Проспект.

Невский Проспект обладает разительным свойством: он состоит из пространства для циркуляции публики; нумерованные дома ограничивают его; нумерация идет в порядке домов – и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский Проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект; то есть: проспект для циркуляции публики (не воздуха, например); образующие его боковые границы дома суть – гм... да: ...для публики. Невский Проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский Проспект не требует освещения.

Невский Проспект прямолинеен (говоря между нами), потому что он – европейский проспект; всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а (как я уже сказал) проспект европейский, потому что... да...

Потому что Невский Проспект – прямолинейный проспект.

Невский Проспект – немаловажный проспект в сем не русском – столичном – граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек.

И разительно от них всех отличается Петербург.

Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую леген-

ду – существование полуторамиллионного московского населения – то придется сознаться, что столицей будет Москва, ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население; а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет, не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, что столица не Петербург.

Если же Петербург не столица, то – нет Петербурга. Это только кажется, что он существует.

Как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается – на картах: в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкою в центре; и из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он – есть: оттуда, из этой вот точки, несется потоком рой отпечатанной книги; несется из этой невидимой точки стремительно циркуляр.

# Глава первая, в которой повествуется об одной достойной особе, ее умственных играх и эфемерности бытия

*Была ужасная пора.  
О ней свежо воспоминанье.  
О ней, друзья мои, для вас  
Начну свое повествованье, —  
Печален будет мой рассказ.*

*А. Пушкин*

## Аполлон Аполлонович Аблеухов

Аполлон Аполлонович Аблеухов был весьма почтенного рода: он имел своим предком Адама. И это не главное: несравненно важнее здесь то, что благородно рожденный предок был Сим, то есть сам прародитель семитских, хесситских и краснокожих народностей.

Здесь мы сделаем переход к предкам не столь удаленной эпохи.

Эти предки (так кажется) проживали в киргиз-кайсацкой орде, откуда в царствование императрицы Анны Иоанновны

доблестно поступил на русскую службу мирза Аб-Лай, прапрадед сенатора, получивший при христианском крещении имя Андрея и прозвище Ухова. Так о сем выходе из недр монгольского племени распространяется *Гербовник Российской Империи*. Для краткости после был превращен Аб-Лай-Ухов в Аблеухова просто.

Этот прапрадед, как говорят, оказался истоком рода.

.....

Серый лакей с золотым галуном пуховкою стряхивал пыль с письменного стола; в открытую дверь заглянул колпак повара.

– «Сам-то, вишь, встал...»

– «Обтираются одеколоном, скоро пожалуют к кофию...»

– «Утром почтарь говорил, будто барину – письмецо из Гишпании: с гишпанскою маркою».

– «Я вам вот что замечу: меньше бы вы в письма-то совали свой нос...»

– «Стало быть: Анна Петровна...»

– «Ну и – стало быть...»

– «Да я, так себе... Я – что: ничего...»

Голова повара вдруг пропала. Аполлон Аполлонович Аблеухов прошествовал в кабинет.

.....

Лежащий на столе карандаш поразил внимание Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович принял намерение: придать карандашному острию отточенность формы.

Быстро он подошел к письменному столу и схватил... пресс-папье, которое долго он вертел в глубокой задумчивости, прежде чем сообразить, что в руках у него пресс-папье, а не карандаш.

Рассеянность проистекала оттого, что в сей миг его осенила глубокая дума; и тотчас же, в неурочное время, развернулась она в убегающий мысленный ход (Аполлон Аполлонович спешил в *Учреждение*). В «Дневнике», долженствующем появиться в год его смерти в повременных изданиях, стало страничку больше.

Развернувшийся мысленный ход Аполлон Аполлонович записывал быстро: записав этот ход, он подумал: «Пора и на службу». И прошел в столовую откусивать кофей свой.

Предварительно с какою-то неприятной настойчивостью стал допрашивать он камердинера старика:

– «Николай Аполлонович встал?»

– «Никак нет: еще не вставали...»

Аполлон Аполлонович недовольно потер переносицу:

– «Ээ... скажите: когда же – скажите – Николай Аполлонович, так сказать...»

– «Да встают они поздновато-с...»

– «Ну, как поздновато?»

И тотчас, не дожидаясь ответа, прошествовал к кофею, посмотрев на часы.

Было ровно половина десятого.

В десять часов он, старик, уезжал в Учреждение. Николай

Аполлонович, юноша, поднимался с постели – через два часа после. Каждое утро сенатор осведомлялся о часах пробуждения. И каждое утро он морщился.

Николай Аполлонович был сенаторский сын.

## **Словом, был он главой учреждения...**

Аполлон Аполлонович Аблеухов отличался поступками доблести; не одна упала звезда на его золотом расшитую грудь: звезда Станислава и Анны, и даже: даже Белый Орел.

Лента, носимая им, была синяя лента. А недавно из лаковой красной коробочки на обиталище патриотических чувств воссияли лучи бриллиантовых знаков, то есть орденский знак: Александра Невского.

Каково же было общественное положение из небытия восставшего здесь лица?

Думаю, что вопрос достаточно неуместен: Аблеухова знала Россия по отменной пространности им произносимых речей; эти речи, не разрываясь, сверкали и безгромно струили какие-то яды на враждебную партию, в результате чего предложение партии там, где следует, отклонялось. С водворением Аблеухова на ответственный пост департамент девятый бездействовал. С департаментом этим Аполлон Аполлонович вел упорную брань и бумагами, и, где нужно, речами, способствуя ввозу в Россию американских сноповязалок (департамент девятый за ввоз не стоял). Речи сенатора об-

летели все области и губернии, из которых иная в пространственном отношении не уступит Германии.

Аполлон Аполлонович был главой Учреждения: ну, того... как его?

Словом, был главой Учреждения, разумеется, известного вам.

Если сравнить худосочную, совершенно невзрачную фигурку моего почтенного мужа с неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было бы надолго, пожалуй, предаться наивному удивлению; но ведь вот – удивлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых этою вот черепною коробкою наперекор всей России, наперекор большинству департаментов, за исключением одного: но глава того департамента, вот уж скоро два года, замолчал по воле судеб под плитой гробовой.

Моему сенатору только что исполнилось шестьдесят восемь лет; и лицо его, бледное, напоминало и серое пресспапье (в минуту торжественную), и – папье-маше (в час досуга); каменные сенаторские глаза, окруженные черно-зеленым провалом, в минуты усталости казались синей и громадной.

От себя еще скажем: Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горячей России. Так был он недавно изображен: на заглавном листе уличного юмористического журнальчика, одного из тех

«жидовских» журнальчиков, кровавые обложки которых на кишащих людом проспектах размножились в те дни с поразительной быстротой...

## Северо-восток

В дубовой столовой раздавалось хрипенье часов; кланясь и шипя, куковала серенькая кукушка; по знаку старинной кукушки сел Аполлон Аполлонович перед фарфоровой чашкою и отламывал теплые корочки белого хлеба. И за кофею свои прежние годы вспоминал Аполлон Аполлонович; и за кофею – даже, даже – пошучивал он:

– «Кто всех, Семеныч, почтеннее?»

– «Полагаю я, Аполлон Аполлонович, что почтеннее всех – действительный тайный советник».

Аполлон Аполлонович улыбнулся одними губами:

– «И не так полагаете: всех почтеннее – трубочист...»

Камердинер знал уже окончание каламбура: но об этом он из почтения – молчок.

– «Почему же, барин, осмелюсь спросить, такая честь трубочисту?»

– «Пред действительным тайным советником, Семеныч, сторонятся...»

– «Полагаю, что – так, ваше высокопрев-ство...»

– «Трубочист... Перед ним посторонится и действительный тайный советник, потому что: запачкает трубочист».

– «Вот оно как-с», – вставил почтительно камердинер...

– «Так-то вот: только есть должность почтеннее...»

И тут же прибавил:

– «Ватерклозетчика...»

– «Пфф!..»

– «Сам трубочист перед ним посторонится, а не только действительный тайный советник...»

И – глоток кофея. Но заметим же: Аполлон Аполлонович был ведь сам – действительный тайный советник.

– «Вот-с, Аполлон Аполлонович, тоже бывало: Анна Петровна мне сказывала...»

При словах же «Анна Петровна» седой камердинер осекся.

– «Пальто серое-с?»

– «Пальто серое...»

– «Полагаю я, что серые и перчатки-с?»

– «Нет, перчатки мне замшевые...»

– «Потрудитесь, ваше высокопревосходительство, обождать-с: ведь перчатки-то у нас в шифоньерке: полка б е – северо-запад».

Аполлон Аполлонович только раз вошел в мелочи жизни: он однажды проделал ревизию своему инвентарю; инвентарь был зарегистрирован в порядке и установлена номенклатура всех полок и полочек; появились полочки под литерами: а, бе, це; а четыре стороны полочек приняли обозначение четырех сторон света.

Уложивши очки свои, Аполлон Аполлонович отмечал у себя на реестре мелким, бисерным почерком: очки, полка – бе и СВ, то есть северо-восток; копию же с реестра получил камердинер, который и вытвердил направления принадлежности драгоценного туалета; направления эти порою во время бессонницы безошибочно он скандировал наизусть.

.....

В лакированном доме житейские грозы протекали бесшумно; тем не менее грозы житейские протекали здесь гибельно: событиями не гремели они; не блистали в сердца очистительно стрелами молний; но из хриплого горла струей ядовитых флюидов вырывали воздух они; и крутились в сознании обитателей мозговые какие-то игры, как густые пары в герметически закупоренных котлах.

## **Барон, борона**

Со стола поднялась холодная длинноногая бронза; ламповый абажур не сверкал фиолетово-розовым тоном, расписанным тонко: секрет этой краски девятнадцатый век потерял; стекло потемнело от времени; тонкая роспись потемнела от времени тоже.

Золотые трюмо в оконных простенках отовсюду глотали гостиную зеленоватыми поверхностями зеркал; и вон то – увенчивал крылышком золотощекий амурчик; и вон там – золотого венка и лавры, и розы прободали тяжелые пла-

мена факелов. Меж трюмо отовсюду поблескивал перламутровый столик.

Аполлон Аполлонович распахнул быстро дверь, опираясь рукой на хрустальную, граненую ручку; по блистающим плитам паркетиков застучал его шаг; отовсюду бросились горки фарфоровых безделушек; безделушечки эти вывезли они из Венеции, он и Анна Петровна, тому назад – тридцать лет. Воспоминания о туманной лагуне, гондоле и арии, рыдающей в отдалении, промелькнули некстати так в сенаторской голове... Тотчас же глаза перевел на рояль он.

С желтой лаковой крышки там разблистались листики бронзовой инкрустации; и опять (докучная память!) Аполлон Аполлонович вспомнил: белую петербургскую ночь; в окнах широкая там бежала река; и стояла луна; и гремела рулада Шопена: помнится – игрывала Шопена (не Шумана) Анна Петровна...

Разблистались листики инкрустации – перламутра и бронзы – на коробочках, полочках, выходящих из стен. Аполлон Аполлонович уселся в ампирное кресло, где на бледно-лазурном атласе сиденья завивались веночки, и с китайского он подносика ухватился рукою за пачку нераспечатанных писем; наклонилась к конвертам лысая его голова. В ожиданьи лакея с неизменным «лошади поданы» углублялся он здесь, перед отъездом на службу, в чтение утренней корреспонденции. Так же он поступил и сегодня.

И конвертики разрывались: за конвертом конверт; обык-

новенный, почтовый – марка наклеена косо, неразборчивый почерк.

– «Мм... Так-с, так-с, так-с: очень хорошо-с...»

И конверт был бережно спрятан.

– «Мм... Просьба...»

– «Просьба и просьба...»

Конверты разрывались небрежно; это – со временем, потом: как-нибудь...

Конверт из массивной серой бумаги – запечатанный, с вензелем, без марки и с печатью на сургуче.

– «Мм... Граф Дубльве... Что такое?.. Просит принять в Учреждении... Личное дело...»

– «Ммм... Ага!..»

Граф Дубльве, начальник девятого департамента, был противник сенатора и враг хуторского хозяйства.

Далее... Бледно-розовый, миниатюрный конвертик; рука сенатора дрогнула; он узнал этот почерк – почерк Анны Петровны; он разглядывал испанскую марку, но конверта не распечатал:

– «Мм... деньги...»

– «Деньги были же посланы?»

– «Деньги посланы будут!!»

– «Гм... Записать...»

Аполлон Аполлонович, думая, что достал карандашик, вытащил из жилета костяную щеточку для ногтей и ею же собирался сделать пометку *«отослать обратно по адресу»*,

как...

– «?..»

– «Поданы-с...»

Аполлон Аполлонович поднял лысую голову и прошел вон из комнаты.

.....

На стенах висели картины, отливая масляным лоском; и с трудом через лоск можно было увидеть француженок, напоминавших гречанок, в узких туниках былых времен Директории и в высочайших прическах.

Над роялем висела уменьшенная копия с картины Давида «Distribution des aigles par Napoleon premier». Картина изображала великого Императора в венке и горностайной порфире; к пернатому собранию маршалов простирал свою руку Император Наполеон; другая рука зажимала жезл металлический; на верхушку жезла сел тяжелый орел.

Холодно было великолепию гостиной от полного отсутствия ковриков: блистали паркеты; если бы солнце на миг осветило их, то глаза бы невольно зажмурились. Холодно было гостеприимство гостиной.

Но сенатором Аблеуховым оно возводилось в принцип.

Оно запечатлевалось: в хозяине, в статуях, в слугах, даже в тигровом темном бульдоге, проживающем где-то близ кухни; в этом доме конфузились все, уступая место паркету, картинам и статуям, улыбаясь, конфузясь и глотая слова: угождали и кланялись, и кидались друг к другу – на гулких

этих паркетах; и ломали холодные пальцы в порыве бесплодных угодливостей.

С отъезда Анны Петровны: безмолвствовала гостиная, опустилась крышка рояля: не гремела рулада.

Да – по поводу Анны Петровны, или (проще сказать) по поводу письма из Испании: едва Аполлон Аполлонович прошествовал мимо, как два юрких лакейчика затараторили быстро.

– «Письмо не прочел...»

– «Как же: станет читать он...»

– «Отошлет?»

– «Да уж видно...»

– «Эдакий, прости Господи, камень...»

– «Вы, я вам скажу, тоже: соблюдали бы вы словесную деликатность».

.....

Когда Аполлон Аполлонович спускался в переднюю, то его седой камердинер, спускаясь в переднюю тоже, снизу вверх поглядывал на почтенные уши, сжимая в руке табакерку – подарок министра.

Аполлон Аполлонович остановился на лестнице и подыскивал слово.

– «Мм... Послушайте...»

– «Ваше высокопревосходительство?»

Аполлон Аполлонович подыскивал подходящее слово:

– «Что вообще – да – подделывает... подделывает...»

– «?..»

– «Николай Аполлонович».

– «Ничего себе, Аполлон Аполлонович, здравствуют...»

– «А еще?»

– «По-прежнему: затворяться изволят и книжки читают».

– «И книжки?»

– «Потом еще гуляют по комнатам-с...»

– «Гуляют – да, да... И... И? Как?»

– «Гуляют... В халате-с!..»

– «Читают, гуляют... Так... Дальше?»

– «Вчера они поджидали к себе...»

– «Поджидали кого?»

– «Костюмера...»

– «Какой такой костюмер?»

– «Костюмер-с...»

– «Гм-гм... Для чего же такого?»

– «Я так полагаю, что они поедут на бал...»

.....

– «Ага – так: поедут на бал...»

Аполлон Аполлонович потер себе переносицу: лицо его просветилось улыбкой и стало вдруг старческим:

– «Вы из крестьян?»

– «Точно так-с!»

– «Ну, так вы – знаете ли – барон».

– «?»

– «Борона у вас есть?»

– «Борона была-с у родителя».

– «Ну, вот видите, а еще говорите...»

Аполлон Аполлонович, взяв цилиндр, прошел в открытую дверь.

## **Карета пролетела в туман**

Изморось поливала улицы и проспекты, тротуары и крыши; низвергалась холодными струйкам с жестяных желобов.

Изморось поливала прохожих: награждала их гриппами; вместе с тонкою пылью дождя инфлуэнцы и гриппы заползали под приподнятый воротник: гимназиста, студента, чиновника, офицера, субъекта; и субъект (так сказать, обыватель) озирался тоскливо; и глядел на проспект стерто-серым лицом; циркулировал он в бесконечность проспектов, преодолевал бесконечность, без всякого ропота – в бесконечном токе таких же, как он, – среди лета, грохота, трепетанья, пролеток, слушая издали мелодичный голос автомобильных рулад и нарастающий гул желто-красных трамваев (гул потом убывающий снова), в непрерывном окрике голосистых газетчиков.

Из одной бесконечности убежал он в другую; и потом спотыкался о набережную; здесь приканчивалось все: мелодичный глас автомобильной рулады, желто-красный трамвай и всевозможный субъект; здесь был и край земли, и конец бесконечностям.

А там-то, там-то: глубина, зеленоватая муть; издалека-далека, будто дальше, чем следует, опустились испуганно и принизились острова; принизились земли; и принизились здания; казалось – опустятся воды и хлынет на них в этот миг: глубина, зеленоватая муть; а над этою зеленоватою мутью в тумане гремел и дрожал, вон туда бегая, черный, черный такой Николаевский Мост.

В это хмурое петербургское утро распахнулись тяжелые двери роскошного желтого дома: желтый дом окнами выходил на Неву. Бритый лакей с золотым галуном на отворотах бросился из передней подавать знаки кучеру. Серые в яблоках кони рванулись к подъезду; подкатили карету, на которой был выведен стародворянский герб: единорог, прободающий рыцаря.

Молодцеватый квартальный, проходивший мимо крыльца, поглупел и вытянулся в струну, когда Аполлон Аполлонович Аблеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выбежал из подъезда и еще быстрее вбежал на подножку кареты, на ходу надевая черную замшевую перчатку.

Аполлон Аполлонович Аблеухов бросил мгновенный, растерянный взгляд на квартального надзирателя, на карету, на кучера, на большой черный мост, на пространство Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали, и откуда испуганно поглядел Васильевский Остров.

Серый лакей поспешно хлопнул каретною дверцею. Каре-

та стремительно пролетела в туман; и случайный квартальный, потрясенный всем виденным, долго-долго глядел чрез плечо в грязноватый туман – туда, куда стремительно пролетела карета; и вздохнул, и пошел; скоро скрылось в тумане и это плечо квартального, как скрывались в тумане все плечи, все спины, все серые лица и все черные, мокрые зонты. Посмотрел туда же и почтенный лакей, посмотрел направо, налево, на мост, на пространство Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали, и откуда испуганно поглядел Васильевский Остров.

Здесь, в самом начале, должен я прервать нить моего повествования, чтоб представить читателю местодействие одной драмы. Предварительно следует исправить вкравшуюся неточность; в ней повинен не автор, а авторское перо: в это время трамвай еще не бегал по городу: это был тысяча девятьсот пятый год.

## **Квадраты, параллелепипеды, кубы**

– «Гей, Гей...»

Это покрикивал кучер...

И карета разбрызгивала во все стороны грязь. Там, где взвесилась только одна туманная сырость, матово намечался сперва, потом с неба на землю спустился – грязноватый, черновато-серый Исакий; намечался и вовсе наметился: конный памятник Императора Николая; металлический Император

был в форме Лейб-Гвардии; у подножия из тумана просунулся и в туман обратно ушел косматою шапкою николаевский гренадер.

Карета же пролетела на Невский.

Аполлон Аполлонович Аблеухов покачивался на атласных подушках сиденья; от уличной мрази его отграничили четыре перпендикулярные стенки; так он был отделен от протекающих людских толп, от тоскливо мокнущих красных оберток журнальчиков, продаваемых вон с того перекрестка.

Планомерность и симметрия успокоили нервы сенатора, возбужденные и неровностью жизни домашней, и беспомощным кругом вращения нашего государственного колеса.

Гармонической простотой отличался его вкус.

Более всего он любил прямолинейный проспект; этот проспект напоминал ему о течении времени между двух жизненных точек; и еще об одном: иные все города представляют собой деревянную кучу домишек, и разительно от них всех отличается Петербург.

Мокрый, скользкий проспект: там дома сливались кубами в планомерный, пятиэтажный ряд; этот ряд отличался от линии жизненной лишь в одном отношении: не было у этого ряда ни конца, ни начала; здесь середина жизненных страстей носителя бриллиантовых знаков оказалась для скольких сановников окончанием жизненного пути.

Всякий раз вдохновение овладевало душою сенатора, как стрелою линию Невского разрезал его лакированный куб:

там, за окнами, виднелась домовая нумерация; и шла циркуляция; там, оттуда – в ясные дни издалека-далека, сверкали слепительно: золотая игла, облака, луч багровый заката; там, оттуда, в туманные дни, – ничего, никого.

А там были – линии: Нева, острова. Верно в те далекие дни, как вставали из мшистых болот и высокие крыши, и мачты, и шпицы, пронизывая зубцами своими промозглый, зеленоватый туман —

– на теневых своих парусах полетел к Петербургу оттуда Летучий Голландец из свинцовых пространств балтийских и немецких морей, чтобы здесь воздвигнуть обманом свои туманные земли и назвать островами волну набегающих облаков; адские огоньки кабачков двухсотлетие зажигал отсюда Голландец, а народ православный валил и валил в эти адские кабачки, разнося гнилую заразу...

Поотплывали темные тени. Адские кабачки же остались. С призраком долгие годы здесь бражничал православный народ: род ублюдочный пошел с островов – ни люди, ни тени, – оседая на грани двух друг другу чуждых миров.

Аполлон Аполлонович островов не любил: население там – фабричное, грубое; многотысячный рой людской там бредет по утрам к многотрубным заводам; и теперь вот он знал, что там циркулирует браунинг; и еще кое-что. Аполлон Аполлонович думал: жители островов причислены к народонаселению Российской Империи; всеобщая перепись вве-

дена и у них; у них есть нумерованные дома, участки, казенные учреждения; житель острова – адвокат, писатель, рабочий, полицейский чиновник; он считает себя петербуржцем, но он, обитатель хаоса, угрожает столице Империи в набегающем облаке...

Аполлон Аполлонович не хотел думать далее: непокойные острова – раздавить, раздавить! Приковать их к земле железом огромного моста и проткнуть во всех направлениях проспектными стрелами...

И вот, глядя мечтательно в ту бескрайность туманов, государственный человек из черного куба кареты вдруг расширился во все стороны и над ней воспарил; и ему захотелось, чтоб вперед пролетела карета, чтоб проспекты летели навстречу – за проспектом проспект, чтобы вся сферическая поверхность планеты оказалась охваченной, как змеиными кольцами, черновато-серыми домовыми кубами; чтобы вся, проспектами притиснутая земля, в линейном космическом беге пересекла бы необъятность прямолинейным законом; чтобы сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые бы ширилась бездны плоскостями квадратов и кубов: по квадрату на обывателя, чтобы... чтобы...

После линии всех симметричностей успокаивала его фигура – квадрат.

Он, бывало, подолгу предавался бездумному созерцанию: пирамид, треугольников, параллелепипедов, кубов, трапе-

ций. Беспокойство овладевало им лишь при созерцании усеченного конуса.

Зигзагообразной же линии он не мог выносить.

Здесь, в карете, Аполлон Аполлонович наслаждался по-долгу без дум четырехугольными стенками, пребывая в центре черного, совершенного и атласом затянутого куба: Аполлон Аполлонович был рожден для одиночного заключения; лишь любовь к государственной планиметрии облекала его в многогранность ответственного поста.

.....

Мокрый, скользкий проспект пересекался мокрым проспектом под прямым, девяностоградусным углом; в точке пересечения линий стал городской...

И так же же точно там возвышались дома, и такие же серые проходили там токи людские, и такой же стоял там зелено-желтый туман. Сосредоточенно побежали там лица; тротуары шептались и шаркали; растирались калошами; плыл торжественно обывательский нос. Носы протекали во множестве: орлиные, утиные, петушинные, зеленоватые, белые; протекало здесь и отсутствие всякого носа. Здесь текли одиночки, и пары, и тройки – четверки; и за котелком котелок: котелки, перья, фуражки; фуражки, фуражки, перья; треуголка, цилиндр, фуражка; платочек, зонтик, перо.

Но параллельно с бегущим проспектом был бегущий проспект с все таким же рядом коробок, нумерацией, облаками; и тем же чиновником.

Есть бесконечность в бесконечности бегущих проспектов с бесконечностью в бесконечность бегущих пересекающихся теней. Весь Петербург – бесконечность проспекта, возведенного в энную степень.

За Петербургом же – ничего нет.

## **Жители островов поражают вас**

Жители островов поражают вас какими-то воровскими хватками; лица их зеленей и бледней всех земнородных существ; в скважину двери проникнет островитянин – какой-нибудь разночинец: может быть, с усиками; и того гляди выпросит – на вооружение фабрично-заводских рабочих; заговорит, зашепчется, захихикает: вы дадите; и потом не будете вы больше спать по ночам; заговорит, зашепчется, захихикает ваша комната: это он, житель острова – незнакомец с черными усиками, неуловимый, невидимый, его – нет как нет; он уж – в губернии; и глядишь – заговорят, зашепчутся там, в пространстве, уездные дали; загремит, заговорит в уездной дали там – Россия.

Был последний день сентября.

На Васильевском Острове, в глубине семнадцатой линии из тумана глядел дом огромный и серый; с дворика в дом уводила черная, грязноватая лестница: были двери и двери; одна из них отворилась.

Незнакомец с черными усиками показался на пороге ее.

Затем, закрыв дверь, медленно стал незнакомец спускаться; он сходил с высоты пяти этажей, осторожно ступая по лестнице; в руке у него равномерно качался не то чтобы маленький, и все же не очень большой узелочек, перевязанный грязной салфеткой с красными каймами из линючих фазанов.

Мой незнакомец отнесся с отменной осторожностью в обращении с узелком.

Лестница была, само собой разумеется, черной, усеянной огуречными корками и многократно ногой продавленным капустным листом. Незнакомец с черными усиками на ней поскользнулся.

Одной рукой он тогда ухватился за лестничные перила, а другая рука (с узелком) растерянно описала в воздухе нервный зигзаг; но описыванье зигзага относилось, собственно, к локтю: незнакомец мой, очевидно, хотел охранить узелок от досадной случайности – от паденья с размаху на каменную ступень, потому что в движении локтя проявилась воистину ловкая фортель акробата: деликатную хитрость движенья подсказывал некий инстинкт.

А затем в встрече с дворником, поднимавшимся вверх по лестнице с перекинутой чрез плечо охапкою осиновых дров и загородившим дорогу, незнакомец с черными усиками снова усиленно стал выказывать деликатное попечение о судьбе своего узелка, могущего зацепить за полено; предметы, хранимые в узелке, должны были быть предметами особен-

но хрупкими.

Не было бы иначе понятно поведение моего незнакомца.

Когда знаменательный незнакомец осторожно спустился к выходной черной двери, то черная кошка, оказавшаяся у ног, фыркнула и, задрав хвост, пересекла дорогу, роняя к ногам незнакомца куриную внутренность; лицо моего незнакомца передернуло судорога; голова же нервно закинулась, обнаружив нежную шею.

Эти движения были свойственны барышням доброго времени, когда барышни этого времени начинали испытывать жажду: подтвердить необычайным поступком интересную бледность лица, сообщенную выпиванием уксуса и сосанием лимонов.

И такие ж точно движенья отмечают подчас молодых, изнуренных бессонницей современников. Незнакомец такую бессонницею страдал: прокуренность его обиталища на то намекала; и о том же свидетельствовал синеватый отлив нежной кожи лица, – столь нежной кожи, что не будь незнакомец мой обладателем усиков, вы б, пожалуй, приняли незнакомца за переодетую барышню.

И вот незнакомец – на дворике, четырехугольнике, зали- том сплошь асфальтом и отовсюду притиснутом пятью эта- жами многооконной громадины. Посредине двора были сло- жены отсыревшие сажени осиновых дров; и был виден и от- сюда кусок семнадцатой линии, обсвистанной ветром.

Линии!

Только в вас осталась память петровского Петербурга.

Параллельные линии на болотах некогда провел Петр; линии те обросли то гранитом, то каменным, а то деревянным забориком. От петровских правильных линий в Петербурге следа не осталось; линия Петра превратилась в линию позднейшей эпохи: в екатерининскую округленную линию, в александровский строй белокаменных колоннад.

Лишь здесь, меж громадин, остались петровские домики; вон бревенчатый домик; вон – домик зеленый; вот – синий, одноэтажный, с ярко-красною вывеской «Столовая». Точно такие вот домики раскидались здесь в стародавние времена. Здесь еще, прямо в нос, бьют разнообразные запахи: пахнет солью морскою, селедкой, канатами, кожаной курткой и трубкой, и прибережным брезентом. Линии! Как они изменились: как их изменили эти суровые дни!

Незнакомец припомнил: в том вон окошке того глянцеви-того домика в летний вечер июньский старушка жевала губами; с августа затворилось окошко; в сентябре принесли глазетовый гроб.

Он думал, что жизнь дорожает и рабочему люду будет скоро нечего есть; что оттуда, с моста, вонзается сюда Петербург своими проспектными стрелами с ватагою каменных великанов; ватага та великанов бесстыдно и нагло скоро уже похоронит на чердаках и в подвалах всю островную бедноту.

Незнакомец мой с острова Петербург давно ненавидел: там, оттуда вставал Петербург в волне облаков; и парили там

здания; там над зданиями, казалось, парил кто-то злобный и темный, чье дыхание крепко обковывало льдом гранитов и камней некогда зеленые и кудрявые острова; кто-то темный, грозный, холодный оттуда, из воющего хаоса, уставился каменным взглядом, бил в сумасшедшем парении нетопыринными крыльями; и хлестал ответственным словом островную бедноту, выдаваясь в тумане: черепом и ушами; так недавно был кто-то изображен на обложке журнальчика.

Незнакомец это подумал и зажал в кармане кулак; вспомнил он циркуляр и вспомнил, что падали листья: незнакомец мой все знал наизусть. Эти павшие листья – для скольких последние листья: незнакомец мой стал – синеватая тень.

От себя же мы скажем: о русские люди, русские люди! Вы толпы скользящих теней с островов к себе не пускайте. Бойтесь островитян! Они имеют право свободно селиться в Империи: знать, для этого чрез летийские воды к островам перекинута черные и серые мосты. Разобрать бы их...

Поздно...

Николаевский Мост полиция и не думала разводить; темные повалили тени по мосту; между теми тенями и темная повалила по мосту тень незнакомца. В руке у нее равномерно качался не то чтобы маленький, а все же не очень большой узелочек.

## **И, увидев, расширились, засветились, блеснули...**

В зеленоватом освещении петербургского утра, в спасительном *«кажется»* пред сенатором Аблеуховым циркулировал и обычный феномен: явление атмосферы – поток людской; тут люди немели; потоки их, набегая волнообразным прибоем, – гремели, рычали; обычное ухо же не воспринимало нисколько, что прибой тот людской есть прибой громовой.

Спаянный маревом сам в себе поток распадался на звенья потока: протекало звено за звеном; умопостигаемо каждое удалялось от каждого, как система планет от системы планет; ближний к ближнему тут находился в таком же приблизительном отношении, в каковом находится лучевой пучок небосвода в отношении к сетчатой оболочке, проводящей в мозговой центр по нервному телеграфу смутную, звездную, промерцавшую весть. С предтекущей толпой престарелый сенатор сообщался при помощи проволок (телеграфных и телефонных); и поток теневой сознанию его предносился, как за далями мира спокойно текущая весть. Аполлон Аполлонович думал: о звездах, о невнятности пролетавшего громового потока; и, качаясь на черной подушке, высчитывал силу он света, воспринимаемого с Сатурна.

Вдруг... —

– лицо его сморщилось и передернулось тиком; судорожно закатились каменные глаза, обведенные синевой; кисти рук, одетые в черную замшу, подлетели на уровень груди, будто он защищался руками. И корпус откинулся, а цилиндр, стукнувшись в стенку, упал на колени под оголенную головой...

Безотчетность сенаторского движения не поддавалась обычному толкованию; кодекс правил сенатора ничего такого не предусматривал...

Созерцая текущие силуэты – котелки, перья, фуражки, фуражки, фуражки, перья – Аполлон Аполлонович уподоблял их точкам на небосводе; но одна из сих точек срываясь с орбиты, с головокружительной быстротой понеслась на него, принимая форму громадного и багрового шара, то есть, хочу я сказать: —

– созерцая текущие силуэты (фуражки, фуражки перья), Аполлон Аполлонович из фуражек, из перьев, из котелков увидал с угла пару бешеных глаз: глаза выражали одно недопустимое свойство; глаза узнали сенатора; и, узнавши, сбесились; может быть, глаза поджидали с угла; и, увидев, расширились, засветились, блеснули.

Этот бешеный взгляд был сознательно брошенным взглядом и принадлежал разночинцу с черными усиками, в пальто с поднятым воротником; углубляясь впоследствии в подробности обстоятельства, Аполлон Аполлонович скорее, чем

вспомнил, сообразил еще нечто: в правой руке разночинец держал перевязанный мокрой салфеткой узелок.

Дело было так просто: стиснутая потоком пролеток, карета остановилась у перекрестка (городовой там приподнял свою белую палочку); мимо шедший поток разночинцев, стиснутый пролетом пролеток, к потоку перпендикулярно летящих, пересекающих Невский, – этот поток теперь просто прижался к карете сенатора, нарушая иллюзию, будто он, Аполлон Аполлонович, пролетая по Невскому, пролетает за миллиардами верст от людской многоножки, попирающей тот же самый проспект: обеспокоенный, Аполлон Аполлонович вплотную придвинулся к стеклам кареты, увидевши, что всего-то он отделен от толпы тонкой стенкою и четырехвершковым пространством; тут увидел разночинца он; и стал спокойно рассматривать; что-то было достойное быть замеченным во всей невзрачной фигуре той; и наверное б физиономист, невзначай встретив на улице ту фигуру, остановился бы изумленный: и потом меж делами вспоминал бы то виденное лицо; особенность сего выражения заключалась лишь в трудности подвести то лицо под любую из существующих категорий – ни в чем более...

Наблюдение это промелькнуло бы в сенаторской голове, если бы наблюдение это продлилось с секунду; но оно не продлилось. Незнакомец поднял глаза и – за зеркальным каретным стеклом, от себя в четырехвершковом пространстве, увидел не лицо он, а... череп в цилиндре да огромное блед-

но-зеленое ухо.

В ту же четверть секунды сенатор увидел в глазах незнакомца – ту самую бескрайность хаоса, из которой исконно сенаторский дом дозирует туманная, многотрубная даль и Васильевский Остров.

Вот тогда-то вот глаза незнакомца расширились, засветились, блеснули; и тогда-то вот, отделенные четырехвершковым пространством и стенкой кареты, за стеклом быстро вскинулись руки, закрывая глаза.

Пролетела карета; с нею же пролетел Аполлон Аполлонович в те сырые пространства; там, оттуда – в ясные дни восходили прекрасно – золотая игла, облака и багровый закат; там, оттуда сегодня – рои грязноватых туманов.

Там, в роях грязноватого дыма, откинувшись к стенке кареты, в глазах видел он то же все: рои грязноватого дыма; сердце забилось; и ширилось, ширилось, ширилось; в груди родилось ощущение растущего, багрового шара, готового разорваться и раскидаться на части.

Аполлон Аполлонович Аблеухов страдал расширением сердца.

Все это длилось мгновенье.

Аполлон Аполлонович, машинально надевши цилиндр и замшевой черной рукою прижавшись к скакавшему сердцу, вновь отдался любимому созерцанию кубов, чтобы дать себе в происшедшем спокойный и разумный отчет.

Аполлон Аполлонович снова выглянул из кареты: то, что

он видел теперь, изгладило бывшее: мокрый, скользкий проспект; мокрые, скользкие плиты, лихорадочно заблеставшие сентябrevским денечком!

.....

Кони остановились. Городовой отдал под козырек. За подъездным стеклом, под бородатой кариатидою, подпиравшей камни балкончика, Аполлон Аполлонович увидал то же все зрелище: там блистала медная, тяжкоглавая булава; на восьмидесятилетнее плечо там упала темная треуголка швейцара. Восьмидесятилетний швейцар засыпал над «Биржевкою». Так же он засыпал позавчера, вчера. Так же он спал роковое то пятилетие... Так же проспит пятилетие впредь.

Пять лет уж прошло с той поры, как Аполлон Аполлонович подкатил к Учреждению безответственным главой Учреждения: пять с лишком лет прошло с той поры! И были события: проволновался Китай и пал Порт-Артур. Но виденье годин – неизменно: восьмидесятилетнее плечо, галун, борода.

Дверь распахнулась: медная булава простучала. Аполлон Аполлонович из каретного дверца пронес каменный взор в широко открытый подъезд. И дверь затворилась.

Аполлон Аполлонович стоял и дышал.

– «Ваше высокопревосходительство... Сядьте-с... Ишты, как задыхаетесь...»

– «Все-то бегаєте, будто маленький мальчик...»

– «Посидите, ваше высокопревосходительство: отдыши-

тесь...»

– «Так-то вот-с...»

– «Может... водицы?»

Но лицо именитого мужа просветилось, стало ребяческим, старческим; изошло все морщинками:

– «А скажите, пожалуйста: кто муж графини?»

– «Графини-с?.. А какой, позволю спросить?»

– «Нет, просто графини?»

– «?»

– «Муж графини – графин?»

«Хе-хе-хе-с...»

А уму непокорное сердце трепетало и билось; и от этого все кругом было: тем – да не тем...

## **Двух бедно одетых курсисточек...**

Среди медленно протекающих толп протекал незнакомец; и вернее, он утекал в совершенном смятенье от того перекрестка, где потоком людским был притиснут он к черной карете, откуда уставились на него: череп, ухо, цилиндр.

Это ухо и этот череп!

Вспомнив их, незнакомец кинулся в бегство.

Протекала пара за парой: протекали тройки, четверки; от каждой под небо вздымался дымовой столб разговора, переплетаясь, сливаясь с дымовым, смежнобегущим столбом; пересекая столбы разговоров, незнакомец мой ловил их отрыв-

ки; из отрывков тех составлялись и фразы, и предложения.

Заплеталась невская сплетня.

– «Вы знаете?» – пронеслось где-то справа и погасло в набегающем грохоте.

И потом вынырнуло опять:

– «Собираются...»

– «Что?»

– «Бросить...»

Зашушукало сзади.

Незнакомец с черными усиками, обернувшись, увидел: котелок, трость, пальто; уши, усы и нос...

– «В кого же?»

– «Кого, кого», – перешукнулось издали; и вот темная пара сказала:

– «Абл...»

И сказавши, пара прошла.

– «Аблеухова?»

– «В Аблеухова?!»

Но пара закончила где-то там...

– «Абл... ейка меня кк...исла...тою... попробуй...»

И пара икала.

Но незнакомец стоял, потрясенный всем слышанным:

– «Собираются?..»

– «Бросить?..»

– «В Абл...»

.....

– «Нет же: не собираются...»

.....

А кругом зашепталося:

– «Поскорее...»

И потом опять сзади:

– «Пора же...»

И пропавши за перекрестком, напало из нового перекрестка:

– «Пора... право...»

Незнакомец услышал не «право», а «прово-»; и dokonчил сам:

– «Прово-кация?!»

Провокация загуляла по Невскому. Провокация изменила смысл всех слышанных слов: провокацией наделила она невинное право; а «обл...ейка» она превратила в черт знает что:

– «В Абл...»

И незнакомец подумал:

«В Аблеухова».

Просто он от себя присоединил предлог *ve, er*: присоединением буквы *ve* и *твердого знака* изменился невинный словесный обрывок в обрывок ужасного содержания; и что главное: присоединил предлог незнакомец.

Провокация, стало быть, в нем сидела самом; а он от нее убегал: убегал – от себя. Он был своей собственной тенью.

О, русские люди, русские люди!

Толпы зыбких теней не пускайте вы с острова: вкрадчиво тени те проникают в телесное обиталище ваше; проникают отсюда они в закоулки души: вы становитесь тенями клубообразно летящих туманов: те туманы летят искони из-за края земного: из свинцовых пространств волнами кипящего Балта; в туман искони там уставились громовые отверстия пушек.

В двенадцать часов, по традиции, глухой пушечный выстрел торжественно огласил Санкт-Петербург, столицу Российской Империи: все туманы разорвались и все тени рассеялись.

Лишь тень моя – неуловимый молодой человек – не сотрясся и не расплылся от выстрела, беспрепятственно совершая свой пробег до Невы. Вдруг чуткое ухо моего незнакомца услышало за спиною восторженный шепот:

– «Неуловимый!..»

– «Смотрите – Неуловимый!»

– «Какая смелость!..»

И когда, уличенный, повернулся он своим островным лицом, то увидел в упор на себя устремленные глазки двух бедно одетых курсисточек...

**Да вы помолчите!..**

– «Быбы... быбы...»

Так громыхал мужчина за столиком: мужчина громадных

размеров; кусок желтой семги он закинул в рот и, давясь, выкрикивал непонятности. Кажется он выкрикивал:

«Вы-бы...»

Но слышалось:

– «Бы-бы...»

И компания тощих пиджачников начинала визжать:

– «А-ахха-ха, аха-ха!..»

.....

Петербургская улица осенью пронизывает весь организм: леденит костный мозг и щекочет дрогнувший позвоночник; но как скоро с нее попадешь ты в теплое помещение, петербургская улица в жилах течет лихорадкой. Этой улицы свойство испытывал сейчас незнакомец, войдя в грязненькую переднюю, набитую туго: черными, синими, серыми, желтыми *польтами*, заливчатскими, вислоухими, кургузыми шапками и всевозможной калошей. Обдавала теплая сырость; в воздухе повисал белеющий пар: пар блинного запаха.

Получив обжигающий ладонь номерок от верхнего платья, разночинец с парюю усиков наконец вошел в зал...

– «А-а-а...»

Оглушили его сперва голоса.

.....

– «Ра-аа-ков... ааа... ах-ха-ха...»

– «Видите, видите, видите...»

– «Не говорите...»

– «Ме-емме...»

– «И водки...»

– «Да помилуйте... да подите... Да как бы не так...»

.....

Все то бросилось ему в лоб; за спиною же, с Невского, за ним вдогонку бежало:

– «Пора... право...»

– «Что право?»

– «Кация – акция – кассация...»

– «Бл...»

– «И водки...»

.....

Ресторанное помещение состояло из грязненькой комнатки; пол натирался мастикою; стены были расписаны рукой маляра, изображая там обломки шведской флотилии, с высоты которых в пространство рукой указывал Петр; и летели оттуда пространства синькою белогривых валов; в голове незнакомца же полетела карета, окруженная роем...

– «Пора...»

– «Собираются бросить...»

– «В Абл...»

– «Прав...»

Ах, праздные мысли!..

На стене красовался зеленый кудреватый шпинат, рисовавший зигзагами *плезир*ы петергофской природы с пространствами, облаками и с сахарным куличом в виде стильного павильончика.

.....  
– «Вам с пикончиком?»

Одутловатый хозяин из-за водочной стойки обращался к нашему незнакомцу.

– «Нет, без пикону мне».

А сам думал: почему был испуганный взгляд – за каретным стеклом: выпучились, окаменели и потом закрылись глаза; мертвая, бритая голова прокачалась и скрылась; из руки – черной замшевой – его по спине не огрел и злой бич жестокого слова; черная замшевая рука протряслась там безвластно; была она не рука, а... *ручончка* ...

Он глядел: на прилавке сохла закуска, прокисали все какие-то вялые листики под стеклянными колпаками с грудой третьеводнишних перепрелых котлеток.

«Еще рюмку...»

.....  
Там вдали посиживал праздно потеющий муж с преогромною кучерской бородою, в синей куртке, в смазных сапогах поверх серых солдатского цвета штанов. Праздно потеющий муж опрокидывал рюмочки; праздно потеющий муж подзывал вихрастого полового:

– «Чего извоетс?..»

– «Чаво бы нибудь...»

– «Дыньки-с?»

– «К шуту: мыло с сахаром твоя дынька...»

– «Бананчика-с?»

– «Неприличнава сорта фрухт...».

– «Астраханского винограду-с?»

.....

Трижды мой незнакомец проглотил терпкий бесцветно блистающий яд, которого действие напоминает действие улицы: пищевод и желудок лижут сухим языком его мстительные огни, а сознание, отделяясь от тела, будто ручка машинного рычага, начинает вертеться вокруг всего организма, просветляясь невероятно... на один только миг.

И сознание незнакомца на миг прояснилось: и он вспомнил: безработные голодали там; безработные там просили его; и он обещал им; и взял от них – да? Где узелочек? Вот он, вот – рядом, тут... Взял от них узелочек.

В самом деле: та невская встреча повышибла память.

.....

– «Арбузика-с?»

– «К шуту арбузик: только хруст на зубах; а во рту – хоть бы что...»

– «Ну так водочки...»

Но бородатый мужчина вдруг выпалил:

– «Мне вот чего: раков...»

.....

Незнакомец с черными усиками уселся за столик, поджидать ту особу, которая...

– «Не желаете ль рюмочку?»

Праздно потеющий бородач весело подмигнул.

– «Благодарствуйте...»

– «Отчего же-с?»

– «Да пил я...»

«Выпили бы и еще: в маём кумпанействе...»

Незнакомец мой что-то сообразил: подозрительно поглядел он на бородача, ухватился за мокренький узелочек, ухватился за оборванный листик (для газетного чтения); и им, будто бы невзначай, прикрыл узелочек.

– «Тульские будете?»

Незнакомец с неудовольствием оторвался от мысли и сказал с достаточной грубостью – сказал фистулою:

– «И вовсе не тульский...»

– «Аткелева ж?..»

– «Вам зачем?»

– «Так...»

– «Ну: из Москвы...»

И плечами пожавши, сердито он отвернулся.

.....

И он думал: нет, он не думал – думы думались сами, расширяясь и открывая картину: брезенты, канаты, селедки; и набитые чем-то кули: неизмеримость кулей; меж кулями в черную кожу одетый рабочий синеватой рукой себе на спину взваливал куль, выделяясь отчетливо на тумане, на летящих водных поверхностях; и куль глухо упал: со спины в нагруженную балками барку; за кулем – куль; рабочий же (знакомый рабочий) стоял над кулями и вытаскивал трубочку с

пренелепо на ветре плясавшим одежды крылом.

– «По камерческой части?»

(Ах ты, Господи!)

– «Нет: просто – так...»

И сам сказал себе:

– «Сыщик...»

– «Вот оно: а мы в кучерах...»

.....

– «Шурин та мой у Кистинтина Кистинтиновича кучером...»

– «Ну и что ж?»

– «Да что ж: ничаво – здесь сваи...»

Ясное дело, что – сыщик: поскорее бы приходила особа.

Бородач между тем горемычно задумался над тарелкою несъеденных раков, крестя рот и протяжно зевая:

– «О, Господи, Господи!..»

О чем были думы? Васильевские? Кули и рабочий? Да – конечно: жизнь дорожает, рабочему нечего есть.

Почему? Потому что *черным мостом туда вонзается Петербург*; мостом и проспектными стрелами, – чтоб под кучами каменных гробов задавить бедноту; Петербург ненавидит он; над полками проклятыми зданий, восстающими с того берега из волны облаков, – кто-то маленький воспарял из хаоса и плавал там черною точкою: все визжало оттуда и плакало:

– «Острова раздавить!..»

Он теперь только понял, что было на Невском Проспекте, чье зеленое ухо на него поглядело в расстоянии четырех вершков – за каретным стеклом; маленький там дрожащий смертёныш тою самою был летучею мышью, которая, воспаря, – мучительно, грозно и холодно, угрожала, визжала...

Вдруг – ...

Но о вдруг мы – впоследствии.

## Письменный стол там стоял

Аполлон Аполлонович прицеливался к текущему деловому дню; во мгновение ока отчетливо пред ним восставали: доклады вчерашнего дня; отчетливо у себя на столе он представил сложенные бумаги, порядок их и на их бумагах им сделанные пометки, форму букв тех пометок, карандаш, которым с небрежностью на поля наносились: синее «дать *ходъ*» с хвостиком твердого знака, красное «*справка*» с рочерком на «а».

В краткий миг от департаментской лестницы до дверей кабинета Аполлон Аполлонович волею перемещал центр сознания; всякая мозговая игра отступала на край поля зрения, как вон те белесоватые разводы на белом фоне обой: кучечка из параллельно положенных дел перемещалась в центр того поля, как вот только что в центр этот упавший портрет.

А – портрет? То есть: —

И нет его – и Русь оставил он...

Кто он? Сенатор? Аполлон Аполлонович Аблеухов? Да нет же: Вячеслав Константинович... А он, Аполлон Аполлонович?

И мнится – очередь за мной,  
Зовет меня мой Дельвиг милый...

Очередь – очередь: по очереди —

И над землей сошлись новы тучи  
И ураган их...

Праздная мозговая игра!

Кучка бумаг выскочила на поверхность: Аполлон Аполлонович, прицелившись к текущему деловому дню, обратился к чиновнику:

– «Потрудитесь, Герман Германович, приготовить мне дело – то самое, как его...»

– «Дело дьякона Зракова с приложением вещественных доказательств в виде клока бороды?»

– «Нет, не это...»

– «Помещика Пузова, за номером?...»

– «Нет: дело об Ухтомских Ухабах...»

Только что он хотел открыть дверь, ведущую в кабинет, как он вспомнил (он было и вовсе забыл): да, да – глаза: рас-

ширились, удивились, сбесились – глаза разночинца... И зачем, зачем был зигзаг руки?.. Пренеприятный. И разночинца он как будто бы видел – где-то, когда-то: может быть, нигде, никогда...

Аполлон Аполлонович открыл дверь кабинета.

Письменный стол стоял на своем месте с кучкою деловых бумаг: в углу камин растрещался поленьями; собираясь погрузиться в работу, Аполлон Аполлонович грел у камина иззябшие руки, а мозговая игра, ограничивая поле сенаторского зрения, продолжала там воздвигать свои туманные плоскости.

## **Разночинца он видел**

Николай Аполлонович...

Тут Аполлон Аполлонович...

– «Нет-с: позвольте».

– «?...»

– «Что за чертовщина?»

Аполлон Аполлонович остановился у двери, потому что – как же иначе?

Невинная мозговая игра самопроизвольно вновь вдвинулась в мозг, то есть в кучу бумаг и прошений: мозговую игру Аполлон Аполлонович счел бы разве обоями комнаты, в чьих пределах созревали проекты; Аполлон Аполлонович к произвольности мысленных сочетаний относился, как к

плоскости: плоскость эта, однако, порой раздвигалась, пропускала в центр умственной жизни за сюрпризом (как, например, вот сейчас).

Аполлон Аполлонович вспомнил: разночинца однажды он видел.

*Разночинца однажды он видел – представьте себе – у себя на дому.*

Помнит: как-то спускался он с лестницы, отправляясь на выход; на лестнице Николай Аполлонович, перегнувшийся через перила, с кем-то весело разговаривал: о знакомствах Николая Аполлоновича государственный человек не считал себя вправе осведомляться; чувство такта естественно тогда помешало ему спросить напрямик:

– «А скажи-ка мне, Коленька, кто такое это тебя посещает, голубчик мой?»

Николай Аполлонович опустил бы глаза:

– «Да так себе, папаша: меня посещают...»

Разговор и прервался бы.

Оттого-то вот Аполлон Аполлонович не заинтересовался нисколько и личностью разночинца, там глядевшего из передней в своем темном пальто; у незнакомца были те самые черные усики и те самые поразительные глаза (вы такие б точно глаза встретили ночью в московской часовне Велико-мученика Пантелеймона, что у Никольских ворот: – часовня прославлена исцелением бесноватых; вы такие бы точно глаза встретили б на портрете, приложенном к биографии ве-

ликого человека; и далее: в невропатической клинике и даже психиатрической).

Глаза и тогда; расширились, заиграли, блеснули; значит: то уже было когда-то, и, может быть, то повторится.

– «Обо всем – так-с, так-с...»

– «Надо будет...»

– «Навести точнейшую справку...»

Свои точнейшие справки получал государственный человек не прямым, а окольным путем.

.....

Аполлон Аполлонович посмотрел за дверь кабинета: письменные столы, письменные столы! Кучи дел! К делам склоненные головы! Скрипы перьев! Шорохи переворачиваемых листов! Какое кипучее и могучее бумажное производство!

Аполлон Аполлонович успокоился и погрузился в работу.

## **Странные свойства**

Мозговая игра носителя бриллиантовых знаков отличалась странными, весьма странными, чрезвычайно странными свойствами: черепная коробочка его становилась чревом мысленных образов, воплощавшихся тотчас же в этот призрачный мир.

Приняв во внимание это странное, весьма странное, чрезвычайно странное обстоятельство, лучше бы Аполлон Апол-

лонович не откидывал от себя ни одной праздной мысли, продолжая и праздные мысли носить в своей голове: ибо каждая праздная мысль развивалась упорно в пространственно-временной образ, продолжая свои – теперь уже бесконтрольные – действия вне senatorской головы.

Аполлон Аполлонович был в известном смысле как Зевс: из его головы вытекали боги, богини и гении. Мы уже видели: один такой гений (незнакомец с черными усиками), возникая как образ, *забытийствовал* далее прямо уже в желтоватых невских пространствах, утверждая, что вышел он – из них именно: не из senatorской головы; праздные мысли оказались и у этого незнакомца; и те праздные мысли обладали все теми же свойствами.

Убегали и упрочнялись.

И одна такая бежавшая мысль незнакомца была мыслью о том, что он, незнакомец, существует действительно; эта мысль с Невского забежала обратно в senatorский мозг и там упрочила сознание, будто самое бытие незнакомца в голове этой – иллюзорное бытие.

Так круг замкнулся.

Аполлон Аполлонович был в известном смысле как Зевс: едва из его головы родилась вооруженная узелком Незнакомец-Паллада, как полезла оттуда другая, такая же точно Паллада.

Палладюю этою был senatorский дом.

Каменная громада убежала из мозга; и вот дом открывает

гостеприимную дверь – нам.

.....

Лакей поднимался по лестнице; страдал он одышкой, не в нем теперь дело, а в... лестнице: прекрасная лестница! На ней же – ступени: мягкие, как мозговые извилины. Но не успеет автор читателю описать ту самую лестницу, по которой не раз поднимались министры (он ее опишет потом), потому что – лакей уже в зале...

И опять-таки – зала: прекрасная! Окна и стены: стены немного холодные... Но лакей был в гостиной (гостиную видели мы).

Мы окинули прекрасное обиталище, руководствуясь общим признаком, коим сенатор привык наделять все предметы.

Так: —

– в кои веки попав на цветущее лоно природы, Аполлон Аполлонович видел то же и здесь, что и мы; то есть: видел он – цветущее лоно природы; но для нас это лоно распалось мгновенно на признаки: на фиалки, на лютики, одуванчики и гвоздики; но сенатор отдельности эти возводил вновь к единству. Мы сказали б конечно:

– «Вот лютик!»

– «Вот незабудочка...»

Аполлон Аполлонович говорил и просто, и кратко:

– «Цветы...»

– «Цветок...»

Между нами будь сказано: Аполлон Аполлонович все цветы одинаково почему-то считал колокольчиками... —

С лаконической краткостью охарактеризовал бы он свой собственный дом, для него состоявший из стен (образующих квадраты и кубы), из прорезанных окон, паркетов, стульев, столов; далее – начинались детали...

Лакей вступил в коридор...

И тут не мешает нам вспомнить: промелькнувшие мимо (картины, рояль, зеркала, перламутр, инкрустация столиков), – словом, все, промелькнувшее мимо, не могло иметь пространственной формы: все то было одним раздражением мозговой оболочки, если только не было хроническим недомоганием... может быть, мозжечка. Строилась иллюзия комнаты; и потом разлеталась бесследно, воздвигая за гранью сознания свои туманные плоскости; и когда захлопнул лакей за собой гостинные тяжелые двери, когда он стучал сапогами по гулкому коридорчику, это только стучало в висках: Аполлон Аполлонович страдал геморроидальными приливами крови.

За захлопнутой дверью не оказалось гостиной: оказались... мозговые пространства: извилины, серое и белое вещество, шишковидная железа; а тяжелые стены, состоявшие из искристых брызг (обусловленных приливом), – голые стены были только свинцовым и болевым ощущением: затылочной, лобной, височных и теменных костей, принадлежащих почтенному черепу.

Дом – каменная громада – не домом был; каменная громада была Сенаторской Головой: Аполлон Аполлонович сидел за столом, над делами, удрученный мигренью, с ощущением, будто его голова в шесть раз больше, чем следует, и в двенадцать раз тяжелее, чем следует. Странные, весьма странные, чрезвычайно странные свойства!

## Наша роль

Петербургские улицы обладают несомненным свойством: превращают в тени прохожих; тени же петербургские улицы превращают в людей.

Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем. Он, возникши, как мысль, в сенаторской голове, почему-то связался и с собственным сенаторским домом; там всплыл он в памяти; более же всего упрочился он на проспекте, непосредственно следуя за сенатором в нашем скромном рассказе.

От перекрестка до ресторанчика на Миллионной описали мы путь незнакомца; описали мы, далее, самое сидение в ресторанчике до пресловутого слова «*вдруг*», которым все прервалось: вдруг с незнакомцем случилось там что-то; какое-то неприятное ощущение посетило его.

Обследуем теперь его душу; но прежде обследуем ресторанчик; даже окрестности ресторанчика; на то есть у нас основание; ведь если мы, автор, с педантичною точностью

отмечаем путь первого встречного, то читатель нам верит: поступок наш оправдается в будущем. В нами взятом естественном сыске предвосхитили мы лишь желание сенатора Аблеухова, чтобы агент охранного отделения неуклонно бы следовал по стопам незнакомца; славный сенатор и сам бы взялся за телефонную трубку, чтоб посредством ее передать, куда следует, свою мысль; к счастью для себя, он не знал обиталища незнакомца (а мы же обиталище знаем). Мы идем навстречу сенатору; и пока легкомысленный агент бездействует в своем отделении, этим агентом будем мы.

Позвольте, позвольте...

Не попали ли мы сами впросак? Ну, какой в самом деле мы агент? Агент – есть. И не дремлет он, ей-богу, не дремлет. Роль наша оказалась праздною ролью.

Когда незнакомец исчез в дверях ресторанчика и нас охватило желание туда воспоследовать тоже, мы обернулись и увидели два силуэта, медленно пересекавших туман; один из двух силуэтов был довольно толст и высок, явственно выделяясь сложением; но лица силуэта мы не могли разобрать (силуэты лиц не имеют); все же мы разглядели: новый, шелковый, распущенный зонт, ослепительно блестящие калоши да полукотиковую шапку с наушниками.

Паршивенькая фигурка низкорослого господинчика составляла главное содержание силуэта второго; лицо силуэта было достаточно видно: но лица также мы не успели увидеть, ибо мы удивились огромности его бородавки: так лицевою

субстанцию заслонила от нас нахальная акциденция (как подобает ей действовать в этом мире теней).

Сделав вид, что глядим в облака, пропустили мы темную пару, пред ресторанную дверью та темная пара остановилась и сказала несколько слов на человеческом языке:

– «Гм?»

– «Здесь...»

– «Так я и думал: меры приняты; это на случай, если бы вы его мне не показали у моста».

– «А какие вы приняли меры?..»

– «Да я там, в ресторанчике, посадил человека».

– «Ах, напрасно вы принимаете меры! Я же вам говорил, говорил: сто раз говорил...»

– «Простите, это я из усердия...»

– «Вы бы прежде посоветовались со мной... Ваши меры прекрасны...»

– «Сами же вы говорите...»

– «Да, но ваши прекрасные меры...»

– «Гм...»

– «Что?.. Ваши прекрасные меры – перепутают все...»

.....

Пара прошла пять шагов, остановилась; и опять сказала несколько слов на человеческом языке.

– «Гм!.. Придется мне... Гм!.. Пожелать теперь вам успеха...»

– «Ну какое же может быть в том сомнение: предприятие

поставлено, как часовой механизм; если б я теперь не стоял за всем этим делом, то, поверьте мне дружески: дело – в шляпе».

– «Гм?»

– «Что такое вы говорите?»

– «Проклятый насморк».

– «Я же о деле...»

– «Гм...»

– «Души настроены, как инструменты: и составляют концерт – что такое вы говорите? Дирижеру из-за кулис остается взмахивать палочкой. Сенатору Аблеухову издать циркуляр, Неуловимому же предстоит...»

– «Проклятый насморк...»

– «Николаю Аполлоновичу предстоит... Словом: концертное трио, где Россия – партер. Вы меня понимаете? Понимаете? Что же вы все молчите?»

«Послушайте: брали бы жалованье...»

.....

– «Нет, вы меня не поймете!»

– «Пойму: гм-гм-гм – положительно не хватает платков».

– «Что такое?»

– «Да насморк же!.. А зверь – гм-гм-гм – не уйдет?»

– «Ну, куда ему...»

– «А то брали бы жалованье...»

– «Жалованье! Я служу не за жалованье: я артист, понимаете ли, – артист!»

– «Своего рода...»

– «Что такое?»

– «Ничего: лечусь сальной свечкой».

Фигурка повынимала иссморканный носовой платок и опять чмыхала носом.

– «Я же о деле! Так-таки передайте им, что Николай Аполлонович обещание дал...»

– «Сальная свечка прекрасное средство от насморка...»

– «Расскажите им все, что вы слышали от меня: дело это поставлено...»

– «Вечером намажешь ноздрю, утром – как рукой сняло...»

– «Дело поставлено, опять-таки говорю, как часов...»

– «Нос очищен, дышишь свободно...»

– «Как часовой механизм!..»

– «А?»

– «Часовой, черт возьми, механизм».

– «Заложило ухо: не слышу».

– «Ча-со-вой ме-ха-...»

– «Апчхи!..»

Под бородавкою загулял вновь платочек: две тени медленно утекали в промозглую муть. Скоро тень толстяка в полукотиковой шапке с наушниками показалась опять из тумана, посмотрела рассеянно на петропавловский шпигц.

И вошла в ресторанчик.

## И притом лицо лоснилось

Читатель!

«Вдруг» знакомы тебе. Почему же, как страус, ты прячешь голову в перья при приближении рокового и неотвратного «вдруг»? Заговори с тобою о «вдруг» посторонний, ты скажешь, наверное:

– «Милостивый государь, извините меня: вы, должно быть, отъявленный декадент».

И меня, наверное, уличишь в декадентстве.

Ты и сейчас предо мною, как страус; но тщетно ты прячешься – ты прекрасно меня понимаешь; понимаешь ты и неотвратимое «вдруг».

Слушай же...

Твое «вдруг» крадется за твоею спиной, иногда же оно предшествует твоему появлению в комнате; в первом случае ты обеспокоен ужасно: в спине развивается неприятное ощущение, будто в спину твою, как в открытую дверь, повадилась ватага невидимых; ты обертываешься и просишь хозяйку:

– «Сударыня, не позволите ли закрыть дверь; у меня особое нервное ощущение: я спиною терпеть не могу сидеть к открытым дверям».

Ты смеешься, она смеется.

Иногда же при входе в гостиную тебя встретят всеобщим:

– «А мы только что вас поминали...»

И ты отвечаешь:

– «Это, верно, сердце сердцу подало весть».

Все смеются. Ты тоже смеешься: будто не было тут «вдруг».

Иногда же чуждое «вдруг» поглядит на тебя из-за плеч собеседника, пожелая снюхаться с «вдруг» твоим собственным. Меж тобою и собеседником что-то такое пройдет, отчего ты вдруг запорхаешь глазами, собеседник же станет суше. Он чего-то потом тебе во всю жизнь не простит.

Твое «вдруг» кормится твоею мозговою игрою; гнусности твоих мыслей, как пес, оно пожирает охотно; распухает оно, таешь ты, как свеча; если гнусны твои мысли и трепет овладевает тобою, то «вдруг», обожравшись всеми видами гнусностей, как откормленный, но невидимый пес, всюду тебе начинает предшествовать, вызывая у постороннего наблюдателя впечатление, будто ты занавешен от взора черным, взору невидимым облаком: это есть косматое «вдруг», верный твой домовый (знал я несчастного, которого черное облако чуть ли не видимо взору: он был литератором...).

.....

Мы оставили в ресторанчике незнакомца. *Вдруг* незнакомец обернулся стремительно; ему показалось, что некая гадкая слизь, проникая за воротничок, потекла по его позвоночнику. Но когда обернулся он, за спиною не было никого: мрачно как-то зияла дверь ресторанного входа; и оттуда, из

двери, повалило *невидимое*.

Тут он сообразил: по лестнице поднималась, конечно, им поджидаемая особа; вот-вот войдет; но она не входила; в дверях не было никого.

А когда незнакомец мой отвернулся от двери, то в дверь вошел тотчас же неприятный толстяк; и, идя к незнакомцу, поскрипывал он половицею; желтоватое, бритое, чуть-чуть наклоненное набок лицо плавно плавало в своем собственном втором подбородке; и притом лицо лоснилось.

Тут незнакомец мой обернулся и вздрогнул: *особа* дружески помахала ему полукотиковой шапкой с наушниками:

– «Александр Иванович...»

– «Липпанченко!»

– «Я – самый...»

– «Липпанченко, вы меня заставляете ждать».

Шейный воротничок у особы был повязан галстуком – атласно-красным, кричащим и заколотым крупным стразом, полосатая темно-желтая пара облекала особу; а на желтых ботинках поблескивал блистательный лак.

Заняв место за столиком незнакомца, особа довольно воскликнула:

– «Кофейник... И – послушайте – коньяку: там бутылка моя у меня – на имя записана».

И кругом раздавалось:

– «Ты-то пил со мной?»

– «Пил...»

– «Ел?..»

– «Ел...»

– «И какая же ты, с позволения сказать, свинья...»

.....

– «Осторожнее», – вскрикнул мой незнакомец: неприятный толстяк, названный незнакомцем Липпанченко, захотел положить темно-желтый свой локоть на лист газетного чтения: лист газетного чтения накрывал узелочек.

– «Что такое?» – Тут Липпанченко, снявши лист газетного чтения, увидел узелок: и губы Липпанченко дрогнули.

– «Это... это... и есть?»

– «Да: *это*– и есть».

Губы Липпанченко продолжали дрожать: губы Липпанченко напоминали кусочки на ломтики нарезанной семги – не желто-красной, а маслянистой и желтой (семгу такую, наверное, ты едал на блинах в небогатом семействе).

– «Как вы, Александр Иванович, скажу я вам, неосторожны». – Липпанченко протянул к узелку свои дубоватые пальцы; и блистали поддельные камни перстней на пальцах опухших, с обгрызанными ногтями (на ногтях же темнели следы коричневой красочки, соответствовавшей и такому же цвету волос; внимательный наблюдатель мог вывести заключение: особа-то красилась).

– «Ведь еще лишь движенье (положи я только локоть), ведь могла бы быть... катастрофа...»

И с особою бережливостью переложила особа узелочек на

стул.

– «Ну да, было бы с нами с обоими...» – неприятно сострил незнакомец. – «Были бы оба мы...»

Видимо, он наслаждался смущеньем особы, которую – от себя скажем мы – ненавидел он.

– «Я, конечно, не за себя, а за...»

– «Конечно, уж вы не за себя, а за...» – особе поддакивал незнакомец.

.....

А кругом раздавалось:

– «Свиньей не ругайтесь...»

– «Да я не ругаюсь».

– «Нет, ругаетесь: попрекаете, что платили... Что ж такой, что платили; уплатили тогда, нынче плачу – я...»

– «Давай-ка, друг мой, я тебя за ефтог твой поступок расцелую...»

– «За *свинью* не сердись: а я – ем, ем...»

– «Уж ешьте вы, ешьте: так-то правильной...»

.....

– «Вот-с Александр Иванович, вот-с что, родной мой, этот вы узелок», – Липпанченко покосился, – «снесете немедленно к Николаю Аполлоновичу».

– «Аблеухову?»

– «Да: к нему – на хранение».

– «Но позвольте: на хранении узелок может лежать у меня...»

– «Неудобно: вас могут схватить; там же будет в сохранности. Как-никак, дом сенатора Аблеухова... Кстати: слышали вы о последнем ответственном слове почтенного старичка?..»

Тут толстяк наклонившись зашептал что-то на ухо моему незнакомцу:

– «Шу-шу-шу...»

– «Аблеухова?»

– «Шу...».

– «Аблеухову?..»

– «Шу-шу-шу...»

– «С Аблеуховым?..»

– «Да, не с сенатором, а с сенаторским сыном: коли будете у него, так уж, сделайте милость, ему передайте заодно с узелком – это вот письмецо: тут вот...»

Прямо к лицу незнакомца приваливалась Липпанченки узколобая голова; в орбитах затаились пытливо сверлящие глазки; чуть вздрагивала губа и посасывала воздух. Незнакомец с черными усиками прислушивался к шептанию толстого господина, стараясь расслышать внимательно содержание шепота, заглушаемого ресторанными голосами; ресторанные голоса покрывали шепот Липпанченко; что-то чуть шелестело из отвратительных губок (будто шелест многих сот муравьиных членистых лапок над раскопанным муравейником) и казалось, что шепот тот имеет страшное содержание, будто шепчутся здесь о мирах и планетных системах; но

стоило вслушаться в шепот, как страшное содержание шепота оказывалось содержанием будничным:

– «Письмецо передайте...»

– «Как, разве Николай Аполлонович находится в особых сношениях?»

Особа прищурила глазки и прищелкнула язычком.

– «Я же думал, что все сношения с ним – через меня...»

– «А вот видите – нет...»

.....

Кругом раздавалось:

– «Ешь, ешь, друг...»

– «Отхвати-ка мне говяжьего студню».

– «В пище истина...»

– «Что есть истина?»

– «Истина – естина...»

– «Знаю сам...»

– «Коли знаешь, так ладно: подставляй тарелку и ешь...»

.....

Темно-желтая пара Липпанченки напомнила незнакомцу темно-желтый цвет обой его обиталища на Васильевском Острове – цвет, с которым связалась бессонница и весенних, белых, и сентябрьских, мрачных, ночей; и, должно быть, та злая бессонница вдруг в памяти ему вызвала одно роковое лицо с узкими, монгольскими глазками; то лицо на него многократно глядело с куска его желтых обой. Исследуя днем это место, незнакомец усматривал лишь сырое пятно, по кото-

рому проползала мокрица. Чтоб отвлечь себя от воспомина- ний об измучившей его галлюцинации, незнакомец мой за- курил, неожиданно для себя став болтливым:

– «Прислушайтесь к шуму...»

– «Да, изрядно шумят».

– «Звук шума на „и“, но слышится „ы“...»

Липпанченко, осовелый, погрузился в какую-то думу.

– «В звуке „ы“ слышится что-то тупое и склизкое... Или я ошибаюсь?..»

– «Нет, нет: несколько», – не слушая, Липпанченко про- бурчал и на миг оторвался от выкладок своей мысли...

– «Все слова на *еры* тривиальны до безобразия: не то «и»; «и-и-и» – голубой небосвод, мысль, кристалл; звук и-и-и вызывает во мне представление о загнутом клюве орли- ном; а слова на «*еры*» тривиальны; например: слово *рыба*; послушайте: р-ы-ы-ы-ба, то есть нечто с холодной кровью... И опять-таки м-ы-ы-ло: нечто склизкое; *глыбы* – бесформен- ное: тыл – место дебошей...»

Незнакомец мой прервал свою речь: Липпанченко сидел перед ним бесформенной *глыбою*; и *дым* от его папиросы осклизло обмыливал атмосферу: сидел Липпанченко в об- лаке; незнакомец мой на него посмотрел и подумал «тьфу, гадость – татарщина»... Перед ним сидело просто какое-то «Ы»...

С соседнего столика кто-то, икая, воскликнул:

– «Ерыкало ты, ерыкало!..»

– «Извините, Липпанченко: вы не монгол?»

– «Почему такой странный вопрос?..»

– «Так, мне показалось...»

– «Во всех русских ведь течет монгольская кровь...»

А к соседнему столику привалило толстое пузо; и с соседнего столика поднялось пузо навстречу...

– «Быкобойцу Анофриеву!..»

– «Почтение!»

– «Быкобойцу городских боен... Присаживайтесь...»

– «Половой!..»

– «Ну, как у вас?..»

– «Половой: поставь-ка „Сон Негра“...»

И трубы машины мычали во здравие быкобойца, как бык под ножом быкобойца.

## **Какой такой костюмер?**

Помещение Николая Аполлоновича состояло из комнат: спальни, рабочего кабинета, приемной.

Спальня: спальню огромная занимала кровать; красное, атласное одеяло ее покрывало – с кружевными накидками на пышно взбитых подушках.

Кабинет был уставлен дубовыми полками, туго набитыми книгами, пред которыми на медных колечках легко скользил шелк; заботливая рука то вовсе могла скрыть от взора содержимое полочек, то, наоборот, обнаружить ряды черных ко-

жанных корешков, испещренных надписями: «Кант».

Кабинетная мебель была темно-зеленой обивки; и прекрасен был бюст... разумеется, Канта же.

Два уже года Николай Аполлонович не поднимался раньше полудня. Два с половиною ж года пред тем пробуждался он ранее: пробуждался в девять часов, в половине десятого появляясь в мундире, застегнутом наглухо, для семейного распивания кофея.

Два с половиною года назад Николай Аполлонович не расхаживал по дому в бухарском халате; ермолка не украшала его восточную гостиную комнату; два с половиною года назад Анна Петровна, мать Николая Аполлоновича и супруга Аполлона Аполлоновича, окончательно покинула семейный очаг, вдохновленная итальянским артистом; после же бегства с артистом на паркетах домашнего остывающего очага Николай Аполлонович появился в бухарском халате: ежедневные встречи папаша с сынком за утренним кофеем как-то сами собою пресеклись. Кофе Николаю Аполлоновичу подавалось в постель.

И значительно ранее сына изволил откушивать кофе Аполлон Аполлонович.

Встречи папаша с сынком происходили лишь за обедом; да и то: на краткое время; между тем с утра на Николае Аполлоновиче стал появляться халат; завелись татарские туфельки, опушенные мехом; на голове же появилась ермолка.

И блестящий молодой человек превратился в восточного

человека.

Николай Аполлонович только что получил письмо; письмо с незнакомым почерком: какие-то жалкие вирши с любовно-революционным оттенком и с разительной подписью: «Пламенеющая душа». Желая для точности ознакомиться с содержанием виршей, Николай Аполлонович беспомощно заметался по комнате, разыскивая очки, перебирая книги, перья, ручки и прочие безделушки и бормоча сам с собою:

- «А-а... Где же очки?..»
- «Черт возьми...»
- «Потерял?»
- «Скажите, пожалуйста».
- «А?..»

Николай Аполлонович, так же как и Аполлон Аполлонович, сам с собой разговаривал.

Движения его были стремительны, как движения его высокопревосходительного папаши; так же, как и Аполлон Аполлонович, отличался он невзрачным росточком, беспокойным взглядом беспрестанно улыбавшегося лица; когда же он погружался в серьезное созерцание чего бы то ни было, то взгляд этот медленно окаменевал: сухо, четко и холодно выступали линии совершенно белого его лица, подобного иконописному, поражая особого рода благородством аристократизма: благородство в лице выявлял заметным образом лоб – точеный, с надутыми жилками: быстрая пульсация этих жилок явственно отмечала на лбу преждевремен-

ный склероз.

Синеватые жилки совпали с синевою вокруг громадных, будто бы подведенных глаз какого-то темно-василькового цвета (лишь в минуты волнений черными становились глаза от расширенности зрачков).

Николай Аполлонович был перед нами в татарской ермолке; но сними ее он, – предстала бы шапка бело-льняных волос, омягчая холодную эту, почти суровую внешность с напечатленным упрямством; трудно было встретить волосы такого оттенка у взрослого человека; часто встречается этот редкий для взрослого оттенок у крестьянских младенцев – особенно в Белоруссии.

Бросив небрежно письмо, Николай Аполлонович сел перед раскрытою книгою; и вчерашнее чтение отчетливо возникало пред ним (какой-то трактат). Вспомнилась и глава, и страница: припоминался и легко проведенный зигзаг округленного ногтя; ходы изгибные мыслей и свои пометки – карандашом на полях; лицо его теперь оживилось, оставаясь и строгим, и четким: одушевилось мыслью.

Здесь, в своей комнате, Николай Аполлонович воистину вырастал в предоставленный себе самому центр – в серию из центра истекающих логических предпосылок, предопределяющих мысль, душу и вот этот вот стол: он являлся здесь единственным центром вселенной, как мыслимой, так и не мыслимой, циклически протекающей во всех зонах времени.

Этот центр – умозаключал.

Но едва удалось Николаю Аполлоновичу сегодня отставить от себя житейские мелочи и пучину всяких невнятных, называемых миром и жизнью, и едва Николаю Аполлоновичу удалось взойти к себе самому, как невнятность опять ворвалась в мир Николая Аполлоновича; и в невнятности этой позорно увязло самосознание: так свободная муха, перебегающая по краю тарелки на шести своих лапках, безусловно вдруг увязает и лапкой, и крылышком в липкой гуще медовой.

Николай Аполлонович оторвался от книги: к нему постучали:

– «Ну?..»

– «Что такое?»

Из-за двери раздался глухой и почтительный голос.

– «Там-с...»

– «Вас спрашивают-с...»

Сосредоточиваясь в мысли, Николай Аполлонович запер на ключ свою рабочую комнату: тогда ему начинало казаться, что и он, и комната, и предметы той комнаты перевоплощались мгновенно из предметов реального мира в умопостигаемые символы чисто логических построений; комнатное пространство смешивалось с его потерявшим чувствительность телом в общий бытийственный хаос, называемый им *вселенной*; а сознание Николая Аполлоновича, отделясь от тела, непосредственно соединялось с электрической лампочкой письменного стола, называемой «*солнцем сознания*».

ния». Запершись на ключ и продумывая положения своей шаг за шагом возводимой к единству системы, он чувствовал тело свое пролитым во *«вселенную»*, то есть в комнату; голова же *этого тела* смещалась в головку пузатенького стекла электрической лампы под кокетливым абажуром.

И сместив себя так, Николай Аполлонович становился воистину творческим существом.

Вот почему он любил запираяться: голос, шорох или шаг постороннего человека, превращая *вселенную* в комнату, а *сознание* – в лампу, разбивал в Николае Аполлоновиче прихотливый строй мыслей.

Так и теперь.

– «Что такое?»

– «Не слышу...»

Но из дали пространств отвечивал голос лакея:

«Там пришел человек».

.....

Тут лицо Николая Аполлоновича приняло вдруг довольное выражение:

– «А, так это от костюмера: костюмер принес мне костюм...»

Какой такой костюмер?

Николай Аполлонович, подобравши полу халата, зашагал по направлению к выходу; у лестничной балюстрады Николай Аполлонович перегнулся и крикнул:

– «Это – вы?...»

– «Костюмер?»

– «От костюмера?»

– «Костюмер прислал мне костюм?»

И опять повторим от себя: какой такой костюмер?

.....

В комнате Николая Аполлоновича появилась кардонка, Николай Аполлонович запер двери на ключ; суетливо он разрезал бечевку; и приподнял он крышку; далее, вытащил из кардонки: сперва масочку с черною кружевной бородой, а за масочкой вытащил Николай Аполлонович пышное ярко-красное домино, зашуршавшее складками.

Скоро он стоял перед зеркалом – весь атласный и красный, приподняв над лицом миниатюрную масочку; черное кружево бороды, отвернувшись, упало на плечи, образуя справа и слева по причудливому, фантастическому крылу; и из черного кружева крыльев из полусумрака комнаты в зеркале на него поглядело мучительно-странно – то, само: лицо – его, самого; вы сказали бы, что там в зеркале на себя самого не глядел Николай Аполлонович, а неведомый, тоскующий – демон пространства.

После этого маскарада Николай Аполлонович с чрезвычайно довольным лицом убрал обратно в кардонку сперва красное домино, а за ним и черную масочку.

## Мокрая осень

Мокрая осень летела над Петербургом; и невесело так мерцал сентябрёвский денек.

Зеленоватым роем проносились там облачные клоки; они сгущались в желтоватый дым, припадающий к крышам угрозой. Зеленоватый рой поднимался безостановочно над безысходною далью невских просторов; темная водная глубина сталью своих чешуй билась в граниты; в зеленоватый рой убежал шпиц... с петербургской стороны.

Описав в небе траурную дугу, темная полоса копоты высоко встала от труб паровых; и хвостом упала в Неву.

И бурлила Нева, и кричала отчаянно там свистком загудевшего пароводяка, разбивала свои водяные, стальные щиты о каменные быки; и лизала граниты; натиском холодных невских ветров срывала она картузы, зонты, плащи и фуражки. И повсюду в воздухе взвесилась бледно-серая гниль; и оттуда, в Неву, в бледно-серую гниль, мокрое изваяние Всадника со скалы все так же кидало тяжелую позеленевшую медь.

И на этом мрачнейшем фоне хвостатой и виснувшей копоты над сырыми камнями набережных перил, устремляя глаза в зараженную бациллами мутную невскую воду, так отчетливо вылепился силуэт Николая Аполлоновича в серой николаевской шинели и в студенческой на бок надетой фу-

ражке. Медленно подвигался Николай Аполлонович к серому, темному мосту, не улыбался, представляя собой довольно смешную фигуру: запахнувшись в шинель, он казался сутулым и каким-то безруким с пренелепо плясавшим по ветру шинельным крылом.

У большого черного моста остановился он.

Неприятная улыбка на мгновение вспыхнула на лице его и угасла; воспоминанья о неудачной любви охватили его, хлынувши натиском холодного ветра; Николай Аполлонович вспомнил одну туманную ночь; тою ночью он перегнулся через перила; обернулся и увидел, что никого нет; приподнял ногу; и резиновой гладкой калошей занес ее над перилами, да... так и остался: с приподнятою ногой; казалось бы, дальше должны были и воспоследовать следствия; но... Николай Аполлонович продолжал стоять с приподнятою ногой. Через несколько мгновений Николай Аполлонович опустил свою ногу.

Вот тогда-то созрел у него необдуманый план: дать ужасное обещание одной легкомысленной партии.

Вспоминая теперь этот свой неудачный поступок, Николай Аполлонович неприятнейшим образом улыбался, представляя собой довольно смешную фигуру: запахнувшись в шинель, он казался сутулым и каким-то безруким с заплясавшим по ветру длинным, шинельным крылом; с таким видом свернул он на Невский; начинало смеркаться; кое-где в витрине поблескивал огонек.

– «Красавец», – постоянно слышалось вокруг Николая Аполлоновича...

– «Античная маска...»

– «Аполлон Бельведерский».

– «Красавец...»

Встречные дамы по всей вероятности так говорили о нем.

– «Эта бледность лица...»

– «Этот мраморный профиль...»

– «Божественно...»

Встречные дамы, по всей вероятности, так говорили друг другу.

Но если бы Николай Аполлонович с дамами пожелал вступить в разговор, про себя сказали бы дамы:

– «Уродище...»

Где с подъезда насмешливо полагают лапу на серую гранитную лапу два меланхолических льва, – там, у этого места, Николай Аполлонович остановился и удивился, пред собою увидевши спину прохожего офицера; путаясь в полах шинели, он стал нагонять офицера:

– «Сергей Сергеевич?»

Офицер (высокий блондин с остроконечной бородкою) обернулся и с тенью досады смотрел выжидательно сквозь синие очковые стекла, как, путаясь в полах шинели, косолапо к нему повлеклась студенческая фигурка от знакомого места, где с подъезда насмешливо полагают лапу на лапу два меланхолических льва с гладкими гранитными гривами.

На мгновение будто какая-то мысль осенила лицо офицера; по выражению дрогнувших губ можно было бы подумать, что офицер волновался; будто он колебался: *узнать* ему или *нет*.

– «А... здравствуйте... Вы куда?»

– «Мне на Пантелеймоновскую», – солгал Николай Аполлонович, чтоб пройти с офицером по Мойке.

– «Пойдемте, пожалуй...»

– «Вы куда?» – вторично солгал Николай Аполлонович, чтоб пройти с офицером по Мойке.

– «Я – домой».

– «Стало быть, по пути».

Между окнами желтого, казенного здания над обоими повисали ряды каменных львиных морд; каждая морда висела над гербом, оплетенным гирляндой из камня.

Точно стараясь не касаться какого-то тяжелого прошлого, оба они, перебивая друг друга, озабоченно заговорили друг с другом: о погоде, о том, что волнения последних недель отразились на философской работе Николая Аполлоновича, о плутнях, обнаруженных офицером в провиантской комиссии (офицер заведовал, где-то там, провиантом).

Между окнами желтого, казенного здания над обоими повисали ряды каменных морд; каждая висла над гербом, оплетенным гирляндою.

Так проговорили они всю дорогу.

И вот уже – Мойка: то же светлое, трехэтажное пятико-

лонное здание александровской эпохи; и та же все полоса орнаментной лепки над вторым этажом: круг за кругом; в круге же римская каска на перекрещенных мечях. Они миновали уж здание; вон за зданием – дом; и вон – окна... Офицер остановился у дома и отчего-то вдруг вспыхнул; и вспыхнув, сказал:

– «Ну, прощайте... вам дальше?..»

Сердце Николая Аполлоновича усиленно застучало; что-то спросить собирался он; и – нет: не спросил; он теперь стоял одиноко перед захлопнутой дверью; воспоминанья о неудачной любви, верней – чувственного влечения, – воспоминания эти охватили его; и сильнее забились синеватые, височные жилки; он теперь обдумывал свою месть: надругательство над чувствами его оскорбившей особы, проживающей в этом подъезде; он обдумывал свою месть вот уж около месяца; и – пока об этом ни слова!

То же светлое, пятиколонное здание с полосой орнаментной лепки: круг за кругом; в круге же римская каска на перекрещенных мечях...

.....

Огненным мороком вечером залит проспект. Ровно высятся яблоки электрических светов посередине. По бокам же играет переменный блеск вывесок; здесь, здесь и здесь вспыхнут вдруг рубины огней; вспыхнут там – изумруды. Мгновение: там – рубины; изумруды же – здесь, здесь и здесь.

Огненным мороком вечером залит Невский. И горят бриллиантовым светом стены многих домов: ярко искрятся из алмазов сложенные слова: «*Кофейня*», «*Фарс*», «*Бриллианты Тэта*», «*Часы Омега*». Зеленоватая днем, а теперь лучезарная, разевает на Невский витрина свою огненную пасть; всюду десятки, сотни адских огненных пастей: эти пасти мучительно извергают на плиты ярко-белый свой свет; мутную мокроту изрыгают они огневою ржавчиной. И огнем изгрызан проспект. Белый блеск падает на котелки, на цилиндры, на перья; белый блеск ринется далее, к середине проспекта, отпихнув с тротуара вечернюю темноту: а вечерняя мокрота растворится над Невским в блистаниях, образуя тусклую желтовато-кровавую муть, смешанную из крови и грязи. Так из финских болот город тебе покажет место своей безумной оседлости красным, красным пятном: и пятно то беззвучно издали зрится на темноцветной на ночи. Странствуя вдоль необъятной родины нашей, издали ты увидишь красной крови пятно, вставшее в темноцветную ночь; ты испуганно скажешь: «Не есть ли там местонахождение гееннского пекла?» Скажешь, – и вдаль поплетешься: ты гееннское место постараешься обойти.

Но если бы ты, безумец, дерзнул пойти навстречу Геенне, ярко-кровавый, издали тебя ужаснувший блеск медленно растворился бы в белесоватую, не вовсе чистую светлость, многоогневыми обстал бы домами, – и только: наконец распался бы на многое множество огоньков.

Никакой Геенны и не было б.

.....

Николай Аполлонович Невского не видал, в глазах его был тот же все домик: окна, тени за окнами; за окнами, может быть, веселые голоса: желтого кирасира, барона Оммау-Оммергау; синего кирасира, графа Авена и ее – ее голос... Вот, сидит Сергей Сергеич, офицер, и вставляет, быть может, в веселые шутки:

– «А я шел сейчас с Николаем Аполлоновичем Аблеуховым...»

## **Аполлон Аполлонович вспомнил**

Да, Аполлон Аполлонович вспомнил: недавно услышал он про себя одну беззлобную шутку. Говорили чиновники:

– «Наш Нетопырь (прозвище Аполлона Аполлоновича в Учреждении), пожимая руки просителям, поступает совсем не по типу чиновников Гоголя; пожимая руки просителям, не берет гаммы рукопожатий от совершенного презрения, чрез невнимание, к непризнанию вовсе: от коллежского регистратора к статскому...»

И на это заметили:

– «Он берет всего одну ноту: презрения...»

Тут вмешались заступники:

– «Господа, оставьте пожалуйста: это – от геморроя...»

И все согласились.

Дверь распахнулась: вошел Аполлон Аполлонович. Шутка испуганно оборвалась (так юркий мышонок влетает стремительно в щелку, едва войдете вы в комнату). Но Аполлон Аполлонович не обижался на шутки; да и, кроме того, тут была доля истины: геморроем страдал он.

Аполлон Аполлонович подошел к окну; две детские головки в окнах там стоящего дома увидели против себя за стеклом там стоящего дома лицевое пятно неизвестного старичка.

И головки там в окнах пропали.

.....

Здесь, в кабинете высокого Учреждения, Аполлон Аполлонович воистину вырастал в некий центр: в серию государственных учреждений, кабинетов и зеленых столов (только более скромно обставленных). Здесь он являлся силовой излучающей точкою, пересечением сил и импульсом многочисленных, многосоставных манипуляций. Здесь Аполлон Аполлонович был силой в ньютоновском смысле; а сила в ньютоновском смысле, как, верно, неведомо вам, есть оккультная сила.

Здесь был он последней инстанцией – донесений, прошений и телеграмм.

Инстанцию эту в государственном организме он относил не к себе: к заключенному в себе центру – к сознанию.

Здесь сознание отделялось от доблестной личности, проливаясь вокруг между стен, проясняясь невероятно, концен-

трируясь со столь большой силой в единственной точке (меж глазами и лбом), что казалось, невидимый, беленький огонек, вспыхнувши между глазами и лбом, разбрасывал вокруг снопы змеевидных молний; мысли-молнии разлетались, как змеи, от лысой его головы; и если бы ясновидящий стал в ту минуту пред лицом почтенного мужа, без сомнения пред собой он увидел бы голову Горгоны медузы.

И медузиным ужасом охватил бы его Аполлон Аполлонович.

Здесь сознание отделялось от доблестной личности: личность же с пучиною всевозможных волнений (сего побочного следствия существованья души) представлялась сенатору как черепная коробка, как пустой, в данную минуту опорожненный, футляр.

В Учреждении Аполлон Аполлонович проводил часы за просмотром бумажного производства: из воссиявшего центра (меж глазами и лбом) вылетали все циркуляры к начальникам подведомственных учреждений. И поскольку он, вот из этого кресла, сознанием пересекал свою жизнь, постольку же его циркуляры, из этого места, секли в прямолинейном течении чреполосицу обывательской жизни.

Эту жизнь Аполлон Аполлонович сравнивал с половой, растительной или всякой иною потребностью (например, с потребностью в скорой езде по петербургским проспектам).

Выходя из холодом пронизанных стен, Аполлон Аполлонович становился вдруг обывателем.

Лишь отсюда он возвышался и безумно парил над Россией, вызывая у недругов роковое сравнение (с нетопырем). Эти недруги были – все до единого – обыватели; этим недругом за стенами был он себе сам.

Аполлон Аполлонович был сегодня особенно четок: на доклад не кивнула ни разу его голая голова; Аполлон Аполлонович боялся выказать слабость: при исправлении служебных обязанностей!.. Возвыситься до логической ясности было ему сегодня особенно трудно: бог весть почему, Аполлон Аполлонович пришел к заключению, что собственный его сын, Николай Аполлонович, – отъявленный негодяй.

.....

Окно позволяло видеть нижнюю часть балкона. Подойдя к окну, можно было видеть кариатиду подъезда: каменного бородача.

Как Аполлон Аполлонович, каменный бородач приподымался над уличным шумом и над временем года: тысяча восемьсот двенадцатый год освободил его из лесов. Тысяча восемьсот двадцать пятый год бушевал под ним толпами; проходила толпа и теперь – в девятьсот пятом году. Пять уже лет Аполлон Аполлонович ежедневно видит отсюда в камне изваянную улыбку; времени зуб изгрызает ее. За пять лет пролетели события: Анна Петровна – в Испании; Вячеслава Константиновича – нет; желтая пята дерзновенно взошла на гряды высот порт-артурских; проволновался Китай и пал Порт-Артур.

Собираясь выйти к толпе ожидавших просителей, Аполлон Аполлонович улыбался; улыбка же происходила от радости: что-то ждет его за дверьми.

Аполлон Аполлонович проводил свою жизнь меж двумя письменными столами: между столом кабинета и столом Учреждения. Третьим излюбленным местом была сенаторская карета.

И вот: он – робел.

А уж дверь отворилась; секретарь, молодой человек, с либерально как-то на шейном крахмале бьющимся орденом подлетел к высокой особе, почтительно щелкнувши перекрахмаленным краем белоснежной манжетки. И на робкий вопрос его загудел Аполлон Аполлонович:

– «Нет, нет!.. Сделайте, как я говорил... И знаешь ли», – сказал Аполлон Аполлонович, остановился, поправился:

– «Ти ли...»

Он хотел сказать «знаете ли», но вышло: «знаешь ли... ти ли...»

О его рассеянности ходили легенды; однажды Аполлон Аполлонович явился на высокий прием, представьте, – без галстука; остановленный дворцовым лакеем, он пришел в величайшее смущение, из которого его вывел лакей, предложивши у него заимствовать галстук.

## Холодные пальцы

Аполлон Аполлонович Аблеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре, с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выбежал из кареты и вбежал на ступени подъезда, на ходу снимая черную замшевую перчатку.

Быстро вошел он в переднюю. Цилиндр с осторожностью передался лакею. С тою же осторожностью отдались: пальто, портфель и кашне.

Аполлон Аполлонович в раздумье стоял пред лакеем; вдруг Аполлон Аполлонович обратился с вопросом:

– «Будьте любезны сказать: часто ли здесь бывает молодой человек – да: молодой человек?»

– «Молодой человек-с?»

Наступило неловкое молчание: Аполлон Аполлонович не умел иначе формулировать свою мысль. А лакей, конечно, не мог догадаться, о каком молодом человеке спрашивал барин.

– «Молодые люди бывают, вашество, редко-с...»

– «Ну, а... молодые люди с усиками?»

– «С усиками-с?»

– «С черными...»

– «С черными-с?»

– «Ну да, и... в пальто...»

– «Все приходят-с в пальто...»

– «Да, но с поднятым воротником...»

Что-то вдруг осенило швейцара.

– «А, так это вы про того, который...»

– «Ну да: про него...»

– «Был однажды такой-с... заходил к молодому барину: только они были уж давненько; как же-с... наведываются...»

– «Как так?»

– «Да как же-с!»

– «С усиками?»

– «Точно так-с!»

– «Черными?»

– «С черными усиками...»

– «И в пальто с поднятым воротником?»

– «Они самые-с...»

Аполлон Аполлонович постоял с минуту как вкопанный и вдруг: Аполлон Аполлонович прошел мимо.

Лестницу покрывал бархатный серый ковер; лестницу обрамляли, конечно, тяжелые стены; бархатный серый ковер покрывал стены те. На стенах разблестался орнамент из старинных оружий; а под ржаво-зеленым щитом блистала своим шишаком литовская шапка; искрилась крестообразная рукоять рыцарского меча; здесь ржавели мечи; там – тяжело склоненные алебарды; матово стены пестрила многокольчатая броня; и клонились – пистоль с шестопером.

Верх лестницы выводил к балюстраде; здесь с матовой подставки из белого алебаstra белая Ниобей поднимала горе алебастровые глаза.

Аполлон Аполлонович четко распахнул перед собою дверь, опираясь костлявой рукой о граненую ручку: по громадной зале, непомерно вытянутой в длину, раздавалась холодно поступь тяжелого шага.

## Так бывает всегда

Над пустыми петербургскими улицами пролетали едва озаренные смутности; обрывки туч перегоняли друг друга.

Какое-то фосфорическое пятно и туманно, и мертвенно проносилось по небу; фосфорическим блеском протуманилась высь; и от этого проблистали железные крыши и трубы. Протекали тут зеленые воды Мойки; по одной ее стороне то же высилось все трехэтажное здание о пяти своих белых колоннах; наверху были выступы. Там, на светлом фоне светлого здания, медленно проходил Ее Величества кирасир; у него была золотая, блиставшая каска.

И серебряный голубь над каской распростер свои крылья.

Николай Аполлонович, надушенный и выбритый, пробирался по Мойке, запахнувшись в меха; голова упала в шинель, а глаза как-то чудно светились; в душе – поднимались там трепеты без названья; что-то жуткое, сладкое пело там: словно в нем самом разлетелся на части буревой эолов мешок и сыны нездешних порывов на свистящих бичах в странные, в непонятные страны угоняли жестоко.

Думал он: неужели и *это* – любовь? Вспомнил он: в одну

туманную ночь, выбегая стремительно из того вон подъезда, он пустился бежать к чугунному петербургскому мосту, чтобы там, на мосту...

Вздрогнул он.

Пролетел снап огня: придворная, черная пролетела карета: пронесла мимо светлых впадин оконных *того самого* дома ярко-красные свои, будто кровью налитые, фонари; на струе черной мойской фонари проиграли и проблистали; призрачный абрис треуголки лакея и абрис шинельных крыльев пролетели с огнем из тумана в туман.

Николай Аполлонович постоял перед домом задумчиво: колотилось сердце в груди; постоял, постоял – и неожиданно скрылся он в знакомом подъезде.

В прежние времена он сюда входил каждый вечер; а теперь здесь он два с лишним месяца не переступал порога; и переступил, будто вор, он – теперь. В прежние времена ему девушка в белом переднике дверь открывала радушно; говорила:

– «Здравствуйте, барин», – с лукавой улыбкою.

А теперь? Ему не выйдут навстречу; позвони он, та же девушка на него испуганно заморгает глазами и «здравствуйте, барин» не скажет; нет, звониться не станет он.

Для чего же он здесь?

Подъездная дверь перед ним распахнулась; и подъездная дверь звуком ударилась в спину; тьма объяла его; точно все за ним отвалилось (так, вероятно, бывает в первый миг по-

сле смерти, как с души в бездну тления рухнет храм тела); но о смерти теперь Николай Аполлонович не подумал – смерть была далека; в темноте, видно, думал он о собственных жестах, потому что действия его в темноте приняли фантастический отпечаток; на холодной ступени уселся он у одной входной двери, опустив лицо в мех и слушая биение сердца; некая черная пустота начиналась у него за спиною; черная пустота была впереди.

Так Николай Аполлонович сидел в темноте.

.....

А пока он сидел, так же все открывалась Нева меж Александровской площадью и Миллионной; каменный перегиб Зимней Канавки показал плаксивый простор; Нева оттуда бросалась натиском мокрого ветра; вод ее замерцали беззвучно летящие плоскости, яростно отдавая в туман бледный блеск. Гладкие стены четырехэтажного дворцового бока, испещренного линиями, язвительно проблестали луной.

Никого, ничего.

Так же все канал выструивал здесь в Неву холерную воду; перегнулся тот же и мостик; так же все выбегала на мостик еженощная женская тень, чтоб – низвергнуться в реку?.. Тень Лизы? Нет, не Лизы, а просто, так себе, – петербуржки; петербуржка выбегала сюда, не бросалась в Неву: пересекши Канавку, она убегала поспешно от какого-то желтого дома на Гагаринской набережной, под которым она каждый вечер стояла и долго глядела в окно.

Тихий плеск остался у нее за спиной: спереди ширилась площадь; бесконечные статуи, зеленоватые, бронзовые, пооткрывались отовсюду над темно-красными стенами; Геркулес с Посейдоном так же в ночь дозирали просторы; за Невой темная вставала громада – абрисами островов и домов; и бросала грустно янтарные очи в туман; и казалось, что плачет; ряд береговых фонарей уронил огневые слезы в Неву; прожигалась поверхность ее закипевшими блесками.

Выше – горестно простирали по небу клочкастые руки какие-то смутные очертания; рой за роем они восходили над невской волной, угоняясь к зениту; а когда они касались зенита, то, стремительно нападаая, с неба кидалось на них фосфорическое пятно. Только в одном, хаосом не тронутом месте, – там, где днем перекинулся тяжелокаменный мост, – бриллиантов огромные гнезда протуманились странно там.

Женская тень, уткнув лицо в муфточку, пробежала вдоль Мойки все к тому же подъезду, откуда она выбежала по вечерам и где теперь на холодной ступеньке, под дверью, сидел Николай Аполлонович; подъездная дверь перед ней отворилась; подъездная дверь за нею захлопнулась; тьма объяла ее; точно все за ней отвалилось; черная дамочка помышляла в подъезде о таком все простом и земном; вот сейчас прикажет поставить она самоварчик; руку она уже протянула к звонку, и – тогда-то увидела: какое-то очертание, кажется маска, поднялось перед ней со ступени.

А когда открылась дверь и подъездную темноту озарил на

мгновение из двери сноп света, то восклицание перепуганной горничной подтвердило ей все, потому что в открытой двери сперва показался передник и перекрахмаленный чепчик; а потом отшатнулись от двери – и передник, и чепчик. В световой яркой вспышке открылась картина неопишуемой странности, и черное очертание дамочки бросилось в открытую дверь.

У нее ж за спиною, из мрака, восстал шелестящий, темно-багровый паяц с борогатою, трясущейся масочкой.

Было видно из мрака, как беззвучно и медленно с плеч, шуршащих атласом, повалили меха николаевки, как две красных руки томительно протянулись к двери. Тут, конечно, закрылась дверь, перерезав сноп света и кидая обратно подъездную лестницу в совершенную пустоту, темноту: переступая смертный порог, так обратно кидаем мы тело в потемневшую и только что светом сиявшую бездну.

.....

Через секунду на улицу выскочил Николай Аполлонович; из-под полы шинели у него болтался кусок красного шелка; нос уткнув в николаевку, Николай Аполлонович Аблеухов помчался по направлению к мосту.

.....

Петербург, Петербург!

Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздную мозговую игрой: ты – мучитель жестокосердый; ты – непокойный призрак; ты, бывало, года на меня нападал; бегал я

на твоих ужасных проспектах и с разбега взлетал на чугунный тот мост, начинавшийся с края земного, чтоб вести в бескрайнюю даль; за Невой, в потусветной, зеленой там дали – повосстали призраки островов и домов, обольщая тщетной надеждою, что тот край есть действительность и что он – не воющая бескрайность, которая выгоняет на петербургскую улицу бледный дым облаков.

От островов тащатся непокойные тени; так рой видений повторяется, отраженный проспектами, прогоняясь в проспектах, отраженных друг в друге, как зеркало в зеркале, где и самое мгновение времени расширяется в необъятности эонов: и бредя от подъезда к подъезду, переживаешь века.

О, большой, электричеством блещущий мост!

Помню я одно роковое мгновенье; чрез твои сырые перила сентябрёвскою ночью перегнулся и я: миг, – и тело мое пролетело б в туманы.

О, зеленые, кишасщие бациллами воды!

Еще миг, обернули б вы и меня в свою тень. Непокойная тень, сохраняя вид обывателя, двусмысленно замаячила б в сквозняке сырого канальца; за своими плечами прохожий бы видел: котелок, трость, пальто, уши, нос и усы...

Проходил бы он далее... до чугунного моста.

На чугунном мосту обернулся бы он; и он ничего не увидел бы: над сырыми перилами, над кишасщей бациллами зеленоватой водой пролетели бы лишь в сквозняки приневского ветра – котелок, трость, уши, нос и усы.

## Ты его не забудешь вовек!

Мы увидели в этой главе сенатора Аблеухова; увидели мы и праздные мысли сенатора в виде дома сенатора, в виде сына сенатора, тоже носящего в голове свои праздные мысли; видели мы, наконец, еще праздную тень – незнакомца.

Эта тень случайно возникла в сознании сенатора Аблеухова, получила там свое эфемерное бытие; но сознание Аполлона Аполлоновича есть теневое сознание, потому что и он – обладатель эфемерного бытия и порождение фантазии автора: ненужная, праздная, мозговая игра.

Автор, развесив картины иллюзий, должен бы был поскорей их убрать, обрывая нить повествования хотя бы этой вот фразой; но... автор так не поступит: на это у него есть достаточно прав.

Мозговая игра – только маска; под этою маскою совершается вторжение в мозг неизвестных нам сил: и пусть Аполлон Аполлонович соткан из нашего мозга, он сумеет все-таки напугать иным, потрясающим бытием, нападающим ночью. Атрибутами этого бытия наделен Аполлон Аполлонович; атрибутами этого бытия наделена вся его мозговая игра.

Раз мозг его разыгрался таинственным незнакомцем, незнакомец тот – есть, действительно есть: не исчезнет он с петербургских проспектов, пока существует сенатор с подобными мыслями, потому что и мысль – существует.

И да будет наш незнакомец – незнакомец реальный! И да будут две тени моего незнакомца реальными тенями!

Будут, будут те темные тени следовать по пятам незнакомца, как и сам незнакомец непосредственно следует за сенатором; будет, будет престарелый сенатор гнаться и за тобою, читатель, в своей черной карете: и его отныне ты не забудешь вовек!

*Конец первой главы*

# Глава вторая, в которой повествуется о некоем свидании, чреватом последствиями

*Я сам, хоть в книжках и словесно,  
Собратья надо мной трунят,  
Я мецанин, как вам известно,  
И в этом смысле демократ.*

*А. Пушкин*

## Дневник происшествий

Наши почтенные граждане не читают газетный «Дневник происшествий»; в октябре тысяча девятьсот пятого года «Дневник происшествий» не читали и вовсе; наши почтенные граждане, верно, читали передовицы «Товарища», если только не состояли они подписчиками самоновейших, громоносных газет; эти последние вели дневник иных происшествий.

Все же прочие истинно русские обыватели, как ни в чем не бывало бросались к «Дневнику происшествий»; к «Дневнику» бросился и я; и читая этот «Дневник», я прекрасно осведомлен. Ну, кто, в самом деле, прочитывал все сообщения о

кражах, о ведьмах, о духах в упомянутом девятьсот пятом году? Все, конечно, читали передовицы. Сообщения, здесь изложенного, вероятно, не вспомнит никто.

Это – быль... Вот газетные вырезки того времени (автор будет молчать): наряду с извещением о кражах, насилии, похищении бриллиантов и пропаже какого-то литератора (Дарьяльского, кажется) вместе с бриллиантами на почтенную сумму из провинциального городка, мы имеем ряд интересных известий – сплошную фантастику, что ли, от которых закружится голова любого читателя Конан-Дойля. Словом – вот газетные вырезки.

*«Дневник происшествий».*

*«Первое октября.* Со слов курсистки высших фельдшерских курсов Н. Н. мы печатаем об одном чрезвычайно загадочном происшествии. Поздно вечером первого октября проходила курсистка Н. Н. у Чернышева Моста. Там, у моста, курсистка Н. Н. заметила очень странное зрелище: над самым каналом у перил моста среди ночи плясало красное атласное домино; на лице у красного домино была черная кружевная маска».

*«Второе октября.* Со слов школьной учительницы М. М. извещаем почтенную публику о загадочном происшествии близ одной из пригородных школ. Школьная учительница М. М. давала утренний свой урок в О. О. городской школе; школа окнами выходила на улицу; вдруг в окне закружился с неистовой силою пыльный столб, и учительница М. М. вме-

сте с резвою детворою, естественно, бросилась к окнам О. О. городской школы; каково же было смущение класса вместе с классной наставницей, когда красное домино, находясь в центре им подымаемой пыли, подбежало к окнам О. О. городской школы и прикикло черною кружевною маской к окну? В О. О. земской школе занятия прекратились...»

*«Третье октября.* На спиритическом сеансе, состоявшемся в квартире уважаемой баронессы К. К., дружно собравшиеся спириты составили спиритическую цепь: но едва составили они цепь, как среди цепи обнаружилось домино и коснулось в пляске складками мантии кончика носа титулярного советника С. Врач Г-усской больницы констатировал на носу титулярного советника С. сильнейший ожог: кончик носа, по слухам, покроют лиловые пятна. Словом, всюду – красное домино».

Наконец: *«Четвертое октября.* Население слободы И. единодушно бежало пред явлением домино: составляется ряд протестов; в слободу вызвана У-сская сотня казаков».

Домино, домино – в чем же сила? Кто курсистка Н. Н., кто такое М. М., наставница класса, баронесса К. К. и так далее?.. В девятьсот пятом году вы, конечно, читатель, не читывали *«Дневника происшествий»*. Так вините ж себя, а не автора: а *«Дневник происшествий»*, поверьте, забежал в библиотеку.

Что такое газетный сотрудник? Он, во-первых, есть деятель периодической прессы; и как деятель прессы (шестой

части света) получает он за строку – пятак, семь копеечек, гривенник, пятиалтынник, двугривенный, сообщая в строке все, что есть и чего никогда не бывало. Если бы сложить газетные строки любого газетного деятеля, то единая, из строк сложенная строка обвила б земной глобус тем, что было, и тем, чего не было.

Таковы почтенные свойства большинства газетных сотрудников крайних правых, правых, средних, умеренных либеральных, наконец, революционных газет совокупно с исчислением их количества, качества – этими почтенными свойствами открывается просто так ключ к истине тысяча девятьсот пятого года, – истине «*Дневника происшествий*» под рубрикой «*Красное Домино*». Вот в чем дело: один почтенный сотрудник несомненно почтенной газеты, получая пятак, вдруг решил использовать один факт, рассказанный в одном доме; в этом доме хозяйкою была дама. Дело, стало быть, не в почтенном сотруднике, получающем за строку; дело, стало быть, в даме...

Кто же дама?

Так с нее и начнем.

Дама: гм! и хорошенькая... Что есть дама?

Дамских свойств не открыл хиромант; сиротливо стоит хиромант пред загадкою, озаглавленной «д а м а»: в таком случае, как за эту загадку приняться психологу, или – фи! – как приняться писателю? Загадка усугубится, если дама – молоденькая, если про нее говорят, что она хороша.

Так вот: была одна дама; и она от скуки посещала женские курсы; и еще от скуки она иногда по утрам замещала учительницу в О. О. городской школе, если только вечером не была она в спиритическом кружке в вакантные от балов дни; нечего говорить, что курсистка N. N., и M. M. (наставница класса), и K. K. (баронесса спиритка) была только дама: и дама хорошенькая. У нее-то почтенный газетный сотрудник просиживал вечера.

Эта дама однажды, смеясь, ему сообщила, что какое-то красное домино повстречалось с ней только что в неосвященном подъезде. Так попало невинное признание хорошенькой дамы на столбцы газет под рубрикой *«Дневник происшествий»*. И попав в *«Дневник происшествий»*, расплелось в серию никогда не бывших событий, угрожавших спокойствию.

Что же было? Даже и сплетенный дым поднимается от огня. Что же было огнем этих дымов почтенной газеты, о которых прочла вся Россия и которых, к стыду, не прочел, наверное, ты?

## **Софья Петровна Лихутина**

Та дама... Но той дамой была Софья Петровна; ей придется нам тотчас же уделить много слов.

Софья Петровна Лихутина отличалась, пожалуй, чрезмерной растительностью: и она была как-то необычайно гиб-

ка: если Софья Петровна Лихутина распустила б черные свои волосы, эти черные волосы, покрывая весь стан, упали б до икр; и Софья Петровна Лихутина, говоря откровенно, просто не знала, что делать ей с этими волосами своими, столь черными, что, пожалуй, черней не было и предмета; от чрезмерности ли волос, или от их черноты – только, только: над губками Софьи Петровны обозначался пушок, угрожавший ей к старости настоящими усиками. Софья Петровна Лихутина обладала необычайным цветом лица; цвет этот был – просто жемчужный цвет, отличавшийся белизной яблочных лепестков, а то – нежною розоватостью; если же что-либо неожиданно волновало Софью Петровну, вдруг она становилась совершенно пунцовой.

Глазки Софьи Петровны Лихутиной не были глазками, а были глазами: если б я не боялся впасть в прозаический тон, я бы назвал глазки Софьи Петровны не глазами – глазищами темного, синего – темно-синего цвета (назовем их очами). Эти очи то искрились, то мутнели, то казались тупыми, какими-то выцветшими, углубленными в провалившихся орбитах, синевато-зловещих: и косили. Ярко-красные губы ее были слишком большими губами, но... зубки (ах, зубки!): жемчужные зубки! И при том – детский смех... Этот смех придавал оттопыренным губкам какую-то прелесть; и какую-то прелесть придавал гибкий стан; и опять-таки гибкий чрезмерно: все движения этого стана и какой-то нервной спины то стремительны были, то вялы – неуклюжи до безобразия.

Одевалась Софья Петровна в черное шерстяное платье с застежкой на спине, облекавшее ее *роскошные формы*; если я говорю *роскошные формы*, это значит, что словарь мой итссяк, что банальное слово «*роскошные формы*» обозначает для Софьи Петровны как-никак, а угрозу: преждевременную полноту к тридцати годам. Но Софье Петровне Лихутиной было двадцать три года.

Ах, Софья Петровна!

Софья Петровна Лихутина проживала в маленькой квартирке, выходящей на Мойку; там со стен отовсюду упали каскады самых ярких, неутомонных цветов: ярко-огненных – там и здесь – поднебесных. На стенах японские веера, кружева, подвесочки, банты, а на лампах: атласные абажуры разведали атласные и бумажные крылья, будто бабочки тропических стран; и казалось, что рой этих бабочек, вдруг слетевши со стен, порасплещется поднебесными крыльями вокруг Софьи Петровны Лихутиной (знакомые офицеры ее называли ангел Пери, вероятно слив два понятия «*Ангел*» и «*Пери*» просто в одно: ангел Пери)».

Софья Петровна Лихутина на стенах поразвесила японские пейзажи, изображавшие вид горы Фузи-Ямы, – все до единого; в развешанных пейзажиках вовсе не было перспективы; но и в комнатках, туго набитых креслами, софами, пуфами, веерами и живыми японскими хризантемами, тоже не было перспективы: перспективой являлся то атласный альков, из-за которого выпорхнет Софья Петровна, или с две-

ри слетающий, шепчущий что-то тростник, из которого выпорхнет все она же, а то Фузи-Яма – пестрый фон ее роскошных волос; надо сказать: когда Софья Петровна Лихутина в своем розовом кимоно по утрам пролетала из-за двери к алькову, то она была настоящей японочкой. Перспективы же не было.

Комнатки были – малые комнатки: каждую занимал лишь один огромный предмет: в крошечной спальней постель была огромным предметом; ванна – в крошечной ванной; в гостиной – голубоватый альков; стол с буфетом – в столовой; тем предметом в комнатке для прислуги – была горничная; тем предметом в мужниной комнате был, разумеется, муж.

Ну, откуда же быть перспективе?

Все шесть крохотных комнаткушек отоплялись паровым отоплением, отчего в квартирке задушивал вас влажный оранжерейный жар; стекла окон потели; и потел посетитель Софьи Петровны; вечно потели – и прислуга, и муж; сама Софья Петровна Лихутина покрывалась испариной, будто теплой росой японская хризантема. Ну, откуда же в этой тепличке завестись перспективе?

Перспективы и не было.

## Посетители Софьи Петровны

Посетитель оранжерейки Софьи Петровны, *ангела* Пери (кстати сказать, обязанный ангелу поставлять хризантемы),

всегда ей хвалил японские пейзажи, присоединяя попутно свои рассуждения о живописи вообще; и наморщивши черные бровки, ангел Пери веско как-то выпаливал: «Пейзаж этот принадлежит перу *Хадусаи*»... ангел решительно путал как все собственные имена, так и все иностранные слова. Посетитель художник обижался при этом; и впоследствии к ангелу Пери не обращался с рацеями о живописи вообще: между тем этот ангел на последние свои карманные деньги накупал пейзажи и подолгу-подолгу в одиночестве любовался на них.

Посетителя Софья Петровна не занимала ничем: если это был светский молодой человек, преданный увеселениям, она считала нужным хохотать по поводу всех его и шуточных, и шуточных не вовсе, и серьезнейших слов; на все она хохотала, становилась пунцовой от хохота, и испарина покрывала ее крохотный носик; светский молодой человек становился тогда отчего-то также пунцовым; испарина покрывала и его нос: светский молодой человек удивлялся ее молодому, но далеко не светскому хохоту; удивляясь так, относил Софью Петровну Лихутину к демимонду; между тем на стол появлялась кружка с надписью «*благотворительный сбор*» и Софья Петровна Лихутина, ангел Пери, хохоча, восклицала: «Вы опять сказали мне *фифку* – платите же». (Софья Петровна учредила недавно благотворительный сбор в пользу безработных за каждую светскую *фифку*: *фифками* почему-то называла она нарочито сказанную глупость, произво-

дя это слово от «ф и»...) И барон Оммау-Оммергау, желтый Ее Величества кирасир, и граф Авен, кирасир синий, и лейб-гусар Шпорышев, и чиновник особых поручений в канцелярии Аблеухова Вергефден (все светские молодые люди) говорили за *фифкою фифку*, кладя в жестяную кружку двугривенный за двугривенным.

Почему же у ней бывали столькие офицеры? Боже мой, она танцевала на балах; и не будучи демимондной дамой, была дамой хорошенькой; наконец, она была офицершею.

Если же посетитель Софьи Петровны оказывался или сам музыкант, или сам музыкальный критик, или просто любитель музыки, Софья Петровна поясняла ему, что ее кумиры – *Дункани Никиши*; в восторженных выражениях, не столько словесных, сколько жестикуляционных, она поясняла, что и сама намерена изучить мелоластику, чтоб исполнить танец полета Валькирий ни более ни менее как в Байрейте; музыкант, музыкальный критик или просто любитель музыки, потрясенный неверным произнесением двух собственных имен (сам-то он произносил *Денкан, Никиши*, а не *Дункан* и *Никиши*), заключал, что Софья Петровна Лихутина просто-напросто *пустая бабенка*; и становился игривее; между тем очень хорошенькая прислуга вносила в комнатку граммофон: и из красной трубы жестяное горло граммофона изрыгало на гостя полет Валькирий. Что Софья Петровна Лихутина не пропускала ни одной модной оперы, это обстоятельство гость забывал: становился пунцовым и чрезмерно

развязным. Такой гость выставлялся за дверь Софьей Петровной Лихутиной; и потому музыканты, игравшие для светского общества, были редки в оранжерейке; представители же светского общества граф Авен, барон Оммау-Оммергау, Шпорышев и Вергефден не позволяли себе неприличных выходок по отношению все-таки к офицерше, носившей фамилию стародворянского рода Лихутиных: поэтому и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и Шпорышев, и Вергефден продолжали бывать. В их числе одно время частенько еще вращался студент, Николенька Аблеухов. И потом вдруг исчез.

Посетители Софьи Петровны как-то сами собою распались на две категории: на категорию светских гостей и на *гостей так сказать*. Эти, так сказать, гости были вовсе не гости: это были все желанные посетители... для отвода души; посетители эти не добивались быть принятыми в оранжерейке; несколько! Их почти силком к себе затаскивал ангел; и, силком затащив, тотчас же отдавал им визит: в их присутствии ангел Пери сидел с поджатыми губками: не хохотал, не капризничал, не кокетничал вовсе, проявляя крайнюю робость и крайнюю немоту, а так *сказать гости* бурно спорили друг с другом. И слышалось: «революция – эволюция».

И опять: «революция – эволюция». Все только об одном и спорили эти, так сказать, гости; то была все ни золотая, ни даже серебряная молодежь: то была медная, бедная молодежь, получавшая воспитание на свои трудовые гроши; сло-

вом, то была учащаяся молодежь высших учебных заведений, щеголявшая обилием иностранных слов: «социальная революция». И опять-таки: «социальная эволюция». Ангел Пери неизменно спутывал те слова.

## Офицер: Сергей Сергеич Лихутин

Среди прочей учащейся молодежи зачастила к Лихутиным одна в том кругу уважаемая, светлая личность: курсистка, Варвара Евграфовна (здесь могла Варвара Евграфовна изредка повстречать самого Nicolas Аблеухова).

Под влиянием светлой особы ангел Пери однажды осветил своим присутствием – ну, представьте же: митинг! Под влиянием светлой особы ангел Пери поставил на стол и самую свою медную кружку с туманною надписью: «Благотворительный сбор». Разумеется, эта кружка была предназначена для гостей; все же личности, относящиеся к *гостям так сказать*, раз навсегда Софьей Петровной Лихутиной от поборов освобождались; но поборами были обложены и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и Шпорышев, и Вергефден. Под влиянием той же светлой особы ангел Пери стал захаживать по утрам в городскую школу О. О. и долбил без всякого толку «*Манифест*» Карла Маркса. Дело в том, что в ту пору у нее ежедневно бывал студент, Николенька Аблеухов, которого можно было без риску ей познакомить как с Варварой Евграфовной (влюбленной в Николеньку), так и с желтым Ее

Величества кирасиром. Аблоухов, как сын Аблоухова, всюду, конечно, был принят.

Впрочем, с той поры, как Николенька перестал вдруг бывать у ангела Пери, этот ангел тайком от *гостей так сказать* упорхнул вдруг к спиритам, к баронессе (ну, как ее?), собиравшейся поступить в монастырь. С той поры на столике перед Софьей Петровной красовалась великолепно переплетенная книжечка «*Человек и его тела*» какой-то госпожи Анри Безансон (Софья Петровна опять-таки путала: не Анри Безансон – Анни Безант).

Свое новое увлечение Софья Петровна старательно скрыла как от барона Оммау-Оммергау, так и от Варвары Евграфовны; несмотря на свой заразительный смех и на крошечный лобик, скрытность ангела Пери достигала невероятных размеров: так, Варвара Евграфовна ни разу не встретила с графом Авеном, ни даже с бароном Оммау-Оммергау. Разве только однажды в передней она увидела случайно меховую лейб-гусарскую шапку с султаном. Но об этой лейб-гусарской шапке с султаном впоследствии не было речи.

Что под всем этим крылось? Бог весть!

Был еще один посетитель Софьи Петровны Лихутиной; офицер: Сергей Сергеевич Лихутин; собственно говоря, это был ее муж; он заведовал где-то там провиантом; рано поутру уходил он из дому; появлялся дома не ранее полуночи; одинаково кротко здоровался просто с гостями и с *гостями так сказать*, с одинаковой кротостью говорил для

приличия *фифку*, опуская в кружку двугривенный (если бы-ли при этом граф Авен или барон Оммау-Оммергау), или скромно кивал головой на слова «*революция – эволюция*», выпивал чашку чая и шел в свою комнату; молодые светские люди про себя его называли *армейчиком*, а учащаяся молодежь – офицером-бурбоном (в девятьсот пятом году Сергей Сергеич имел несчастье защищать от рабочих своей полутортою Николаевский Мост). Собственно говоря, Сергей Сергеич Лихутин охотнее всего воздержался бы и от *фифок*, и от слов «*революция – эволюция*». Собственно говоря, он не прочь был бы попасть к баронессе на спиритический сеансик; но о своем скромном желании на правах мужа вовсе он не настаивал, ибо вовсе он не был деспотом по отношению к Софье Петровне: Софью Петровну любил он всею силой души; более того: два с половиною года тому назад он женился на ней вопреки желанью родителей, богатейших симбирских помещиков; с той поры он был проклят отцом и лишен состояния; с той поры для всех неожиданно скромно он поступил в Григорийский полк.

Был еще посетитель: хитрый хохол-малоросс Липпанченко; этот был весьма сладострастен и звал Софью Петровну не ангелом, а... душканом; про себя же ее называл хитрый хохол-малоросс Липпанченко просто-напросто: бранкуканом, бранкукашкой, бранкуканчиком (вот слова ведь!). Но держался Липпанченко в границах приличия; и потому-то был он вхож в этот дом.

Добродушнейший муж Софьи Петровны, Сергей Сергеевич Лихутин, подпоручик Гр-горийского Его Величества Короля Сиамского полка, относился с кротостью к революционному кругу знакомств своей дорогой половины; к представителям светского круга относился он лишь с подчеркнутым благодушием; а хохла-малоросса, Липпанченко, всего-навсего он терпел: этот хитрый хохол на хохла, кстати сказать, и не походил вовсе: походил скорей на помесь семита с монголом; он был и высок, и толст; желтоватое лицо этого господина неприятно плавало в своем собственном подбородке, выпертом крахмальным воротничком; и носил Липпанченко желто-красный атласный галстук, заколотый стразом, щеголяя полосатой темно-желтою парой и такого же цвета ботинками; но при этом Липпанченко беззастенчиво красил волосы в коричневый цвет. Про себя Липпанченко говорил, что он экспортирует русских свиней за границу и на этом *свинстве* разжиться собирается основательно.

Как бы ни было, Липпанченко, его одного, недолюбливал подпоручик Лихутин: про Липпанченко ходили темные слухи. Но что спрашивать, кого не любил подпоручик Лихутин: подпоручик Лихутин, разумеется, любил всех: но кого особенно он любил одно время, так это Николая Аполлоновича Аблеухова: ведь друг друга знавали они с самых первых отроческих лет: Николай Аполлонович был, во-первых, шафером на свадьбе Лихутина, во-вторых, ежедневным посетителем квартиры на Мойке в продолжение, без малого, полуто-

ра года. Но потом он скрылся бесследно.

Не Сергей Сергеевич, разумеется, виноват в исчезновении сенаторского сына, а сенаторский сын или даже сам ангел Пери.

Ах, Софья Петровна, Софья Петровна! Одним словом, дама... А от дамы что спрашивать!

## **Стройный шафер красавец**

Еще в первый день своего, так сказать, «дамства», при совершении таинства бракосочетания, когда Николай Аполлонович держал над мужем ее, Сергеем Сергеевичем, высокаторжественный венец, Софью Петровну Лихутину мучительно поразили стройный шафер, красавец, цвет его неземных, темно-синих, огромных глаз, белизна мраморного лица и божественность волос белокожих: те глаза ведь не глядели, как часто впоследствии, из-за тусклых стекол пенсне, а лицо подпирал золотой воротник новенького мундирчика (не у всякого же студента есть такой воротник). Ну, и... Николай Аполлонович зачастил к Лихутиным сперва раз в две недели; далее – раз в неделю; два, три, четыре раза в неделю; наконец, зачастил ежедневно. Скоро Софья Петровна заметила под маскою ежедневных заходов, что лицо Николая Аполлоновича, богоподобное, строгое, превратилось в маску: ужимочки, бесцельные потирания иногда потных рук, наконец, неприятное лягушечье выражение улыбки, происте-

кавшее от несходившей с лица игры всевозможнейших типов, заслонили навек то лицо от нее. И как только это заметила Софья Петровна, она к ужасу своему поняла, что была в то лицо влюблена, в то, а не это. Ангел Пери хотела быть примерной женой: а ужасная мысль, что, будучи верной, она уже увлеклась не мужем, – эта мысль совершенно разбила ее. Но далее, далее: из-под маски, ужимок, лягушечьих уст она бессознательно вызывала безвозвратно потерянную влюбленность: она мучила Аблеухова, осыпала его оскорблениями; но, таясь от себя, рыскала по его следам, узнавала его стремленья и вкусы, бессознательно им следовала, все надеясь обрести в них подлинный, богоподобный лик; так она заломалась: появилась на сцену сперва мелоластика, потом кирасир барон Оммау-Оммергау, наконец, появилась Варвара Евграфовна с жестяною кружкою для собиранья *фифок*.

Словом, Софья Петровна запуталась: ненавидя, любила; любя, навидела.

С той поры ее действительный муж Сергей Сергеич Лихутин обратился всего-навсего в посетителя квартирки на Мойке: стал заведовать, где-то там, провиантом; уходил из дому рано утром; появлялся с полуночи: говорил для приличия *фифку*, опуская в кружку двугривенный, или скромно кивал головой на слова «*революция – эволюция*», выпивал чашку чая и шел к себе спать: надо же было утром как можно ранее встать и идти где-то там, заведовать провиантом. От-

того лишь Сергей Сергеич, где-то там, стал заведовать про-  
риантом, что свободы жены не хотел он стеснять.

Но свободы Софья Петровна не вынесла: у нее ведь был такой крошечный, крошечный лобик; вместе с крошечным лобиком в ней таились вулканы углубленнейших чувств: потому что она была дама; а в дамах нельзя будить хаоса: в этом хаосе скрыты у дамы все виды жестокостей, преступлений, падений, все виды неистовых бешенств, как все виды на земле еще не бывалых геройств; в каждой даме таится преступница: но совершись преступление, кроме святости ничего не останется в истинно дамской душе.

Скоро мы без сомнения докажем читателю существующую разделенность и души Николая Аполлоновича на две самостоятельные величины: богоподобный лед – и просто лягушечья слякоть; та вот двойственность и является принадлежностью любой дамы: двойственность – по существу не мужская, а дамская принадлежность; цифра два – символ дамы; символ мужа – единство. Только так получается троичность, без которой возможен ли домашний очаг?

Двойственность Софьи Петровны мы выше отметили: нервность движений– и неуклюжая вялость; недостаточность лобика и чрезмерность волос; Фузи-Яма, Вагнер, верность женского сердца – и «Анри Безансон», граммофон, барон Оммергау и даже Липпанченко. Будь Сергей Сергеич Лихутин или Николай Аполлонович действительными единствами, а не двоицами, троичность бы была; и Софья Пет-

ровна нашла бы гармонию жизни в союзе с женщиной; граммофон, мелоластика, Анри Безансон, Липпанченко, даже Оммау-Оммергау полетели бы к черту.

Но не было единого Аблеухова: был номер первый, богоподобный, и номер второй, лягушонок. Оттого-то все то и произошло.

Что же произошло?

В Софье Петровне Николай Аполлонович-лягушонок увлекся глубоким сердечком, приподнятым надо всей суетой; не крохотным лобиком – волосами; а божественность Николая Аполлоновича, презирая любовь, упивалась цинично так мелоластикой; оба спорили в нем, кого любить: бабенку ли, ангела ли? Ангел Софья Петровна, как ангелу естественно подобает, возлюбила лишь *бога*: а бабенка запуталась: неприятной улыбкой она сперва возмущалась, а потом она полюбила именно это свое возмущение; полюбивши же ненависть, полюбила гаденькую улыбку, но какую-то странной (все сказали бы, что развратной) любовью: что-то было во всем этом неестественно жгучее, неизведанно сладкое, роковое.

Неужели же в Софье Петровне Лихутиной пробудилась преступница? Ах, Софья Петровна, Софья Петровна! Одним словом: дама и дама...

А от дамы что спрашивать!

## Красный шут

Собственно говоря, последние месяцы с предметом своим Софья Петровна держала себя до крайности вызывающе: пред граммофонной трубой, изрыгающей «Смерть *Зигфрида*», она училась телодвижению (и еще какому!), поднимая едва ли не до колен свою шелком шуршащую юбку; далее: ножка ее из-под столика Аблеухова касалась не раз и не два. Неудивительно, что этот последний не раз ангела и порывался обнять; но тогда ускользал ангел, сперва обливая поклонника холодом: и потом опять принимался за старое. Но когда однажды она, защищая греческое искусство, предложила составить кружок для целомудренных обнажений, Николай Аполлонович не выдержал: вся многодневная его безысходная страсть бросилась в голову (Николай Аполлонович в борьбе ее уронил на софу)...

Но Софья Петровна мучительно укусила до крови губ ее искавшие губы, а когда Николай Аполлонович растерялся от боли, то пощечина звонко огласила японскую комнату.

– «Уу... Урод, лягушка... Ууу – красный шут».

Николай Аполлонович ответил спокойно и холодно:

– «Если я – красный шут, вы – японская кукла...»

С чрезвычайным достоинством распрямылся он у дверей; в этот миг лицо его приняло именно то далекое, ею однажды пойманное выражение, вспоминая которое, незаметно

она его любила; и когда ушел Николай Аполлонович, она грохнулась на пол, и царапая, и кусая в плаче ковер; вдруг вскочила она и простерла в дверь руки:

– «Приходи, вернись – бог!»

Но в ответ ей ухнула выходная дверь: Николай Аполлонович бежал к большому петербургскому мосту. Ниже увидим мы, как у моста он принял одно роковое решение (при свершении некоего акта погубить и самую жизнь). Выражение «*Красный шут*» чрезвычайно задело его.

Более Софья Петровна Лихутина его не видала: из какого-то дикого протеста к аблеуховским увлечениям *революцией – эволюцией* ангел Пери невольно отлетел от учащейся молодежи, прилетая к баронессе К. К. на спиритический сеанс. И Варвара Евграфовна стала реже захаживать. Зато опять зачастили: и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и Шпорышев, и Вергефден, и даже... Липпанченко: и Липпанченко чаще прочих. С графом Авеном, бароном Оммау-Оммергау, со Шпорышевым и с Вергефденом, даже... с Липпанченко она хохотала без устали; вдруг, оборвав смех, она спрашивала задорно:

– «Я ведь кукла – не правда ли?»

И они отвечали ей фифками, сыпали серебро в жестяную кружечку с надписью «*благотворительный сбор*». А Липпанченко ей ответил: «Вы – душкан, бранкукан, бранкукашка». И принес ей в подарок желтолицую куколку.

А когда она это самое сказала и мужу, ничего не отве-

тил ей муж, Сергей Сергеич Лихутин, подпоручик Гр-горийского, Его Величества Короля Сиамского полка, и ушел будто спать: он заведовал, где-то там, провиантами; но войдя в свою комнату, он уселся писать Николаю Аполлоновичу краткое свое письмо: в письмеце он осмелился известить Аплеухова, что он, Сергей Сергеевич, подпоручик Гр-горийского полка, покорнейше просит о следующем: не желая вмешиваться по причинам принципиальным в отношения Николая Аполлоновича к бесценно им любимой супруге, тем не менее он просит настойчиво (слово настойчиво было три раза подчеркнуто) навсегда оставить их дом, ибо нервы его бесценно любимой супруги расстроены. О своем поведении Сергей Сергеевич скрыл; поведение его не изменилось ни капли: так же он уходил спозаранку; возвращался к полуночи; говорил для приличия *фифку*, если видел барона Оммау-Оммергау, чуть-чуть хмурился, если видел Липпанченко, благодушнейшим образом кивал головой на слова *эволюция – революция*, выпивал чашку чая и тихонько скрывался: он заведовал – где-то там – провиантами.

Был Сергей Сергеич высокого роста, носил белокурую бороду, обладал носом, ртом, волосами, ушами и чудесно блистающими глазами: но он был, к сожалению, в темно-синих очках, и никто не знал ни цвета глаз, ни чудесного этих глаз выраженья.

Подлость, подлость и подлость

В эти мерзлые, первооктябрьские дни Софья Петровна

была в необычайном волнении; оставаясь одна, в оранжерейке, вдруг она начинала морщить свой лобик, и вспыхивать: становилась пунцовой; подходила к окну, чтоб платочком из нежного сквозного батиста протереть запотевшие стекла; стекло начинало повизгивать, открывая вид на канал с проходившим мимо господином в цилиндре – не более; будто бы обманувшись в предчувствии, ангел Пери зубками начинал теревить и кромсать засыревший платочек, и потом бежал надевать свою черную шубку из плюша и такую же шапочку (Софья Петровна одевалась прескромно), чтоб, прижавши к носику меховую муфту, суетливо слоняться от Мойки до набережной; даже раз зашла она в цирк Чинизелли и увидела там природное диво: бородатую женщину; чаще же всего забегала она на кухню и шепталась с молоденькой горничной, Маврушкой, прехорошенькой девочкой в фартучке и бабочкообразном чепце. И косили глаза: так всегда у нее косили глаза в минуты волнений.

А, однажды, она при Липпанченко, с хохотом выхватила шпильку от шляпы и всадила в мизинчик:

– «Посмотрите: не больно; и крови нет: восковая я... кукла».

Но Липпанченко ничего не понял: рассмеялся, сказал:

– «Вы не кукла: душкан».

И его, рассердясь, от себя прогнал ангел Пери. Схватив со стола свою шапку с наушниками, удалился Липпанченко.

А она металась в оранжерейке, морщила лобик, вспыхи-

вала, протира́ла стекло; проясня́лся вид на канал с пролета́вшей мимо каретой: не более.

Что же более?

Дело вот в чем: несколько дней назад Софья Петровна Лиухтина возвращалась домой от баронессы К. К. У баронессы К. К. в этот вечер были постукива́нья; белесоватые искорки бегали по стене; и однажды подпрыгну́л даже стол: ничего более; но нервы Софьи Петровны натянулись до крайности (после сеанса она бродила по улицам), а ее домовый подъезд не освещался (для дешевых квартирок не освещают подъездов): и внутри черного подъездного входа Софья Петровна так явственно видела, как уставилось на нее еще черней темноты пятно, будто черная маска; что-то мутно краснело под маской, и Софья Петровна что есть силы дернула за звонок. А когда распахнулась дверь и струя яркого света из передней упала на лестницу, вскрикнула Маврушка и всплеснула руками: Софья Петровна ничего не увидела, потому что стремительно она пролетела в квартиру. Маврушка видела: за спиною у барыни красное, атласное домино протянуло вперед свою черную маску, окруженную снизу густым веером кружев, разумеется, черных же, так что эти черные кружева на плечо упали к Софье Петровне (хорошо, что она не повернула головки); красное домино протянуло Маврушке свой кровавый рукав, из которого торчала визитная карточка; и когда пред рукою захлопнулась дверь, то и Софья Петровна увидела у двери визитную карточку (пролетела, верно,

в щель двери); что же было начертано на визитной той карточке? Череп с костями вместо дворянской короны да еще модным шрифтом набранные слова: «Жду вас в маскараде – там-то, такого-то числа»; и далее подпись: «*Красный шут*».

Софья Петровна весь вечер проволновалась ужасно. Кто мог нарядиться в красное домино? Разумеется, он, Николай Аполлонович: ведь его она этим именем как-то раз назвала... Красный шут и пришел. В таком случае как назвать подобный поступок с беззащитною женщиной? Ну, не подлость ли это?

### **Подлость, подлость и подлость.**

Поскорее бы возвращался муж, офицер: он проучит нахала. Софья Петровна краснела, косила, кусала платочек и покрывалась испариной. Хоть бы кто-нибудь приходил: хоть бы Авен, хоть бы барон Оммау-Оммергау, или Шпорышев, или даже... Липпанченко. Но никто не являлся.

Ну, а вдруг то не он? И Софья Петровна явственно в себе ощутила расстройство: было жалко как-то расстаться с мыслями о том, что шут – он; в этих мыслях вместе с гневом сплелось то же сладкое, знакомое, роковое чувство; ей хотелось, должно быть, чтобы он оказался – совершеннейшим подлецом.

Нет – не он: не подлец же он, не мальчишка!.. Ну, а если это сам красный шут? Кто такой красный шут, на это она не

могла себе внятно ответить: а – все-таки... И упало сердце: не он.

Маврушке тут же она приказала молчать: в маскарад же поехала; и тайком от кроткого мужа: в первый раз она поехала в маскарад.

Дело в том, что Сергей Сергеич Лихутин строго-настрого запретил ей бывать в маскарадах. Станный был: эполетом, шпагою, офицерскою честью дорожил (не бурбон ли?).

Кротость кротостью... вплоть до пунктика, до офицерской до чести. Скажет только: «Даю офицерское честное слово – быть тому-то, а тому – не бывать». И – ни с места: непреклонность, жестокость какая-то. Как, бывало, на лоб приподнимет очки, станет сух, неприятен, деревянен, будто вырезан из белого кипариса, кипарисовым кулаком простучит по столу; ангел Пери тогда испуганно вылетал из мужниной комнаты: носик морщился, капали слезки, запиралась озлобленно спальная дверь.

Из числа посетителей Софьи Петровны, из *гостей так сказать*, толковавших о *революции – эволюции*, был один почтенный газетный сотрудник: Нейнтельпфайн; черный, сморщенный, с носом, загнутым сверху вниз, и с бородкой, загнутой в обратную сторону. Софья Петровна его уважала ужасно: и ему-то доверилась; он и свез ее в маскарад, где какие-то все шуты-арлекины, итальянки, испанки и восточные женщины из-под черных бархатных масок друг на друга поблескивали недобрыми огоньками глаз; под руку с

Нейттельпфайном, почтенным газетным сотрудником, Софья Петровна скромно расхаживала по залам в черном своем домино. И какое-то красное, атласное домино все металось по залам, все искало кого-то, протянув вперед свою черную маску, под которой плескался густой веер из кружев, разумеется, черных же.

Вот тогда-то Софья Петровна Лихутина и рассказала верному Нейнтельпфайну о загадочном происшествии, ну, конечно, спрятав все нити; маленький Нейнтельпфайн, почтенный сотрудник газеты, получал пятак за строку: с той поры и пошло, и пошло, что ни день – в *«Дневнике происшествий»* заметка; красное домино, да красное домино!

О домино рассуждали, волновались ужасно и спорили; одни видели тут революционный террор; а другие только молчали да пожимали плечами. В охранное отделение раздавались звонки.

Говорили о странном том появлении домино на улицах Петербурга даже в оранжерейке; и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и лейб-гусар Шпорышев, и Вергефден отпускали *фифки* по этому поводу, и летел в медную кружечку непрерывный дождь из двугривенных; только хитрый хохол-малоросс Липпанченко как-то криво смеялся. А сама Софья Петровна Лихутина, вне себя, пунцовела, бледнела, покрывалась испариной и кусала платочек. Нейнтельпфайн оказался просто скотиной, но Нейнтельпфайн не показывался: изо дня в день он усердно вытягивал газетные стрки; и тя-

нулась, тянулась газетная ахинея, покрывая мир совершеннейшей ерундой.

## Совершенно прокуренное лицо

Николай Аполлонович Аблеухов стоял над лестничной балюстрадой в своем пестром халатике и раскидывал во все стороны переливчатый блеск, составляя полную противоположность колонне и столбику алебаstra, откуда белая Ниобея поднимала горе свои алебастровые глаза.

Николай Аполлонович, перегнувшийся через перила, что-то крикнул по направлению к передней, но на выкрик ответила сперва тишина, а потом ответила с чрезмерной отчетливостью неожиданная, протестующая фистула:

– «Николай Аполлонович, вы, наверное, приняли меня за другого...»

– «Я это – я...»

Там внизу стоял незнакомец с черными усиками и в пальто с поднятым воротником.

Николай Аполлонович тут оскалился с балюстрады в неприятной улыбке:

– «Это вы, Александр Иванович?.. Чрезвычайно приятно!»

И потом лицемерно добавил он:

– «Без очков не узнал...»

.....

Преодолевая неприятное впечатление присутствия незнакомца в лакированном доме, Николай Аполлонович с балюстрады продолжал кивать головой:

– «Я, признаться, с постели: оттого-то я и в халате» (будто этим упоминанием невзначай Николай Аполлонович хотел дать понять посетителю, что этот последний в неурочное время нанес свой визит; от себя мы прибавим: все последние ночи Николай Аполлонович пропадал).

Незнакомец с черными усиками представлял свою персону чрезвычайно жалкое зрелище на богатом фоне орнамента из старинных оружий; тем не менее незнакомец храбрился, продолжая с жаром успокаивать Николая Аполлоновича – не то насмехаясь, а не то будучи совершеннейшим простаком:

– «Это ровно ничего не значит, Николай Аполлонович, что вы прямо с постели... Совершеннейший пустяк, уверяю вас: вы не барышня, да и я не барышня тоже... Ведь я сам только встал...»

Нечего делать. Пересилив в душе неприятное впечатление (оно было вызвано появлением незнакомца – здесь, в лакированном доме, где лакеи могли основательно недоумевать, где, наконец, незнакомец мог быть встречен папашею) – пересилив в душе неприятное впечатление, Николай Аполлонович вознамерился двинуться вниз, чтоб достойно, по-аблеуховски, ввести в лаковый дом щепетильного гостя; но, к досаде, его меховая туфелька соскочила с ноги; и босая ступ-

ня закачалась из-под полы халата; Николай Аполлонович на ступеньках споткнулся; и вдобавок он подвел незнакомца: предположивши, что Николай Аполлонович в порыве обычной угодливости бросится к нему вниз (Николай Аполлонович уже выказал в направлении этом всю стремительность своих жестов), незнакомец с черными усиками бросился в свою очередь к Николаю Аполлоновичу и оставил мутный свой след на бархатно-серых ступенях; теперь же незнакомец мой растерянно стал меж передней и верхом; и при этом увидел он, что пятнает ковер; незнакомец мой сконфуженно улыбнулся.

– «Раздевайтесь, пожалуйста».

Деликатное напоминание о том, что в барские комнаты в пальто никак невозможно проникнуть, принадлежало лакею, которому на руки с отчаянной независимостью стряхнул незнакомец мокрое свое пальтецо; он стоял теперь в серой, клетчатой паре, подъеденной молью. Видя, что лакей намерен руку протянуть и к мокрому узелку, незнакомец мой вспыхнул; вспыхнувши, вдвойне законфузился он:

– «Нет, нет...»

– «Да пожалуйста-с...»

– «Нет: это возьму я с собою...»

Незнакомец с черными усиками с тем же все на все махнувшим упорством разблеставшийся скользкий паркет попирает дырявой ботинкою; удивленные, мимолетные взоры он бросал на роскошную перспективу из комнат. Николай

Аполлонович с особенной мягкостью, подобравши полы халата, предшествовал незнакомцу. Но обоим им показалось томительным их безмолвное странствие в этих блестящих перспективах: оба грустно молчали; незнакомцу с черными усиками Николай Аполлонович подставлял с облегчением не лицо, а свою переливную спину; потому-то, верно, улыбка и сбежала с неестественно перед тем улыбавшихся уст его. От себя же прямо заметим: Николай Аполлонович струсил; в голове его быстро вертелось: «Вероятно, какой-нибудь благотворительный сбор – пострадавший рабочий; в крайнем случае – на вооружение...» А в душе тоскливо заныло: «Нет, нет – не это, а то?»

Пред дубовую дверь своего кабинета Николай Аполлонович к незнакомцу повернулся вдруг круто; на лице у обоих мгновенно скользнула улыбка; оба вдруг поглядели друг другу в глаза с выжидательным выражением.

– «Так пожалуйста... Александр Иванович...»

– «Не беспокойтесь...»

– «Милости просим...»

– «Да нет, нет...»

Приемная комната Николая Аполлоновича составляла полную противоположность строгому кабинету: она была так же пестра, как... как бухарский халат; халат Николая Аполлоновича, так сказать, продолжался во все принадлежности комнаты: например, в низкий диван; он скорее напоминал восточное пестротканое ложе; бухарский халат про-

должался в табуретку темно-коричневых цветов; она была инкрустирована тоненькими полосками из слоновой кости и перламутра; халат продолжался далее в негритянский щит из толстой кожи когда-то павшего носорога, и в суданскую ржавую стрелу с массивной рукоятью; для чего-то ее тут повесили на стене; наконец, продолжался халат в шкуру пестрого леопарда, брошенного к их ногам с разинутой пастью; на табуретке стоял темно-синий кальянный прибор и трехногая золотая курильница в виде истыканного отверстиями шара с полумесяцем наверху; но всего удивительнее была пестрая клетка, в которой от времени до времени начинали бить крыльями зеленые попугайчики.

Николай Аполлонович пододвинул гостю пеструю табуретку: незнакомец с черными усиками опустился на край табуретки и вытащил из кармана дешевенький портсигар.

– «Вы позволите?»»

– «Сделайте одолжение».

– «Вы не курите сами?»»

– «Нет, не имею обыкновения...»

И тотчас же, законфузившись, Николай Аполлонович прибавил:

– «Впрочем, когда другие курят, то...»

– «Вы отворяете форточку?»»

– «Что вы, что вы!...»

– «Вентилятор?»»

– «Ах, да нет... совсем наоборот – я хотел сказать, что

курение мне доставляет скорее...» – заторопился Николай Аполлонович, но не слушавший его гость продолжал перебивать:

– «Вы сами выходите из комнаты?»

– «Ах, да нет же: я хотел сказать, что люблю запах табачного дыма, и в особенности сигар».

– «Напрасно, Николай Аполлонович, совершенно напрасно: после курильщиков...»

– «Да?..»

– «Следует...»

– «Так?»

– «Быстро проветривать комнату».

– «Что вы, о, что вы!»

– «Открывая и форточку, и вентилятор».

– «Наоборот, наоборот...»

.....

– «Не защищайте, Николай Аполлонович, табак: это я говорю вам по опыту... Дым проникает серое мозговое вещество... Мозговые полушария засариваются: общая вялость проливается в организм...»

Незнакомец с черными усиками подмигнул с фамильярной значительностью; незнакомец увидел и то, что хозяин все-таки сомневается в проникаемости серого мозгового вещества, но из привычки быть любезным хозяином не будет оспаривать гостя: тогда незнакомец с черными усиками эти черные усики стал огорченно выщипывать:

– «Посмотрите вы на мое лицо».

Не найдя очков, Николай Аполлонович приблизил свои моргавшие веки вплоть к лицу незнакомца.

– «Видите лицо?»

– «Да, лицо...»

– «Бледное лицо...»

– «Да, несколько бледноватое», – и игра всевозможных учтивостей с их оттенками разлилась по щекам Аблоухова.

– «Совершенно зеленое, прокуренное лицо», – оборвал его незнакомец – «лицо курильщика. Я прокурю у вас комнату, Николай Аполлонович».

Николай Аполлонович давно ощущал беспокойную тяжесть, будто в комнатную атмосферу проливался свинец, а не дым; Николай Аполлонович чувствовал, как засаривались его полушария мозга и как общая вялость проливалась в его организм, но он думал теперь не о свойствах табачного дыма, а о том думал он, как ему с достоинством выйти из щекотливого случая, как бы он, – думал он, – поступил в том рискованном случае, если бы незнакомец, если бы...

Эта свинцовая тяжесть не относилась нисколько к дешевой папироске, протянувшей в высь свою синеватую струечку, а скорее она относилась к угнетенному состоянию духа хозяина. Николай Аполлонович ежесекундно ждал, что беспокойный его посетитель оборвет свою болтовню, заведенную, видимо, с единственной целью – терзать его ожиданием – да: оборвет свою болтовню и напомнит о том, как

он, Николай Аполлонович, дал в свое время чрез посредство странного незнакомца – как бы точнее сказать...

Словом, дал в свое время ужасное для себя обязательство, которое выполнить принуждала его не одна только честь; ужасное обещание дал Николай Аполлонович разве только с отчаянья; побудила к тому его житейская неудача; впоследствии неудача та постепенно изгладилась. Казалось бы, что ужасное обещание отпадает само собой: но ужасное обещание оставалось: оставалось оно, хотя бы уж потому, что назад не было взято: Николай Аполлонович, по правде сказать, основательно о нем позабыл; а оно, обещание, продолжало жить в коллективном сознании одного необдуманного кружка, в то самое время, когда ощущение горькости бытия под влиянием неудачи изгладилось; сам Николай Аполлонович свое обещание несомненно отнес бы к обещаниям шуточного характера.

Появление разночинца с черными усиками, в первый раз после этих истекших двух месяцев, наполнило душу Николая Аполлоновича основательным страхом. Николай Аполлонович совершенно отчетливо вспомнил чрезвычайно печальное обстоятельство. Николай Аполлонович совершенно отчетливо вспомнил все мельчайшие подробности обстановки своего обещания и нашел те подробности вдруг убийственными для себя.

Почему же... – не то, что дал он ужасное обещание, а то, что ужасное обещание он дал легкомысленной партии?

Ответ на этот вопрос был прост чрезвычайно: Николай Аполлонович, занимаясь методикой социальных явлений, мир обрекал огню и мечу.

И вот он бледнел, серел и наконец стал зеленым; даже как-то вдруг засинело его лицо; вероятно, этот последний оттенок зависел просто от комнатной атмосферы, протабаченной донельзя.

Незнакомец встал, потянулся, с нежностью покосился на узелок и вдруг детски так улыбнулся.

– «Видите, Николай Аполлонович (Николай Аполлонович испуганно вздрогнул)... я собственно пришел к вам не за табаком, то есть не о табаке... это про табак совершенно случайно...»

– «Понимаю».

– «Табак табаком: а я, собственно, не о табаке, а о деле...»

– «Очень приятно...»

– «И даже я не о деле: вся суть тут в услуге – и эту услугу вы, конечно, можете мне оказать...»

– «Как же, очень приятно...»

Николай Аполлонович еще более посинел; он сидел и выщипывал диванную пуговку; и не выщипнув пуговки, принялся выщипывать из дивана конские волосы.

– «Мне же крайне неловко, но помня...»

Николай Аполлонович вздрогнул: резкая и высокая фистула незнакомца разрежала воздух; фистуле этой предшествовала секунда молчания; но секунда та часом ему пока-

залась, часом тогда. И теперь, услышавши резкую фистулу, произносившую «*помня*», Николай Аполлонович едва не выкрикнул вслух:

– «О моем предложении?..»

Но он тотчас же взял себя в руки; и он только заметил:

– «Так, я к вашим услугам», – и при этом подумал он, что вот вежливость погубила его...

– «Помня о вашем сочувствии, я пришел...»

– «Все, что могу», – выкрикнул Николай Аполлонович и при этом подумал, что он – болван окончательно...

– «Маленькая, о, вовсе маленькая услуга...» (Николай Аполлонович чутко прислушивался):

– «Виноват... не позволите ли мне пепельницу?..»

## **Учащались ссоры на улицах**

Дни стояли туманные, странные: по России на севере проходил мерзлой поступью ядовитый октябрь; а на юге развесил он гнилые туманы. Ядовитый октябрь обдувал золотой лесной шепот, – и покорно ложился на землю шелестящий осинный багрец, чтобы виться и гнаться у ног прохожего пешехода, и шушукать, сплетая из листьев желто-красные россыпи слов. Та синичья сладкая пискотня, что купается сентябрем в волне лиственной, в волне лиственной не купалась давно: и сама синичка теперь сиротливо скакала в черной сети из сучьев, что как шамканье беззубого старика посыла-

ет всю осень свой свист из лесов, голых рощ, палисадников, парков.

Дни стояли туманные, странные; ледяной ураган уже приближался клоками туч, оловянных и синих; но все верили в весну: о весне писали газеты, о весне рассуждали чиновники четвертого класса; на весну указывал один тогда популярный министр; ароматом, ну, прямо-таки первомайских фиалок задышали изливания одной петербургской курсистки.

Пахари давно перестали скрести трухлявые земли; побросали пахари бороны, сохи; собирались под избами пахари в свои убогие кучечки для совместного обсуждения газетных известий; толковали и спорили, чтобы дружной гурьбою вдруг кинуться к барскому дому с колонками, отразившемуся в волжских, камских или даже днепровских струях; во все долгие ночи над Россией сияли кровавые зарева деревенских пожаров, разрешаясь днем в черноту столбов дымовых. Но тогда в облетающей заросли можно было увидеть спрятанный отряд космоголовых казаков, направляющих дула своих винтовок на гудящий набат; на клочковатых своих лошадях во всю прыть потом вылетал казацкий отряд: синие бородастые люди, размахавшись нагайками, долго-долго с гиком носились по осеннему лугу и туда, и сюда. Так было в селах.

Но так было и в городах. В мастерских, типографиях, парикмахерских, молочных, трактирчиках все вертелся какой-то многоречивый субъект; нахлобучив на лоб косматую черную шапку, завезенную, видно, с полей обагрённой кро-

вью Манджурии; и засунув откуда-то взявшийся браунинг в боковой свой карман, многоречивый субъект многократно совал первому встречному в руку плохо набранный листик.

Все чего-то ждали, боялись, надеялись; при малейшем шуме высыпали быстро на улицу, собираясь в толпу и опять рассыпаясь; в Архангельске так поступали лопари, корелы и финны; в Нижне-Колымске – тунгузы; на Днепре – и жидаы, и хохлы. В Петербурге, в Москве – поступали так все: поступали в средних, высших и низших учебных заведениях: ждали, боялись, надеялись; при малейшем шорохе высыпали быстро на улицу; собирались в толпу и опять рассыпались.

Учащались ссоры на улицах: с дворниками, сторожами; учащались ссоры на улицах с захудалым квартальным; дворника, полицейского и особенно квартального надзирателя задирали пренахально: рабочий, приготовишка, мещанин Иван Иванович Иванов с супругой Иванихой, даже лавочник – первой гильдии купец Пузанов, от которого в лучшие и недавно минувшие дни околоточный *разжигался* то осетринкой, то семушкой, то зернистой икоркой; но теперь вместо семушки, осетринки, зернистой икорки на квартального надзирателя вместе с прочею «сволочью» вдруг восстал первой гильдии, его степенство, купец Пузанов, личность небезызвестная, многократно бывавшая в губернаторском доме, ибо как-никак, – рыбные промыслы и потом пароходство на Волге: как-никак, от такого *случая* присмирел околоточный. Серенький сам, в сереньком своем пальтеце

проходил он теперь незаметною тенью, подбирая почтительно шашку и держа вниз глаза: а ему это в спину словесные замечания, выговор, смехи и даже непристойная брань; участковый же пристав на все это: «Не сумеете снискать доверия у населения, подавайте в отставку». Ну и снискивал он доверие: бунтовал и он против произвола правительства, или он вступал в особое соглашение с обитателями пересыльной тюрьмы.

Так в те дни влачил свою жизнь околоточный надзиратель где-нибудь в Кеми: так же он влачил эту жизнь в Петербурге, Москве, Оренбурге, Ташкенте, Сольвычегодске, словом, в тех городах (губернских, уездных, заштатных), кои входят в состав Российской Империи.

Петербург окружает кольцо многотрубных заводов.

Многотысячный людской рой к ним бредет по утрам; и кишмя кишит пригород; и роится народом. Все заводы тогда волновались ужасно, и рабочие представители толп превратились все до единого в многоречивых субъектов; среди них циркулировал браунинг; и еще кое-что. Там обычные рои в эти дни возрастали чрезмерно и сливались друг с другом в многоголовую, многоголосую, огромную черноту; и фабричный инспектор хватался тогда за телефонную трубку: как, бывало, за трубку он схватится, так и знай: каменный град полетит из толпы в оконные стекла.

То волненье, охватившее кольцом Петербург, проникало как-то и в самые петербургские центры, захватило сперва

острова, перекинулось Литейным и Николаевским мостами; и оттуда хлынуло на Невский Проспект: и хотя на Невском Проспекте та же все была циркуляция людской многоножки, однако состав многоножки изменялся разительно; опытный взор наблюдателя уже давно отмечал появление черной шапки косматой, нахлобученной, завезенной сюда с полей обогренив кровью Манджурии: то на Невском Проспекте зашагал многоречивый субъект, и понизился вдруг процент проходящих цилиндров; многоречивый субъект обнаруживал здесь свое исконное свойство: он тыкался плечами, запихав в рукава пальцы иззябших рук; появились также на Невском беспокойные выкрики противоправительственных мальчишек, несшихся что есть дух от вокзала к Адмиралтейству и махавших красного цвета журнальчиками.

Во всем прочем не было изменений; только раз – Невский залили толпы в сопровождении духовенства: несли на руках один профессорский гроб, направляясь к вокзалу: впереди же шло море зелени; развевались кровавые атласные ленты.

Дни стояли туманные, странные: проходил мерзлой поступью ядовитый октябрь; замороженная пыль носилась по городу бурыми вихрями; и покорно лег на дорожках Летнего сада золотой шепот лиственный, и покорно ложился у ног шелестящий багрец, чтобы виться и гнаться у ног прохожего пешехода, и шушукать, сплетая из листьев желто-красные россыпи слов; та синичья сладкая пискотня, что купалась весь август в волне лиственной, в волне лиственной не купа-

лась давно: и сама синичка Летнего сада теперь сиротливо скакала в черной сети из сучьев, по бронзовой загородке да по крыше Петровского домика.

Таковы были дни. А ночи – выходил ли ты по ночам, забирался ли в глухие, подгородние пустыри, чтобы слышать неотвязную, злую ноту на «у»? Уууу-уууу-уууу: так звучало в пространстве; звук – был ли то звук? Если то и был звук, он был несомненно звук иного какого-то мира; достигал этот звук редкой силы и ясности: «уууу-уууу-ууу» раздавалось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова: но фабричный гудок не гудел, ветра не было; и безмолвствовал пес.

Слышал ли и ты октябрёвскую эту песню тысяча девятьсот пятого года? Этой песни ранее не было; этой песни не будет никогда.

## **Зовет меня мой Дельви́г милый**

Проходя по красной лестнице Учреждения, опираясь рукой о мрамор холодный перил, Аполлон Аполлонович Аблеухов зацепился носком за сукно и – споткнулся; непроизвольно замедлился его шаг; следовательно: совершенно естественно, что очи его (безо всякой предвзятости) задержались на огромном портрете министра, устремившего пред собой грустный и сострадательный взгляд.

По позвоночнику Аполлона Аполлоновича пробежала

мурашка: в Учреждении мало топили. Аполлону Аполлоновичу эта белая комната показалась равниной.

Он боялся пространств.

Их боялся он более, чем зигзагов, чем ломаных линий и секторов; деревенский ландшафт его прямо пугал: за снегами и льдами там, за лесною гребенчатой линией поднимала пурга перекрестность воздушных течений; там, по глупой случайности, он едва не замерз.

Это было тому назад пятьдесят лет.

В этот час своего одинокого замерзания будто чьи-то холодные пальцы, бессердечно ему просунувшись в грудь, жестко погладили сердце: ледяная рука повела за собой; за ледяною рукою он шел по ступеням карьеры, пред глазами имея все тот же роковой, невероятный простор; там, оттуда, – манила рука ледяная; и летела безмерность: Империя Русская.

Аполлон Аполлонович Аблеухов за городскою стеною засел много лет, всей душой ненавидя уездные сиротливые дали, дымок деревенок и на пугале сидящую галку; только раз эти дали дерзнул перерезать в экспрессе он, направляясь с ответственным поручением из Петербурга в Токио.

О своем пребывании в Токио Аполлон Аполлонович никому не рассказывал.

Да – по поводу портрета министра... Он министру говорил:

– «Россия – ледяная равнина, по которой много сот лет,

как зарыскали волки...»

Министр поглядывал на него бархатистым и душу ласкающим взглядом, глядя белой рукой седой холеный ус; и молчал, и вздыхал. Министр принимал количество управляемых ведомств, как мучительный, жертвенный, распинающий крест; он собирался было по окончании службы...

Но он умер.

Теперь он покоился в гробе: Аполлон Аполлонович Аблеухов теперь – совершенно один; позади него – в неизмеримости убегали века; впереди – ледяная рука открывала: неизмеримости.

Неизмеримости полетели навстречу.

Русь, Русь! Видел – тебя он, тебя!

Это ты разревелась ветрами, буранами, снегом, дождем, гололедицей – разревелась ты миллионами живых заклинающих голосов! Сенатору в этот миг показалось, будто голос некий в пространствах его призывает с одинокого гробового бугра; не качается одинокий там крест; не мигает на снежные вихри лампадка; только волки голодные, собираясь в стаи, жалко вторят ветрам.

Несомненно в сенаторе развивались с течением лет боязни пространства.

Болезнь обострилась: со времени той трагической смерти; верно, образ ушедшего друга посещал его по ночам, чтобы в долгие ночи поглядывать бархатным взглядом, глядя белой рукой седой холеный ус, потому что образ ушедшего друга

постоянно теперь сочетался в сознании со стихотворным отрывком:

И нет его – и Русь оставил он,  
Взнесенну им...

В сознании Аполлона Аполлоновича тот отрывок вставал, когда он, Аполлон Аполлонович Аблеухов, пересекал зал.

За приведенным стихотворным отрывком вставал стихотворный отрывок:

И мнится, очередь за мной,  
Зовет меня мой Дельвиг милый,  
Товарищ юности живой,  
Товарищ юности унылой,  
Товарищ песен молодых,  
Пиров и чистых помышлений,  
Туда, в толпу теней родных  
Навек от нас ушедший гений.

Строй стихотворных отрывков обрывался сердито:

И над землей сошлись новы тучи,  
И ураган их...

Вспоминая отрывки, Аполлон Аполлонович становился особенно сух; и с особою четкостью выбегал он к просителям подавать свои пальцы.

## Между тем разговор имел продолжение

Между тем разговор Николая Аполлоновича с незнакомцем имел продолжение.

– «Мне поручено», – сказал незнакомец, принимая от Николая Аполлоновича пепельницу, – «да: мне поручено передать на хранение вам этот вот узелочек».

– «Только-то!» – вскричал Николай Аполлонович, еще не смея поверить, что смутившее его появление незнакомца, не касаясь нисколько того *ужасного* предложения, всего-навсего связано с безобиднейшим узелочком; и в порыве рассеянной радости он готов уже был расцеловать узелочек; и его лицо покрылось ужимками, проявляя бурную жизнь; он стремительно встал и направился к узелочку; но тогда незнакомец почему-то встал тоже, и почему-то и он кинулся вдруг меж узелком и Николай Аполлоновичем; а когда рука сенаторского сынка протянулась к пресловутому узелку, то рука незнакомца пальцами бесцеремонно охватила пальцы Николая Аполлоновича:

– «Осторожнее, ради Бога...»

Николай Аполлонович, пьяный от радости, пробормотал какое-то невнятное извинение и опять протянул рассеянно свою руку к предмету; и вторично предмет воспрепятствовал ему взять незнакомец, умоляюще протянув свою руку:

– «Нет: я серьезно прошу вас быть бережнее, Николай

Аполлонович, бережнее...»

– «Аа... да, да...» – Николай Аполлонович и на этот раз ничего не расслышал: но едва ухватил узелок он за край полотенца, как незнакомец на этот раз прокричал ему в ухо совершенно рассерженным голосом...

– «Николай Аполлонович, повторяю вам в третий раз: бережнее...»

Николай Аполлонович на этот раз удивился...

– «Вероятно, литература?..»

– «Ну, нет...»

.....

В это время раздался отчетливый металлический звук: что-то щелкнуло; в тишине раздался тонкий писк пойманной мыши; в то же мгновение опрокинулась мягкая табуретка и шаги незнакомца затопали в угол:

– «Николай Аполлонович, Николай Аполлонович», – раздался испуганный его голос, – «Николай Аполлонович – мышь, мышь... Поскорей прикажите слуге вашему... это, это... прибрать: *это* мне... я не могу...»

Николай Аполлонович, положив узелочек, удивился смятению незнакомца:

– «Вы боитесь мышей?..»

– «Поскорей, поскорей унесите...»

Выскочив из своей комнаты и нажав кнопку звонка, Николай Аполлонович представлял собою, признаться, пренелепое зрелище; но нелепее всего было то обстоятельство,

что в руке он держал... трепетно бьющуюся мышку; мышка бегала, правда, в проволочной ловушке, но Николай Аполлонович рассеянно наклонил к ловушке вплотную примечательное лицо и с величайшим вниманием теперь разглядывал свою серую пленницу, проводя длинным холеным ногтем желтоватого цвета по металлической проволоке.

– «Мышка», – поднял он глаза на лакея; и лакей почти-точно повторил вслед за ним:

– «Мышка-с... Она самая-с...»

– «Ишь ты: бегают, бегают...»

– «Бегают-с...»

– «Тоже вот, боится...»

– «А как же-с...»

Из открытой двери приемной выглянул теперь незнакомец, посмотрел испуганно и опять спрятался:

– «Нет – не могу...»

– «А они боятся-с?.. Ничего: мышка зверь божий... Как же-с... И она тоже...»

Несколько мгновений и слуга, и барин были заняты созерцанием пленницы; наконец почтенный слуга принял в руки ловушку.

– «Мышка...» – повторил довольным голосом Николай Аполлонович и с улыбкою возвратился к ожидавшему гостю. Николай Аполлонович с особою нежностью относился к мышам.

.....

Николай Аполлонович понес наконец узелок в свою рабочую комнату: как-то мельком его поразил лишь тяжелый вес узелка; но над этим он не задумался; проходя в кабинет, он споткнулся об арабский пестрый ковер, зацепившись ногою о мягкую складку; в узелке тогда что-то звякнуло металлическим звуком, незнакомец с черными усиками при этом звяканье привскочил; рука незнакомца за спиной Николая Аполлоновича описала ту самую зигзагообразную линию, которой недавно так испугался сенатор.

Но ничего не случилось: незнакомец увидел лишь, что в соседней комнате на массивном кресле было пышно разложено красное домино и атласная черная масочка; незнакомец удивленно уставился на эту черную масочку (она его поразила, признаться), пока Николай Аполлонович раскрыл свой письменный стол и, опроставши достаточно места, бережно туда клал узелочек; незнакомец с черными усиками, продолжая рассматривать домино, между тем оживленно принялся высказывать одну свою основательно выношенную мысль:

– «Знаете... Одиночество убивает меня. Я совсем разучился за эти месяцы разговаривать. Не замечаете ли вы, Николай Аполлонович, что слова мои путаются».

Николай Аполлонович, подставляя гостю свою бухарскую спину, лишь рассеянно процедил:

– «Ну это, знаете, бывает со всеми».

Николай Аполлонович в это время бережно прикрывал

узелочек кабинетных размеров портретом, изображавшим брюнеточку; покрывая *брюнеточкой* узелок, Николай Аполлонович призадумался, не отрывая глаз от портрета; и лягушечье выражение на мгновение прошло на его блеклых губах.

В спину же ему раздавались слова незнакомца.

– «Я путаюсь в каждой фразе. Я хочу сказать одно слово, и вместо него говорю вовсе не то: хожу все вокруг да около... Или я вдруг забываю, как называется, ну, самый обыденный предмет; и, вспомнив, сомневаюсь, так ли это еще. Затвержу: лампа, лампа и лампа; а потом вдруг покажется, что такого слова и нет: лампа. А спросить подчас некого; а если бы кто и был, то всякого спросить – стыдно, знаете ли: за сумасшедшего примут».

– «Да что вы...»

Кстати об узелке: если бы Николай Аполлонович повнимательнее бы отнесся к словам своего посетителя быть бережнее с узелком, то, вероятно, он понял бы, что безобиднейший в его мнении узелок был не так безобиден, но он, повторяю, был занят портретом; занят настолько, что нить слов незнакомца потерялась в его голове. И теперь, поймавши слова, он едва понимал их. В спину же его все еще барабанила трескучая фистула:

– «Трудно жить, Николай Аполлонович, исключенным, как я, в торичеллиевой пустоте...»

– «Торичеллиевой?»— удивился, не поворачивая спины,

Николай Аполлонович, ничего не расслышавший.

– «Вот именно – торричеллиевой, и это, заметьте, во имя общественности; общественность, общество – а какое, позвольте спросить, общество я вижу? Общество *некой*, вам неизвестной особы, общество моего домового дворника, Матвея Моржова, да общество серых мокриц: бррр... у меня на чердаке развелись мокрицы... А? как вам это понравится, Николай Аполлонович?»

– «Да, знаете...»

– «Общее дело! Да оно давным-давно для меня превратилось в личное дело, не позволяющее мне видаться с другими: общее дело-то ведь и выключило меня из списка живых».

Незнакомец с черными усиками, по-видимому, совершенно случайно попал на свою любимую тему; и, попав совершенно случайно на свою любимую тему, незнакомец с черными усиками позабыл о цели прихода, позабыл, вероятно, он и свой мокренький узелочек, даже позабыл количество истребляемых папирос, умноживших зловоние; как и все к молчанию насильственно принужденные и от природы болтливые люди, он испытывал иногда невыразимую потребность сообщить кому бы то ни было мысленный свой итог: другу, недругу, дворнику, городовому, ребенку, даже... парикмахерской кукле, выставленной в окне. По ночам иногда незнакомец сам с собой разговаривал. В обстановке роскошной, пестрой приемной эта потребность поговорить вдруг неодолимо проснулась, как своего рода запой после месяч-

ного воздержания от водки.

– «Я – без шутки: какая там шутка; в этой шутке ведь я проживаю два с лишком года; это вам позволительно шутить, вам, включенному во всякое общество; а мое общество – общество клопов и мокриц. Я – я. Слышите ли вы меня?»

– «Разумеется слышу».

Николай Аполлонович теперь действительно слушал.

– «Я – я: а мне говорят, будто я – не я, а какие-то „мы“. Но позвольте – почему это? А вот память расстроилась: плохой знак, плохой знак, указывающий на начало какого-то мозгового расстройства», – незнакомец с черными усиками зашагал из угла в угол, – «знаете, одиночество убивает меня. И подчас даже сердисься: общее дело, социальное равенство, а...»

Тут незнакомец вдруг прервал свою речь, потому что Николай Аполлонович, задвинувший стол, повернулся теперь к незнакомцу и, увидев, что этот последний шагает уже по его кабинетику, соря пеплом на стол, на атласное красное домино; и, увидев все то, Николай Аполлонович вследствие какой-то уму непостижимой причины густо так покраснел и бросился убирать домино; этим только он способствовал перемене поля внимания в мозгу незнакомца:

– «Какое прекрасное домино, Николай Аполлонович».

Николай Аполлонович бросился к домино, как будто его он хотел прикрыть пестрым халатом, но опоздал: яркошуршащий шелк незнакомец пощупал рукою:

– «Прекрасный шелк... Верно дорого стоит: вы, вероятно, посещаете, Николай Аполлонович, маскарады...»

Но Николай Аполлонович покраснел еще пуще:

– «Да, так себе...»

Почти вырвал он домино и пошел его упрячивать в шкаф, точно уличенный в преступности; точно пойманный вор, суетливо запрятал он домино; точно пойманный вор, пробежал обратно за масочкой; спрятавши все, он теперь успокоился, тяжело дыша и подозрительно поглядывая на незнакомца; но незнакомец, признаться, уже забыл домино и теперь вернулся к своей излюбленной теме, все время продолжая расхаживать и посаривать пеплом.

– «Ха, ха, ха!» – трещал незнакомец и быстро закуривал на ходу папироску. – «Вас удивляет, как я могу доселе быть деятелем небезызвестных движений, освободительных для одних и весьма стеснительных для других, ну, хотя бы для вашего батюшки? Я и сам удивляюсь; это все ерунда, что я действую до последней поры по строго выработанной программе: это ведь – слушайте: я действую по своему усмотрению; но что прикажете делать, мое усмотрение всякий раз проводит в их деятельности только новую колею; собственно говоря, не я в партии, во мне партия... Это вас удивляет?»

– «Да, признаться: это меня удивляет; и признаться, я бы вовсе не стал с вами действовать вместе». Николай Аполлонович начинал внимательней внимать речам незнакомца, становившимся все округленнее, все звучней.

– «А ведь все-таки вы узелочек-то мой от меня взяли: вот мы, стало быть, действуем заодно».

– «Ну, это в счет не может идти; какое тут действие...»

– «Ну, конечно, конечно», – перебил его незнакомец, – «это я пошутил». И он помолчал, посмотрел ласково на Николая Аполлоновича и сказал на этот раз совершенно открыто:

– «Знаете, я давно хотел видеться с вами: поговорить по душам; я так мало с кем вижусь. Мне хотелось рассказать о себе. Я ведь – неуловимый не только для противников движения, но и для недостаточных доброжелателей оного. Так сказать, квинтэссенция революции, а вот странно: все-то вы знаете про методичку социальных явлений, углубляетесь в диаграммы, в статистику, вероятно, знаете в совершенстве и Маркса; а вот я – я ничего не читал; вы не думайте: я начитан, и очень, только я не о том, не о цифрах статистики».

– «Так о чем же вы?.. Нет, позвольте, позвольте: у меня в шкафчике есть коньяк – хотите?»

– «Не прочь...»

Николай Аполлонович полез в маленький шкафчик: скоро перед гостем показался граненый графинчик и две граненые рюмочки.

Николай Аполлонович во время беседы с гостями гостей потчевал коньяком.

Наливая гостю коньяк с величайшей рассеянностью (как и все Аблеуховы, был он рассеян), Николай Аполлонович все

думал о том, что сейчас выгодно представлялся ему удобнейший случай отказаться вовсе от *тогдашнего* предложения; но когда он хотел словесно выразить свою мысль, он сконфузился: он из трусости не хотел пред лицом незнакомца выказать трусость; да и кроме того: он на радостях не хотел бременить себя щекотливейшим разговором, когда можно было отказаться и письменно.

– «Я читаю теперь Конан-Дойля, для отдыха: – трещал незнакомец, – не сердитесь – это шутка, конечно. Впрочем, пусть и не шутка; ведь если признаться, круг моих чтений для вас будет так же все дик: я читаю историю гностицизма, Григория Нисского, Сирианина, Апокалипсис. В этом, знаете, – моя привилегия; как-никак – и полковник движения, с полей деятельности переведенный (за заслуги) и в штаб-квартиру. Да, да, да: я – полковник. За выслугой лет, разумеется; а вот вы, Николай Аполлонович, со своею методикой и умом, вы – унтер: вы, во-первых, унтер потому, что вы теоретик; а насчет теории у генералов-то наших – плоховаты дела; ведь признайтесь-ка – плоховаты; и они – точь-в-точь архиереи, архиереи же из монахов; и молоденький академист, изучивший Гарнака, но прошедший мимо опытной школы, не побывавший у схимника, – для архиерея только досадный церковный придаток; вот и вы со всеми своими теориями – придаток; поверьте, досадный».

– «Да ведь в ваших словах слышу я народовольческий привкус».

– «Ну так что же? С народовольцами сила, не с марксистами же. Но простите, отвлекся я... я о чем? Да, о выслуге лет и о чтении. Так вот: оригинальность умственной моей пищи все от того же чудачества; я такой же революционный фанфарон, как любой фанфарон вояка с Георгием: старому фанфарону, рубаке, все простят».

Незнакомец задумался, налил рюмочку: выпил – налил еще.

– «Да и как же мне не найти своего, личного, самого по себе: я и так уж, кажется, проживаю приватно – в четырех желтых стенах; моя слава растет, общество повторяет мою партийную кличку, а круг лиц, стоящих со мною в человеческих отношениях, верьте, равен нулю; обо мне впервые узнали в то славное время, когда я засел в сорокапятиградусный мороз...»

– «Вы ведь были сосланы?»

– «Да, в Якутскую область».

Наступило неловкое молчание. Незнакомец с черными усиками из окошка посмотрел на пространство Невы; взвесилась там бледно-серая гнилость: там был край земли и там был конец бесконечностям; там, сквозь серость и гнилость уже что-то шептал ядовитый октябрь, ударяя о стекла слезами и ветром; и дождливые слезы на стеклах догоняли друг друга, чтобы виться в ручьи и чертить крючковатые знаки слов; в трубах слышалась сладкая пискотня ветра, а сеть черных труб, издавека-далека, посылала под небо свой дым. И

дым падал хвостами над темно-цветными водами. Незнакомец с черными усиками прикоснулся губами к рюмочке, посмотрел на желтую влагу: его руки дрожали.

Николай Аполлонович, теперь внимательно слушавший, сказал с какою-то... почти злобою:

– «Ну, а толпам-то, Александр Иванович, вы, надеюсь, пока о своих мечтаньях ни слова?..»

– «Разумеется, пока промолчу».

– «Так значит вы лжете; извините, но суть не в словах: вы все-таки лжете и лжете раз навсегда».

Незнакомец посмотрел изумленно и продолжал довольно-таки некстати:

– «Я пока все читаю и думаю: и все это исключительно для себя одного: от того-то я и читаю Григория Нисского».

Наступило молчание. Опрокинув новую рюмку, из-под облака табачного дыма незнакомец выглядывал победителем; разумеется, он все время курил. Молчание прервал Николай Аполлонович.

– «Ну, а по возвращении из Якутской области?»

– «Из Якутской области я удачно бежал; меня вывезли в бочке из-под капусты; и теперь я есмь то, что я есмь: деятель из подполья; только не думайте, чтобы я действовал во имя социальных утопий или во имя вашего железнодорожного мышления: категории ваши напоминают мне рельсы, а жизнь ваша – летящий на рельсах вагон: в ту пору я был отчаянным ницшеанцем. Мы все ницшеанцы: ведь и вы – ин-

женер вашей железнодорожной линии, творец схемы – и вы нищееанец; только вы в этом никогда не признаетесь. Ну так вот: для нас, нищееанцев, агитационно настроенная и волнуемая социальными инстинктами масса (как сказали бы вы) превращается в исполнительный аппарат (тоже ваше инженерное выражение), где люди (даже такие, как вы) – клавиатура, на которой пальцы пьяниста (заметьте: это выражение мое) летают свободно, преодолевая трудность для трудности; и пока какой-нибудь партерный слюнтяй под концертной эстрадой внимает божественным звукам Бетховена, для артиста да и для Бетховена – суть не в звуках, а в каком-нибудь септаккорде. Ведь вы знаете что такое септаккорд? Таковы-то мы все».

– «То есть спортсмены от революции».

– «Что ж, разве спортсмен не артист? Я спортсмен из чистой любви к искусству: и потому я – артист. Из неоформленной глины общества хорошо лепить в вечность замечательный бюст».

– «Но позвольте, позвольте, – вы впадаете в противоречие: септаккорд, то есть формула, термин, и бюст, то есть нечто живое? Техника – и вдохновение творчеством? Технику я понимаю прекрасно».

Неловкое молчание наступило опять: Николай Аполлонович с раздражением выщипывал конский волос из своего пестротканого ложа; в теоретический спор не считал он нужным вступать; он привык спорить правильно, не метаться от

темы к теме.

– «Все на свете построено на контрастах: и моя польза для общества привела меня в унылые ледяные пространства; здесь пока меня поминали, позабыли верно и вовсе, что там я – один, в пустоте: и по мере того, как я уходил в пустоту, возвышаясь над рядовыми, даже над унтерами (незнакомец усмехнулся беззлобно и пощипывал усик), – с меня постепенно свалились все партийные предрассудки, все категории, как сказали бы вы: у меня с Якутской области, знаете ли, одна категория. И знаете ли какая?»

– «Какая?»

– «Категория льда...»

– «То есть как это?»

От дум или от выпитого вина, только лицо Александра Ивановича действительно приняло какое-то странное выражение; разительно изменился он и в цвете, и даже в объеме лица (есть такие лица, что мгновенно меняются); он казался теперь окончательно выпитым.

– «Категория льда – это льды Якутской губернии; их я, знаете ли, ношу в своем сердце, это они меня отделяют от всех; лед ношу я с собою; да, да, да: лед меня отделяет; отделяет, во-первых, как нелегального человека, проживающего по фальшивому паспорту; во-вторых, в этом льду впервые созрело во мне то особое ощущение: будто даже когда я на людях, я закинут в неизмеримость...»

Незнакомец с черными усиками незаметно подкрался к

окошку; там, за стеклами, в зеленоватом тумане проходил гренадерский взвод: проходили рослые молодцы и все в серых шинелях. Размахавшись левой рукой, проходили они: проходил ряд за рядом, штыки прочернили в тумане.

Николай Аполлонович ощутил странный холод: ему стало вновь неприятно: обещание его партии еще не было взято обратно; слушая теперь незнакомца, Николай Аполлонович перетрусил: Николай Аполлонович, как и Аполлон Аполлонович, пространств не любил; еще более его ужасали ледяные пространства, явственно так повеявшие на него от слов Александра Ивановича.

Александр же Иванович там, у окна, улыбался...

– «Артикул революции мне не нужен: это вам, теоретикам, публицистам, философам артикул».

Тут он, глядя в окошко, оборвал стремительно свою речь; соскочив с подоконника, он упорно стал глядеть в туманную слякоть; дело было вот в чем: из туманной слякоти подкатила карета; Александр Иванович увидел и то, как распахнулось каретное дверце, и то, как Аполлон Аполлонович Аблеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выскочил из кареты, бросив мгновенный и испуганный взгляд на зеркальные отблески стекол; быстро он кинулся на подъезд, на ходу расстегнувши черную лайковую перчатку. Александр Иванович, в свою очередь теперь испугавшись чего-то, неожиданно поднес руку к глазам, точно он хотел закрыться

от одной назойливой мысли. Сдавленный шепот вырвался у него из груди.

– «Он...»

– «Что такое?»

Николай Аполлонович подошел к окну теперь тоже.

– «Ничего особенного: вон подъехал в карете ваш батюшка».

## **Стены – снег, а не стены!**

Аполлон Аполлонович не любил своей просторной квартиры; мебель там блистала так докучно, так вечно: а когда надевали чехлы, мебель в белых чехлах предстала взорам снежными холмами; гулко, четко паркетные доски отдавали поступь сенатора.

Гулко, четко так отдавал поступь сенатора зал, представлявший собой скорее коридор широчайших размеров. С изошедшего белыми гирляндами потолка, из лепного плодового круга опускалась там люстра с стекляшками горного хрусталя, одетая кисейным чехлом; будто сквозная, равномерно люстра раскачивалась и дрожала хрустальной слезой.

А паркет, точно зеркало, разблестался квадратиками.

Стены – снег, а не стены; эти стены всюду были уставлены высоконогими стульями; их высокие белые ножки изошли в золотых желобках; отовсюду меж стульев, обитых палевым плюшем, поднимались столбики белого алебаstra; и со всех

белых столбиков высится алебастровый Архимед. Не Архимед – разные Архимеды, ибо их совокупное имя – древнегреческий муж. Холодно просверкало со стен строгое ледяное стекло; но какая-то заботливая рука по стенам развесила круглые рамы; под стеклом выступала бледнотонная живопись; бледнотонная живопись подражала фрескам Помпеи.

Аполлон Аполлонович мимоходом взглянул на помпейские фрески и вспомнил, чья заботливая рука поразвесила их по стенам; заботливая рука принадлежала Анне Петровне: Аполлон Аполлонович брезгливо поджал свои губы и прошел к себе в кабинет; у себя в кабинете Аполлон Аполлонович имел обычай запирается на ключ; безотчетную грусть вызывали пространства комнатной анфилады; все оттуда, казалось, на него побежит кто-то вечно знакомый и странный; Аполлон Аполлонович с большой охотой перебрался бы из своего огромного помещения в помещение более скромное; ведь живали же его подчиненные в более скромных квартирочках; а вот он, Аполлон Аполлонович Аблеухов, должен был отказаться навек от пленительной тесноты: высота поста его к тому вынуждала; так был вынужден Аполлон Аполлонович празднично томиться в холодной квартире на набережной; вспоминал он частенько и былую обительницу этих блестящих комнат: Анну Петровну. Два уже года, как Анна Петровна уехала от него с итальянским артистом.

## Особа

С появлением сенатора незнакомец стал нервничать; обрвалась его доселе гладкая речь: вероятно, действовал алкоголь; говоря вообще, здоровье Александра Ивановича внушало серьезное опасение; разговоры его с самим собой и с другими вызывали в нем какое-то грешное состояние духа, отражались мучительно в спинномозговой позвоночной струне; в нем появилась какая-то мрачная гадливость в отношении к его волновавшему разговору; гадливость ту он, далее, переносил на себя; с виду эти невинные разговоры его расслабляли ужасно, но всего неприятнее было то обстоятельство, что чем более он говорил, тем более развивалось в нем желание говорить и еще: до хрипоты, до вяжущего ощущения в горле; он уже остановиться не мог, изнуря себя все более, более: иногда он договаривался до того, что после ощущал настоящие припадки мании преследования: возникая в словах, они продолжались в снах: временами его необыкновенно зловещие сны учащались: сон следовал за сном; иногда в ночь по три кошмара; в этих снах его обступали все какие-то хари (почему-то чаще всего татары, японцы или вообще восточные человеки); эти хари неизменно носили тот же пакостный отпечаток; пакостными своими глазами все подмигивали ему; но что всего удивительнее, что в это время неизменно ему вспоминалось бессмыслен-

нейшее слово, будто бы каббалистическое, а на самом деле черт знает каковское: *енфранишии*; при помощи этого слова он боролся в снах с обступавшими толпами духов. Далее: появлялось и на яву одно роковое лицо на куске темно-желтых обой его обиталища; наконец, изредка всякая дрянь начинала мерещиться: и мерещилась она среди белого дня, если подлинно осенью в Петербурге день белый, а не желто-зеленый с мрачно-шафранными отсветами; и тогда Александр Иванович испытывал то же все, что вчера испытал и сенатор, встретив его, Александра Ивановича, взор. Все те роковые явления начинались в нем приступами смертельной тоски, вызванной, по всей вероятности, продолжительным сидением на месте: и тогда Александр Иванович начинал испуганно выбегать в зелено-желтый туман (вопреки опасности быть выслеженным); бегая по улицам Петербурга, забегал он в трактирчики. Так на сцену являлся и алкоголь. За алкоголем являлось мгновенно и позорное чувство: к ножке, виноват, к чулку ножки одной простодушной курсисточки, совершенно безотносительно ее самой; начинались совершенно невинные с виду шуточки, подхихикиванья, усмешки. Все оканчивалось диким и кошмарным сном с *енфранишии*.

Обо всем этом Александр Иванович вспомнил и передернул плечами: будто с приходом сенатора в этот дом все то вновь в его душе поднялось; все какая-то посторонняя мысль не давала ему покоя; иногда, невзначай, подходил он к двери и слушал едва долетавший гул удаленных шагов; вероятно,

это расхаживал у себя в кабинете сенатор.

Чтоб оборвать свои мысли, Александр Иванович снова стал изливать эти мысли в тускловатые речи:

– «Вы вот слушаете, Николай Аполлонович, мою болтовню: а между тем и тут: во всех этих моих разговорах, например в утверждении моей личности, опять-таки примешалось недомогание, Я вот вам говорю, спорю с вами – не с вами я спорю, а с собою, лишь с собою. Собеседник ведь для меня ничто равно не значит: я умею говорить со стенами, с тумбами, с совершенными идиотами. Я чужие мысли не слушаю: то есть слышу я только то, что касается меня, моего. Я борюсь, Николай Аполлонович: одиночество на меня нападает: я часами, днями, неделями сижу у себя на чердаке и курю. Тогда мне начинает казаться, что *все не то*. Знаете ли вы это состояние?»

– «Не могу ясно представить. Слышал, что это бывает от сердца. Вот при виде пространства, когда нет кругом ничего... Это понятнее мне».

– «Ну, а я – нет: так вот, сидишь себе и говоришь, почему я – я: и кажется, что не я... И знаете, столик это стоит себе передо мною. И черт его знает, что он такое; и столик – не столик. И вот говоришь себе: черт знает что со мной сделала жизнь. И хочется, чтобы я – стало я... А тут м ы... Я вообще презираю все слова на „е р ы“, в самом звуке „ы“ сидит какая-то татарщина, монгольство, что ли, восток. Вы послушайте: ы. Ни один культурный язык „ы“ не знает: что-

то тупое, циничное, склизкое».

Тут незнакомец с черными усиками вспомнил лицо одной его раздражавшей особы; и оно напомнило ему букву «еры».

Николай Аполлонович, как нарочно, вступил с Александром Ивановичем в разговор.

– «Вы вот все о величии личности: а скажите, разве над вами контроля нет; сами-то вы не связаны?»

– «Вы, Николай Аполлонович, о *некой особе*?»

– «Я ни о ком ровно: я так...»

– «Да – вы правы: *некая особа* появилась вскоре после моего бегства из льдов: появилась она в Гельсингфорсе».

– «Это, что же особа-то – инстанция вашей партии?»

– «Высшая: это вот вокруг нее-то и совершается бег событий: может быть, крупнейших событий: вы *особу* – то знаете?»

– «Нет, не знаю».

– «А я знаю».

– «Ну вот видите: давеча вы сказали, что будто вы и не в партии вовсе, а в вас – партия; как же это выходит: стало быть, сами-то вы в *некой особе*».

– «Ах, да она видит центр свой во мне».

– «А бремена?»

Незнакомец вздрогнул.

– «Да, да, да: тысячу раз да; *некая особа* возлагает на меня тягчайшие *бремена*; бремена меня заключают все в тот же все холод: в холод Якутской губернии».

– «Стало быть», – сострил Николай Аполлонович, – «физическая равнина не столь удаленной губернии превратилась-таки в метафизическую равнину души».

– «Да, душа моя, точно мировое пространство; и оттуда, из мирового пространства, я на все и смотрю».

– «Послушайте, а у вас там...»

– «Мировое пространство», – перебил его Александр Иванович, – «порой меня докучает, отчаянно докучает. Знаете, что я называю пространством?»

И не дожидаясь ответа, Александр Иванович прибавил:

– «Я называю тем пространством мое обиталище на Васильевском Острове: четыре перпендикулярных стены, оклеенных обоями темновато-желтого цвета; когда я засяду в этих стенах, то ко мне никто не приходит: приходит домовой дворник, Матвей Моржов; да еще в пределы те попадает *особа*».

– «Как же вы попали туда?»

– «Да – *особа* ...»

– «Опять особа?»

– «Все она же: здесь-то и обернулась она, так сказать, стражем моего сырого порога; захоти она, и в целях безопасности я могу неделями там безвыходно просидеть; ведь появление мое на улицах всегда представляет опасность».

– «Вот откуда бросаете вы на русскую жизнь тень – тень Неуловимого».

– «Да, из четырех желтых стенок».

– «Да послушайте: где же ваша свобода, откуда она», – потешался Николай Аполлонович, словно мстя за давишные слова, – «ваша свобода разве что от двенадцати подряд выкуренных папирос. Слушайте, ведь особа-то вас уловила. Сколько вы платите за помещение?»

– «Двенадцать рублей; нет, позвольте – с полтиною».

– «Здесь-то вы предаетесь созерцанию мировых пространств?»

– «Да, здесь: и здесь все не то – предметы не предметы: здесь-то я пришел к убеждению, что окно – не окно; окно – вырез в необъятность».

– «Вероятно, здесь пришли вы к мысли о том, что верхи движения ведают то, что низам недоступно, ибо верх», – продолжал свои издевательства Николай Аполлонович, – «что есть верх?»

Но Александр Иванович ответил спокойно:

– «Верх движения – мировая, бездонная пустота».

– «Для чего же все прочее?»

Александр Иванович одушевился.

– «Да во имя болезни...»

– «Как болезни?»

– «Да той самой болезни, которая так изводит меня: странное имя болезни той мне еще пока неизвестно, а вот признаки знаю отлично: безотчетность тоски, галлюцинации, страхи, водка, курение; от водки – частая и тупая боль в голове; наконец, особое спинномозговое чувство: оно мучает по

утрам. А вы думаете, это я один болен? Как бы не так: и вы, Николай Аполлонович, – и вы – больны тоже. Больны – почти все. Ах, оставьте, пожалуйста; знаю, знаю все наперед, что вы скажете, и вот все-таки: ха-ха-ха! – почти все идейные сотрудники партии – и они больны тою же болезнью; ее черты во мне разве что рельефнее подчеркнулись. Знаете: я еще в стародавние годы при встречах с партийным товарищем любил, знаете ли, его изучать; вот бывало – многочасовое собрание, дела, дым, разговоры и все о таком благородном, возвышенном, и товарищ мой кипит, а потом, знаете ли, этот товарищ позовет в ресторан».

– «Ну так что же из этого?»

– «Ну, само собою разумеется, водка; и прочее; рюмка за рюмкой; а я уж смотрю; если после выпитой рюмки у губ этого собеседника появилась вот эдакая усмешечка (какая, этого, Николай Аполлонович, я вам сказать не сумею), так я уж и знаю: на моего идейного собеседника положиться нельзя; ни словам его верить нельзя, ни действиям: этот мой собеседник болен безволием, неврастением; и ничто, верьте, не гарантирует его от размягчения мозга: такой собеседник способен не только в трудное время не выполнить обещания (Николай Аполлонович вздрогнул); он способен просто-напросто и украсть, предать, и изнасиловать девочку. И присутствие его в партии – провокация, провокация, ужасная провокация. С той поры и открылось мне все значение, знаете ли, вон эдаких складочек около губ, слабостей, смешоч-

ков, ужимочек; и куда я ни обращаю глаза, всюду, всюду меня встречает одно сплошное мозговое расстройство, одна общая, тайная, неуловимо развитая провокация, вот *такой вот* под общим делом смешочек – какой, этого я вам, Николай Аполлонович, точно, пожалуй, и не выскажу вовсе. Только я его умею угадывать безошибочно; угадал его и у вас».

– «А у вас его нет?»

– «Есть и у меня: я давно перестал доверять всякому общему делу».

– «Так вы, стало быть, провокатор. Вы не обижайтесь: я говорю о чисто идейной провокации».

– «Я. Да, да, да. Я – провокатор. Но все мое провокаторство во имя одной великой, куда-то тайно влекущей идеи, и опять-таки не идеи, а – веяния».

– «Какое же веяние?»

– «Если уж говорить о веянии, то его определить при помощи слов не могу: я могу назвать его общею жаждою смерти; и я им упиваюсь с восторгом, с блаженством, с ужасом».

– «К тому времени, как вы стали, по вашим словам, упиваться веянием смерти, у вас, верно, и появилась та складочка».

– «И появилась».

– «И вы стали покуривать, попивать».

– «Да, да, да: появились еще особые любострастные чувства: знаете, ни в кого из женщин я не был влюблен: был влюблен – как бы это сказать: в отдельные части женского те-

ла, в туалетные принадлежности, в чулки, например. А мужчины в меня влюблялись».

– «Ну, а *некая особа* появилась в то именно время?»

– «Как я ее ненавижу. Ведь вы знаете – да, наверное, знаете не по воле своей, а по воле вверх меня возносившей судьбы – судьбы Неуловимого – личность моя, Александра Ивановича, превратилась в придаток собственной тени. Тень Неуловимого – знают; меня – Александра Ивановича Дудкина, знать не знает никто; и не хочет знать. А ведь голодал, холодал и вообще испытывал что-либо не Неуловимый, а Дудкин. Александр Иванович Дудкин, например, отличался чрезмерной чувствительностью; Неуловимый же был и холоден, и жесток. Александр Иванович Дудкин отличался от природы ярко выраженной общительностью и был не прочь пожить в свое полное удовольствие. Неуловимый же должен быть аскетически молчаливым. Словом, неуловимая дудкинская тень совершает и ныне победоносное свое шествие: в мозгах молодежи, конечно; сам же я стал под влиянием *особы* – посмотрите вы только, на что я похож?»

– «Да, знаете...»

И оба опять замолчали.

– «Наконец-то, Николай Аполлонович, ко мне и подкралось еще одно странное нервное недомогание: под влиянием этого недомогания я пришел к неожиданным заключениям: я, Николай Аполлонович, понял вполне, что из холода своих *мировых пространств* вспылал я затаенную ненавистью

не к правительству вовсе, а к – *некой особе*; ведь эта особа, превратив меня, Дудкина, в дудкинскую тень, изгнала меня из мира трехмерного, распластав, так сказать, на стене моего чердака (любимая моя поза во время бессонницы, знаете, встать у стены да и распластаться, раскинуть по обе стороны руки). И вот в распластанном положении у стены (я так простаиваю, Николай Аполлонович, часами) пришел однажды к второму своему заключению; заключение это как-то странно связалось – как-то странно связалось с одним явлением понятным, если принять во внимание мою развивающуюся болезнь».

О явлении Александр Иванович счел уместным молчать.

Явление заключалось в странной галлюцинации: на коричневато-желтых обоях его обиталища от времени до времени появлялось призрачное лицо; черты этого лица по временам слагались в семита; чаще же проступали в лице том монгольские черточки: все же лицо было повито неприятным, желто-шафранным отсветом. То семит, то монгол вперяли в Александра Ивановича взор, полный ненависти. Александр Иванович тогда зажигал папироску; а семит или монгол сквозь синеватые клубы табачного дыма шевелил желтыми губами своими, и в Александре Ивановиче будто отдавалось все одно и то же слово:

«Гельсингфорс, Гельсингфорс».

В Гельсингфорсе был Александр Иванович после бегства своего из мест не столь отдаленных: с Гельсингфорсом у него

не было никаких особенных связей: там он встретился лишь с *некой особой*.

Так почему же именно Гельсингфорс?

Александр Иванович продолжал пить коньяк. Алкоголь действовал с планомерною постепенностью; вслед за водкою (вино было ему не по средствам) следовал единообразный эффект: волнообразная линия мыслей становилась зигзагообразной; перекрещивались ее зигзаги; если бы пить далее, распадалась бы линия мыслей в ряд отрывочных арабесков, гениальных для мыслящих его; но и только для одного его гениальных в один этот момент; стоило ему слегка отрезветь, как соль гениальности пропадала куда-то; и гениальные мысли казались просто сумбуром, ибо мысль в те минуты несомненно опережала и язык, и мозг, начиная вращаться с бешеной быстротою.

Волнение Александра Ивановича передалось Аблеухову: синеватые табачные струи и двенадцать смятых окурков положительно раздражали его; точно кто-то невидимый, третий, встал вдруг между ними, вознесенный из дыма и вот этой кучечки пепла; этот третий, возникнув, господствовал теперь надо всем.

– «Погодите: может, я выйду с вами; у меня что-то трещит голова: наконец, там, на воздухе, можем мы беспрепятственно продолжать разговор наш. Подождите. Я только переоденусь».

– «Вот отличная мысль».

Резкий стук, раздавшийся в дверь, оборвал разговор: прежде чем Николай Аполлонович вознамерился осведомиться о том, кто это там постучался, как рассеянный, полупьяный Александр Иванович распахнул быстро дверь; из отверстия двери на незнакомца просунулся, будто кинулся, голый череп с увеличенных размеров ушами; череп и голова Александра Ивановича едва не стукнулись лбами; Александр Иванович недоумевающе отлетел и взглянул на Николая Аполлоновича, и, взглянув на него, увидел всего лишь... парикмахерскую куклу: бледного, воскового красавца с неприятной, робкой улыбкою на растянутых до ушей устах.

И опять бросил взгляд он на дверь, а в распахнутой двери стоял Аполлон Аполлонович с... преогромным арбузом подмышкою...

– «Так-с, так-с...»

– «Я, кажется, помешал...»

– «Я, Коленька, знаешь ли, нес тебе этот арбузик – вот...»

По традиции дома в это осеннее время Аполлон Аполлонович, возвращаясь домой, покупал иногда астраханский арбуз, до которого и он, и Николай Аполлонович – оба были охотники.

Мгновение помолчали все трое; каждый из них в то мгновение испытывал откровеннейший, чисто животный страх.

– «Вот, папаша, мой университетский товарищ... Александр Иванович Дудкин...»

– «Так-с... Очень приятно-с».

Аполлон Аполлонович подал два своих пальца: *те глаза* не глядели ужасно; подлинно – то ли лицо на него поглядело на улице: Аполлон Аполлонович увидал пред собой только робкого человека, очевидно пришибленного нуждой.

Александр Иванович с жаром ухватился за пальцы сенатора; *то, роковое* отлетело куда-то: Александр Иванович пред собой увидал только жалкого старика. Николай Аполлонович на обоих глядел с той неприятной улыбкой; но и он успокоился; робеющий молодой человек подал руку усталому остову.

Но сердца троих бились; но глаза троих избегали друг друга. Николай Аполлонович убежал одеваться; он думал теперь – все о том, об одном: как *она* вчера там бродила под окнами: значит, она тосковала; но сегодня ее ожидает – что ожидает?..

Мысль его прервалась: из шкафа Николай Аполлонович вытащил свое *домино* и надел его поверх сюртука; красные, атласные полы подколол он булавками; уже сверху всего он накинул свою николаевку.

Аполлон Аполлонович, между тем, вступил в разговор с незнакомцем; беспорядок в комнате сына, папиросы, коньяк – все то в душе его оставило неприятный и горький осадок; успокоили лишь ответы Александра Ивановича: ответы были бессвязны. Александр Иваныч краснел и отвечал невпопад. Пред собой видел он только добреющие морщинки; из

добреющих тех морщинок поглядывали глаза: глаза затравленного: а рокочущий голос с надрывом что-то такое выкрикивал; Александр Иваныч прислушался лишь к последним словам; и поймал всего-навсего ряд отрывистых восклицаний...

– «Знаете ли... еще гимназистом, Коленька знал всех птиц... Почитывал Кайгородова...»

– «Был любознателен...»

– «А теперь, вот не то: все он забросил...»

– «И не ходит в университет...»

Так отрывисто покрикивал на Александра Ивановича старик шестидесяти восьми лет; что-то, похожее на участие, шевельнулось в сердце Неуловимого...

В комнату вошел теперь Николай Аполлонович.

– «Ты куда?»

– «Я, папаша, по делу...»

– «Вы... так сказать... с Александром... с Александром...»

– «С Александром Ивановичем...»

– «Так-с... С Александром Иванычем, значит...»

Про себя же Аполлон Аполлонович думал: «Что ж, быть может, и к лучшему: а глаза, быть может, – померещились только...» И еще Аполлон Аполлонович при этом подумал, что нужда – не порок. Только вот зачем коньяк они пили (Аполлон Аполлонович питал отвращение к алкоголю).

– «Да: мы по делу...»

Аполлон Аполлонович стал подыскивать подходящее слово:

– «Может быть... пообедали бы... И Александр Иванович отобедал бы с нами...»

Аполлон Аполлонович посмотрел на часы:

– «А впрочем... я стесняться не хочу...»

.....

– «До свиданья, папаша...»

– «Мое почтение-с...»

.....

Когда они отворили дверь и пошли по гулкому коридору, то маленький Аполлон Аполлонович показался там вслед за ними – в полусумерках коридора.

Так, пока они проходили в полусумерках коридора, там стоял Аполлон Аполлонович; он, вытянув шею вслед той пары, глядел с любопытством.

Все-таки, все-таки... Вчера глаза посмотрели: в них была и ненависть, и испуг; и глаза эти были: принадлежали *ему*, *разношнцу*. И зигзаг был – пренеприятный или этого не было – не было никогда?

– «Александр Иванович Дудкин... Студент университета».

Аполлон Аполлонович им зашептал вслед.

.....

В пышной передней Николай Аполлонович остановился перед старым лакеем, ловя какую-то свою убежавшую мысль.

– «Даа-аа... аа...»

– «Слушаю-с!»

– «А-а... Мышка!»

Николай Аполлонович продолжал беспомощно растирать себе лоб, вспоминая, что должен он выразить при помощи словесного символа «мышка»: с ним это часто бывало, в особенности после чтения пресерьезных трактатов, состоящих сплошь из набора невообразимых слов: всякая вещь, даже более того, – всякое название вещи после чтения этих трактатов казалось немислимо, и наоборот: все мыслимое оказывалось совершенно безвещным, беспредметным. И по этому поводу Николай Аполлонович произнес вторично с обиженным видом.

– «Мышка...»

– «Точно так-с!»

– «Где она? Послушайте, что вы сделали с мышкой?»

– «С давишной-то? повыпускали на набережную...»

– «Так ли?»

– «Помилуйте, барин: как всегда».

Николай Аполлонович отличался необыкновенной нежностью к этим маленьким тварям.

Успокоенные относительно участи мышки, Николай Аполлонович с Александром Ивановичем тронулись в путь.

Впрочем, оба тронулись в путь, потому что обоим и показалось, будто с лестничной балюстрады кто-то смотрит на них и пытливо, и грустно.

## Высыпал, высыпал

Высилось одно мрачное здание на одной мрачной улице. Чуть темнело; бледно стали поблескивать фонари, озаряя подъезд; четвертые этажи еще багрятели закатом.

Вот туда-то со всех концов Петербурга пробирались субъекты; их состав был составом двоякого рода; состав вербовался, во-первых, из субъекта рабочего, космоголового – в шапке, завезенной с полей обгащенной кровью Манджурии; во-вторых, тот состав вербовался из так вообще протестанта: протестант в обилье шагал на длинных ногах; он был бледен и хрупок; иногда он питался фитином, иногда питался и сливками; он сегодня шагал с преогромною суковатою палкою; если бы положить на чашку весов моего протестанта, на другую же чашку весов положить его суковатую палку, то это орудие без сомнения протестанта бы перевесило: не совсем было ясно: кто за кем шел; прыгала ль перед протестантом дубина, иль он сам шагал за дубиною; но всего вероятнее, что сама собой поскакала дубина от Невского, Пушкинской, Выборгской Стороны, даже от Измайловской Роты; протестант за ней влекся; и он задыхался, он едва поспевал; и бойкий мальчишка, мчавшийся в час выхода вечернего газетного приложения, – этот бойкий мальчишка протестанта бы опрокинул, если только не был мой протестант протестантом рабочим, а был только так себе – протестующим.

Этот, так себе, протестующий стал неспроста последнее время разгуливать: по Петербургу, Саратову, Царевококшайску Кинешме; он не всякий день разгуливал так... Выйдешь, это, вечером погулять: тих и мирен закат; и так мирно смеется на улице барышня; с барышней мирно посмеивается протестующий мой субъект, – безо всякой дубины: перешучивается, курит; с добродушнейшим видом беседует с дворником, с добродушнейшим видом беседует с городовым Брыкачевым.

– «Что, небось, надоело вам, Брыкачев, тут стоять?»

– «Как же, барин: служба – нелегкое дело».

– «Погодите: скоро это изменится».

– «Дай-то Бог: что хорошего – так-то; супротив слаботного духу, сами знаете, не пойдешь».

– «То-то вот...»

Ничего себе и субъект; и городской Брыкачев ничего себе тоже: и оба смеются; и пятак летит в кулак Брыкачева.

На другой день снова, это, выйдешь себе погулять – что такое? Тих и мирен закат; то же все в природе довольство; и театры, и цирки все – в действии; городской водопровод в совершенной исправности тоже; и – ан нет: все не то.

Пересекая сквер, улицу, площадь, переминаясь скорбно пред памятником великого человека, добродушный вчерашний субъект зашагал с преогромной дубиной; грозно, немо, торжественно, так сказать, с ударением, выставляет вперед субъект свою ногу в калошах и с подвернутыми штиблетами;

грозно, немо, торжественно субъект ударяет дубиной о тротуар; с городовым Брыкачевым ни слова; городской Брыкачев, это, тоже ни слова, а так себе в пространство, с решительностью:

– «Проходите, господа, проходите, не застаивайтесь».

И глядишь: где-нибудь циркулирует пристав Подбрижний.

Так и прыгает глаз моего протестанта: и туда и сюда; не собрались ли в кучку перед памятником великого человека такие же, как он, протестанты? Не собрались ли они на площади перед пересыльной тюрьмой? Но памятник великого человека оцеплен полицией; на площади же – никого нет.

Походит, походит субъект мой, вздохнет с сожалением; и вернется себе на квартиру; и мамаша его поит чаем со сливками. – Так и знай: в тот день в газетах что-нибудь пропечатали: что-нибудь – какую-нибудь: меру – к предотвращению, так сказать: чего бы то ни было; как пропечатывают меру – субъект и забродит.

На другой же день меры нет: нет на улицах и субъекта; и субъект мой доволен, и городской Брыкачев мой доволен; и пристав Подбрижний доволен. Памятник великого человека не оцеплен полицией.

Высыпал ли протестующий мой субъект в этот октябрьский денечек? Высыпал, высыпал! Повысыпали на улицу и косматые манджурские шапки; и субъекты и шапки те растворялись в толпе; но туда и сюда толпа бродила бесцель-

но; субъекты же и манджурские шапки брели к одному направлению – к мрачному зданию с багрянеющим верхом; и у мрачного от заката багряного здания толпа состояла исключительно из одних лишь субъектов да шапок; замешалась сюда и барышня учебного заведения.

Уж и перли, и перли в подъездные двери – так перли, так перли! И как же иначе? Рабочему человеку некогда заниматься приличием: и стоял дурной дух; давка же началась с угла.

Вдоль угла, близ самой панели, добродушно конфузясь, оттопатывал на месте ногами (было холодно) отрядик городских; околоточный надзиратель же – еще пуще конфузился; серенький сам, в сереньком пальтеце, он покрикивал незаметною тенью, подбирая почтительно шашку и держа вниз глаза: а ему это в спину – словесные замечания, выговор, смехи и даже: непристойная брань – от мещанина Ивана Ивановича Иванова, от супруги, Иванихи, от проходившего тут и восставшего вместе с прочими первой гильдии его степенства, купца Пузанова (рыбные промыслы и пароходство на Волге). Серенький надзиратель все робче и робче покрикивал:

– «Проходите, господа, проходите!»

Но чем более он тускнел, тем настойчивее фыркали за забором там мохноногие кони: из-за бревенчатых зубьев – нет, нет – поднималась косматая голова; и если б привстать над забором, то можно было видеть, что какие-то только при-

гнаннные из степей и с нагайками в кулаках, и с винтовочным дулом за спиною, отчего-то злели, все злели; нетерпеливо, зло, немо те оборванцы поплясывали на седлах; и косматые лошаденки – те тоже поплясывали.

Это был отряд оренбургских казаков.

Внутри мрачного здания стояла желто-шафранная муть; тут все освещалось свечами; ничего нельзя было видеть, кроме тел, тел и тел: согнутых, полуизогнутых, чуть-чуть согнутых и несогнутых вовсе: все обсели, обстали тела те, что можно было и обсесть, и обстать; занимали вверх бегущий амфитеатр сидений; не было видно и кафедры, не было слышно и голоса, завещавшего с кафедры:

– «Ууу-ууу-ууу». Гудело в пространстве и сквозь это «ууу» раздавалось подчас:

– «Революция... Эволюция... Пролетариат... Забастовка...» И потом опять: «Забастовка...» И еще: «Забастовка...»

– «Забастовка...» – выпаливал голос; еще больше гудело: между двух громко сказанных *забастовок* разве-разве выюркивало: «Социал-демократия». И опять уже юркало в басовое, сплошное, густое ууу-уууу...

Очевидно, речь шла о том, что и там-то, и там-то, и там-то уже была забастовка; что и там-то, и там-то, и там-то забастовка готовилась, потому-то следует бастовать – здесь и здесь: бастовать на этом вот месте; и – ни с места!

## Бегство

Александр Иванович возвращался домой по пустым, приневским проспектам; огонь придворной кареты пролетел мимо него; ему открывалась Нева из-под свода Зимней Канавки; там, на выгнутом мостике, он заметил еженощную тень.

Александр Иванович возвращался в свое убогое обиталище, чтоб сидеть в одиночестве промеж коричневых пятен и следить за жизнью мокриц в сыроватых трещинах стен. Утренний выход его после ночи походил скорее на бегство от ползающих мокриц; многократные наблюдения Александра Ивановича давно привели его к мысли о том, что спокойствие его ночи таки прямо зависит от спокойствия проведенного дня: лишь пережитое на улицах, в ресторанчиках, в чайных за последнее время приносил с собой он домой.

С чем же он возвращался сегодня? Переживания повлачили за ним отлетающим, силовым и не видным глазу хвостом; Александр Иванович переживания эти переживал в обратном порядке, убегая сознанием в хвост (то есть за спину): в те минуты все казалось ему, что спина его пораскрылась и из этой спины, как из двери, собирается броситься в бездну какое-то тело гиганта; это тело гиганта и было переживанием сегодняшних суток; переживания задымились хвостом.

Александр Иванович думал: стоило ему возвратиться, как

происшествия сегодняшних суток заломятся в дверь; их чердачную дверь он все-таки постарается прищемить, отрывая хвост от спины; и хвост вломится все же.

За собой Александр Иванович оставил бриллиантами блестящий мост.

Дальше, за мостом, на фоне ночного Исакия из зеленой мути пред ним та же встала скала: простирая тяжелую и покрытую зеленью руку тот же загадочный Всадник над Невой возносил меднолавровый венок свой; над заснувшим под своей косматою шапкою гренадером недоуменно выкинул конь два передних копыта; а внизу, под копытами, медленно прокачалась косматая, гренадерская шапка засыпающего старика. Упадая от шапки, о штык ударилась бляха.

Зыбкая полутень покрывала Всадниково лицо; и металл лица двоился двусмысленным выраженьем; в бирюзовый врезалась воздух ладонь.

С той чреватой поры, как примчался к невскому берегу металлический Всадник, с той чреватой днями поры, как он бросил коня на финляндский серый гранит – надвое разделилась Россия; надвое разделились и самые судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа – Россия.

Ты, Россия, как конь! В темноту, в пустоту занеслись два передних копыта; и крепко внедрились в гранитную почву – два задних.

Хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня, как

отделились от почвы иные из твоих безумных сынов, – хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня и повиснуть в воздухе без узды, чтобы низринуться после в водные хаосы? Или, может быть, хочешь ты броситься, разрывая туманы, чрез воздух, чтобы вместе с твоими сынами пропасть в облаках? Или, встав на дыбы, ты на долгие годы, Россия, задумалась перед грозной судьбою, сюда тебя бросившей, – среди этого мрачного севера, где и самый закат многочасен, где самое время попеременно кидается то в морозную ночь, то – в денное сияние? Или ты, испугавшись прыжка, вновь опустишь копыта, чтобы, фыркая, понести великого Всадника в глубину равнинных пространств из обманчивых стран?

Да не будет!..

Раз взлетев на дыбы и глазами меряя воздух, медный конь копыт не опустит: прыжок над историей – будет; великое будет волнение; рассечется земля; самые горы обрушатся от великого *труса*; а родные равнины от *труса* изойдут повсюду горбом. На горбах окажется Нижний, Владимир и Углич.

Петербург же опустится.

Бросятся с мест своих в эти дни все народы земные; брань великая будет, – брань, небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обагрят поля европейские океанами крови; будет, будет – Цусима! Будет – новая Калка!..

Куликово Поле, я жду тебя!

Воссияет в тот день и последнее Солнце над моею род-

ною землей. Если, Солнце, ты не взойдешь, то, о Солнце, под монгольской тяжелой пятой опустятся европейские берега, и над этими берегами закурчавится пена; земнородные существа вновь опустятся к дну океанов – в прародимые, в давно забытые хаосы...

Встань, о Солнце!

.....

Бирюзовый прорыв несся по небу; а навстречу ему полетело сквозь тучи пятно горящего фосфора, неожиданно превратившись там в сплошной яркоблистающий месяц; на мгновение все вспыхнуло: воды, трубы, граниты, серебристые желоба, две богини над аркою, крыша четырехэтажного дома; купол Исакия поглядел просветленный; вспыхнули – Всадниково чело, меднолавровый венец; поугасли островные огоньки; а двусмысленное судно с середины Невы обернулось простой рыболовной шхуною; с капитанского мостика искрометнее проблистала и светлая точка; может быть, трубочный огонек сизоносого боцмана в шапке голландской, с наушниками, или – светлый фонарик матроса, дежурящего на вахте. Будто легкая сажа, от Медного Всадника отлетела легкая полутень; и космач гренадер вместе с Всадником черней прочертился на плитах.

Судьбы людские Александру Ивановичу на мгновение осветились отчетливо: можно было увидеть, что будет, можно было узнать, чему никогда не бывать: так все стало ясно; казалось, прояснялась судьба; но в судьбу свою он взглянуть

побоялся; стоял перед судьбой потрясенный, взволнованный, переживая тоску.

И – месяц врезался в облако...

Снова бешено понеслись облака клочковатые руки; понеслись туманные пряди все каких-то ведьмовских кос; и двусмысленно замаячило среди них пятно горящее фосфора...

Тут раздался – оглушающий, нечеловеческий рев: проблиставши огромным рефлексором невыносимо, мимо понесся, пыхтя керосином, автомобиль – из-под арки к реке. Александр Иванович рассмотрел, как желтые, монгольские рожи прорезали площадь; от неожиданности он упал; перед ним упала его мокрая шапка. За его спиной тогда поднялось, похожее на причитание, шамканье.

– «Господи, Иисусе Христе! Спаси и помилуй ты нас!»

Александр Иванович обернулся и понял, что поблизости с ним зашептался николаевский старик гренадер.

– «Господи, что это?»

– «Автомобиль: именитые японские гости...»

Автомобиля не было и следа.

Призрачный абрис треуголки лакея и шинельное, в ветер протянутое крыло несло из тумана в туман двумя огнями кареты.

## Степка

Под Петербургом от Колпина вьется столбовая дорога: это

место – мрачнее места и нет! Подъезжаете утром вы к Петербургу, проснулись вы – смотрите: в окнах вагонных мертво; ни единой души, ни единой деревни; будто род человеческий вымер, и сама земля – труп. Вот на поверхности, состоящей из путаницы оледенелых кустов, издали припадает к земле такое черное облако; горизонт там свинцов; мрачные земли уползают под небо...

Многотрубное, многодымное Колпино!

От Колпина к Петербургу и вьется столбовая дорога; вьется серую лентой; битый щебень ее окаймляет и линия телеграфных столбов. Мастеровой пробирался там с узелочком на палочке; на пороховом он работал заводе и за что-то был прогнан; и шел пехтурой к Петербургу; вокруг него ошестинился желтый тростник; и мертвели придорожные камни; взлетали, опускались шлахтбаумы, чередовались полосатые версты, телеграфная проволока дребезжала без конца и начала. Мастеровой был сын захудалого лавочника; был он по имени Степка; с месяц всего проработал он на подгородном заводе; и с завода ушел: перед ним присел Петербург. Многоэтажные груды уже присели за фабриками; сами фабрики приседали за трубами – там вон, там, да и – там; в небе не было ни единого облачка, а горизонт из тех мест казался размазанной сажей, раздышалось там сажей полуторамиллионное население.

Там вон, там, да и – там: мазалась ядовитая гарь; и на гари щетинились трубы; здесь труба поднималась высоко; присе-

дала чуть – там; далее – высился ряд истончавшихся труб, становившихся наконец просто так себе – волосинками; вдали десятками можно было считать волосинки; над оконченным отверстием одной ближней трубы, угрожая небу уколлом, торчала громоотводная стрелочка.

Все это Степка мой видел; и на все это Степка мой – нуль внимания; посидел на куче битого щебня, сапоги долой; переплел ноги заново, пожевал мякоть ситника. Да и далее: потащился к ядовитому месту, к пятну сажи: к самому Петербургу.

К вечеру того дня отворилась дверь дворницкой: дверь завизжала; и чебутарахнул дверной блок: в середине дворницкой дворник, Матвей Моржов, углублялся в газетное чтение, ну, конечно, «*Биржевки*»; между тем дебелия дворничиха (у нее болело все ухо), наваливши на стол кучи пухлых подушек, занималась мореньем клопов при помощи русского скипидара; и стоял в дворницкой дух жесткий и терпкий.

В ту минуту, визжа, отворилась дверь дворницкой и чебутарахнул блок; на пороге же двери стоял неуверенно Степка (васильеостровский дворник, Матвей Моржов, был его единственным земляком во всем Петербурге: разумеется Степка – к нему).

К вечеру на столе появилась водочная бутылка; появились соленые огурцы, появился сапожник Бессмертный с гитарою. Отказался Степка от водки: пили дворник Моржов да сапожник Бессмертный.

– «Эвона... Землячок-то, землячок што докладывает», – ухмылялся Моржов.

– «Это все оттого, что нет у них надлежащих понятиев», – пожимал плечами сапожник Бессмертный; трогал пальцем струну; раздавалось: бам, бам.

– «А как батько-то целебеевский?»

– «Сказ один: пьянствует».

– «А учительша?»

– «А учительша ничаво: говорят, возьмет себе в мужи горбатого Фрола».

– «Эвона... Земляк-то, земляк што докладывает», – умилялся Матвей Моржов; и взяв двумя пальцами огурец, огурец и откусывал.

– «Это все оттого, что нет у них надлежащих понятиев», – пожимал плечами сапожник Бессмертный: трогал пальцем струну; раздавалось: бам, бам. И Степка рассказывал; все о том, об одном: как у них на селе завелись мудреные люди, что у тех мудреных людей выходило относительно всего прочего, как они на селе возвещали рождение дитяти, то ись, аслапаждение: аслапаждение всеобщее; да еще выходило: скоро, мол, сбудется; а про то, что он, Степка, и сам бывал на молениях мудренейших этих людей, – ни гу-гу; и еще рассказывал он относительно захожего барина, и всего прочего вместе взятого; какой барин был относительно протчего: на село бежал от барской невесты; и так далее; сам ушел – к мудреным людям, а их мудрости все равно не осилил (хоть барин); слышь,

писали о нем, будто скрылся – относительно всего прочего; да еще: в придачу обобрал он купчиху; выходило все вместе: рождению дитяти, аслапаждению, и прочему – скоро быть. На все то балагурство дворник Моржов до крайности удивлялся, а сапожник Бессмертный, не удивляясь: дул водку.

– «Это все оттого, что нет у них надлежащих понятий – оттого вот и кражи, и барин, и внучка, и освобожденье всеобщее; оттого и мудреные люди; никаких понятий не имеют: да и никто не имеет».

Трогал пальцем струну, и – «бам», «бам»!

Степка же на это ни звука: промолчал, что от тех людей и на колпинской фабрике получал он цидули; и прочее, относительно всего: что и как. Пуще всего он про то промолчал, как на колпинской фабрике свел знакомство с кружком, что под самым под Петербурхом имели собрания; и все прочее. Что иные из самых господ еще с прошлого году, если верить тем людям, собрания посещают – до крайности: и – все вместе... Обо всем этом Бессмертному Степка ни слова; но спел песенку:

Тилимбру-тилишок —  
Душистый горошек:  
Питушок-грибешок  
Клевал у окошек.  
Д’тимбру-д’тилишка —  
Милая Анета,  
Ты не трошь питушка:

Вот тебе манета.

Но на эту песню сапожник Бессмертный повел лишь плечами; всей своей пятерней загудел по гитаре он: «Тилимбру, ти-лим-бру: пам-пам-пам-пам». И спел:

Никогда я тебя не увижу,—  
Никогда не увижу тебя:  
Пузырек нашатырного спирта  
В пиджаке припасен у меня.  
Пузырек нашатырного спирта  
В пересохшее горло волью:  
Садрогаясь, паду на панели —  
Не увижу голубку мою!

И пятерней по гитаре: тилимбру, тилимбру: пам-пам-пам... На что Степка не остался в долгу: удивил.

Над саблázнам да нáд бидою  
Андел стал са златой трубою —  
Свете, Свете.  
Бессмертный Свете!  
Асени нас бессмертный Свете —  
Пред Табою мы, ровно дети:  
Ты – Еси  
На небеси!

Слушал очень зашедший в дворницкую молодой барин,

проживающий в чердачном помещении; он расспрашивал Степу про мудренейших людей: как они возвещают представление света; и когда сие сбудется; но еще более он расспрашивал про того захожего барина, про Дарьяльского, – как и все. Барин был из себя тощий: видно хворый; и от времени до времени опоражничивал барин рюмочку, так что Степка ему еще вот назидательные слова говорил:

– «Барин вы хворый; и потому от табаку да от водки скоро вам – капут: сам, грешным делом, пивал: а таперича дал зарок. От табаку да от водки все и пошло; знаю то, и кто спавивает: японец!»

– «А откуда ты знаешь?»

– «Про водку? Перво сам граф Лев Николаевич Толстой – книжечку его „Первый винокур“ изволили читать? – ефто самое говорит; да еще говорят те вон самые люди, под Питербурхом».

– «А про японца откуда ты знаешь?»

– «А про японца так водится: про японца все знают... Еще вот изволите помнить, ураган-то, что над Москвою прошел, тоже сказывали – как мол, что мол, души мол, убиенных; с того, значит, света, прошлись над Москвою, без покаяния, значит, и умерли. И еще это значит: быть в Москве бунту».

– «А с Петербургом что будет?»

– «Да что: кумирню какую-то строят китайцы!»

Степку взял тогда барин к себе, на чердак: нехорошее было у барина помещение; ну и жутко барину одному: он и взял

к себе Степку; ночевали они там.

Взял он его с собою, пред собой усадил, из чемоданишка вынул оборванную писулю; и писулю Степке прочел: «Ваши политические убеждения мне ясны как на ладони: та же все бесовщина, то же все одержание страшною силой; вы мне не верите, да ведь я то уж знаю: знаю я, что скоро узнаете вы, как узнают многие вскоре... Вырвали и меня из нечистых когтей.

Близится великое время: остается десятилетие до начала конца: вспомните, запишите и передайте потомству; всех годов значительней 1954 год. Это России коснется, ибо в России колыбель церкви Филадельфийской; церковь эту благословил сам Господь наш Иисус Христос. Вижу теперь, почему Соловьев говорил о культе Софии. Это – помните? в связи с тем, что у Нижегородской сектантки...» И так далее... далее... Степка почмыхивал носом, а барин писулю читал: долго писулю читал.

– «Так оно – во, во, во. А какой ефто барин писал?»

– «Да за границей он, из политических ссыльных».

– «Вот оно што».

.....

– «А что, Степка, будет?»

– «Слышал я: перво-наперво убиения будут, апосля же все-опчее недовольство; апосля же болезни всякие – мор, голод, ну а там, говорят умнейшие люди, всякие там волнения: китаец встанет на себя самого: мухамедане тоже взволнуют-

ся очень, только етта не выйдет».

– «Ну а дальше?»

– «Ну все прочее соберется на исходе двенадцатого года; только уж в тринадцатом году... Да что! Одно такое пророчество есть, барин: вондем-де... на нас-де клинок... во что венец японцу: и потом опять – рождение отрока нового. И еще: у анпиратора прусскава мол... Да что. Вот тебе, барин, пророчество: Ноев Кавчег надобно строить!»

– «А как строить?»

– «Ладно, барин, посмотрим: вы етта мне, я етта вам – шепчемся».

– «Да о чем же мы шепчемся?»

– «Все о том, об одном: о втором Христовом пришествии».

– «Довольно: все это вздор...»

.....

– «Ей, гряди, Господи Иисусе!»

*Конец второй главы*

# Глава третья, в которой описано, как Николай Аполлонович Аблеухов попадает с своей затеей впросак

*Хоть малый он обыкновенный,  
Не второклассный Дон Жуан,  
Не демон, даже не цыган,  
А просто гражданин столичный,  
Каких встречаем всюду тьму,  
Ни по лицу, ни по уму  
От нашей братьи не отличный.*  
А. Пушкин

## Праздник

В одном важном месте состоялось появление, до чрезвычайности важное; появление то состоялось, то есть было.

По поводу этого случая в упомянутом месте с чрезвычайно серьезными лицами появились в расшитых мундирах и чрезвычайные люди; так сказать, оказались на месте.

Это был день чрезвычайностей. Он, конечно, был ясен. С самых ранних часов в небе искрилось солнце: и заискрилось

все, что могло только искриться: петербургские крыши, петербургские шпицы, петербургские купола.

Где-то там пропалили.

Если б вам удосужилось бросить взгляд на то важное место, вы видели б только лак, только лоск; блеск на окнах зеркальных; ну, конечно, – и блеск за зеркальными окнами; на колоннах – блеск; на паркете – блеск; у подъезда блеск тоже; словом, лак, лоск и блеск!

Потому-то с раннего часа в разнообразных концах столицы Российской империи все чины, от третьего класса и до первого класса включительно, сребровласые старцы с надушенными баками и как лак сиявшими лысынами, энергично надели крахмал, как бы некую рыцарскую броню; и так, в белом, вынимали из шкафчика краснолаковые свои коробки, напоминавшие дамские футляры для бриллиантов; желтый старческий ноготь давил на пружинку, и от этого, щелкая, отлетала крышка красного лака с приятной упругостью, обнаружив изящно в мягко-бархатном ложе свою ослепительную звезду; в это время такой же седой камердинер вносил в комнату вешалку, на которой можно было увидеть, во-первых: белые ослепительные штаны; во-вторых: мундир черного лоска с раззолоченной грудью; к этим белым штанам наклонялась как лак горевшая лысына, и седой старичок, не кряхтя, поверх пары белых, белых штанов облакался в мундир ярко-черного лоска с раззолоченной грудью, на которую падало ароматно серебро седины; наискось потом обвивал-

ся он атласною ярко-красною лентою, если был он аннинский кавалер; если же он был кавалер более высокого ордена, то его искрометную грудь обвивала синяя лента. После этой праздничной церемонии соответственная звезда садилась на грудь золотую, прикреплялася шпага, из особой формы картонки вынималась треуголка с плюмажем, и седой орденский кавалер – сам блеск и трепет – в лакированной черной карете отправлялся туда, где все – блеск и трепет; в чрезвычайно важное место, где уже стояли шеренги чрезвычайно важных особ с чрезвычайно важными лицами. Эта блестящая шеренга, выровненная оберцеремониймейстерским жезлом, составляла центральную ось нашего государственного колеса.

Это был день чрезвычайностей; и он должен был, разумеется, просиять; он – просиял, разумеется.

Уже с самого раннего утра исчезала всякая темнота, и был свет белей электричества, свет дневной; в этом свете заискрилось все, что могло только искриться: петербургские крыши, петербургские шпицы, петербургские купола.

Грянул в полдень пушечный выстрел. В чрезвычайно ясное утро, из-за ослепительно белых простынь, вдруг взлетевших с кровати ослепительной спаленки, выпоркнула фигурка – маленькая, во всем белом; фигурка та почему-то напомнила циркового наездника. Стремительная фигурка по обычаю, освященному традицией седой старины, принялась укреплять свое тело шведской гимнастикой, разводя и сво-

дя руки и ноги, и далее, приседая на корточки до двенадцати (и более) раз. После этого полезного упражнения фигурка окропила себе голый череп и руки одеколоном (тройным, петербургской химической лаборатории).

Далее, по омовении черепа, рук, подбородка, ушей, шеи водопроводной свежей водой, по насыщении своего организма чрезвычайно внесенным в комнату кофе, Аполлон Аполлонович Аблеухов, как и прочие сановные старички, в этот день уверенно затянулся в крахмал, пронося в отверстие панциреобразной сорочки два разительных уха и как лак сиявшую лысину. После того, выйдя в туалетную комнату, Аполлон Аполлонович Аблеухов из шкафчика вынул (как и прочие сановные старички) свои красного лака коробочки, где под крышкою, в мягко-бархатном ложе лежали все редкие, ценные ордена. Как и прочим (меньше прочих), был внесен и ему лоск льющий мундирчик с раззолоченною грудью; были внесены и суконные белые панталоны, пара белых перчаток, особой формы картоночка, ножны черные шпаги, над которыми от эфеса свисала серебряная бахрама; под давлением желтого ногтя взлетели все десять красно-лаковых крышечек, и из крышечек были добыты: Белый Орел, соответствующая звезда, синяя лента; наконец, был добыт бриллиантовый знак; все сие село на расшитую грудь. Аполлон Аполлонович стоял перед зеркалом, бело-золотой (весь – блеск и трепет!), левой рукой прижимая шпагу к бедру, а правой – прижимая к груди плюмажную треуголку с парой

белых перчаток. В этом трепетном виде Аполлон Аполлонович пробежал коридор.

Но в гостиной сенатор почему-то сконфуженно задержался; чрезвычайная бледность лица и растрепанный, вид его сына поразили, видно, сенатора.

Николай Аполлонович в этот день поднялся раньше, чем следует; кстати сказать, Николай Аполлонович и вовсе не спал эту ночь: поздно вечером подлетел лихач к подъезду желтого дома; Николай Аполлонович, растерянный, выскочил из пролетки и принялся звонить что есть сил; а когда ему отворил серый лакей с золотым галуном, то Николай Аполлонович, не снимая шинели, как-то путаясь в ее полах, пробежал по лестнице, далее – пробежал и ряд пустых комнат; и за ним защелкнулась дверь. Скоро у желтого дома заходили какие-то тени. Николай Аполлонович все шагал у себя; в два часа ночи в комнате Николая Аполлоновича еще раздавались шаги, раздавались шаги – в половине третьего, в три, четыре.

Неумытый и заспанный, Николай Аполлонович угрюмо сидел у камина в своем пестром халате. Аполлон Аполлонович, лучезарность и трепет, невольно остановился, отражаясь блеском в паркетах и зеркалах; он стоял на фоне трюмо, окруженный семьей толстощеких амуров, продевавших свои пламена в золотые венки; и рука Аполлона Аполлоновича пробарабанила что-то на инкрустации столика. Николай Аполлонович, вдруг очнувшись, вскочил, обернулся и

невольню зажмурился: и его ослепил бело-золотой старичок.

Бело-золотой старичок приходился папашею; но прилива родственных чувств Николай Аполлонович в эту минуту не испытывал вовсе; он испытывал нечто совершенно обратное, может быть, то, что испытывал он у себя в кабинете, у себя в кабинете Николай Аполлонович совершал над собой террористические акты, – номер первый над номером вторым: социалист над дворянчиком; и мертвец над влюбленным; у себя Николай Аполлонович проклинал свое брeнное существо и, поскольку он был образом и подобием отца, он проклял отца. Было ясно, что богоподобие его должно было отца ненавидеть; но, быть может, брeнное существо его все же любило отца? В этом Николай Аполлонович вряд ли себе признался. Любить?.. Я не знаю, подходит ли здесь это слово. Николай Аполлонович отца своего как бы чувственно знал, знал до мельчайших изгибов, до невнятных дрожаний невыразимейших чувств; более того: он был чувственно абсолютно равен отцу; более всего удивляло его то обстоятельство, что психически он не знал, где кончается он и где психически начинается в нем самом дух сенатора, носителя тех вон искристых бриллиантовых знаков, что сверкали на блестящих листьях расшитой груди. Во мгновение ока он не то что представил, а скорей пережил себя самого в этом пышном мундире; что бы он испытал, созерцая такого вот, как он, небритого разгильдяя в пестром бухарском халате; это ему показалось бы нарушением хорошего тона. Николай Апол-

лонович понял, что почувствовал бы брезгливость, что по-своему был бы прав родитель его, ощущая брезгливость, что брезгливость ту ощущает родитель вот сейчас – здесь. Понял и то, что смесь озлобления и стыда заставила его быстро так привскочить перед белозолотым старичком:

– «Доброе утро, папаша!»

Но сенатор, продолжаясь чувственно в сыне, может быть, инстинктивно испытывая нечто не совсем чуждое и ему (как бы голос когда-то бывших и в нем сомнений – в дни его профессуры), в свою очередь представил себя самого в сознательном неглиже, созерцающим карьериста-выскочку сына, во всем бело-золотом – перед неглиже родителя, – испуганно заморгал глазками и с какой-то наивностью, утрированной донельзя, весело и особенно фамильярно ответил:

– «Мое почтенье-с!»

Вероятно, носитель бриллиантовых знаков вовсе не знал подлинного своего окончания, продолжаясь в психике сына. У обоих логика была окончательно развита в ущерб психике. Психика их представлялась им хаосом, из которого все-то лишь рождались одни сюрпризы; но когда оба соприкасались друг с другом психически, то являли собой подобие двух друг к другу повернутых мрачных отдушин в совершенную бездну; и от бездны к бездне пробегал неприятнейший сквознячок; сквознячок этот оба тут ощутили, стоя друг перед другом; и мысли обоих смешались, так что сын мог, наверное бы, продолжать мысль отца. Потупились оба.

Менее всего могла походить на любовь неизъяснимая близость; сознание Николая Аполлоновича, по крайней мере, такой любви не знавало. Незыяснимую близость Николай Аполлонович ощущал как позорный физиологический акт; в ту минуту мог бы он отнестись к выделению всяческой родственности, как к естественному выделению организма: выделения эти ни не любят, ни любят: ими – брезгают.

На лице его появилось бессильное лягушечье выражение.  
– «Вы сегодня в параде?»»

Пальцы всунулись в пальцы; и пальцы отдернулись. Аполлон Аполлонович, видно, хотел что-то выразить, вероятно, дать словесное объяснение о причинах его появления в этой форме; и еще он хотел задать один вопрос о причине неестественной бледности сына, или хотя бы осведомиться, почему появился сын в столь несвойственный час. Но слова его как-то в горле застряли, и Аполлон Аполлонович только раскашлялся. В ту минуту появился лакей и сказал, что карета подана. Аполлон Аполлонович, чему-то обрадовавшись, благодарно кивнул лакею и стал торопиться.

– «Так-с, так-с: очень хорошо-с!»»

Аполлон Аполлонович, блеск и трепет, пролетел мимо сына; скоро перестал стучать его шаг.

Николай Аполлонович посмотрел вслед родителю: на лице его опять появилась улыбка; бездна отвернулась от бездны; перестал дуть сквозняк.

Николай Аполлонович Аблеухов вспомнил последний от-

ветственный циркуляр Аполлона Аполлоновича Аблеухова, составлявший полное несоответствие с планами Николая Аполлоновича; и Николай Аполлонович пришел к решительному заключению, что родитель его, Аполлон Аполлонович, просто-напросто – отъявленный негодяй. . .

Скоро маленький старичок поднимался по трепетной лестнице, сплошь уложенной ярко-красным сукном; на ярко-красном сукне, сгибаясь, маленькие ноги с неестественной быстротой стали строить углы, отчего успокоился быстро и дух Аполлона Аполлоновича: он во всем любил симметрию.

Скоро к нему подошли многие, как и он, старички: баки, бороды, лысины, усы, подбородки, златогрудые и украшенные орденами, управляющие движением нашего государственного колеса; и там, у лестничной балюстрады, стояла златогрудая кучечка, обсуждавшая рокочущим басом роковое вращение колеса по колдобинам, пока обер-церемониймейстер, проходивший с жезлом, не предложил им всем выровняться по линии.

Тотчас же после чрезвычайного прохождения, обхода и милостиво произнесенных слов, старички снова сроились – в зале, в вестибюле, у колонн балюстрады. Почему-то отметились вдруг один искристый рой, из центра которого раздавался неугомонный, но сдержанный говор; забасил оттуда, из центра, будто бархатный, огромных размеров шмель; он был ниже всех ростом, и когда обстали его златогрудые ста-

рички, то его и вовсе не было видно. А когда богатырского роста граф Дубльве с синей лентой через плечо, проводя рукою по сединам, с мягкой какой-то развязностью, подошел к старческой кучечке и прищурил глаза, он увидел, что этим гудящим центром оказался Аполлон Аполлонович. Тотчас же Аполлон Аполлонович оборвал свою речь, и с не слишком яркой сердечностью, но с сердечностью все же, протянул свою руку к той роковой руке, которая подписала только что условия одного чрезвычайного договора: договор же был подписан в... Америке. Граф Дубльве как-то мягко нагнулся к бывшему ему по плечо голому черепу, и шипящая острота поползла проворно в ухо бледно-зеленых отливов; острота эта, впрочем, улыбки не вызвала; не улыбались на шутку и златогрудые, обставшие старички; и сама собою растаяла кучечка. С богатырского вида сановником Аполлон Аполлонович и спускался по лестнице; пред Аполлоном Аполлоновичем граф Дубльве шел в изогнутом положении; выше их опускались искрометные старички, ниже их – горбоносый посол одного далекого государства, старичок красногубый, восточный; между ними – маленький, бело-золотой и, как палка, прямой опускался Аполлон Аполлонович на огненном фоне сукна, покрывавшего лестницу.

.....

В этот час на широком Марсовом поле был большой плац-парад; там стояло каре императорской гвардии.

Издали, сквозь толпу, за стальной щетиной штыков пре-

ображенцев, семеновцев, измайловцев, гренадер можно было увидеть ряды белоконых отрядов; казалось – золотое, сплошное, лучи отдающее зеркало медленно тронулось к пункту от пункта; затрепались в воздухе пестрые эскадронные знаки; мелодично и плакали, и взывали оттуда серебряные оркестры; можно было увидеть там ряд эскадронов – кирасирских, кавалергардских; можно было увидеть далее самый тот эскадрон – кирасирский, кавалергардский, – можно было увидеть галопу всадников эскадронного ряда – кирасиров, кавалергардов, – белоконых, огромных и покрытых броней, в белых, из лайки, гладких, обтянутых панталонах, в золотых и искристых панцирях, в лучезарных касках, увенчанных то серебряным голубем, то двуглавым орлом; гарцевали всадники эскадронного ряда; гарцевали ряды эскадрона. И, увенчанный металлическим голубем, на коне плясал перед ними бледноусый барон Оммергау; и таким же увенчанный голубем гарцевал надменно граф Авен, – кирасиры, кавалергарды! И из пыли кровавую тучей, опустив вниз султаны, на седых своих скакунах пронеслись галопом гусары; заалели их ментики, забелели в ветре за ними меховые накидки; загудела земля, и вверх лязгнули сабли: и над гулом, над пылью, потекла вдруг струя яркого серебра. Как-то вбок пролетело гусарское красное облако, и очистился плац. И опять, там, в пространстве, возникли теперь уж лазурные всадники, отдавая и далям, и солнцу серебро своих лат: то, должно быть, был дивизион гвардейских жандармов; издали

на толпу он пожаловался трубой; но его затянуло от взоров бурю пылью; трещал барабан; прошли пехотинцы.

## На митинг

После мозглой первооктябрьской слякоти петербургские крыши, петербургские шпицы, наконец, петербургские купола ослепительно закупались однажды в октябревском морозном солнышке.

Ангел Пери в этот день оставался один; мужа не было: он заведовал – где-то там – провиантами; непричесанный ангел порхал в своем розовом *кимono* между вазами хризантем и горой Фузи-Яма; полами хлопало, как атласными крыльями, *кимono*, а владелец того *кимono* упомянутый ангел, под гипнозом все той же идеи покусывал то платочек, а то кончик черной косы. Николай Аполлонович оставался, конечно, подлец подлецом, но и газетный сотрудник Нейнтельпфайн – вот тоже! – скотина. Чувства ангела растрепались до крайности.

Чтобы сколько-нибудь привести в порядок растрепанность чувств, ангел Пери с ногами забрался на стеганую козетку и раскрыл свою книжечку: *Анри Безансон «Человек и его тела»*. Эту книжечку ангел уже раскрывал многократно, но... и но: книжечка выпадала из рук, глазки ангела Пери смыкались стремительно, в крохотном носике пробуждалась бурная жизнь: он посвистывал и посапывал.

Нет, сегодня она не заснет: баронесса R. R. уж однажды справлялась о книжечке; и узнав, что книжечка прочтена, как-то лукаво спросила: «Что вы скажете мне, *ma chère*?» Но «*ma chère*» ничего не сказала; и баронесса R. R. пригрозила ей пальчиком: ведь недаром же надпись на книжечке начиналась словами: «Мой деваханический друг», и кончалась надпись та подписью: «Баронесса R. R. – брeнная скорлупа, но с будхической искоркой».

Но – позвольте, позвольте: что такое «деваханический друг», «скорлупа», «будхическая искорка»? Это вот разъяснит Анри Безансон. И Софья Петровна на этот раз в Анри Безансон углубится; но едва она просунула носик в Анри Безансон, явственно ощущая в страницах запах самой баронессы (баронесса душилась опопонаксом), как раздался звонок и влетела бурей курсистка, Варвара Евграфовна: драгоценную книжечку не успел ангел Пери как следует спрятать; и был пойман ангел с поличным.

– «Что такое?» – строго крикнула Варвара Евграфовна, приложила к носу пенсне и нагнулась над книжечкой...

– «Что такое это у вас? Кто вам дал?»

– «Баронесса R. R. ...»

– «Ну, конечно... А что такое?»

– «Анри Безансон...»

– «Вы хотите сказать Анни Безант... Человек и его тела?..

Что за чушь?.. А прочли ли вы «*Манифест*» Карла Маркса?»

Синие глазки испуганно замигали, а пунцовые губки на-

дулись обиженно.

– «Буржуазия, чувствуя свой конец, ухватилась за мистику: предоставим небо воробьям и из царства необходимости сложим царство свободы».

И Варвара Евграфовна победоносно окинула ангела непререкаемым взглядом чрез пенсне: и беспомощней заморгали глазки ангела Пери; этот ангел уважал одинаково и Варвару Евграфовну, и баронессу R. R. А сейчас приходилось выбирать между ними. Но Варвара Евграфовна, к счастью, не поднимала истории; положив ногу на ногу, она протерла пенсне.

– «Дело вот в чем... Вы, конечно, будете на балу у Цукатовых...»

– «Буду», – виновато так отвечивал ангел.

– «Дело вот в чем: на этом балу, по достигшим до меня слухам, будет и наш общий знакомец: Аблеухов».

Ангел вспыхнул.

– «Ну, так вот: ему-то вы и передайте вот это письмо». – Варвара Евграфовна сунула письмо в руки ангелу.

– «Передайте; и все тут: так передадите?»

– «Пе... передам...»

– «Ну так так, а мне нечего тут у вас прохлаждаться: я на митинг...»

– «Голубка, Варвара Евграфовна, возьмите с собой и меня».

– «А вы не боитесь? Может быть избиение...»

– «Нет, возьмите, возьмите – голубушка».

– «Что-ж: пожалуй, пойдете. Только вы будете одеваться; и прочее там: пудриться... Так уж вы поскорее...»

– «Ах, сейчас: в один миг!...»

.....

– «Господи, поскорее, поскорее... Корсет, Маврушка!.. Черное шерстяное платье – то самое: и ботинки – те, которые. Ах да нет: с высокими каблуками». И шуршали, падая, юбки: полетел на постель через стол розовый *кимоно*... Маврушка путалась: Маврушка опрокинула стул...

– «Нет, не так, а потуже: еще потуже... У вас не руки – обрубки... Где подвязки – а, а? Сколько раз я вам говорила? И закракал костью корсет; а дрожащие руки все никак не могли уложить на затылке ночи черные кос...

Софья Петровна Лихутина с костяною шпилькой в зубах закосила глазами: закосила глазами она на письмо; на письме же четко была сделана надпись: *Николаю Аполлоновичу Аблеухову*.

Что она «его» завтра встретит на балу у Цукатовых, будет с ним говорить, передаст вот письмо, – это было и страшно, и больно: роковое тут что-то – нет не думать, не думать!

Непокорная черная прядь соскочила с затылка.

Да, письмо. На письме же четко стояло: *Николаю Аполлоновичу Аблеухову*. Странно только вот что: этот почерк был почерк Липпанченко... Что за вздор!

Вот она уже в шерстяном черном платье с застежкой на

спине пропорхнула из спальни:

– «Ну, идемте, идемте же... Кстати, это письмо... От кого?..»

– «?»

– «Ну, не надо, не надо: готова я».

Для чего так спешила на митинг? Чтоб дорогой вывести-вать, спрашивать, добиваться?

А что спрашивать?

У подъезда столкнулись они с хохлом-малороссом Липпанченко:

– «Вот так так: вы куда?»

Софья Петровна с досадою замахала и плюшевой ручкой и муфточкой:

– «Я на митинг, на митинг».

Но хитрый хохол не унялся:

– «Прекрасно: и я с вами».

Варвара Евграфовна вспыхнула, остановилась: и уставилась в упор на хохла.

– «Я вас, кажется, знаю: вы снимаете номер... у Манпонши».

Тут бесстыдный хитрый хохол пришел в сильнейшее замешательство: запыхтел вдруг, запятился, приподнял свою шапку, отстал.

– «Кто, скажите, этот неприятный субъект?»

– «Липпанченко».

– «Ну и вовсе неправда: не Липпанченко, а грек из Одес-

сы: Маврокордато; он бывает в номере у меня за стеной: не советую вам его принимать».

Но Софья Петровна не слушала. Маврокордато, Липпанченко – все равно... Письмо, вот, письмо...

## **Благороден, строен, бледен!..**

Они проходили по Мойке.

Слева от них трепетали листочками сада последнее золото и последний багрец; и, приблизившись ближе, можно было бы видеть синичку; а из сада покорно тянулась на камни шелестящая нить, чтобы виться и гнаться у ног прохожего пешехода и шушукать, сплетая из листьев желто-красные россыпи слов.

– «Уууу-ууу-ууу...» – так звучало в пространстве.

– «Вы слышите?»

– «Что такое?»

.....

– «Ууу-ууу».

.....

– «Ничего я не слышу...»

А тот звук раздавался негромко в городах, лесах и полях, в пригородных пространствах Москвы, Петербурга, Саратова. Слышал ли ты октябрёвскую эту песню тысяча девятьсот пятого года? Этой песни ранее не было; этой песни не будет...

– «Это, верно, фабричный гудок: где-нибудь на фабриках

забастовка».

Но фабричный гудок не гудел, ветра не было; и безмолвствовал пес.

Под ногами их справа голубел мойский канал, а за ним над водой возникла красноватая линия набережных камней и венчалась железным, решетчатым кружевом: то же светлое трехэтажное здание александровской эпохи подпиралось пятью каменными колоннами; и мрачнел меж колоннами вход; над вторым этажом проходила та же все полоса орнаментной лепки: круг за кругом – все лепные круги.

Меж каналом и зданием на своих лошадях пролетела шинель, утаив в свой бобер замерзающий кончик надменного носа; и качался ярко-желтый околыш, да розовая подушка шапочки кучерской колыхнулась чуть-чуть. Поравнявшись с Лихутиной, высоко над плешью взлетел ярко-желтый околыш Ее Величества кирасира: это был барон Оммау-Оммергау.

Впереди, где канал загибался, поднимались красные стены церкви, убегая в высокую башенку и в зеленый шпиг; а левее над домовым, каменным выступом, в стеклянеющей бирюзе ослепительный купол Исакия поднимался так строго.

Вот и набережная: глубина, зеленоватая синь. Там далеко, далеко, будто дальше, чем следует, опустились, принизились острова: и принизились здания; вот замост, хлынет на них глубина, зеленоватая синь. И над этую зеленоватую синю немилосердный закат и туда и сюда посылал свой багро-

во-светлый удар: и багрился Троицкий Мост; и Дворец тоже багрился.

Вдруг под эту глубину и зеленоватой синью на багровом фоне зари показался отчетливый силуэт: в ветре крыльями билась серая николаевка; и небрежно откинулось восковое лицо, оттопыривши губы: в синеватых невских просторах все глаза его что-то искали, найти не могли, улетели мимо над скромною ее шапочкой; не увидели шапочки: не увидели ничего – ни ее, ни Варвары Евграфовны: только видели глубину, зеленоватую синь; поднялись и упали – там упали глаза, за Невой, где принизились берега и багрились островные здания. Впереди же, сопя, пробежал полосатый, темный бульдог, унося в зубах свой серебряный хлыстик.

Поравнявшись, очнулся он, чуть прищурился, чуть рукой прикоснулся к околышу; ничего не сказал – и туда ушел: там багрились лишь здания.

Софья Петровна с совершенно косыми глазами, спрятав личико в муфточку (она была теперь краснее пиона), беспомощно как-то в сторону помотала головкой: не ему, а бульдогу. А Варвара Евграфовна так-таки и уставилась, засопела, впилась глазами.

– «Аблеухов?»

– «Да... кажется».

И, услышавши утвердительный ответ (сама она была близорука), Варвара Евграфовна про себя взволнованно зашептала:

Благороден, строен, бледен,  
Волоса, как лен;  
Мыслью – щедр и чувством беден  
Н. А. А. – кто ж он?

Вот, вот он:

Революционер известный,  
Хоть аристократ,  
Но семьи своей бесчестной  
Лучше во сто крат.

Вот, он, пересоздатель гнилого строя, которому она (скоро, скоро!) собирается предложить гражданский брак по свершении им ему предназначенной миссии, за которой последует всеобщий, мировой взрыв: тут она захлебнулась (Варвара Евграфовна имела обычай слишком громко заглаживать слюни).

– «Что такое?»

– «Ничего: мне пришел в голову один идейный мотив».

Но Софья Петровна не слушала больше: неожиданно для себя она повернулась и увидела, что там, там, на дворцовом выступе в светло-багровом ударе последних невских лучей, как-то странно повернутый к ней, выгибаясь и уйдя лицом в воротник, отчего скатывалась с него студенческая фуражка, стоял Николай Аполлонович: ей казалось, что он непри-

ятнейшим образом улыбался и во всяком случае представлял собой довольно смешную фигуру: запахнувшись в шинель, он казался и сутулым, и каким-то безруким с пренелепо плясавшим по ветру шинельным крылом; и, увидев все то, головку она повернула стремительно.

Долго еще простоял он, изогнувшись, улыбался неприятнейшим образом и во всяком случае представлял собой довольно смешную фигуру безрукого с так нелепо плясавшим в ветре шинельным крылом на пятне багрового закатного косяка. Но во всяком случае на нее не глядел он: разве можно было с его близорукостью рассмотреть удалявшиеся фигурки; сам с собой он смеялся и глядел далеко-далеко, будто дальше, чем следует, – туда, куда опускались островные здания, где они едва протуманились в багровеющем дыме.

А она – ей хотелось заплакать: ей хотелось, чтоб муж ее, Сергей Сергеич Лихутин, подойдя к этому подлецу, вдруг ударил его по лицу кипарисовым кулаком и сказал по этому поводу свое честное, офицерское слово.

Немилосердный закат посылал удар за ударом от самого горизонта; выше шла неизмеримость розовой ряби; еще выше мягко так недавно белые облачка (теперь розовые) будто мелкие вдавлины перебитого перламутра пропадали во всем бирюзовом; это все бирюзовое равномерно лилось меж осколков розовых перламутров: скоро перламутринки, утопая в высь, будто отходя в океанскую глубину, – в бирюзе погасят нежнейшие отсветы: хлынет всюду темная синь, си-

невато-зеленая глубина: на дома, на граниты, на воду.

И заката не будет.

## **Конт-конт-конт!**

Лакей подал суп. Перед тарелкой сенатора предварительно из прибора поставил он перечницу.

Аполлон Аполлонович показался из двери в своем сереньком пиджачке; так же быстро уселся он; и лакей снял уж крышку с дымящейся супницы.

Отворилась левая дверь; стремительно в левую дверь проскочил Николай Аполлонович в застегнутом наглухо мундире студента; у мундира топорщился высочайший (времен императора Александра Первого) воротник.

Оба подняли глаза друг на друга; и оба смутились (они смущались всегда).

Аполлон Аполлонович перекинулся взором от предмета к предмету; Николай Аполлонович ощутил ежедневное замешательство: у него свисали с плечей две совершенно ненужных руки по обе стороны туловища; и в порыве бесплодной угодливости, подбегая к родителю, стал поламывать он свои тонкие пальцы (палец о палец).

Ежедневное зрелище ожидало сенатора: неестественно вежливый сын неестественно быстро, вприпрыжку, преодолел пространство от двери – и до обеденного стола. Аполлон Аполлонович перед сыном стремительно встал (все ска-

зали б – вскочил).

Николай Аполлонович споткнулся о столовую ножку.

Аполлон Аполлонович протянул Николаю Аполлоновичу свои пухлые губы; к этим пухлым губам Николай Аполлонович прижал две губы; губы друг друга коснулись; и два пальца тряхнула обычно потеющая рука.

– «Добрый вечер, папаша!»

– «Мое почтение-с...»

Аполлон Аполлонович сел. Аполлон Аполлонович ухватился за перечницу. По обычаю Аполлон Аполлонович переперчивал суп.

– «Из университета?..»

– «Нет, с прогулки...»

И лягушечье выражение пробежало на ослабленном рте почтительного сыночка, которого лицо успели мы рассмотреть, взятое в отвлечении от всевозможных ужимок, улыбок или жестов любезности, составляющих проклятие жизни Николая Аполлоновича, хотя бы уж потому, что от *греческой маски* не оставалось следа; эти улыбки, ужимки или просто жесты любезности заструились каким-то непрерывным каскадом перед порхающим взором рассеянного папаша; и рука, подносящая ко рту ложку, очевидно дрожала, расплескивая суп.

– «Вы, папаша, из Учреждения?»

– «Нет, от министра...»

.....

Выше мы видели, как, сидя в своем кабинете, Аполлон Аполлонович пришел к убеждению, что сын его отпетый мошенник: так над собственной кровью и над собственной плотью совершал ежедневно шестидесятивосьмилетний папаша некий, хотя и умопостигаемый, но все же террористический акт.

Но то были отвлеченные, кабинетные заключения, не выносившиеся уже в коридор, ни (тем паче) в столовую.

– «Тебе, Коленька, перцу?»

– «Мне соли, папаша...»

Аполлон Аполлонович, глядя на сына, то есть порхая вокруг закорчившегося молодого философа перебегающими глазами, по традиции этого часа предавался приливу, так сказать, отчества, избегая мыслями кабинет.

– «А я люблю перец: с перцем вкуснее...»

Николай Аполлонович, опуская в тарелку глаза, изгонял из памяти докучные ассоциации: невский закат и невыразимость розовой ряби, перламутра нежнейшие отсветы, синевато-зеленую глубину; и на фоне нежнейшего перламутра...

– «Так-с!..»

– «Так-с!..»

– «Очень хорошо-с...»

Занимал розговором сынка (или лучше заметить – себя) Аполлон Аполлонович.

Над столом тяжелело молчание.

Этим молчанием за вкушением супа не смущался ни-

сколько Аполлон Аполлонович (старые люди молчанием не смущаются, а нервная молодежь – да)... Николай Аполлонович за отысканием темы для разговора испытывал настоящую муку над остывшей тарелкою супа.

И неожиданно для себя разразился:

– «Вот... я...»

– «То есть, что?»

– «Нет... Так... ничего...»

Над столом тяготело молчание.

Николай Аполлонович опять неожиданно для себя разразился (вот непоседа-то!).

– «Вот... я...»

Только что «в о т я»? Продолжения к выскочившим словам все еще не придумал он; и не было мысли к «*вот... я...*» И Николай Аполлонович споткнулся...

– «Что бы такое к *вот я*», – думал он, – «мне придумать».

И ничего не придумал.

Между тем Аполлон Аполлонович, обеспокоенный вторично нелепой словесной смятенностью сына, вопросительно, строго, капризно вдруг вскинул свой взор, негодуя на «мямляние»...

– «Позволь: что такое?»

В голове же сынка бешено завертелись бессмысленные слова:

– «Перцепция...»

– «Апперцепция...»

– «Перец – не перец, а термин: терминология...»

– «Логия, логика...»

И вдруг выкрутилось:

– «Логика Когена...»

Николай Аполлонович, радуясь, что нашел выход к слову, улыбаясь, выпалил:

– «Вот... я... прочел в *«Theorie der Erfahrung»* Когена...»

И запнулся опять.

– «Итак, что же это за книга, Коленька?»

Аполлон Аполлонович в наименовании сына произвольно соблюдал традиции детства; и в общении с *отпетым* мошенником именовал *отпетого* мошенника «*Коленькой, сынком, дружком*» и даже – «*голубчиком ...*»

– «Коген, крупнейший представитель европейского кантианства».

– «Позволь – контианства?»

– «Кантианства, папаша...»

– «Кан-ти-ан-ства?»

– «Вот именно...»

– «Да ведь Канта же опроверг Кант? Ты о Конте ведь?»

– «Не о Конте, папаша, о Канте!..»

– «Но Кант не научен...»

– «Это Кант не научен...»

.....

– «Не знаю, не знаю, дружок: в наши времена полагали не так...»

.....

Аполлон Аполлонович, уставший и какой-то несчастный, медленно протирал глаза холодными кулачками, затвердивши рассеянно:

– «Конт...»

– «Конт...»

– «Конт...»

Лоски, лаки, блески и какие-то красные искорки заматались в глазах (Аполлон Аполлонович всегда пред глазами своими видел, так сказать, два разнообразных пространства: наше пространство и еще пространство какой-то крутящейся сети из линий, становившихся золотенькими по ночам).

Аполлон Аполлонович рассудил, что мозг его снова страдает сильнейшими приливами крови, обусловленными сильнейшим геморроидальным состоянием всей последней недели; к темной кресельной стенке, в темную глубину привалилась его черепная коробка; темно-синего цвета глаза уставились вопросительно:

– «Конт... Да: Кант...»

Он подумал и вскинул очи на сына:

– «Итак, что же это за книга, Коленька?»»

.....

Николай Аполлонович с инстинктивной хитростью заводил речь о Когене; разговор о Когене был нейтральнейший разговор; разговором этим снимались *прочие разговоры*; и какое-то объяснение отсрочивалось (изо дня в день – из

месяца в месяц). Да и, кроме того: привычка к назидательным разговорам сохранилась в душе Николая Аполлоновича со времен еще детства: со времен еще детства Аполлон Аполлонович поощрял в своем сыне подобные разговоры: так бывало по возвращении из гимназии Николая Аполлоновича с видимым жаром объяснял папаше сынок подробности о *когортах, тествудо и туррисах*; объяснял и прочие подробности галльской войны; с удовольствием тогда внимал сыну Аполлон Аполлонович, снисходительно поощряя к интересам гимназии. А в позднейшие времена Аполлон Аполлонович Коленьке даже клал ладонь на плечо.

– «Ты бы, Коленька, прочитал *Логику* Милля: это, знаешь ли, полезная книга... Два тома... Я ее в свое время прочитал от доски до доски...»

И Николай Аполлонович только что пред тем проглотивший *Логику* Зигварта, тем не менее выходил в столовую к чаю с преогромным томом в руке. Аполлон Аполлонович, будто бы невзначай, ласково спрашивал:

– «Что́ это ты читаешь, Коленька?»

– «*Логику* Милля, папаша»

– «Так-с, так-с... Очень хорошо-с!»

.....

И теперь, разделенные до конца, приходили они бессознательно к старым воспоминаниям: их обед часто кончался назидательным разговором...

Некогда Аполлон Аполлонович был профессором фило-

софии права: в это время многое он прочитывал до конца. Все то – миновало бесследно: пред изящными пируэтами родственной логики Аполлон Аполлонович чувствовал беспредметную тяжесть. Аполлон Аполлонович не умел сынку возражать.

Он, однако, подумал: «Надо Коленьке отдать справедливость: умственный аппарат у него отчетливо разработан».

В то же время Николай Аполлонович с удовольствием чувствовал, что родитель его – необычно сознательный слушатель.

И подобие дружбы меж ними возникало обычно к десерту: им иногда становилось жаль обрывать обеденный разговор, будто оба они боялись друг друга; будто каждый из них в одиночку друг другу сурово подписывал казнь.

Оба встали: оба стали расхаживать по комнатной анфиладе; встали в тень белые Архимеды: там, там; вот и там; анфилада комнат чернела; издали, из гостиной, понеслись красноватые вспышки светового брожения; издали, из гостиной, стал потрескивать огонек.

Так когда-то бродили они по пустой комнатной анфиладе – мальчуган и... еще нежный отец; еще нежный отец похлопывал по плечу белокурого мальчугана; после нежный отец подводил к окну мальчугана, поднимал палец на звезды:

– «Звезды, Коленька, далеко: от ближайшей звезды лучевой пучок пробегает к земле два с лишним года... Так-то вот, мой родной!» И еще однажды нежный отец написал сы-

ну стихотвореньице:

Дурачок, простачок,  
Коленька танцует:  
Он надел колпачок —  
На коне гарцует.

Также когда из теней выступали контуры столиков, луч набережных огней пролетал из стекла: столики начинали поблескивать инкрустацией. Неужели отец пришел к заключению, будто кровь от крови его – негодяйская кровь? Неужели и сын посмеялся над старостью?

Дурачок, простачок  
Коленька танцует:  
Он надел колпачок —  
На коне гарцует.

Было ли это, – может быть, не было этого... нигде, никогда?

Оба сидели теперь на атласной гостинной кушетке, чтоб бесцельно растягивать незначачие слова: вглядывались друг другу в глаза выжидательно, и каминное красное пламя на обоих дышало теплом; бритый, серый и старый на мигающем пламени рисовался Аполлон Аполлонович и ушами и пиджачком: с точно таким вот лицом на фоне горящей России изобразили его на обложке журнальчика. Протянув мертвую

руку и не глядя сыну в глаза, Аполлон Аполлонович спросил упadaющим голосом:

– «Часто у тебя, дружок, бывает... мм... вот тот...»

– «Кто, папаша?»

– «Вот тот, как его... молодой человек...»

– «Молодой человек?»

– «Да, – с черными усиками».

Николай Аполлонович осклабился, заломал вдруг вспотевшие руки...

– «Это тот, которого вы давеча застали в моем кабинете?»

– «Ну да – тот самый...»

– «Александр Иванович Дудкин!.. Нет... Что вы...»

И сказавши «что вы», Николай Аполлонович подумал:

– «Ну, зачем я это «*что вы*» сказал».

И подумав, прибавил:

– «Так себе, заходит ко мне».

.....

– «Если... если... это нескромный вопрос, то... кажется...»

– «Что, папаша?»

– «Это он приходил к тебе по... университетским делам?»

.....

– «А впрочем... если мой вопрос, так сказать некстати...»

– «Ничего себе... приятный молодой человек: бедный, как видно...»

.....

– «Он студент?..»

– «Студент».

– «Университета?»

– «Да, университета...»

– «Не технического училища?..»

– «Нет, папаша...»

Аполлон Аполлонович знал, что сын его лжет; Аполлон Аполлонович посмотрел на часы; Аполлон Аполлонович нерешительно встал. Николай Аполлонович мучительно почувствовал свои руки, сконфуженно забегал глазами Аполлон Аполлонович:

– «Да, вот... Много на свете специальных отраслей знания: глубока каждая специальность – ты прав. Знаешь ли, Коленька, я устал».

Аполлон Аполлонович о чем-то пытался спросить потиравшего руки сына... Постоял, посмотрел, да и... не спросил, а потупился: Николай Аполлонович на мгновение почувствовал стыд.

Механически протянул Аполлон Аполлонович сынку свои пухлые губы: и рука тряхнула... два пальца.

– «Добрый вечер, папаша!»

– «Мое почтение-с!»

Где-то сбоку зашаркала, зашуршала и вдруг пискнула мышь.

.....

Скоро дверь senatorского кабинета открылась: со свечою

в руке Аполлон Аполлонович пробежал в одну ни с чем не сравнимую комнату, чтоб предаться... газетному чтению.

.....  
Николай Аполлонович подошел к окну.

Какое-то фосфорическое пятно и туманно, и бешено проносилось по небу; фосфорическим блеском протуманилась нельская даль и от этого зелено замерцали беззвучно летящие плоскости, отдавая то там, то здесь искрою золотой; кое-где на воде вспыхивал красненький огонечек и, помигав, отходил в фосфорически простертую муть. За Невою, темнея, вставали громадные здания островов и бросали в туманы блекло светившие очи – бесконечно, беззвучно, мучительно: и казалось, что – плачут. Выше – бешено простирали клочковатые руки какие-то смутные очертания; рой за роем, они восходили над нельской волной; а с неба кидалось на них фосфорическое пятно. Только в одном, хаосом не тронутом месте, там, где днем перекинут Троицкий Мост, протуманились гнезда огромные бриллиантов над разблиставшимся роём кольчатых, световых змей; и свиваясь, и развиваясь, змеи бежали оттуда искристой чередою; и потом, заныряв, поднимались к поверхности звездными струнками.

Николай Аполлонович загляделся на струнки.

.....  
Набережная была пуста. Изредка проходила черная тень полицейского, вычерняясь в светлый туман и опять расплываясь; и вычернялись, и пропадали в тумане там заневские

здания; вычернялся и опять в туман уходил Петропавловский шпиц.

Какая-то женская тень давно уже вычернялась в тумане: став у перил, не уходила в туман, но глядела прямо на окна желтого дома. Николай Аполлонович усмехнулся пренебрежительной улыбкой: приложив к носу пенсне, он разглядывал тень; Николай Аполлонович с любострастной жестокостью выпучил очи, все глядел на ту тень; радость исказила черты его.

Нет, нет: не – она; но и она, как та тень, хаживала вокруг желтого дома; и он ее видел; в душе его было все непокойное. Она его, без сомненья, любила; но ее ожидала роковая страшная месть.

Черная случайная тень уже расплылась в тумане.

.....

В глубине темного коридора звякнула металлическая задвижка, в глубине темного коридора промерцал свет: Аполлон Аполлонович со свечою в руке возвращался из одного ни с чем не сравнимого места: серый, мышиный халат, серые бритые щеки и огромные контуры совершенно мертвых ушей отчетливо изваялись издали в пляшущих светочах, убегая за светлый круг в совершенную тьму; из совершенной тьмы Аполлон Аполлонович Аблеухов прошел до дверей кабинета, чтобы кануть опять в совершенную тьму; и место его прохождения из раскрытой двери зияло так мрачно.

.....

Николай Аполлонович подумал: «Пора».

Николай Аполлонович знал, что сегодня до ночи митинг, что т а шла на митинг (ручательством было *сопровождение* Варвары Евграфовны: Варвара Евграфовна всех водила на митинги). Николай Аполлонович подумал, что прошло уже два с лишним часа, как он встретил их, по дороге к *мрачному зданию*; и теперь он подумал: «Пора»...

## Митинг

В обширной передней мрачного здания была отчаянная толчея. Толчея несла ангела Пери, колыхая взад и вперед меж чьими-то спиною и грудью; так отчаянно силилась она протянуться к Варваре Евграфовне: но Варвара Евграфовна, не внимая, где-то там, била, билась, толкалась: и пропала вдруг в толчее; вместе с ней и пропала возможность расспросить о письме. Что письмо! В глазах ее еще багрянели закатные пятна; и – там, там: как-то странно повернутый к ней на дворцовом выступе в светло-багровом ударе последних невиских лучей, выгибаясь и уйдя лицом в воротник, стоял Николай Аполлонович с пренеприятной улыбкой. Нет! Во всяком случае представлял он собой довольно смешную фигуру: казался сутулым и каким-то безруким с так нелепо плясавшим по ветру шинельным крылом; ей хотелось заплакать от горького оскорбления, будто он ее больно ударил серебряным хлыстиком, тем серебряным хлыстиком, который в зу-

бах, сопя, пронес полосатый, темный бульдог; ей хотелось, чтоб муж, Сергей Сергеич Лихутин, подойдя к этому подлецу, вдруг ударил его по лицу кипарисовым кулаком и сказал бы по этому поводу свое офицерское слово; у нее в глазах мелькнули еще невские облачка, будто мелкие вдавлины перебитого перламутра, меж которых лилось равномерно бирюзовое все.

Но в толпе погасли нежнейшие отсветы, хлынули отовсюду груди, спины и лица, черная темнота – в желтовато-туманную муть.

И все перли да перли субъекты, косматые шапки и барышни: тело перло на тело; на спине расплюснулся нос; грудь теснила головка хорошенькой гимназисточки, а в ногах попискивал второклассник; под давлением сзади в чью-то прическу здесь ушел не в меру протянутый нос и проткнулся булавкой от шляпы, там же грудь грозил проломать прободающий острый угол от локтя; раздеваться не было мочи; стоял в воздухе пар, озаренный свечами (как впоследствии оказалось, вдруг испортилось электричество – электрическая станция, очевидно, стала пошаливать: скоро она расшалилась надолго).

И все перли, все бились: разумеется, Софья Петровна надолго увязла под лестницей, а Варвара Евграфовна выбилась, разумеется, и теперь толкалась, билась и била так высоко где-то на лестнице; вместе с нею выбился какой-то весьма почтенный еврей в барашковой шапке, в очках, с сильной

просе́дью: обернувшись назад, в совершеннейшем ужасе он тянул за полу свое собственное пальто; и не вытянул; и не вытянув, раскричался:

– «Караша публикум; не публикуй, а *свинство!* рхусское!..»

– «Ну и што же ви, отчево же ви в наша Рхассия?» – раздалось откуда-то снизу.

Это еврей бундист-социалист пререкался с евреем не бундистом, но социалистом.

В зале тело на теле сидело, тело к телу прижалось; и качались тела; волновались и кричали друг другу о том, что и там-то, и там-то, и там-то была забастовка, что и там-то, и там-то, и там-то забастовка готовилась, что они забастуют – здесь, здесь и здесь: забастуют на этом вот месте: и – ни с места!

Сначала об этом сказал интеллигентный партийный сотрудник, после то же за ним повторил и студент; за студентом – курсистка; за курсисткой – пролетарий сознательный, но когда то же самое захотел повторить бессознательный пролетарий, представитель люмпен-пролетариата, то на все помещение затрубил, как из бочки, такой густой голосище, что все вздрогнули:

– «Тварры... шшы!.. Я, тоись, челаэк бедный – прро-летарр-рий, тваррры... шшшы!..»

Гром аплодисментов.

– «Так, тва-рры... шшы!.. И птаму значит, ефат самый

правительственный... прра-извол... так! так! тоись, я челаэк  
бедный – гврю: за-ба-стовка, тва-рры-шшы!»

Гром аплодисментов (Верно! Верно! Лишить его слова!  
Безобразие, господа! Он – пьян!).

– «Нет, я не пьян, тва-рры-шшы!.. А значит, на эфтого  
самого буржуазия... как, стало быть, трудишшса, трудишш-  
са... Одно слово: за ноги евво да в воду; тоись... за-ба-сто-  
вка!»

(Удар кулаком по столу: гром аплодисментов).

Но председатель лишил рабочего слова.

Лучше всех сказал почтенный сотрудник одной почтен-  
ной газеты, Нейнтельпфайн: он сказал, и тотчас же скрылся.  
Попытался какой-то малыш с высоты четырех кафедральных  
ступеней провозгласить кому-то бойкот: но малыша засмея-  
ли; стоило ли заниматься такими пустяками, когда бастовали  
и там-то, и там-то, и там-то, когда бастовали вот тут – и ни с  
места? И малыш, чуть не плача, сошел с высоты четырех ка-  
федральных ступеней; и тогда взошла на эти ступени шести-  
десятипятiletняя земская деятельница и сказала собранью:

Сейти полезное, доброе, вечное,  
Сейти, спасибо вам скажет сердечное  
Русский народ!

Но сеятели смеялись. Тогда кто-то вдруг предложил всех  
и все уничтожить: это был мистичный анархист. Софья Пет-  
ровна не услышала анархиста, а вытискивалась обратно, и

странное дело: Софье Петровне Варвара Евграфовна объясняла не раз и не два, что на митингах сеется все полезное, доброе, заслуживающее с ее стороны сердечного *спасибо*. А вот нет же, вот нет же! Над шестидесятипятилетней старушкой деятельницей, сказавшей им то же (о сеянье), все они хохотали отчаянно; и потом отчего же в сердечке ее семя не пустило ростка? Проросли мутно какие-то крапивные плевелы; и ужасно трещала головка; оттого ли, что увидела она его перед тем, оттого ли, что уж был у нее такой крошечный лобик, оттого ли, что там на нее уставились отовсюду какие-то одержимые лица, бастовавшие там-то, и там-то, и теперь пришедшие бастовать вот сюда, глядеть на нее из желто-туманной мути, скалить в хохоте зубы. И от этого хаоса в ней самой просыпалась какая-то ей самой непонятная злость; ведь была она – дама, а в дамах нельзя будить хаоса; в этом хаосе скрыты все виды жестокостей, преступлений, падений; в каждой даме тогда таится преступница; в ней и так уже затаилось давно преступное что-то.

Уж она подходила к углу вместе с шедшим с ней офицериком, на которого там глядели с улыбкой и покровительственно шептались друг с другом и который вдруг обиделся на бойкот, провозглашенный мальчишкой, и, обидевшись, быстро ушел, – уже она подходила к углу, как из ворот соседнего дома на клочковатых своих лошадях во всю прыть вылетел перед ней казацкий отряд; синие бородатые люди в косматых папах и с винтовками наперевес, сущие оборван-

цы, нагло, немо, нетерпеливо проплясали на седлах – туда, к зданию. Видевший это какой-то рабочий с угла подбежал к офицеру, протянул к нему руку и стал говорить задыхаясь:

– «Господин офицер, господин офицер!»

– «Извините, нет мелочи...»

– «Да я не за этим: что же это такое там теперь будет?..

Что будет-то?.. Беззащитные барышни там – курсистки...»

Офицер законфузился, покраснел, отчего-то отдал под козырек:

– «Не знаю, право... Ни при чем я тут... Я сам только что из Манджурии; видите – вот Георгий...»

А уж там что-то было.

## **Татам: там, там!**

Было уж поздно.

Софья Петровна домой возвращалась тихонько, пряча носик в пуховую муфточку; Троицкий Мост за спиною ее к островам бесконечно тянулся, убежал в те немые места; и тянулись по мосту тени; на большом чугунном мосту, над сырыми, сырыми перилами, над кишашей бациллами заленоватой водой проходили за ней в сквозняках приневского ветра – котелок, трость, пальто, уши, усы и нос.

Вдруг глаза ее остановились, расширились, заморгали, скопились: под сырыми, сырыми перилами, раскарячась, сидел темный тигровый зверь и, сопя, слюнявил зубами сереб-

ряный хлыстик; в сторону от нее завернул темный тигровый зверь курносую морду; а когда в сторону завернутой морды она бросила взгляд, то увидела: восковое все то же лицо, оттопыривши губы над сырыми перилами, над кишасцей бациллами зеленоватой водой протянулось там из шинели; оттопыривши губы, казалось, он думал какую-то колдовскую все думу, отдававшуюся и в ней за эти последние дни, потому что за эти последние дни так мучительно пелись ей слова одного простого романа:

Глядя на луч пурпурного заката,  
Стояли вы на берегу Невы.

И вот: на берегу Невы он стоял, как-то тупо уставившись в зелень, или нет, – улетаая взором туда, где принизились берега, где покорно присели островные здания и откуда над белыми крепостными стенами безнадежно и холодно протянулся под небо мучительно острый, немилосердный, холодный Петропавловский шпигц.

Вся она протянулась к нему – что слова и что размышления! Но он – он опять ее не заметил; оттопырив губы и стеклянно расширив глаза, он казался просто безруким уродцем; и опять вместо рук в сквозняк взлетели шинельные крылья над сырыми перилами моста.

Но когда она отошла, Николай Аполлонович медленно на нее обернулся и быстрехонько засеменял прочь, оступаясь и

путаясь в длинных полах; на углу же моста его ждал лихач: и лихач полетел; а когда лихач обогнал Софью Петровну Лихутину, то Николай Аполлонович, наклонившись и сжимая руками ошейник бульдога, повернулся сутуло на темненькую фигурку, что засунула сиротливо так носик свой в муфточку; посмотрел, улыбнулся; но лихач пролетел.

Вдруг посыпался первый снег; и такими живыми алмазиками он, танцую, посверкивал в световом кругу фонаря; светлый круг чуть-чуть озарял теперь и дворцовый бок, и каналик, и каменный мостик: в глубину убегала Канавка; было пусто: одинокий лихач посвистывал на углу, поджидая кого-то; на пролетке небрежно лежала серая николаевка.

Софья Петровна Лихутина стояла на выгибе мостика и мечтательно поглядела – в глубину, в заплескавший паром каналец; Софья Петровна Лихутина останавливалась в этом месте и прежде; останавливалась когда-то и с ним; и вздыхала о Лизе, рассуждала серьезно об ужасах *«Пиковой Дамы»*, – о божественных, очаровательных, дивных созвучиях одной оперы, и потом напевала вполголоса, дирижируя пальчиком:

– «Татам: там, там!.. Тататам: там, там!»

Вот опять она здесь стояла; губки раскрылись, и маленький пальчик поднялся:

– «Татам: там, там!.. Тататам: там, там!»

Но она услышала звук бежавших шагов, поглядела – и даже не вскрикнула: вдруг просунулось как-то растерянно из-

за края дворцового бока красное домино, пометалось туда и сюда, будто в поисках, и, увидев на выгибе мостика женскую тень, бросилось ей навстречу; и в порывистом беге оно спотыкалось о камни, протянувши вперед свою маску с узкою прорезью глаз; а под маской струя ледяного невского сквозняка заиграла густым веером кружев, разумеется черных же; и пока маска бежала по направлению к мостику, Софья Петровна Лихутина, не имея времени даже сообразить, что красное домино – домино шутовское, что какой-то безвкусный проказник (и мы знаем какой) захотел над ней просто-напросто подшутить, что под бархатной маской и черною кружевною бородой просто пряталось человеческое лицо; вот оно на нее теперь уставилось зорко в продолговатые прорези. Софья Петровна подумала (у нее ведь был такой крошечный лобик), что какая-то в мире сем образовалась пробойна, и оттуда, из пробойны, отнюдь не из этого мира, сам шут бросился на нее: кто такой этот шут, вероятно, она не сумела б ответить.

Но когда кружевная черная борода, спотыкаясь, взлетела на мостик, то в порыве невского сквозняка вверх взлетели с шуршанием атласные шутовские лопасти и, краснея, упали они туда за перила – в темноцветную ночь; обнаружались слишком знакомые светло-зеленые панталонные штрипки, и ужасный шут стал шутом просто жалким; в ту минуту калоша скользнула на каменной выпуклости: жалкий шут грохнулся со всего размаху о камень; а над ним теперь раздался

безудержно вовсе даже не смех: просто хохот.

– «Лягушонок, урод – красный шут!..»

Быстрая женская ножка гневно так шута награждала пинками.

Какие-то вдоль канала теперь побежали бородатые люди, и раздался издали полицейский свисток; шут вскочил; шут бросился к лихачу, и издали было видно, как в пролетке бесильно барахталось что-то красное, на лету стараясь на плечи надеть николаевскую шинель. Софья Петровна заплакала и побежала от этого проклятого места.

Скоро, вдогонку за лихачом, из-за Зимней Канавки с лаем выбежал курносый бульдог: замелькали в воздухе его короткие ножки, а за ними, за короткими ножками, на резиновых шинах, вдогонку, развалясь, уже мчались два агента охранного отделения.

## Тени

Говорила тень тени:

– «Вы, милейший мой, упустили одно немаловажное обстоятельство, о котором узнал я при помощи своих собственных средств».

– «Какое?»

– «Вы ни звука про красное домино».

– «А вы уже знаете?»

– «Я не только знаю: я выследил до самой квартиры!»

– «Ну, и красное домино?»

– «Николай Аполлонович».

– «Гм! Да-да: но еще инцидент не созрел».

– «Не отвертывайтесь: просто вы упустили из виду».

– «Да-да: упустили... А еще упрекали меня фальшивомонетчиком, упрекали полтинником – помните? Я же молчал, что у вас фальшивые волосы».

– «Не фальшивые – крашенные...»

– «Это все равно».

– «Как ваш насморк?»

– «Благодарствуйте: лучше».

.....

– «Не упустил я».

– «Доказательства?»

– «И с чего это вы: я за ними в карман не полезу».

– «Доказательства?!»

– «Вы и так мне поверите».

– «Доказательства!!!»

Но в ответ раздался сардонический смех.

– «Доказательства? Доказательств вам надо? Доказательства – *«Петербургский дневник происшествий»*. Вы читали *«Дневник»* за последние дни?»

– «Признаюсь: не читал».

– «Но ведь ваша обязанность знать то, о чем говорит Петербург. Если бы вы заглянули в *«Дневник»*, вы бы поняли, что известия о домино опередили его появление у Зимней

Канавки».

– «Гм-гм».

– «Видите, видите, видите: а вы говорите. Вы спросите меня, кто все это в «Дневнике» написал».

– «Ну, кто же?»

– «Нейтельпфайн, мой сотрудник».

.....

– «Признаюсь, этого фортеля я не ожидал».

– «А еще кидаетесь на меня, осыпаете колкостями: я же сто раз говорил, что я – идейный сотрудник, что предприятие это поставлено, как часовой механизм. Еще вы – в блаженном неведении, как уж мой Нейтельпфайн производит сенсацию».

– «Гм-гм-гм: говорите громче – не слышу».

.....

– «Вы, надеюсь, дадите приказ, чтобы ваши агенты Николая Аполлоновича оставили в совершенном покое, иначе: иначе – за дальнейший успех ручаться не могу».

– «Я признаться, об этом последнем инциденте сообщил уж в газеты».

– «Бог мой, да ведь надо быть совершеннейшим...»

– «Что?»

– «Совершеннейшим... идеалистом: как всегда, вмешались и нынешний раз в мою компетенцию... Дай-то Бог, чтобы по крайней мере отец не узнал!»

## Провизжала бешеная собака

Мы оставили Софью Петровну Лихутину в затруднительном положении; мы оставили ее на петербургской панели в ту холодную ночь, когда откуда-то издали раздались свистки полицейских, а вокруг побежали какие-то темные очертания. Тогда и она обиженно побежала в обратную сторону; в свою мягкую муфточку обиженно проливала слезы она; с ужасным, ее навек позорящим происшествием не могла она никак примириться. Пусть бы лучше Николай Аполлонович ее иначе обидел, пусть бы лучше ударил ее, пусть бы даже он кинулся через мостик в красном своем домино, – всю бы прочую свою жизнь она его вспоминала бы с жутким трепетом, вспоминала бы до смерти. Софья Петровна Лихутина считала Канавку не каким-нибудь прозаическим местом, где бы можно было себе позволить то, что позволил себе он сейчас; ведь недаром она многократно вздыхала над звуками «Пиковой Дамы»: было что-то сходное с Лизой в этом ее положении (что было сходного, – этого точно она не могла бы сказать); и само собой разумеется, Николая Аполлоновича она мечтала видеть здесь Германом. А Герман?.. Повел себя Герман, как карманный воришка: он, во-первых, со смехотворной трусливостью выставил на нее свою маску из-за дворцового бока; во-вторых, со смехотворной поспешностью помахав перед ней своим домино, растянулся на мо-

стике; и тогда из-под складок атласа прозаически показались панталонные штрипки (эти штрипки-то окончательно вывели ее тогда из себя); в завершение всех безобразий, не свойственных Герману, этот Герман сбежал от какой-то там петербургской полиции; не остался Герман на месте и маски с себя не сорвал, героическим, трагическим жестом; глухим, замирающим голосом не сказал дерзновенно при всех: «Я люблю вас»; и в себя Герман после не выстрелил. Нет, позорное поведение Германа навсегда угасило зарю в ней всех этих трагических дней! Нет, позорное поведение Германа превратило самую мысль о домино в претенциозную арлекинаду; главное самое, ее уронило позорное поведение это; ну, какой же может быть она Лизой, если Германа нет! Так месть ему, месть ему!

Бурей влетела в квартирку Софья Петровна Лихутина. В освещенной передней висело офицерское пальто да фуражка; значит, муж ее был теперь дома, и Софья Петровна Лихутина, не раздеваясь, влетела в комнату мужа; прозаически грубым жестом распахнув настежь дверь, – влетела: с развевающимся боа, с мягкой муфточкой, с пламенным-пламенным личиком, некрасиво как-то распухшим: влетела – остановилась.

Сергей Сергеевич Лихутин, очевидно, приготавлился ко сну; серенькая тужурка его скромно как-то повисла на вешалке, а он сам в ослепительно белой сорочке, опоясанной накрест подтяжками, стоял замирающим силуэтом, буд-

то сломанный – на коленях; перед ним поблескивал образ и трещала лампадка. В полусвете синей лампы начертилось матово Сергея Сергеевича лицо, с остренькою точно такого же цвета бородкою и такого же цвета ко лбу поднятой рукой: и рука, и лицо, и бородка, и белая грудь точно были вырезаны из какого-то крепкого, пахучего дерева; губы Сергея Сергеевича шевелились чуть-чуть; и чуть-чуть кивал Сергей Сергеевича лоб синенькому огонечку, и чуть-чуть двигались, нажимая на лоб, вместе сжатые синеватые пальцы – для крестного знаменья.

Сергей Сергеевич Лихутин положил сперва свои синеватые пальцы на грудь и на оба плеча, поклонился, и уж только потом как-то нехотя обернулся. Сергей Сергеевич Лихутин не испугался, не сконфузился; поднимаясь с колен, он старательно стал счищать приставшие к коленам соринки. После этих медленных действий он спросил хладнокровно:

– «Что с тобой, Сонюшка?»»

Софью Петровну раздражило и как-то даже обидело хладнокровное спокойствие мужа, как обидел ее и тот синенький огонек там в углу. Резко она упала на стул и, закрыв лицо муфточкой, на всю комнату разрыдалась. Все лицо Сергея Сергеевича тогда подобрело, смягчилось; опустились тонкие губы, поперечная складка разрешила лоб, отчего на лице появилось сердобольное выражение. Но Сергей Сергеевич неясно представил себе, как он должен был в этом щекотливом случае поступить, – дать ли волю женским слезам,

чтоб потом выдержать сцену и упреки в холодности, или наоборот: осторожно склониться пред Софьей Петровной на колени, отвести почтительно ей головку от муфточки своей мягкой рукой, и рукой этой вытереть слезы, братски обнять и покрыть личико поцелуями; но Сергей Сергеевич боялся увидеть гримаску презрения и скуки; и Сергей Сергеевич выбрал себе средний путь: просто он потрепал Софью Петровну по дрожащему плечу:

– «Ну, ну, Соня... Ну, полно... Полно, ребеночек мой! Детка, детка!»

– «Оставьте, оставьте!..»

– «Что такое? В чем дело? Скажи!.. Обсудим же хладнокровно».

– «Нет: оставьте, оставьте!.. Хладнокровно... оставьте! видно... ааа... у вас... холодная, рыба кровь...»

Сергей Сергеевич обиженно отошел от жены, постоял в нерешительности, опустил в соседнее кресло.

– «Ааа... Оставлять так жену!.. Где-то там заведовать про- вариантами!.. Уходить!.. Ничего не знать!..»

– «Ты напрасно, Сонюшка, думаешь, что я так ничего ровно не знаю... Видишь ли...»

– «Ах, оставьте, пожалуйста!..»

.....

– «Видишь ли, мой дружок: с той поры, как... как от нас перебрался я в эту вот комнату... Словом, есть у меня самолюбие: и свободы твоей, пойми, я стеснять не хочу... Более

того, я тебя стеснять не могу: я тебя понимаю; я знаю прекрасно, что тебе, дружок, нелегко... У меня, Сонюшка, есть надежды: может быть, когда-нибудь снова... Ну, не стану, не стану! Но пойми же и ты меня: мое отдаление, хладнокровие, что ли, происходит, так сказать, не от холодности вовсе... Ну, не стану, не стану...»

.....

– «Может быть, ты хотела бы видеть Николая Аполлоновича Аблеухова? У вас, кажется, что-то вышло? Расскажи же мне все: расскажи без утайки; мы обсудим вдвоем твое положение».

– «Не смейте мне про него говорить!.. Он – мерзавец, мерзавец!.. Другой бы муж давно его пристрелил... Вашу жену преследуют, над ней издеваются... А вы?.. Нет, оставьте».

И несвязно, взволнованно, уронив головку на грудь, Софья Петровна все, как есть, рассказала.

Сергей Сергеевич Лихутин был простым человеком. А простых людей необъяснимая дикость поступка поражает сильнее даже, чем подлость, чем убийство, чем кровавое проявление зверств. Человек способен понять человеческую измену, преступление, человеческий даже позор; ведь, понять – значит, уж почти найти оправдание; но как себе, например, объяснить поступок светского и, казалось бы, вполне честного человека, если этому светскому и вполне честному человеку придет дикая совершенно фантазия: стать на карачки у порога одной светской гостиной, помахивая фал-

дами фрака? Это будет, замечу я, уже совершенную мерзостью! Непонятность, бесцельность той мерзости не может иметь никаких оправданий, как не может иметь оправданий кощунство, богохульство и всякие бесцельные издевательства! Нет, лучше пусть уж честный вполне человек безнаказанно тратит, например, казенные суммы, только пусть не становится он никогда на карачки, потому что после такого поступка оскверняется все.

Гневно, ярко, отчетливо Сергей Сергеевич Лихутин представил себе шутовской вид атласного домино в неосвященном подъезде, и... Сергей Сергеевич стал краснеть, покраснел до яркого морковного цвета: кровь ему бросилась в голову. С Николаем Аполлоновичем еще он, ведь, игрывал в детстве; философским способностям Николая Аполлоновича впоследствии Сергей Сергеевич удивлялся; Николаю Аполлоновичу, как человеку светскому, как честному человеку, благородно позволил Сергей Сергеевич стать меж собой и женой и... Сергей Сергеевич Лихутин гневно, ярко, отчетливо представил себе шутовские гримасы красного домино в неосвященном подъезде. Он встал и взволнованно заходил по крохотной комнатушке, сжавши пальцы в кулак и яростно поднимая сжатые пальцы на крутых поворотах; когда Сергей Сергеевич выходил из себя (из себя всего-то он вышел два-три раза – не больше), этот жест у него тогда всегда появлялся; Софья Петровна прекрасно почуяла жест; она его испугалась немного; она всегда немного пугалась, не жеста,

а молчания, выразившего жест.

– «Что вы... это?»

– «Ничего... так себе...»

И Сергей Сергеевич Лихутин расхаживал по крошечной комнатухе, сжавши пальцы в кулак.

Красное домино!.. Гадость, гадость и гадость! И оно стояло там, за входною дверью – а?!.

Поведением Николая Аполлоновича поразился до крайности подпоручик Лихутин. Он испытывал теперь смесь гадливости с ужасом; словом, он испытывал то гадливое чувство, какое нас обыкновенно охватывает при созерцании совершеннейших идиотов, совершающих свои отправления прямо так, под себя, или при созерцании мохноногого, черного насекомого, – паука, что ли... Недоуменье, обида и страх перешли просто в бешенство. Не принять во внимание его настойчивого письма, оскорбить арлекинскою выходкой его честь офицера, оскорбить какую-то паучьей ужимкою дорогую жену!! И Сергей Сергеевич Лихутин дал себе офицерское честное слово – паука во что бы то ни было раздавить, раздавить; и, приняв то решение, он расхаживал, все расхаживал, красный как рак, сжавши пальцы в кулак и сводя мускулистую руку на поворотах; он теперь поразил невольно испугом и Софью Петровну: тоже красная, с полуоткрытыми пухлыми губками и с щечками, не отертыми от блистающих слез, мужа она наблюдала внимательно вот отсюда, из этого кресла.

– «Что вы это?»

Но Сергей Сергеевич отвечал теперь жестким голосом; в этом голосе прозвучали одновременно – и угроза, и строгость, и заглушенное бешенство.

– «Ничего... так себе».

Сказать правду, Сергей Сергеевич испытывал в эту минуту и к любимой жене нечто в роде гадливости; точно и она разделила арлекинский позор красной маски, – прокривлявшейся – там, у входных дверей.

– «Ступай к себе: спи... предоставь все это мне».

И Софья Петровна Лихутина, давно переставшая плакать, беспрекословно поднялась и тихонько вышла к себе.

Оставшись один, Сергей Сергеевич Лихутин все похаживал да покашливал; сухо это у него выходило, пренеприятно, отчетливо, все *кхе-кхе* да *кхе-кхе*. Иногда деревянный кулак, будто вырезанный из пахучего, крепкого дерева, подымался над столиком; и казалось, что столик, вот-вот, с оглушительным краканьем разлетится на части.

Но кулак разжимался.

Наконец, Сергей Сергеевич Лихутин быстро стал раздеваться; разделся, покрылся байковым одеялом, и – одеяло слетело; Сергей Сергеевич Лихутин опустил ноги на пол, невидящим взором уставился в какую-то точку и неожиданно для себя самого громким шепотом зашептал:

– «Аа! Как это вам нравится. Пристрелю, как собаку...»

Тогда из-за стенки обиженно раздался голосок, слезливый

и громкий.

– «Что вы это?»

.....

– «Ничего... так себе...»

Сергей Сергеевич снова нырнул под свое одеяло и закрылся им с головой, чтоб вздохнуть, шептаться, умолять, грозить кому-то, за что-то...

.....

Софья Петровна не вызвала Маврушку. Быстро с себя она сбросила шубу, шапочку, платье; и вся в белом, из фонтан вещей, которые она ухитрилась вокруг себя раскидать в эти три-четыре минуты, она бросилась на постель; и сидела теперь, поджав ножки и уронив в руки черноволосое злое личико с оттопыренными губами, над которыми явственно обозначились усики, и кругом нее был фонтан из предметов; так бывало всегда. Маврушка только и знала, что прибирала за барыней; стоило Софье Петровне вспомнить о какой-либо принадлежности туалета, принадлежности не было под руками; и тогда летели кофточки, носовые платки, платья, шпильки, булавки как попало, куда попало; из ручки Софьи Петровны начинал бить цветной водопад разнообразных предметов. Нынче вечером Софья Петровна Маврушку не звала; стало быть, фонтан вещей имел место.

Софья Петровна невольно прислушивалась к неугомонному шагу Сергея Сергеевича за перегородкой; да еще она слушала еженощные звуки рояля над головой: там играли

тот же все старинный мотив польки-мазурки, под звуки которой мать, смеясь, танцевала с ней, еще тогда двухлетней крошкой. И под звуки этой польки-мазурки, такие старинные и не ведавшие ни о чем, гнев Софьи Петровны начал проходить, сменившись усталостью, совершенной апатией и чуть-чуть раздражением по отношению к мужу, в котором сама же она, Софья Петровна, пробудила, по ее мнению, ревность к *тому*. Но как только в муже, Сергее Сергеевиче, пробудилась, по ее мнению, ревность, как уж муж, Сергей Сергеевич, стал отчетливо ей неприятен; она испытала чувство неловкости, точно чья-то чужая рука протянулась к ее заветной шкатулочке с письмами, запертой там вот, в ящике. Наоборот: как улыбка Николая Аполлоновича сперва ее поразила гадливо, а потом из чувства гадливости извлекла она сама для себя сладкую смесь восторга и ужаса к все той же улыбке, так и в позорности поведения Николая Аполлоновича там, на мостике, ей открылся сладкий источник мести: она пожалела, что когда он там упал перед ней в шутовском жалком виде, она не стала его топтать и бить ножками; ей хотелось его вдруг замучить и затерзать, а мужа, Сергея Сергеевича, не хотелось ей мучить; ни мучить, ни целовать. И Софье Петровне открылось вдруг, что муж— ни при чем во всем этом роковом происшествии между ними; происшествие это должно было остаться тайною между нею и *ним*; а теперь мужу она все сама рассказала. Прикосновение мужа не только к ней, но и к *тому*, к Николаю Аполлоно-

вичу, стало прежде всего для нее оскорбительно: ведь Сергей Сергеевич из этого инцидента, ну, конечно, выведет совершенно ложные заключения; прежде всего, он понять тут ровно ничего не сможет, конечно: ни рокового, сладко-жуткого ощущения, ни самого переодевания; и Софья Петровна невольно прислушивалась к старинным звукам польки-мазурки да к неугомонному, неприятному шагу за перегородкой; из чрезмерности черных распущенных кос она испуганно протянула свое жемчужное личико с темно-синими, какими-то помутневшими взорами, косолапо как-то пригнув личико к чуть дрожавшим коленям.

В этот миг взор ее упал на туалетное зеркало: под туалетным же зеркалом Софья Петровна разглядела письмо, которое она должна была передать *ему* на балу (о письме-то она позабыла и вовсе). В первую минуту Софья Петровна решила письмо отослать обратно с посыльным, отослать Варваре Евграфовне. Как ей смели к нему навязывать там какие-то письма! И она отослала бы, если бы только что перед тем не вмешался во все ее муж (поскорей бы ложился!). Но теперь под влиянием протеста против всяких вмешательств в личные и х дела она просто взглянула на дело, слишком просто: конечно, конверт письма разорвать и прочесть там какие-то тайны она имела полное право (как смел он вообще иметь тайны!). Миг – и Софья Петровна была у столика; но едва она дотронулась до чужого письма, как там за стеной поднялся яростный шепот; постель скрипнула.

– «Что вы это?»

Из-за стенки ответили ей:

– «Ничего... так себе».

Постель жалобно завизжала; все стихло. Софья Петровна дрожащей рукой разорвала конверт... и по мере того, как читала она, ее опухшие глазки становились глазами; мутность их прояснилась, сменяясь ослепительным блеском, бледность личика принимала отливы сперва розоватых яблочных лепестков, становилась далее розовой розой; а когда она окончила чтение, то лицо ее было просто багровым.

Весь Николай Аполлонович был теперь у нее в руках; все существо ее задрожало ужасом за него и за ту возможность нанести ему за свои двухмесячные страдания непоправимый, страшный удар; и удар этот получит он вот из этих ручек. Он хотел ее напугать шутовским маскарадом; но и этот шутовской маскарад не сумел он, как следует, провести и, застигнутый врасплох, он наделал ряд безобразий; пусть теперь же изгладит он в ней себя самого, и пусть будет Германом! Да, да, да: сама она ему нанесет злой удар простой передачей письма ужасного содержания. Мгновение: ее охватило чувство головокружения пред тем, на какой путь себя она обрекает; но удержаться, сойти с пути было поздно: не сама ли она вызывала кровавое домино? Ну, а если он вызвал пред нею образ страшного домино, пусть свершится все прочее: пусть же будет кровавый путь у кровавого домино!

Дверь скрипнула: Софья Петровна едва успела скомкать

в руке разорванное письмо, как уже на пороге спальни стоял ее муж, Сергей Сергеевич Лихутин; он был во всем белом: в белой сорочке и белых кальсонах. Появление ей совсем постороннего человека и в таком неприличном виде привело ее в бешенство:

– «Вы бы оделись хоть...»

Сергей Сергеич Лихутин переконфузился, быстро вышел из комнаты, тем не менее чрез минуту появился опять; на этот раз он был, по крайней мере, в халате; Софья Петровна уже успела припрятать письмо. Сергей Сергеич с неприятною сухой твердостью, необычайною для него, обратился к ней просто:

– «Софи... Дайте мне одно обещание: я вас очень прошу не быть завтра на вечере у Цукатовых...»

Молчание.

– «Я надеюсь, что вы дадите мне обещание; благоразумие вам подскажет: увольте от объяснений».

Молчание.

– «Мне хотелось бы, чтобы вы сами признали невозможность быть на балу после только что бывшего».

Молчание.

– «Я, по крайней мере, дал за вас офицерское честное слово, что на балу вы не будете».

Молчание.

– «А в противном случае мне пришлось бы вам просто-напросто запретить».

– «На балу я все-таки буду...»

– «Нет, не будете!!»

Софью Петровну поразила угроза деревянного голоса, которым Сергей Сергеевич произнес эту фразу.

– «Нет, буду».

Наступило тягостное молчание, во время которого слышалось лишь какое-то клокотание у Сергея Сергеевича в груди, отчего он нервно схватился за горло да два раза мотнул головой, точно силясь прочь от себя отклонить неизбежность какого-то ужасного происшествия; с невероятным усилием подавив в себе едва не грянувший взрыв, тихо сел, как палка, прямой, Сергей Сергеевич Лихутин; неестественно тихим голосом начал он говорить:

– «Видите: не я приставал к вам с подробностями. Вы же сами меня призвали в свидетели только что бывшего».

Сергей Сергеевич не мог произнести слова «*красное домино*»: мысль о всем только что происшедшем инстинктивно заставила его пережить какую-то порочную бездну, в которую по наклонной плоскости покатила его жена; что тут было порочного, кроме дикой нелепости всего происшествия, Сергей Сергеевич не мог никак знать: но он чувал, что было, и что это не простой житейский роман, не измена, не падение только. Нет, нет, нет: тут над всем стоял аромат каких-то сатанинских эксцессов, отравлявших душу навек, как синильная кислота; сладковатый запах горького миндаля обонял он так явственно, когда, войдя в женину комна-

ту, ощутил сильнейший приступ удушья; и он знал, наверное знал: очутись завтра Софья Петровна, жена его, у Цукатовых, встретить она там омерзительное домино, – все пойдет прахом: честь жены, честь его, офицера.

– «Видите. После того, что вы мне сказали, понимаете ли вы, что видаться нельзя вам; что это – гадость и гадость; что, наконец, я дал слово, что вы там не будете Пожалейте же, Софи, и себя, и меня, да и... его, потому что иначе... я... не знаю... я не ручаюсь...»

Но Софья Петровна все более возмущалась наглым вмешательством этого ей совершенно чуждого офицера, да еще офицера, смевшего появиться в спальне в неприличнейшем виде со своим нелепым вмешательством; приподняв с полу какое-то платье (она вдруг заметила, что – в дезабилье) и прикрывшись им, отодвинулась в темный угол; и оттуда, из темного теневого угла, вдруг решительно она помотала головой:

– «Может быть, я не поехала бы, а теперь вот, после этих ваших вмешательств, поеду, поеду, поеду!»

– «Нет: этому не бывать!!!»

Что такое? Ей казалось, что в комнате раздался оглушительный выстрел; одновременно раздался и нечеловеческий вопль: тонкая, хриплая фистула прокричала невнятное что-то; кипарисовый человек привскочил, и хлопнуло упавшее кресло, а удар кулака пополам разбил дешевенький столик; дальше хлопнула дверь; и все замерло.

Оборвались сверху звуки польки-мазурки; над головою затопали; загудели какие-то голоса; наконец, возмущенный шумом сосед начал сверху бить в пол полотерную щеткой, этим, видно, хотел кто-то выразить сверху просвещенный протест свой.

Софья Петровна Лихутина съежилась и обиженно зарыдала из темного уголка: ей впервые в жизни пришлось встретиться с такою вот яростью, потому что перед ней только что здесь стоял даже... не человек, даже... не зверь. Здесь перед ней провизжала только что бешеная собака.

## **Второе пространство сенатора**

Спальня Аполлона Аполлоновича была проста и мала: четыре серых, взаимно перпендикулярных стенки и единственный вырез окна с беленькой кружевной занавесочкой; тою же белизной отличались и простыни, полотенца и наволочки высоко подбитой подушечки; перед сенаторским сном камердинер окрапливал пульверизатором простыню.

Аполлон Аполлонович признавал лишь тройной одеколон Петербургской химической лаборатории.

Далее: камердинер ставил стаканчик лимонного морсу на столик и спешил удалиться. Раздевался Аполлон Аполлонович сам.

Аккуратнейшим образом скидывал свой халат; аккуратнейшим образом его складывал, с ловкостью полагая халат

на стул; аккуратнейшим образом скидывал пиджачок и свои миньятюрные брючки, оставаясь в вязаных, плотно обтянутых панталонах и нижней сорочке; и, оставшись в нижнем белье, перед отходом ко сну Аполлон Аполлонович укреплял свое тело гимнастикой.

Он раскидывал руки и ноги; их потом разводил, поворачивал туловище, приседая на корточки до двенадцати и более раз, чтоб потом, напоследок, перейти к еще более полезному упражнению: опрокинувшись на спину, Аполлон Аполлонович для укрепления мускулов живота принимался работать ногами.

К этим полезнейшим упражнениям прибегал Аполлон Аполлонович особенно часто в дни геморроя.

После этих полезнейших упражнений Аполлон Аполлонович на себя натягивал одеяло, чтоб предаться мирному отдыху и отправиться в путешествие, ибо сон (скажем мы от себя) – путешествие.

То же все Аполлон Аполлонович проделал сегодня. С головой закутавшись в одеяло (за исключением кончика носа), уже он из кровати повис над безвременной пустотой.

Но тут перебыют нас и скажут: «Как же так пустотой? Ну, а стены, а пол? А... так далее?..»

Мы ответим.

Аполлон Аполлонович видел всегда два пространства: одно – материальное (стенки комнат и стенки кареты), другое же – не то чтоб духовное (материальное также)... Ну, как

бы сказать: над головой сенатора Аблеухова глаза сенатора Аблеухова видели странные токи: блики, блески, туманные, радужно заплывавшие пятна, исходящие из крутящихся центров, заволакивали в сумраке пределы материальных пространств; так в пространстве роилось пространство, и это последнее, заслоняя все прочее, в свою очередь убегало в безмерности зыблемых, колыхаемых перспектив, состоящих... ну, будто из елочной канители, из звездочек, искорок, огонечков.

Бывало Аполлон Аполлонович перед сном закрывает глаза и вновь их откроет; и что же: огонечки, туманные пятна, нити и звезды, будто светлая накипь заклокотавших безмерно огромных чернот, неожиданно (всего на четверть секунды) сложится вдруг в отчетливую картинку: креста, многогранника, лебедя, светом наполненной пирамиды. И все разлетится.

У Аполлона Аполлоновича была своя странная тайна: мир фигур, контуров, трепетов, странных физических ощущений – словом: *вселенная* странностей. Эта *вселенная* возникала всегда перед сном; и так возникала, что Аполлон Аполлонович, отходящий ко сну, в то мгновение вспоминал все былые невнятности, шорохи, кристаллографические фигурки, золотые, по мраку бегущие хризантемовидные звезды на лучах-многоножках (иногда такая звезда обливала сенатору голову золотым кипятком: мурашки бежали по черепу): словом, он вспоминал все, что видел он накануне пред отходом

ко сну, чтоб снова не вспомнить поутру.

Иногда (не всегда) перед самой последней минутой дневного сознания Аполлон Аполлонович, отходящий ко сну, замечал, что все нити, все звезды, образуя клокочущий крутень, сроили из себя коридор, убегающий в неизмеримость и (что самое удивительное) чувствовал он, что коридор тот – начинается от его головы, т. е. он, коридор, – бесконечное продолжение самой головы, у которой раскрылось вдруг темя – продолжение в неизмеримость; так-то старый сенатор пред отходом ко сну получал престранное впечатление, будто смотрит он не глазами, а центром самой головы, т. е. он, Аполлон Аполлонович, не Аполлон Аполлонович, а *нечто*, засевшее в мозге и оттуда, из мозга глядящее; при раскрытии темени это нечто могло и свободно, и просто пробежать коридор *до места свержения в бездну*, которое обнажалось там, вдали коридора.

Это и было *второе пространство* сенатора – страна každончных сенаторских путешествий; и об этом довольно...

С головой закутавшись в одеяло, уже он из кровати повис над безвременной пустотой, уже лаковый пол отвалился от ножек кровати и кровать стояла, так сказать, на неведомом – как до слуха сенатора донеслось странное удаленное цоканье, будто цоканье быстро бивших копытец:

– «Тра-та-та... Тра-та-та...»

И цоканье близилось.

Странное, очень странное, чрезвычайно странное обсто-

ательство: из-под красного одеяла сенатор ухо выставил на луну; и – да: весьма вероятно – в зеркальном зале стучали.

Аполлон Аполлонович выставил голову.

Золотой, клокочущий крутень разлетелся внезапно там во все стороны над сенаторской головою; хризантемовидная звезда-многоножка передвинулась к темени, исчезая стремительно с поля зрения сенаторских глаз; и к ножкам железной кровати, как всегда, из-за бездны мгновенно прилетели плиты паркетного пола; беленький Аполлон Аполлонович, напоминая ошипанного куренка, тут внезапно оперся о коврик двумя желтыми пятками.

Цоканье продолжалось: Аполлон Аполлонович привскочил и пробежал в коридор.

Комнаты озаряла луна.

В одной исподней сорочке и с зажженной свечкой в руках Аполлон Аполлонович пропутешествовал в комнаты. За своим встревоженным барином потянулся очутившийся здесь бульдожка, пошевеливал снисходительно обрубленным хвостиком, дзенькал ошейником и посапывал пришлепнутым носом.

Как досчатая плоская крышка, с тяжелыми хрипами волосатая колыхалась грудь, и внимало цоканью ухо бледно-зеленых отливов. Взор сенатора невзначай упал на трюмо: ну и странно же трюмо отразило сенатора: руки, ноги, бедра и грудь оказались вдруг стянуты темно-синим атласом: тот атлас во все стороны от себя откидывал металлический

блеск: Аполлон Аполлонович оказался в синей броне; Аполлон Аполлонович оказался маленьким рыцарьком и из рук его протянулась не свечка, а какое-то световое явление, отливающее блестками сабельного клинка.

Аполлон Аполлонович расхрабрился и бросился в зал; цоканье раздавалось там:

– «Тра-та-та... Тра-та-та...»

И он огрызнулся на цоканье:

– «На основании какой же статьи „Свода Законов“?»

Воскликая, он видел, что равнодушный бульдожка миролюбиво и сонно тут посапывал рядом. Но – какая наглость! – из залы ответно воскликнули:

– «На основании чрезвычайного правила!»

Возмущенный наглым ответом, синенький рыцарек взмахнул световым явлением, зажатым в руке, и бросился в зал.

Но световое явление растаяло в его кулачке: проструилось меж пальцев, как воздух, и легло у ног лучиком. А цоканье – Аполлон Аполлонович рассмотрел – было щелканьем языка какого-то дрянного монгола: там какой-то толстый монгол с физиономией, виданной Аполлоном Аполлоновичем в его бытность в Токио (Аполлон Аполлонович был однажды послан в Токио) – там какой-то толстый монгол присваивал себе физиономию Николая Аполлоновича – *присваивал*, говорю я, потому что это был не Николай Аполлонович, а просто монгол, виданный уж в Токио; тем не менее физионо-

мия его была физиономией Николая Аполлоновича. Этого Аполлон Аполлонович понять не желал, протирал кулачками свои изумленные очи (и опять-таки рук он не слышал, как не слышал лица: просто так себе друг о друга затерлись два неосязаемых пункта – пространство рук щупало пространство лица). А монгол (Николай Аполлонович) приближался с корыстной целью. Тут сенатор воскликнул вторично:

– «На основании какого же правила?»»

– «И какого параграфа?»»

И пространство ответило:

– «Уже нет теперь ни параграфов, ни правил!»»

.....

И безвестный, бесчувственный, вдруг лишенный весомости, вдруг лишенный самого ощущения тела, превращенный лишь в зренье и слух, Аполлон Аполлонович представил себе, что воздел он пространство зрачков своих (осязанием он не мог сказать положительно, что глаза им воздеты, ибо чувство телесности было сброшено им), – и, воздевши глаза по направлению к месту темени, он увидел, что и темени нет, ибо там, где мозг зажимают тяжелые крепкие кости, где нет взора, нет зрения, – там Аполлон Аполлонович в Аполлоне Аполлоновиче увидал круглую пробитую брешь в темно-лазурную даль (в место темени); эта пробитая брешь – синий круг – была окружена колесом летающих искр, бликов, блесков; в ту роковую минуту, когда по расчетам Аполлона Аполлоновича к его бессильному телу (синий круг был в том теле

– выход из тела) уже подкрадывался монгол (запечатленный лишь в сознании, но более уж невидимый) – в то самое время что-то с ревом и свистом, похожим на шум ветра в трубе, стало вытягивать сознание Аполлона Аполлоновича из-под крутня сверканий (сквозь темянную синюю брешь) в звездную запредельность.

Тут случился скандал (в ту минуту сознание Аполлона Аполлоновича отметило, что подобный случай уж был: где, когда, – он не помнит) – тут случился скандал: ветер высвистнул сознание Аполлона Аполлоновича из Аполлона Аполлоновича.

Аполлон Аполлонович вылетел через круглую брешь в синеву, в темноту, златоперой звездой; и, взлетевши достаточно высоко над своей головой (показавшейся ему планетой Земля), златоперая звездочка, как ракета, беззвучно разлетелась на искры.

Мгновение не было ничего: был довременный мрак; и в мраке роилось сознание – не какое-нибудь иное, например мировое, а сознание совершенно простое: сознание Аполлона Аполлоновича.

Это сознание теперь обернулось назад, выпустив из себя только два ощущения: ощущения опустились, как руки; и ощущения ощутили вот что: они ощутили какую-то форму (напоминающую форму ванны), до краев налитую липкою и вонючею скверною; ощущения, как руки, заполоскались в ванне; то же, чем ванна была налита, Аполлон Аполлонович

мог сравнить лишь с навозной водой, в которой полоскался отвратительный бегемот (это видывал он не раз в водах зоологических садов просвещенной Европы). Миг – ощущения приросли уж к сосуду, который, как сказали мы, наполнен был до краев срамотой; сознание Аполлона Аполлоновича рвалось прочь, в пространство, но ощущения за сознанием этим тащили тяжелое что-то.

У сознания открылись глаза, и сознание увидало то самое, в чем оно обитает: увидало желтого старичка, напоминающего ошипанного куренка; старичок сидел на постели; голыми пятками опирался о коврик он.

Миг: сознание оказалось самим этим желтеньким старичком, ибо этот желтенький старичок прислушивался с постели к странному, удаленному цоканью, будто цоканью быстро бивших копытец:

– «Тра-та-та... Тра-та-та...»

Аполлон Аполлонович понял, что все его путешествие по коридору, по залу, наконец, по своей голове – было сном.

И едва он это подумал, он проснулся: это был двойной сон.

Аполлон Аполлонович не сидел на постели, а Аполлон Аполлонович лежал с головой закутавшись в одеяло (за исключением кончика носа): цоканье в зале оказалось хлопнувшей дверью.

Это верно вернулся домой Николай Аполлонович: Николай Аполлонович возвращался поздней ночью.

– «Так-с...»

– «Так-с...»

– «Очень хорошо-с...»

Только вот неладно в спине: боязнь прикосновения к позвоночнику... Не развивается ли у него *tabes dorsalis*?

*Конец третьей главы*

# Глава четвертая, в которой ломается линия повествования

*Не дай мне Бог сойти с ума...*  
А. Пушкин

## Летний сад

Прозаически, одиноко туда и сюда побежали дорожки Летнего сада; пересекая эти пространства, изредка торопил свой шаг пасмурный пешеход, чтоб потом окончательно застрять в пустоте безысходной: Марсово Поле не одолеть в пять минут.

Хмурился Летний сад.

Летние статуи поукрывались под досками; серые доски являли в длину свою поставленный гроб; и обстали гробы дорожки; в этих гробах приютились легкие нимфы и сатиры, чтобы снегом, дождем и морозом не изгрызал их зуб времени, потому что время точит на все железный свой зуб; а железный зуб равномерно изложет и тело, и душу, даже самые камни.

Со времен стародавних этот сад опустел, посерел, по-

уменьшился; развалился грот, перестали брызгать фонтаны, летняя галерея рухнула и иссяк водопад; поуменьшился сад и присел за решеткой, за той самой решеткой, любоваться которой сюда собирались заморские гости из аглицких стран, в париках, зеленых кафтанах; и дымили они прокопченными трубками.

Сам Петр насадил этот сад, поливая из собственной лейки редкие деревья, медоносные калуферы, мяты; из Соликамска царь выписал сюда кедры, из Данцига – барбарис, а из Швеции – яблони; понастроил фонтанов, и разбитые брызги зеркал, будто легкая паутина, просквозили надолго здесь красным камзолом высочайших персон, завитыми их буклями, черными арапскими рожками и робронами дам; опираясь на граненую ручку черной с золотом трости, здесь седой кавалер подводил свою даму к бассейну; а в зеленых, кипучих водах от самого дна, фыркающая, выставлялась черная морда тюленя; дама ахала, а седой кавалер улыбался шутливо и черному монстру протягивал свою трость.

Летний сад тогда простирался далече, отнимая простор у Марсова Поля для любезных царскому сердцу аллей, обсаженных и зеленицей, и таволгой (и его, видно, грыз беспощадный зуб времени); поднимали свои розоватые трубы огромные раковины индийских морей с ноздреватых камней сурового грота; и персона, сняв плюмажную шапку, любопытно прикладывалась к отверстию розоватой трубы: и оттуда слышался хаотический шум; в это время иные персоны

распивали фруктовые воды пред таинственным гротом сим. И в позднейшие времена, под фигурною позой Ирелевской статуи, простиравшей персты в вечереющий день, раздавались смехи, шепоты, вздохи и блистали бурмитские зерна государынинных фрейлин. То бывало весной, в Духов день; вечерняя атмосфера густела; вдруг она сотрясалась от мощного, органного гласа, полетевшего из-под купы сладко дремлющих ильм: и оттуда вдруг ширился свет – потешный, зеленый; там, в зеленых огнях, ярко-красные егеря-музыканты, протянувши рога, мелодически оглашали окрестность, сотрясая зефир и жестоко волнуя душу, уязвленную глубоко: томный плач этих вверх воздетых рогов – ты не слышал?

Все то было, и теперь того нет; теперь хмуро так побежали дорожки Летнего сада; черная оголтелая стая кружила над крышею Петровского домика; непереносен был ее гвалт и тяжелое хлопанье растрепавшихся крыльев; черная, оголтелая стая вдруг низверглась на сучья.

Николай Аполлонович, надушенный и начисто выбритый, пробирался по мерзлой дорожке, запахнувшись в шинель: голова его упала в меха, а глаза его как-то странно светились; только что он сегодня решил углубиться в работу, как ему принес посыльный записочку; неизвестный почерк ему назначал свидание в Летнем саду. А подписано было «С». Кто же мог быть таинственным «С»? Ну, конечно, «С» – это Софья (видно, она изменила свой почерк). Николай Аполлонович, надушенный и начисто выбритый, пробирался по мерз-

лой дорожке.

Николай Аполлонович имел взволнованный вид; в эти дни он лишился сна, аппетита; на страницу кантовских комментариев беспрепятственно уж с неделю осаждалась тонкая пыль; в душе же был ток неизведанный чувства; этот смутный и сладостный ток ощущал он в себе и в прошлые времена... правда, как-то глухо, далеко. Но с той самой поры, как в ангеле Пери вызывал он безыменные трепеты своим поведением, в нем самом открылись безыменные трепеты: будто он призвал из таинственных недр своих глухо бившие силы, будто в нем самом разорвался эолов мешок, и сыны нездешних порывов на свистящих бичах повлекли его через воздух в какие-то странные страны. Неужели же состояние это знаменует возврат только чувственных возбуждений? Может быть – то любовь? Но любовь отрицал он.

Уже он озирался тревожно, ища на дорожках знакомое очертание, в меховой черной шубке с меховой черной муфточкой; но не было – никого; неподалеку на лавочке там какая-то развалилась кутафья. Вдруг кутафья та с лавочки поднялась, – мгновение потопталась на месте и пошла на него.

– «Вы меня... не узнали?»

– «Ах, здравствуйте!»

– «Вы, кажется, и сейчас не узнаете меня? да, ведь, я – Соловьева».

– «Как же, помилуйте, вы – Варвара Евграфовна!»

– «Ну, так сядемте здесь, на лавочке...»

Николай Аполлонович мучительно опустил с ней рядом: ведь свидание ему назначалось именно в этой аллейке; и вот – это несчастное обстоятельство! Николай Аполлонович стал раздумывать, как скорей отсюда спровадить эту ку-тафью; все ища знакомого очертания, озирался он направо, налево; но знакомого очертания еще не было видно.

В ноги им сухая дорожка начинала кидаться желто-бурым и червоточивым листом; как-то матово там протянулась, прямо вставши в стальной горизонт, темноватая сеть перекрещенных сучьев; иногда темноватая сеть начинала гудеть; иногда темноватая сеть начинала качаться.

– «Вы получили мою записку?»

– «Какую записку?»

– «Да записку с подписью “С”».

– «Как, это вы мне писали?»

– «Ну да же...»

– «Но причем же тут С?»

– «Как при чем? Ведь фамилия моя – Соловьева...»

Все рухнуло, а он-то, а он-то! Безыменные трепеты как-то вдруг опустились на дно.

– «Чем могу вам служить?»

– «Я... я хотела, я думала, получили ли вы одно маленькое стихотворение за подписью *Пламенная Душа*?»

– «Нет, не получал».

– «Как же так? Неужели письма мои полиция перлюстрирует? Ах, какая досада! Без этого стихотворного отрывка

мне, признаться, так трудно вам все это объяснить. Я хотела бы вас спросить кое-что о жизненном смысле...»

.....

– «Извините, Варвара Евграфовна, у меня нет времени».

– «Как же так? Как же так?»

– «До свиданья! Вы меня, пожалуйста, извините, – мы назначим для этого разговора более удобное время. Не правда ли?»

Варвара Евграфовна нерешительно потянула его за меховой край шинели; он решительно встал; она встала за ним; но еще решительней протянул он ей свои надушенные пальцы, прикоснувшись краем округленных ногтей к ее красной руке. Она не успела что-либо в ту минуту придумать, чтоб его задержать; а уж он в совершенной досаде бежал от нее, запахнувшись надменно и огорченно, и уйдя лицом в меха *николаевки*. Листья трогались с места медлительно, желтоватыми и сухими кругами окружали полы шинели; но суживались круги, беспокойнее завивались винтами, все живей танцевал золотой, что-то шепчущий винт. Крутень листьев стремительно завивался, переметывался и бежал, не крутясь, как-то вбок, как-то вбок; красный лапчатый лист чуть-чуть тронулся, подлетел и простерся. Как-то матово там протянулась, прямо вставши в стальной горизонт, темноватая сеть из перекрещенных сучьев; в эту сеть он прошел; и когда он прошел в эту сеть, то ворон оголтелая стая вспорхнула и стала кружиться над крышей Петровского домика; темно-

ватая сеть начинала качаться; темноватая сеть начинала гудеть; и слетали какие-то робко-унылые звуки; и сливались все в один звук – в звук органного гласа. А вечерняя атмосфера густела; вновь казалось душе, будто не было настоящего; будто эта вечерняя густота из-за тех вон деревьев трепетно озарится зелено-светлым каскадом; и там, во всем огненном, ярко-красные егеря, протянувши рога, опять мелодически извлекут из зефиров органные волны.

## Мадам Фарнуа

И позднеенько же ангел Пери сегодня изволил открыть из подушек свои невинные глазки; но глазки слипались; а в головке явственно развивалась глухо-тупая боль; ангел Пери изволил долго еще пребывать в дремоте; под кудрями роились все какие-то невнятности, беспокойства, полунамеки: первой полною мыслью была мысль о вечере: что-то будет! Но когда она пыталась развить эту мысль, ее глазки окончательно слиплись и опять пошли в какие-то невнятности, беспокойства, полунамеки; и из этих неясностей вновь восстало единственно: Помпадур, Помпадур, Помпадур, – а что Помпадур? Но душа ей светло осветила то слово: костюм в духе мадам Помпадур – лазурный, цветочками, кружева валансьен, серебрястые туфли, помпоны! О костюме в стиле мадам Помпадур на днях она долго так спорила со своею портнихой; мадам Фарнуа все никак не хотела ей уступить отно-

сительно *блондов*; говорила: «И зачем это *блонды*?» Но как же без *блондов*? По мнению мадам Фарнуа, блонды должны выглядеть так-то, быть тогда-то; и совсем не так должны были выглядеть блонды, по мнению Софьи Петровны. Мадам Фарнуа ей сначала сказала: «Моего вкуса, вашего вкуса, – ну, как же не быть стилю мадам Помпадур!» Но Софья Петровна уступить не хотела; и мадам Фарнуа обиженно предложила обратно ей взять материал. Отнесите в *Maison Tricotons*: «Там, мадам, вам не станут перечить...» Но отдать в *Maison Tricotons*: – фи, фи, фи! И *блонды* оставили, как оставили и иные спорные пункты относительно стиля мадам Помпадур: например, для рук легкая *chapeau Bergère*, но без юбки-панье нельзя было никак обойтись.

Так и поладили.

Углубляясь в думы о мадам Фарнуа, Помпадур и *Maison Tricotons*, ангел Пери мучительно чувствовал, что опять все не то, что-то такое случилось, после чего должны испариться и мадам Фарнуа, и *Maison Tricotons*; но пользуясь полусном, она сознательно не хотела ловить ускользнувшего впечатления от действительных происшествий вчерашнего дня; наконец она вспомнила – всего-то только два слова: *домино* и *письмо*; и она вскочила с постели, заломила руки в беспредметном томлении; было третье еще какое-то слово, с ним вчера и заснула она.

Но ангел Пери не вспомнил третьего слова; третьим словом, ведь, одинаково были бы совершенно невзрачные зву-

ки: муж, офицер, *подпоручик*.

О двух первых словах ангел Пери до вечера решил твердо не думать; а на третье, невзрачное слово – обращать внимания не стоило. Но как раз на это невзрачное слово натолкнулась она; ибо только-только успела она пропорхнуть в гостиную из своей душной спальни и с совершенной невинностью разлететься в мужнину комнату, полагая, что муж, офицер, подпоручик Лихутин, как всегда, ушел заведовать провиантом, – вдруг: к величайшему ее удивлению комната этого подпоручика на ключ оказалась запертой от нее: подпоручик Лихутин, вопреки всем обычаям, вопреки тесному помещению, удобству, здравому смыслу и честности, – там засел, очевидно.

Тут только вспомнила она безобразную вчерашнюю сцену; и с надутыми губками хлопнула спальней дверью (он замкнулся на ключ, и она замкнется на ключ). Но, замкнувшись на ключ, увидела она и расколотый столик.

– «Барыня, вам прикажете в комнату кофей?»

– «Нет, не надо...»

.....

– «Барин, вам прикажете в комнату кофей?»

– «Нет, не надо».

.....

– «Кофей, барин, остыл».

Молчание.

– «Барыня, там пришли, барыня!»

– «От мадам Фарнуа?»

– «Нет, от прачки!»

Молчание.

.....

В часу шестьдесят минут; минута же вся состоит из секундочек; секундочки убегали, составляя минуты; грузные повалили минуты; и тащились часы.

Молчание.

Среди дня тут звонил желтый Ее Величества кирасир барон Оммау-Оммергау с двухфунтовой бонбоньеркою шоколада от Крафта. От двухфунтовой бонбоньерки не отказались; но ему отказали.

Около двух часов пополудни тут звонил синий Его Величества кирасир граф Авен с бонбоньеркою от Балле; бонбоньерку приняли, но ему отказали.

Отказали и лейб-гусару в высокой меховой шапке; гусар потрясал султаном и стоял с махровым кустом хризантем лимонного яркого цвета; он сюда заходил после Авена в начале пятого часа.

Прилетел и Вергефден с ложею в Мариинский театр. Не прилетел лишь Липпанченко: не был Липпанченко.

Наконец, поздно вечером, в исходе десятого часа, появилась девчонка от мадам Фарнуа с преогромной картонкою; ее приняли тотчас; но когда ее принимали и в передней по этому поводу возникло хихиканье, дверь спальни шелкнула, и оттуда просунулась любопытно заплаканная головка; раз-

дался рассерженный, торопливый крик:

– «Несите скорей».

Но тогда же щелкнул и замок в кабинете; из кабинета просунулась какая-то косматая голова: поглядела и спряталась. Неужели же это был подпоручик?

## **Петербург ушел в ночь**

Кто не помнит вечера перед памятной ночью? Кто не помнит грустного отлетания того дня на покой?

Над Невой бежало огромное и багровое солнце за фабричные трубы: петербургские здания подернулись тончайшею дымкой и будто затаили, обращаясь в легчайшие, аметистово-дымные кружева; и от стекол оконных прорезался всюду золотопламенный отблеск; и от шпичев высоких зарубинился блеск. Все обычные тяжести – и уступы, и выступы – убежали в горящую пламенность: и подъезды с кариатидами, и карнизы кирпичных балконов.

Яростно закровавился рыже-красный Дворец; этот старый Дворец еще строил Растрелли; нежною голубою стеной встал тогда этот старый Дворец в белой стае колонн; бывало, с любованием оттуда открывала окошко на невские дали покойная императрица Елизавета Петровна. При императоре Александре Павловиче этот старый Дворец перекрашен был в бледно-желтую краску; при императоре Александре Николаевиче был Дворец перекрашен вторично: с той поры он

стал рыжим, кровянея к закату.

В этот памятный вечер все пламенело, пламенел и Дворец; все же прочее, не вошедшее в пламень, отемнялось медлительно; отемнялась медлительно вереница линий и стен в то время, как там, на сиреневом погасающем небе, в облачках-перламутринках, разгорались томительно все какие-то искрометные светочи; разгорались медлительно какие-то легчайшие пламена.

Ты сказал бы, что зарело там прошлое.

Невысокая, полная дама, вся в черном, которая там у моста отпустила извозчика, давно уж бродила под окнами желтого дома; как-то странно дрожала ее рука; а в дрожащей руке чуть дрожал малюсенький ридикульчик не петербургских фасонов. Полная дама была почтенного возраста и имела вид, будто страдает одышкой; полные пальцы ее то и дело хватались за подбородок, выступающий внушительно из-под воротника и усеянный кое-где седыми волосиками. Ставши против желтого дома, она хотела дрожащими пальцами приоткрыть ридикульчик: ридикульчик не слушался; наконец, ридикульчик раскрылся, и дама с несвойственной для лет ее торопливостью достала платочек с кружевными разводами, повернулась к Неве и заплакала. Лицо ее тогда озарилось закатом, над губами же явственно отметились усики; положивши руку на камень, смотрела она детским и вовсе невидящим взором в туманные, многотрубные дали и в водную глубину.

Наконец, дама взволнованно поспешила к подъезду желтого дома и позвонила.

Дверь распахнулась; старичок с галуном на отворотах из отверстия на зарю выставил свою плешь; он прищурил слезливые глазки от нестерпимого, заневского блеска.

– «Что вам угодно?..»

Дама почтенного возраста заволновалась: не то умиление, не то скрытая тщательно робость прояснила ее черты.

– «Дмитрич?.. Не узнали меня?»

Тут лакейская плешь задрожала и упала в малюсенький ридикюльчик (в руку дамы):

– «Матушка, барыня вы моя!.. Анна Петровна!»

– «Да, вот, Семеныч...»

– «Какими судьбами? Аткелева?»

Умиление, если только не тщательно скрытая робость, слышалось снова в приятном контральто.

– «Из Испании... Вот хочу посмотреть, как вы тут без меня?»

– «Барыня наша, родная... Пожалуйте-с!..»

Анна Петровна поднималась по лестнице: тот же все лестницу обволакивал бархатистый ковер. На стенах разблестался орнамент из все тех же оружий: под бдительным наблюдением барыни сюда вот когда-то повесили медную литовскую шапку, а туда – темплиерский отовсюду проржавленный меч; и ныне так же блистали: отсюда – медная литовская шапка; оттуда – крестообразные рукояти совершенно ржа-

вых мечей.

– «Только нет никого-с: ни барчука, ни Аполлона Аполлоновича».

Над балюстрадой все та же стояла подставка из белого алебастра, как прежде, и, как прежде, та ж Ниобея поднимала горе алебастровые глаза; это *прежде* вновь обступило (а прошло три уж года, и за эти годы пережито столь многое). Анна Петровна вспомнила черный глаз итальянского кавалера, и опять в себе ощутила ту тщательно скрытую робость.

– «Не прикажете шоколаду, кофию-с? не прикажете самоварчик?»

Анна Петровна едва отмахнулась от прошлого (тут все так же, как прежде).

– «Как же вы без меня эти годы?»

– «Да никак-с... Только смею вам доложить, без вас – никакого порядку-с... А все прочее без последствий: по-прежнему... Аполлон Аполлонович, барин-то, – слышали?»

– «Слышала...»

– «Да-с, все знаки отличия... Царские милости... Что прикажете: барин-то важный!»

– «Барин-то – постарел?»

– «Назначаются барин на пост: на ответственный: – барин все равно, што министр: вот какой барин...»

Анне Петровне неожиданно показалось, что лакей на нее посмотрел чуть-чуть укоризненно; но это только казалось: он всего лишь поморщился от нестерпимого заневского блеска,

открывая дверь в зал.

– «Ну, а Коленька?»

– «Коленька-с, Николай Аполлонович, то-ись, такой, позволю себе заметить, разумник-с! Успевают в науках; и во всяком там успевают, что им полагается... Просто красавчиком стали...»

– «Ну, что вы? Он всегда был в отца...»

Сказала: потупилась – перебирала пальцами ридикюльчик.

Так же стены были уставлены высоконогими стульями; отовсюду меж стульев, обитых палевым плюшем, поднимались белые и холодные столбики; и со всех белых столбиков глядел на нее укоризненно строгий муж из холодного алебаstra. И с прямою враждебностью просверкало на Анну Петровну со стен зеленоватое, старинное стекло, под которым у ней был с сенатором решительный разговор: а вон – бледнотонная живопись – помпеанские фрески; эти фрески привез ей сенатор в ее бытность невестой: тридцать лет протекло с той поры.

Анну Петровну охватило все то же гостинное гостеприимство: охватили лаки и лоски; защемило по-прежнему грудь; сжалось горло старинною неприязнью; Аполлон Аполлонович, может, ей и простит; но она ему – нет: в лакированном доме житейские грозы протекали бесшумно, тем не менее грозы житейские протекали здесь губительно.

Так прилив темных дум ее гнал на враждебные бере-

га; рассеянно она прислонилась к окошку – и видела, как над невской волной понеслись розоватые облачка; клочковатые облачка вырывались из труб убегающих пароходиков, от кормы кидающих в берега проблиставшую яхонтом полосу: облизавши каменный бык, полоса кидалась обратно и сплеталась со встречною полосою, разметавши свой яхонт в одну змеевую канитель. Выше – легчайшие пламена опепелялись на тучах; пепел сеялся щедро: все небесные просветы засыпались пеплом; все коварно потом обернулось одноцветною легкостью; и мгновенье казалось, будто серая вереница из линий, спиц и стен с чуть слетающей теневой темнотою, упадающей на громады каменных стен, – будто эта серая вереница есть тончайшее кружево.

– «Что же вы, барыня, у нас остановитесь?»

– «Я?.. В гостинице».

.....

В этой тающей серости проступили вдруг тускло многие удивленно глядящие точки: огоньки, огонечки; огоньки, огонечки наливались силой и бросались из тьмы после рыжими пятнами, в то время, как сверху падали водопады: синие, черно-лиловые, черные.

Петербург ушел в ночь.

## **Топотали их туфельки**

Раздавались звонки.

Выходили в зал из передней какие-то ангелоподобные существа в голубых, белых, розовых платьях, серебристые, искристые; обвевали газами, веерами, шелками, разливая вокруг благодатную атмосферу фиалочек, ландышей, лилий и тубероз; слегка опыленные пудрой их мраморно-белые плечики через час, через два должны были разгореться румянцем и покрыться испариной; но теперь, перед танцами, личики, плечи и худые обнаженные руки казались еще бледней и худей, чем в обычные дни; тем значительней прелесть этих существ как-то сдержанно искрами занималась в зрачках, пока существа, сущие ангелята, образовали и шелестящие и цветные рои веющей кисеи; свивались и развивались их белые веера, производя легкий ветер; топотали их туфельки.

Раздавались звонки.

Бодро в зал из передней входили какие-то крепкогрудые гении в туго стянутых фраках, мундирах и ментиках – правоведы, гусары, гимназисты и так себе люди – усатые и безусые, – безбородые – все; разливали вокруг какую-то надежную радость и сдержанность. Неназойливо они проникали в блестящий газами круг и казались барышням гибче воска; и глядишь – там, здесь – пуховой легкий веер начинал уже биться о грудь усатого гения, как доверчиво на эту грудь севшее бабочкино крыло, и крепкогрудый гусар осторожно начинал с барышней перекидываться своими пустыми намеками; с точно такую же осторожностью наклоняем лицо мы к севшему невзначай нам на палец легкому мотыльку. И

на красном фоне золототканого гусарского одеяния, как на пышном восходе небывалого солнца, так отчетливо просто выделялся слегка розовеющий профиль; набегающий вальсовый вихрь скоро должен был превратить слегка розовеющий профиль невинного ангела в профиль демона огневой.

Цукатовы, собственно говоря, давали не бал: был всего-навсего детский вечер, в котором пожелали участвовать взрослые; правда, носился слух, что на вечер придут и маски; предстоящее появление их удивляло, признаться, Любовь Алексеевну; как-никак, святок не было; таковы, видно, были традиции милого мужа, что для танцев и детского смеха он готов был нарушить все уставы календаря; милого мужа, обладателя двух серебряных бак, и до сей поры называли Коко. В этом пляшущем доме он был, само собой разумеется, Николаем Петровичем, главой дома и родителем двух хорошеньких девочек восемнадцати и пятнадцати лет.

Эти милые белокурые существа были в газовых платьях и серебряных туфельках. Уж с девятого часу они размахались пушистыми веерами на отца, на экономку, на горничную, даже... на гостящего в доме почтенного земского деятеля мастодонтообразных размеров (родственника Коко). Наконец, раздался долгожданный робкий звонок; распахнулась дверь добела освещенного зала, и туго затянутый во фрак свой тапер, напоминая черную, голенастую птицу, потирая руки, едва не споткнулся о проходящего официанта (приглашенного по случаю бала в этот блещущий дом); в руках у

официанта задрезжал, задрожал лист картона, сплошь усеянный котильонными побрякушками: орденками, лентами и бубенчиками. Скромный тапер разложил ряды нотных тетрадок, поднимал и опускал рояльную крышку, обдувал бережно клавиши и без видимой цели блещущей своею ботинкой нажимал он педаль, напоминая исправного паровозного машиниста за пробою паровозных котлов перед отправлением поезда. Убедившись в исправности инструмента, скромный тапер подобрал фалды фрака, опустился на низенький табурет, откинулся корпусом, уронил на клавиши пальцы, на мгновение замер, – и громозвучный аккорд сотряс стены: точно был подан свисток, призывающий к дальнему путешествию.

И вот среди этих восторгов, будто свой, не чужой, как-то гибко вертелся Николай Петрович Цукатов, растопыривая пальцами серебристое кружево бак, блестел лысиной, гладко выбритым подбородком, метался от пары к паре, отпускал невинную шуточку голубому подростку, крепко тыкался двумя пальцами в крепкогрудого усача, говорил на ушко более солидному человеку: «Что ж, пускай веселятся: мне говорят, будто я сам протанцевал свою жизнь; но, ведь, это невинное удовольствие в свое время спасло меня от грехов молодости: от вина, от женщин, от карт». И среди этих восторгов, будто не свой, а чужой, праздно как-то, кусая войлок желтой бородки, неуклюже топтался земский деятель, наступая на дамские шлейфы, одиноко слонялся среди пар и по-

том уходил в свою комнату.

## Дотанцовывал

Как обычно, сегодня пробирались порою чрез зал гостинные посетители – снисходительно в зал они продвигались у стен; в грудь им брызгали дерзкие веера, их хлестали покрытые стеклярусом юбки, лица их обдувал жаркий ветер разлетевшихся пар; но они пробирались бесшумно.

Толстоватый мужчина с неприятно изрытым оспой лицом пересек сперва этот зал; донельзя оттопырился отворот его сюртука, оттого что он сюртуком перетянул свой живот почтенных размеров: это был редактор консервативной газеты из либеральных поповичей. В гостиной он приложился к пухленькой ручке Любовь Алексеевны, сорокапятилетней дамы с одутловатым лицом, упдающим на корсетом подпертую грудь своим двойным подбородком. Глядя из зала через две проходные комнаты, можно было видеть издали его стоянье в гостиной. Там вдали горел лазоревый шар электрической люстры; там в лазоревом трепетном свете грузно как-то стоял редактор консервативной газеты на своих слоновьих ногах, выясняясь туманно в виснущих хлопьях табачного синеватого дыма.

И едва Любовь Алексеевна задала ему какой-то невинный вопрос, как толстенный редактор и этот вопрос повернул в вопрос большого значения:

– «Не говорите – нет-с! Да, ведь, так они мыслят потому, что все они идиоты. Я берусь это с точностью доказать».

– «Но, ведь, муж мой, Коко...»

– «Это все жидовско-масонские плутни, сударыня: организация, централизация...»

– «Между ними все же есть светские очень милые люди и при том – люди нашего общества», – вставила робко хозяйка.

– «Да, но общество наше не знает, в чем сила крамолы».

– «А по-вашему?»

– «Сила крамолы – в Чарльстоуне...»

– «Почему же в Чарльстоуне?»

– «Потому что там проживает глава всей крамолы».

– «Кто же этот глава?»

– «Антипапа...» – рявкнул редактор.

– «То есть, как – антипапа?»

– «Э, да, видно, вы ничего не читали».

– «Ах, как все это интересно: расскажите, пожалуйста».

Так разахалась Любовь Алексеевна, приглашая рябого редактора погрузиться в мягкое кресло; и он сказал, погружаясь:

– «Да-с, да-с, господа!»

Издали, из гостиной, чрез две проходные комнаты было им видно, как из зала в открытую дверь бились блески и трепеты. Раздавалось громовое.

– «Рррэкюлэ!..»

– «Баланса, во дам!..»

И опять.

– «Рррэжюлэ...»

Николай Петрович Цукатов протанцевал свою жизнь; теперь уже Николай Петрович эту жизнь дотанцовывал; дотанцовывал легко, безобидно, не пошло; ни одно облачко не омрачало души; душа его была чиста и невинна, как вот эта солнцем горевшая лысина или как этот вот гладко выбритый подбородок меж бак, будто глянувший промеж облака месяц.

Все ему вытанцовывалось.

Затанцевал он маленьким мальчиком; танцевал лучше всех; и его приглашали в дома, как опытного танцора; к окончанию курса гимназии натанцевались знакомства; к окончанию юридического факультета из громадного круга знакомств вытанцевался сам собою круг влиятельных покровителей; и Николай Петрович Цукатов пустился отплясывать службу. К тому времени протанцевал он имение; протанцевавши имение, с легкомысленной простотой он пустился в балы; а с балов привел к себе в дом с замечательной легкостью свою спутницу жизни Любовь Алексеевну; совершенно случайно спутница эта оказалась с громадным приданым; и Николай Петрович с той самой поры танцевал у себя; вытанцовывались дети; танцевалось, далее, детское воспитание, – танцевалось все это легко, незатейливо, радостно.

Он теперь дотанцовывал сам себя.

## Бал

Что такое гостиная во время веселого вальса? Она – лишь придаток танцевального зала и убежище для мамаш. Но хитрая Любовь Алексеевна, пользуясь добродушием мужа (у него не было ни одного врага), да своим громадным приданным, пользуясь, далее, тем, что их дом был ко всему глубоко безразличен, разумеется, кроме танцев, и тем самым был нейтральным местом встреч, – пользуясь этим всем, хитрая Любовь Алексеевна, предоставивши мужу дирижировать танцами, возымела желание дирижировать встречами самых разнообразных особ; здесь встречались: земский деятель с деятелем чиновным; публицист с директором департамента; демагог с юдофобом. В этом доме бывал, даже завтракал, и Аполлон Аполлонович.

И пока Николай Петрович заплетал контрданс в неожиданные фигуры, в безразлично радушной гостиной сплеталась и расплеталась не раз не одна конъюнктура.

Танцевали и здесь, но по-своему.

Как обычно, и сегодня пробирались порою чрез зал гостинные посетители; и вторым пробирался воистину допотопного вида мужчина, со сладким и до ужаса рассеянным лицом, с вздернутой на покрытой пухом спине складочкой сюртука, отчего между фалдами неприлично просунулся незатейливый черненький хлястик; это был профессор ста-

тистики; с его подбородка висела желтоватая клочкастая борода, и ему на плечи, как войлок, свалились не выдавшие гребня космы. Поражала его кровавая, будто отпадающая ото рта губа.

Дело в том, что в виду нараставших событий готовилось нечто в роде сближения между одною из групп сторонников, так сказать, не резких, но во всяком случае весьма гуманных реформ – с истинно-патриотическими сердцами, – сближение не коренное, а условное, временно вызванное грохотом на всех налетавшей митинговой лавины. Сторонники, так сказать, постепенных, но во всяком случае весьма гуманных реформ, потрясенные громом этой страшной лавины, вдруг испуганно стали жаться к сторонникам существующих норм, но встречного шага не делали; либеральный профессор во имя общего блага первый взялся перешагнуть, так сказать, для себя роковой порог. Не следует забывать, что его уважало все общество, что последний протестующий адрес был-таки еще им подписан; все еще на последнем банкете поднялся бокал его навстречу весне.

Но, войдя в добела освещенный зал, растерялся профессор: блески, трепеты ослепили, видно, его; кровавая губа удивленно ото рта отвалилась; благодушнейшим образом созерцал он ликующий зал, затоптался, замялся, достал из кармана неразвернутый свой носовой платочек, чтобы снять с усов висящую сырость, принесенную с улицы, и мигал на мгновенно затихшие пары между двух кадрильных фигур.

Вот уже проходил он гостиную, в трепетный свет лазоревой электрической люстры.

Голос редактора остановил его на пороге:

– «Понимаете теперь, сударыня, связь между японской войною, жидами, угрожающим нам монгольским нашествием и крамолой? Жидовские выходки и выступление в Китае Больших Кулаков имеют меж собой теснейшую и явную связь».

– «Поняла, теперь поняла!»

Это крикнула Любовь Алексеевна. Но профессор в испуге остановился: он, во всяком случае, оставался до мозга костей либералом и сторонником, так сказать, весьма гуманных реформ; он впервые попал в этот дом, ожидая здесь встретить Аполлона Аполлоновича; но его, видно, не было: был один лишь редактор консервативной газеты, тот самый редактор, который только что бросил, выражаясь гуманно, в двадцатипятилетнюю светлую деятельность собирателя статистических данных комок неприличнейшей грязи. И профессор вдруг запыхтел, стал сердито мигать на редактора, как-то двусмысленно стал пофыкивать в клочковатую бороду, ярко-красной своею губой подбирал с усов висящую сырость.

Но двойной подбородок хозяйки повернулся сначала к профессору, далее – повернулся он к редактору консервативной газеты и, лорнетом указуя друг другу, она их друг другу представила, отчего сперва оба немного опешили, а

потом друг другу просунули в руку свои холодные пальцы, пухло-потные – в пухло-сухие, либерально-гуманные – в негуманные вовсе.

Профессор законфузился еще больше; перегнулся, двусмысленно фыкнул, опустился в кресло, завяз и стал беспокойно там ерзать. Господин же редактор, как ни в чем не бывало, продолжал с хозяйкой прерванный разговор. Мог выручить Аблеухов, но... Аблеухова не было.

Неужели все то от профессора требовала остроумная конъюнктура, только что подписанный протестующий адрес и навстречу весне на банкете взлетевший бокал?

А толстяк продолжал:

– «Понимаете же, сударыня, эту деятельность жидо-масонства?»

– «Поняла, теперь поняла».

Либерально мычавший и жевавший губами профессор не выдержал; обращаясь к хозяйке, заметил он:

– «Позвольте и мне, сударыня, вставить свое скромное слово – слово науки: сообщенные здесь сведения имеют совершенно ясный источник происхождения».

Но толстяк его вдруг перебил.

А там-то, а там-то...

Там тапер вдруг одною рукою элегантно гремящим ударом по басу оборвал свою музыкальную пляску, а другою рукою он заправским движеньем во мгновение ока перевернул нотный лист, и с рукою, взвешенной в воздухе, с выразитель-

но разжатыми пальцами меж клавиатурой и нотами, выжидательно как-то повернул свой корпус к хозяину, проблистав эмальями ослепительно белых зубов.

И тогда навстречу жеста тапера Николай Петрович Цукатов из бушующих бак неожиданно выставил гладко выбритый подбородок, гладко выбритым подбородком рисуя таперу поощрительно-одобрительный знак; и потом с наклоненною головой, будто бодая пространство, он поспешно как-то бросился перед парами на паркетные блики, закрутив двумя пальцами кончик седеющей баки. И за ним полетело безвластно ангелоподобное существо, протянуло в пространстве гелиотроповый шарф свой. Николай Петрович Цукатов, вдохновив себя танцевальным полетом фантазии, молнией полетел на тапера и рычал, как лев, на весь зал:

– «Па-де-катр, силь ву плэ!»

И за ним летело безвластно ангелоподобное существо.

Между тем в коридор расторопно являлись бегущие слуги. Для чего-то откуда-то выносились и потом вносились опять столики, табуреточки, стулья; пронесли в столовую горку свежих сандвичей на фарфоровом блюде. Прозвенели и вилками. Пронесли стопку хрупких тарелочек.

Повалила пара за парой в освещенный светло коридор. Сыпались шутки и сыпались смехи в одном сплошном гоготанье, и в одном сплошном гуле задвигали стульями.

Встали дымки папиросок в коридоре, в курительной комнате; встали дымки папиросок в передней. Здесь, стащивши

с пальцев перчатку и засунув руку в карман, потемневшей перчаткой себе обвеивал щеки кадетик; обнявшись, две девочки сообщали друг другу какие-то заветные тайны, может быть, возникшие только что; брюнетка блондинке, а блондиночка фыркала и кусала нежный платочек.

Можно было, встав в коридоре, увидеть и край гостями набитой столовой; и туда понеслись бутерброды, нагруженные фруктами вазы, и бутылки с вином, и бутылки с кислой, в нос бьющей шипучкой.

В освещенной донельзя зале теперь оставался один собиравший ноты тапер; вытерев тщательно свои горячие пальцы, проведя осторожно мягкой тряпчочкой по клавиатуре рояля и сложив стопками ноты, этот скромный тапер, в чьем присутствии слуги пооткрывали все в зале бывшие форточки, нерешительно тронулся через лаковый коридор, напоминая черную голенастую птицу. С наслаждением думал и он о чае с сэндвичами.

В дверях, ведущих в гостиную, из полумрака выплыла сорокапятилетняя дама с упадающим подбородком, мясистым, на корсете подпертую грудь. И глядела в лорнет.

А за ней проплывал в залу толстенный мужчина с неприятно изрытым оспой лицом, с животом почтенных размеров, перетянутым сюртучною складкою.

Где-то там, поодаль, плелся и профессор статистики, до сих пор сидевший как на ножах; он теперь наткнулся на земского деятеля, одиноко скучавшего у прохода, вдруг узнал

того деятеля, улыбнулся приветливо, даже как-то испуганно зашипнул двумя пальцами пуговку его сюртука, словно он ухватился за брошенный якорь спасения; и теперь раздавалось:

– «По статистическим сведениям... Годовое потребление соли нормальным голландцем...»

И опять раздавалось:

– «Годовое потребление соли нормальным испанцем...»

– «По статистическим сведениям...»

## **Точно плакался кто-то**

Ждали масок. И все не было масок. Видно, это был один только слух. Масок все-таки ждали.

И вот раздалось дребезжанье звонка: раздалось оно робко; точно кто-то, неприглашенный, напоминал о себе, попросился сюда из сырого, злого тумана и из уличной слякоти; но никто ему не ответил. И тогда опять сильнее задилинькал звоночек.

Точно плакался кто-то.

В ту минуту из двух проходных комнат, запыхавшись, выбежала десятилетняя девочка и увидела заблиставший безлюдием только что перед тем полный зал. Там, у входа в переднюю, вопросительно стукнула дверь, а на двери слегка закачалась граненая и алмазы мечущая ручка; и когда пустота достаточно обозначилась меж стенами и дверью, из пустоты

осторожно до носу просунулась черная масочка, и две блестящих искры проблеснули в прорезях глаз.

Десятилетний ребенок увидел тогда меж стеною и дверью черную масочку и из прорезей две недобрые искры, устремленные на себя; вот вся маска просунулась, обнаружилась черная борода из легко выющихся кружев; за бородою в дверях, шелестя, медлительно показался атлас, и к глазам сперва свои пальчики поднял испуганно десятилетний ребенок, а потом и радостно улыбнулся, захлопал в ладоши, и с криком: «А вот приехали маски, приехали!» торопливо пустился бежать в анфиладную глубину, – туда, где из виснувших хлопьев табачного синеватого дыма выделялся туманный профессор на своих слоновьих ногах.

Ярко-красное домино, переступая порывисто, повлекло свой атлас по лаковым плитам паркета; и едва-едва оно отмечалось на плитках паркета плывущею пунцовеюющей рябью собственных отблесков; пунцовея по зале, как будто неверная лужица крови побежала с паркетика на паркетик; а навстречу затопали грузные ноги, издали заскрипели огромные на домино сапоги.

Земский деятель, окрепнувший теперь в зале, остановился растерянно, ухватясь рукой за клочок своей бороды; между тем одинокое домино как будто немо его умоляло не гнать из этого дома обратно на петербургскую слякоть, умоляло не гнать из этого дома обратно в злой и густой туман. Земский деятель, видно, хотел пошутить, потому что он кряк-

нул; но когда попытался он и словесно выразить свою шутку, эта шутка приняла довольно бессвязную форму:

– «Мм... Да-да...»

Домино шло вперед на него протянутым, умоляющим корпусом, шло вперед на него с протянутой красно-шуршащей рукой и чуть-чуть взвилось с ниспадающей от сутулых плеч головы его прозрачное кружево.

– «Скажите, пожалуйста, вы – маска?»

Молчание.

– «Мм... Да-да...»

А маска молила; вся она прометнулась вперед протянутым корпусом – в пустоте, на лаках, на бликах, над лужицей собственных отблесков; одиноко металась по залу.

– «Вот так штука...»

И опять она прометнулась вперед, и опять вперед проскользнули красные отблески.

Теперь земский деятель, запыхтевши, стал отступать.

Вдруг махнул он рукой; и он повернулся; спешно стал он, Бог весть почему – возвращаться туда, откуда он вышел, где горел электрический лазоревый свет, где в лазоревом электрическом свете стоял с кверху задранном сюртуком профессор статистики, выясняясь туманно из хлопьев табачного дыма; но земца едва не свалил рой набегающих барышень: развевались их ленты, развевались в воздухе котильонные побрякушки и шуршали колена.

Этот щебечущий рой выбежал посмотреть на забредшую

сюда маску; но щебечущий рой остановился у двери, и его веселые возгласы как-то вдруг перешли в едва дышащий шелест; наконец, смолк этот шелест; тяжела была тишина. Неожиданно за спиной у барышень продекламировал какой-то дерзкий кадетик:

Кто вы, кто вы, гость суровый,  
Роковое домино?  
Посмотрите – в плащ багровый  
Запахнулося оно.

А на лаках, на светах и над зыбью собственных отблесков как-то жалобно побежало вбок домино, и ветер из отворенной форточкы ледяною струей присвистнул на ясном атласе; бедное домино: будто его уличили в провинности, – оно все наклонилось вперед протянутым силуэтом; вперед протянутой красно-шуршащей рукой, будто немо их всех умоляя не гнать из этого дома обратно на петербургскую слякоть, умоляя не гнать из этого дома обратно в злой и сырой туман.

И кадетик запнулся.

– «А скажи, домино, уж не ты ли бегаешь на петербургских проспектах?»

– «Господа, вы читали сегодняшней „Петербургский дневник“?»

– «А что?»

– «Да опять красное домино...»

– «Господа, это глупости».

Одинокое домино продолжало молчать.

Вдруг одна из передних барышень со склоненной головой, та, что строго прищурила взор на неожиданного гостя – выразительно зашептала что-то подруге.

– «Глупости...»

– «Нет, нет: как-то не по себе...»

– «Вероятно, милое домино набрало в рот воды: а еще домино...»

– «Право, с ним нам нечего делать...»

– «А еще домино!»

Одинокое домино продолжало молчать.

– «Не хочешь ли чаю с сэндвичами?»

– «А не хочешь ли этого?»

Так воскликнув, кадетик через пестрые головы барышень, развернувшись, пустил в домино шелестящую струйку конфетти. В воздухе развилась на мгновение дугою бумажная лента; а когда конец ее с сухим треском ударился в маску, то дуга из бумаги, свиваясь, ослабла и опустилась на пол; и на эту забавную шутку домино ничем не ответило, протянуло лишь руки, умоляя не гнать из этого дома на петербургскую улицу, умоляя не гнать из этого дома в злой и густой туман.

– «Господа, пойдёмте отсюда...»

И рой барышень убежал.

Только та, что стояла ближе всех к домино, на мгновение помедлила; сострадательным взором смерила она домино; отчего-то вздохнув, повернулась, пошла; и опять оберну-

лась, и опять сказала себе:

– «Все-таки... Это... Это как-то не так».

## Сухая фигурочка

Это был, конечно, все он же: Николай Аполлонович. Он пришел сегодня сказать – что сказать?

Сам себя он забыл; забыл свои мысли; и забыл упования; упивался собственной, ему предназначенной ролью: богоподобное, бесстрастное существо отлетело куда-то; оставалась голая страсть, а страсть стала ядом. Лихорадочный яд проныцал его мозг, выливался незримо из глаз пламенеющим облаком, обвивая липнущим и кровавым атласом: будто он теперь на все глядел обугленным ликом из пекущих тело огней, и обугленный лик превратился в черную маску, а пекущие тело огни – в красный шелк. Он теперь воистину стал шутом, безобразным и красным (так когда-то она сама называла его). Мстительно над какою-то – своею, ее ли? – правдою надругался теперь этот шут вероломно и остро; и опять-таки: любил, ненавидел?

Будто он над ней колдовал все эти последние дни, простирая холодные руки из окон желтого дома, простирая холодные руки от гранитов в невский туман. Он хотел охватить, любя, им вызванный мысленный образ, он хотел, ей мстя, задушить где-то веющий силуэт; для того-то все эти дни простирались холодные руки из пространства в пространство,

оттого-то все эти дни из пространства ей в уши шептались какие-то неземные признания, какие-то свистящие накликания и какие-то хрипящие страсти; оттого-то в ушах у нее раздавались невнятные посвисты, а листовяный багрец гнал ей под ноги шелестящие россыпи слов.

Оттого-то вот он сейчас пришел в тот дом: но ее, изменницы, не было; и в углу он задумался. Он как будто в тумане увидел удивленного почтенного земца; будто где-то вдали, в лабиринте зеркал, перед ним проплыли фигурки смеющихся барышень неверными пятнами; а когда из этого лабиринта, с холодной зеленоватой поверхности в него ударились дальние отголоски вопросов с бумажною змейкой конфетти, удивился он так, как дивятся во сне: удивился выходу не сущего отражения пред собой в яркий мир; но в то время, когда сам он глядел на все, как на зыбкие, во сне бегущие отражения, отражения эти, видно, сами приняли его за выходца с того света; и как выходец с того света, он их всех разогнал.

Вот опять до него долетели дальние отголоски, и повернулся он медленно: и неясно, и тускло – где-то там, где-то там – быстро зал пересекла сухая фигурочка, без волос, без усов, без бровей. Николай Аполлонович с трудом разбирал подробности в зал влетевшей фигурки, – от напряжения зрения из-за прорезей маски чувствовал он резь в глазах (кроме всего, он страдал близорукостью), выделялись лишь контуры зеленоватых ушей – где-то там, где-то там. Что-то было во всем том знакомое, что-то близко живое, и Нико-

лай Аполлонович порывисто, в забытьи, рванулся к фигурке, чтобы вплотную увидеть; но фигурка откинулась, будто даже схватилась за сердце, отбежала прочь, и глядела теперь на него. Каково же было изумление Николая Аполлоновича: перед ним стояло вплотную родное лицо; оно показалось ему сплошь в морщиночках, источивших щеки, лоб, подбородок и нос; издали можно было принять то лицо за лицо скопца, скорей молодого, чем старого; а вблизи это был немощный, хилый старик, выдававшийся едва приметными бачками: словом – под носом у себя Николай Аполлонович увидел отца. Аполлон Аполлонович, перебирая кольца цепочки, с плохо скрытым испугом вперился глазами в атласное неожиданно на него набежавшее домино. В этих синих глазах промелькнуло нечто вроде догадки; Николай Аполлонович ощутил неприятную дрожь, было все-таки жутко бесстыдно глядеть из-под маски в те бесстрастные взоры, пред которыми в обычное время с непонятной стыдливостью опускал он глаза; было все-таки жутко читать теперь в этих взорах испуг и какое-то беспомощное, хилое старчество; а догадка, мелькнувшая быстро, прочлась, как отгадка: Николай Аполлонович подумал, что узран. То не было правдой: Аполлон Аполлонович просто подумал, что какой-то бестактный шутник терроризирует его, царедворца, символическим цветом яркого своего плаща.

Все-таки сам себе он стал щупать пульс. Николай Аполлонович в последнее время не раз подмечал этот жест сенатор-

ских пальцев, производимый украдкой (видно, сердце сенатора уставало работать). Видя этот же жест и теперь, ощутил он что-то, подобное жалости; и невольно к отцу протянул красношуршащие руки; будто он умолял отца не бежать от него, задыхаясь в сердечном припадке, будто он умолял отца простить его за все прошлое окаянство. Но Аполлон Аполлонович продолжал щупать пульс своими дрожащими пальцами и в сердечном припадке теперь бежал – где-то там, где-то там...

Вдруг раздался звонок: вся комната наполнилась масками; ворвалась вереница черная капуцинов; черные капуцины быстро составили цепь вокруг красного сотоварища, заплясали вокруг него какую-то пляску: их атласные полы развевались, свивались; подлетали и уморительно падали кончики капюшонов; на груди же у каждого на двух перекрещенных косточках вышит был череп; и подплясывал череп.

Красное домино, отбиваясь, тогда бежало из залы; капуцинов черная стая с хохотом погналась за ним вслед; так они пролетели по широкому коридору и влетели в столовую; все сидящие за столом им навстречу приветливо застучали тарелками.

– «Капуцины, маски, паяцы».

Повскакали с мест стаи перламутрово-розовых и гелиотроповых барышень, повскакали с мест гусары, правоведаы, студенты. Николай Петрович Цукатов подскочил на месте с бокалом рейнвейна, прорывав в честь странной компании

свой громовый виват.

И тогда кто-то заметил:

– «Господа, это слишком...»

Но его увлекли танцевать.

В танцевальном зале тапер, выгибая хребет, заплясал опять взбитым коком волос на бегущие и рулады льющие пальцы; расплясался дискант и медлительно тронулся бас.

И взглянувши с невинной улыбкой на черного капуцина, особо наглым движеньем взвившего свой атлас, ангелоподобное существо в фиолетовой юбочке как-то вдруг нагнулось под отверстие капюшона (ей в лицо уставилась масочка); а рукой своей существо ухватилось за горб полосатого клоуна, чья одна (голубая) нога взлетела на воздух, а другая (красная) подогнулась к паркету; но существо не боялось: подобрало свой подол, и оттуда просунулась серебристая туфелька.

И пошло – раз, два, три...

А за ними пошли испанки, монахи и диаволы; арлекины, ментики, веера, обнаженные спины, из пластинок серебряных шарфы; выше всех, качаясь, плясала долговязая пальма.

Только там, одиноко, прислонясь к подоконнику, между спущенных зеленоватых гардин Аполлон Аполлонович задышался в припадке своей сердечной болезни, о размерах которой не знал ни один человек.

## Помпадур

Ангел Пери стояла пред овальным мутнеющим зеркалом, отклоненным чуть-чуть: все туда убегало вниз и внизу там мутнело: потолок, стены и пол; и сама она туда убегала в глубину, зеленоватую муть; и там, там – из фонтана вещей и кисейно-кружевной пены выходила теперь красавица с пышно взбитыми волосами и мушкой на щеке: мадам Помпадур!

Волосы, свитые буклями и едва только стянутые лентой, были седы, как снег, и пуховка застыла над пудреницей в таких тоненьких пальчиках; туго стянутая, бледно-лазурная талия чуть-чуть-чуть изогнулась налево с черной маской в руке; из узкого вырезного корсажа, словно жемчуг живой, дыша, протуманились перси, а из узких, шуршащих атласом рукавчиков тихо забились легкими складками валансье-новые кружева; и везде, везде вокруг выреза, ниже выреза – кружева эти зыбились; под корсажем юбка-панье, словно вставшая над дыханием томным зефиром, колыхалась, играла оборками и блистала гирляндой серебряных трав в виде легких фестонов; ниже были такие же туфельки; и на каждой из туфелек серебрился помпон. Но странное дело: как-то вдруг в том наряде она постарела и подурнела; вместо маленьких розовых губок, портя личико, оттопырились неприлично красные, эти слишком тяжелые губы; а когда закосили глаза, то в мадам Помпадур показалось на миг что-то ведь-

мовское: в этот миг она укрывала письмо в разрезе корсажа.

В этот же миг прибежала в комнату Маврушка, держа жезл из светлого дерева с золотой рукояткой, от которой веяли ленты: но когда мадам Помпадур протянула ручку, чтобы взять этот жезл, у нее в руке оказалась записка от мужа, там стояло: «Если вы уедете вечером, то вы более не вернетесь в мой дом. Сергей Сергеевич Лихутин».

Та записка, конечно, относилась к Софье Петровне Лихутиной, а не к ней, мадам Помпадур, и мадам Помпадур презрительно улыбнулась записке; она уставилась в зеркало – в глубину, в зеленоватую муть: там далеко-далеко неслась, будто легкая рябь; вдруг из этой глубины и зеленоватой мути на багровый свет пунцового абажура как будто просунулось какое-то восковое лицо; и она обернулась.

За плечами ее неподвижно стоял ее муж, офицер; но опять она презрительно рассмеялась, и слегка приподнявши свою кружевную юбку-панье за фестончики, плавно так от него поплыла в реверансах; тихоструйный зефир от него ее уносил, и шуршал, колыхался, как колокол, ее кринолин в сладких токах зефирных; а когда она оказалась в дверях, то к нему повернулась лицом, и рукой, на которой моталась атласная масочка, показала с лукавой улыбочкой длинный нос офицеру; за дверьми потом раздался раскатистый смех и невинное восклицание:

– «Маврушка, шубу!»

Тогда Сергей Сергеевич Лихутин, подпоручик Гр-горийско-

го Его Величества полка, белый как смерть, совершенно спокойный, иронически улыбаясь, побежал вприпрыжку за грациозною масочкой и потом, щелкнув шпорами, так почти-тельно стал с меховой шубой в руке; с еще большей по-чтительностью ей на плечи накинул он шубу, распахнул на-стежь дверь и любезно ей рукой показал туда – в темно-цветную темень; а когда она в эту темень, шурша, проходи-ла, вздернув личико пред такую покорной услугою, то по-корный слуга, щелкнув шпорами, вторично отвесил ей низ-кий поклон. Темноцветная темень хлынула на нее – хлыну-ла отовсюду; заливала ее шуршащие очертания; что-то долго шуршало-шуршало, там, на лестничных ступенях. Выходная дверь хлопнула; тогда Сергей Сергеич Лихутин все с теми же слишком резкими жестами стал повсюду ходить и повсюду гасить электричество.

## Роковое

Тапер элегантно гремящим ударом по басу оборвал свою музыкальную пляску, а другою рукою заправским движени-ем перевернул нотный лист; но в эту минуту Николай Петро-вич Цукатов из бушующих бак неожиданно выставил гладко выбритый подбородок, с наклоненною головой быстро бро-сившись перед парами на паркетные блики, увлекая стреми-тельно за собой безвластное существо:

– «Па-де-катр, силь ву плэ!..»

– «Пойдем со мной», – приставала мадам какая-то Помпадур к Николаю Аполлоновичу, и Николай Аполлонович, не узнавши мадам Помпадур, нехотя подал ей руку; и, взглянув с еле видной усмешкой на своего красного кавалера особо жестоким движением кверху вздернутой маски, мадам Помпадур протянула руку вперед и безвластно ею легла на руку домино; а другой рукой с бьющимся на ней веером и в затянутой лайке мадам Помпадур подобрала подол из лазурно-веющих дымов, и оттуда шелестом чуть просунулась серебристая туфелька.

И пошли, и пошли.

Раз-два-три – и жест ножки под откинутой талией:

– «Ты узнал меня?»

– «Нет».

– «Ты кого-то все ищешь?»

Раз-два-три – и опять изгиб, и опять просунулась туфелька.

– «У меня есть для тебя письмо».

А за первую парой – домино и маркизой – тронулись арлекины, испанки, перламутрово-бледные барышни, правоведы, гусары и безвластные, кисейные существа; веера, голые плечи, серебристые спины и шарфы.

Вдруг рука красного домино охватила тонкую, лазурную талию, а другая рука, схватившись за руку, в руке ощутила письмо; в тот же миг темно-зеленые, черные и суконные руки всех пар, и красные руки гусар охватили все тонкие та-

лии гелиотроповых, гридеперлевых, шелестящих танцорок, чтобы вновь, вновь и вновь закружиться в нескольких вальсовых поворотах.

Вылетев перед всеми, седовласый хозяин разрычался на пары:

– «A vos places».

И за ним летел безвластный подросток.

## **Аполлон Аполлонович**

Аполлон Аполлонович оправился от сердечного приступа; Аполлон Аполлонович поглядел в глубину комнатной анфилады; спрятанный в темных гардинах, он стоял никем незамеченный; он старался, так пройти от гардин, чтобы его появление в гостиной не выдало б странного поведения государственного человека. Аполлон Аполлонович от всех скрывал приступы сердечной болезни; но еще неприятней было бы ему сознаться, что сегодняшний приступ вызван был появлением перед ним красного домино: красный цвет, конечно, был эмблемой Россию губившего хаоса; но ему не хотелось сознаться, что нелепое желание домино его попугать имело какой-либо политический привкус.

И Аполлон Аполлонович стыдился испуга.

Оправляясь от приступа, он бросал взгляды в зал. Все, что он видел там, поражало взор его крикливою пестротой; там мелькавшие образы имели какой-то отвратительный при-

вкус, поражавший лично его: видел он монстра с двуглавою орлиною головою; где-то там, где-то там – быстро зал пересекала сухая фигурочка рыцарька с лезвием сверкавшим меча, в образе и подобии какого-то светового явления; он бежал так неясно и тускло, без волос, без усов, выделяясь контурами зеленоватых ушей и свисавшим на грудь бриллиантовым блещущим знаком; а когда из масок и капуцинов на рыцарька кинулось однорогое существо, то рогом оно обломало у рыцаря световое явление; что-то издали дзанкнуло и на пол упало подобием лунного лучика; странно, что эта картина в сознании Аполлона Аполлоновича пробудила какое-то недавно забытое, бывшее с ним происшествие, и он ощутил позвоночник; Аполлон Аполлонович мгновенье подумал, что у него *tabes dorsalis*. С отвращением отвернулся от пестрого зала; и прошел он в гостиную.

Здесь при его появлении все поднялись с своих мест; любезно навстречу к нему текла Любовь Алексеевна; и профессор статистики, вставший с места, проямлил:

– «Имели случай когда-то встречаться: весьма счастлив вас видеть; у меня есть до вас, Аполлон Аполлонович, дело».

На что Аполлон Аполлонович, поцеловавши руку хозяйки, сухо как-то ответил:

– «Но ведь я принимаю у себя в Учреждении».

Этим ответом отрезывал он возможность одной либеральной партии идти навстречу правительству. Конъюнктура расстроилась; и профессору оставалось только достойно по-

кинуть этот блестящий дом, чтобы впредь беспрепятственно подписывать все выражения протестов, чтобы впредь беспрепятственно поднимать свой бокал на всех либеральных банкетах.

Собираясь уйти, подошел он к хозяйке, над которой редактор продолжал упражнять свое красноречие.

– «Вы думаете, что гибель России готовится нам в уповании социального равенства. Как бы не так? Нас хотят просто-напросто принести в жертву дьяволу».

– «То есть как?» – удивилась хозяйка.

– «Очень просто-с: вы удивляетесь потому, что вы ничего не читали по этому вопросу...»

– «Но позвольте, позвольте! – снова вставил слово профессор, – вы опираетесь на измышления Таксиля...»

– «Таксиля?» – перебила хозяйка, вдруг достала маленький изящный блокнот и стала записывать:

– «Таксиля, говорите вы?...»

– «Нас готовятся принести в жертву сатане, потому что высшие ступени жидо-масонства исповедуют определенный культ, палладизм... Этот культ...»

– «Палладизм?» – перебила хозяйка, снова стала что-то записывать в книжечку.

– «Па-лла-... Как, как?»

– «Палладизм».

Раздался откуда-то озабоченный вздох экономки, и тогда понесли поднос с граненым графином, налитым до краев

прохладительным морсом и поставили в комнате меж гостиной и залом. И стоя в гостиной, можно было увидеть, как вновь, вновь и вновь из мелодичной системы звукового прибора, бившего в стены, и из зыби кисейно-кружевных, раскачавшихся в вальсе пар вырывалась то та, то эта покрытая светом девочка, с разгоревшимся личиком и с растрепанной на спине сквозной желтизной кос – вырывалась и пробегала, смеясь, в соседнюю комнату, в своих белошелковых туфельках, топоча высокими каблучками, наливала поспешно из графинчика кислотоватую, рубиновую влагу: ледяной густой морс. И глотала так жадно.

И хозяйка рассеянно бросила собеседнику.

– «А скажите...»

Приложив к глазам миниатюрный лорнетик, увидела она, что в соседней там комнате к разгоревшейся девочке, пьющей морс, из танцевального зала выпорхнул правовед в шелестящем шелком мундирчике с перетянутой талией и, грассируя неестественно загремевшим баском, правовед вырвал шуточно у девочки стаканчик рубинового морса и стыдливо от него отпивал он холодный глоток. И Любовь Алексеевна, обрывая свирепые речи редактора, привстала, шелестя, проплыла в полутемную комнату, чтобы строго заметить:

– «Что вы здесь делаете – танцевать, танцевать». И тогда счастливая пара вернулась в кипящую светом залу; правовед обнял белоснежной перчаткой тонкую, как оса, талию девочки; девочка – на белоснежной этой перчатке откину-

лась; оба вдруг упоительно залетали, упоительно закачались, быстро-быстро перебирая ногами, разбивая летящие платья, шали и веера, вокруг них плетущие искристые узоры; наконец, сами стали какими-то лучезарными брызгами. Там тапер, вычурно выгибая хребет, вкрадчиво как-то склонялся к летающим пальцам на клавишах, чтобы лить дискантовые, немного крикливые звуки: и они бежали друг другу вдогонку; то тапер, истомно откинувшись, заскрипев табуретом, пальцами убежал на густые басы...

.....

– «Таксиль взвел на масонов совершенную небылицу, – раздавался язвительный голос профессора, – к сожалению, небылице той поверили многие; но впоследствии Таксиль решительным образом отказался от небылицы; он признался публично в том, что его сенсационные заявления папе – лишь простое его издевательство над темнотой и злой волею Ватикана. Но за это Таксиль был проклят в папской Энциклике...»

Тут вошел кто-то новый – суетливенький, молчаливенький господинчик, с огромною бородавкою у носа, – и вдруг ободрительно закивал, заулыбался сенатору, растирая пальцы о пальцы; и с двусмысленной кротостью он отвел сенатора в угол:

– «Видите... Аполлон Аполлонович... Директор N. N. департамента предложил... как бы это выразиться... Ну, задать вам один щекотливый вопрос».

Далее трудно было что-либо разобрать: слышно было, как господинчик что-то нашептывал в бледное ухо с двусмысленной кротостью, а Аполлон Аполлонович с каким-то жалким испугом кинулся на него.

– «Говорите же прямо... мой сын?»

– «А вот именно, именно: этот самый вот деликатный вопрос».

– «Мой сын имеет сношения с...?»

Далее ничего нельзя было разобрать; лишь слышалось:

– «Пустяки...»

– «Все это совершенные пустяки...»

– «Жалко, правда, что эта неуместная шутка приняла такой неуместный характер, что пресса...»

– «И знаете: петербургской полиции отдали мы, признаться, приказ, чтобы за вашим сыном следили...»

– «Разумеется, для его только блага...»

И опять несся шепот. И сенатор спросил:

– «Домино, говорите вы?»

– «Да – вот то самое»?

С этими словами суетливенький господинчик указал в соседнюю комнату, где вот там – где-то там, суетливое домино, переступая порывисто, влекло свой атлас по лаковым плитам паркета.

## Скандал

Софья Петровна Лихутина, передавши письмо, ускользнула от своего кавалера, опустилась в бессилии на мягкую табуретку; руки и ноги ее отказывались служить.

Что она сделала?

Она видела, как мимо нее из танцевального зала пробежало красное домино в угол пустой проходной комнаты; и там незаметно красное домино разорвало бумагу конверта; зашелестела записка в яркошуршащих руках. Красное домино, сияясь лучше увидеть мелкий бисерный почерк записки, непроизвольно на лоб откинуло масочку, отчего черные кружева бороды двумя пышными складками окрылили бледное лицо домино, будто два крыла черной шелковой шапочки; из трепещущих крыльев просунулось то лицо, восковое, застывшее, с оттопыренными губами, и дрожала рука, и дрожала в пальцах записочка; и холодный пот показался на лбу.

Красное домино теперь не видало мадам Помпадур, наблюдавшей его из угла; все оно ушло теперь в чтение; засуетилось, распахнуло атласные полы длинного одеяния, обнаружив свой обычный костюм – темно-зеленый сюртук; Николай Аполлонович вытащил золотое пенсне и, приставив к глазам, лицом нагнулся к записочке.

Николай Аполлонович весь откинулся; ужасом на нее уставился его взор; но ее он не видел: его губы шептали,

должно быть, какие-то вовсе невнятные вещи, – и Софья Петровна хотела уж броситься к нему из угла, потому что она не могла далее выносить этих расширенных, на нее устремленных взоров. Тут вошли в комнату; красное домино нервно спрятало ту записку в свои дрожащие пальцы, убежавшие в складки; маску же красное домино позабыло спустить. Так стояло оно с приподнятой на лбу масочкой, с полуоткрытым ртом и невидящим взором.

Пуще прежнего разошлась после вальса прибежавшая сюда девочка, чтобы здесь прохладиться; она едва с ног не сбила почему-то у входа одиноко дремавшего земского деятеля, остановилась перед зеркальным трюмо, оправила в волосах осевшую ленточку, зашнуровала, поставив ножку на стул, бело-шелковую туфельку; завела с подругой, такую же девочкой, там в углу подозрительный шепот, слушая поток звуков, нестройное шелестящее шарканье, хриплые выкрики из гостиной, смех, окрики распорядителя, слушая едва слышное дзиньканье кавалерских шпор.

Вдруг она увидела домино с неопущенной маской; и, увидев, воскликнула:

– «Вот вы кто? Здравствуйтесь, Николай Аполлонович, здравствуйтесь: кто бы мог вас узнать?»

Софья Петровна Лихутина видела, как страдальчески улыбнулся девочке Николай Аполлонович, как-то странно рванулся и пустился бежать в танцевальный зал.

Там стояло два ряда танцующих, уплывая в нежно слепну-

щий взор переливами перламутро-розовых, гридеперлевых, гелиотроповых, голубоватых, белых бархатов и шелков: на шелка, на бархаты ложились шали, шарфы, вуали, веера и стеклярусы, ложились на плечи тяжкие кружева из серебряных пластинок; при малейшем движении искрилась там чешуйчатая спина; всюду виднелись теперь покрасневшие руки, безотчетно игравшие пластинками веера пальцы, загрубевшие пятна в белых бархатах, колыхавшихся декольте и ланиты, вовсе пунцовые, в дыме тронутых пляской причесок.

Там стояло два ряда танцующих пар, уплывая во взор черными, зеленоватыми и ярко-красными гусарскими сукнами, золотым, подбородок режущим воротником, надставною мундирною грудью и надставными плечами, снежно-белой прорезью фрачных жилетов, кракавших при нажиме, и лоск льющим фрактом цвета воронова крыла.

Мимо масок и кавалеров стремительно пролетел Николай Аполлонович, переступая порывисто на своих дрожащих ногах; и кровавый атлас за ним влекся на лаковых плитах паркета, едва-едва отмечаясь на плитах паркета летящею, пунцовеющей зыбью собственных отблесков; пунцовея, та зыбь, как неверная красная молния, облизнула паркет перед чудовищным бегуном.

Это бегство красного домино с приподнятой на лоб маской, под которой вперед выдавалось лицо Николая Аполлоновича, произвело настоящий скандал; бросились с места

веселые пары; с одной барышней случилась истерика; а две маски с испугу вдруг открыли свои изумленные лица; а когда, узнав бегущего Аблеухова, лейб-гусар Шпорышев ухватил его за рукав со словами: «Николай Аполлонович, Николай Аполлонович, ради Бога скажите, что с вами», то Николай Аполлонович, как затравленный зверь, как-то жалко оскалился сумасшедшим лицом, силясь смеяться, но улыбка не вышла; Николай Аполлонович, вырвав рукав, скрылся в дверях.

В танцевальном зале пробежало неопишное смущение; барышни, кавалеры суетливо передавали друг другу свои впечатления; затревожились все; только что таинственно скользившие маски, все эти синие рыцарьки, арлекины, испанки потеряли свой интригующий смысл; из-под маски двуглавого монстра, подбежавшего к Шпорышеву, слышался встревоженный и знакомый голос:

– «Объясните же ради Бога, что все это значит?»

И лейб-гусар Шпорышев узнал голос Вергефдена.

Это смятение танцевального зала передалось инстинктивно через две проходные комнаты и в гостиную; и там, там – где горел лазоревый шар электрической люстры, где в лазоревом трепетном свете грузно как-то стояли гостинные посетители, выясняясь туманно из виснувших хлопьев табачного синеватого дыма, – посетители эти с тревогой смотрели туда – в танцевальный зал. Среди всей этой группы выделялась сухенькая фигурка сенатора, бледное, будто из папье-маше,

лицо с поджатыми твердо губами, две маленьких бачки и контуры зеленоватых ушей: так точно он был изображен на заглавном листе какого-то уличного журнальчика.

В танцевальном зале гуляла зараза догадок, треволнений и слухов по поводу странного, весьма странного, чрезвычайного странного поведения сенаторского сына; там говорилось, во-первых, что поведение это обусловлено какою-то драмой; во-вторых, пущен был слух, что таинственно посетивший цукатовский дом Николай Алоллонович и был красным домино, производившим сенсацию в прессе. Толковали, что все это значит. Говорилось о том, что сенатор не знает тут ничего; издали, из танцевального зала, кивали в гостиную, туда, где стояла сейчас фигурка сенатора и откуда неясно так выдавалось его сухое лицо среди виснувших хлопьев синеватого табачного дыма.

## **Ну, а если?**

Мы оставили Софью Петровну Лихутину – одну, на балу; мы теперь к ней вернемся обратно.

Софья Петровна Лихутина остановилась среди зала.

Перед ней впервые предстала ее страшная месь: мятый конвертик теперь перешел к нему в руки, Софья Петровна Лихутина едва понимала, что сделала; Софья Петровна не поняла, что вчера в мятом конверте прочитала она. А теперь содержание ужасной записки предстало ей с ясно-

стью: письмо Николая Аполлоновича приглашало бросить какую-то бомбу с часовым механизмом, которая, будто бы, у него лежала в столе; эту бомбу, судя по намеку, ему предлагали бросить в сенатора (Аполлона Аполлоновича все называли *сенатором*).

Софья Петровна стояла среди масок растерянно с бледно-лазурною, чуть изогнутой талией, соображая, что все это значит. То, конечно, была чья-то злая и подлая шутка; но его этой шуткою так хотелось ей напугать: ведь, он был... подлым трусом. Ну, а если... если в письме была истина? Ну, а если... если Николай Аполлонович в столе своем хранил предметы столь ужасного содержания? И об этом прослышали? И теперь его схватят?.. Софья Петровна стояла среди масок растерянно с бледно-лазурною талией, теребя свои локоны, серебристо-седые от пудры и свитые пышно.

И потом беспокойно она завертелась среди масок; и потом забились на ней валансьеновые кружева; а юбка-панье под корсажем, словно вставшая под дыханием томных зефиров, колыхалась оборками и блистала гирляндюю серебряных трав в виде легких фестончиков. Вкруг нее голоса, сливаясь шептаньем безостановочно, беспеременно, докучно роковым ворчали веретеном. Кучечка седобровых матрон, шелестя атласными юбками, собиралась уехать с такого веселого бала; эта, вытянув шею, вызывала из роя паяцев свою дочь, пейзажку; приложив к серым глазкам миниатюрный лорнетик, беспокоилась та. И над всем повисла тревож-

ная атмосфера скандала. Звуками перестал взрывать воздух тапер; сам собой положил он локоть на рояльную крышку; ожидал приглашения к танцам; но приглашения не было.

Юнкера, гимназисточки, правоведы – все нырнули в волны паяцев и, нырнувши, пропали; и их не было больше; слышались отовсюду – причитания, шелесты, шепоты.

– «Нет, вы видели, видели? Вы понимаете?»

– «Не говорите, это – ужасно...»

– «Я всегда говорила, я всегда говорила, та chère: он выростил негодяя. И tante Lise говорила: говорила Мими; говорил Nicolas».

– «Бедная Анна Петровна: я ее понимаю!...»

– «Да, и я понимаю: понимаем мы все».

– «Вот он сам, вот он сам...»

– «У него ужасные уши...»

– «Его прочат в министры...»

– «Он погубит страну...»

– «Ему надо сказать...»

– «Посмотрите же: *Нетопырь* на нас смотрит; будто чувствует, что мы говорим про него... А Цукатовы увиваются – просто стыдно смотреть...»

– «Они не посмеют сказать ему, отчего мы уедем... Говорят, мадам Цукатова из поповского роду».

Вдруг раздался свист древнего змея из взволнованной кучечки седобровых матрон:

– «Посмотрите! Пошел: не сановник – цыпленок».

.....

Ну, а если... если действительно Николай Аполлонович в столе хранит бомбу? Ведь, об этом могут узнать; ведь, и стол он может толкнуть (он – рассеянный). Вечером он за этим столом, может быть, занимается с развернутой книгой. Софья Петровна вообразила отчетливо склеротический аблеуховский лоб с синеватыми жилками над рабочим столом (в столе – бомба). Бомба – это что-нибудь круглое, к чему прикоснуться нельзя. И Софья Петровна Лихутина вздрогнула. На минуту отчетливо ей представился Николай Аполлонович, потирающий руки за чайным подносом; на столе – красная труба граммофона бросает им в уши итальянские страстные арии; ну, к чему бы им ссориться? И к чему нелепая передача письма, домино и все прочее...

К Софье Петровне прилип толстейший мужчина (гренадский испанец); она в сторону, – в сторону и толстый мужчина (гренадский испанец); на одну минуту в толпе его притиснули к ней, и ей показалось, что руки его зашуршали по юбке.

– «Вы не барыня: вы – душканчик».

– «Липпанченко!» – И она его ударила веером.

– «Липпанченко! объясните же мне...»

Но Липпанченко ее перебил:

– «Вам знать лучше, сударыня: не играйте в наивности».

И Липпанченко, прилипающий к юбке ее, ее вовсе притиснул; и она забарахталась, стремясь от него оторваться; но толпа их пуще притиснула; что он делает, этот Липпанчен-

ко? Э, да он неприличен.

– «Липпанченко, так нельзя».

Он же жирно смеялся:

– «Я же видел, как вы передали там...»

– «Об этом ни слова».

Он же жирно смеялся:

– «Хорошо, хорошо! А теперь поедemте-ка со мной в эту чудную ночь...»

– «Липпанченко! вы – нахал...»

Она вырвалась от Липпанченко.

Кастаньетами ей прищелкнул вдогонку гренадский испанец, исполняя какое-то страстное испанское *па*.

Ну, а если – письмо не было шуткою: ну, а если... если он обречен. Нет, нет, нет! Таких ужасов не бывает на свете; и зверей таких нет, кто бы мог заставить безумного сына на отца поднять руку. Все то шутки товарищей. Глупая – всего только приятельской шутки испугалась, видно, она. А он-то, а он-то: приятельской шутки испугался и он; да он просто – трусишка: побежал и там от нее (там, у Зимней Канавки) при свистке полицейского; она считала Канавку не каким-нибудь прозаическим местом, откуда можно бы бегать при свистке полицейского...

Не повел себя Германом: поскользнулся, упал, показав из-под шелка панталонные штрипки. И теперь: над наивною шуткою революционеров-друзей не посмеялся он, и в подавательнице письма не узнал он ее: побежал через зал, держа

в руках маску и подставив лицо на посмешище кавалерам и дамам. Нет, уж пусть Сергей Сергеич Лихутин проучит нахала и труса! Пусть Сергей Сергеич Лихутин предложит трусу дуэль...

Подпоручик!.. Сергей Сергеич Лихутин!.. Подпоручик Лихутин с вчерашнего вечера вел себя неприличнейшим образом: что-то фыркал в усы и сжимал свой кулак; к ней осмелился пожаловать в спальню с объяснением в одних нижних кальсонах; и потом осмелился у нее за стеной прошагать до утра.

Смутно ей представились вчерашние сумасшедшие крики, налитые кровью глаза и на стол упавший кулак: не сошел ли Сергей Сергеич с ума? Он давно уж ей стал подозрителен: подозрительно было молчание всех трех этих месяцев; подозрительны были эти бегства на службу. Ах, она – одинокая, бедная: вот она теперь нуждалась в его твердой опоре; ей хотелось, чтоб муж ее, подпоручик Лихутин, как ребенка бы обнял ее и понес на руках...

Вместо того к ней опять подскочил гренадский испанец и нашептывал в уши:

– «А, а, а? Не поедете?..»

Где теперь Сергей Сергеич, отчего его нет рядом с ней; как-то боязно ей по-прежнему возвратиться в квартирку на Мойке, где, как в логове зверь, залегал лихорадочно взбунтовавшийся муж.

И она притопнула каблучками:

– «Вот я ему покажу!»

И опять:

– «Вот я его проучу!»

И сконфуженно от нее отлетел гренадский испанец.

Софья Петровна Лихутина вздрогнула, вспоминая гримасу, с которой Сергей Сергеич ей подал ротонду, указуя на выход. Как он там стоял за плечами! Как она презрительно рассмеялась тогда и, слегка приподняв свою юбку-панье за фестончики, плавно так от него поплыла в реверансах (отчего она не сделала реверанса Николаю Аполлоновичу при передаче письма – реверансы к ней шли)! Как она сказала и в дверях, как она показала с лукавой улыбочкой длинный нос офицеру! А вот только: ей боязно возвращаться домой.

И она досадливо притопнула каблукочками:

– «Вот я ему покажу!»

И опять:

– «Вот я его проучу!»

Все же было страшно вернуться.

Еще более страшно – оставаться ей здесь; уж отсюда все почти поразъехались: поразъехались молодые люди и маски; добродушный хозяин с угнетенным, растерянным видом подходил то к тому, то к другому с анекдотиком; наконец, сиротливо окинул он опустевающий зал, сиротливо окинул толпу шутов, арлекинов, откровенно советуя взором избавиться блиставшую комнату от дальнейших веселий.

Но арлекины, сроившись в пеструю кучечку, вели себя

неприличнейшим образом. Кто-то наглый вышел из их среды, заплясал и запел:

Уехали фон Сулицы,  
Уехал Аплеухов...  
Проспекты, гавань, улицы  
Полны зловещих слухов!..  
Исполненный предательства,  
Сенатора ты славил...  
Но нет законодательства,  
Нет чрезвычайных правил!  
Он – пес патриотический —  
Носил отличий знаки;  
Но акт террористический  
Свершает ныне всякий.

Николай Петрович Цукатов сообразил во мгновение ока, как приличие его веселого дома нарушает ядовитый стишок.

Николай Петрович Цукатов густо так покраснел, добродушнейшим образом посмотрел на дерзкого арлекина, повернулся спиной и пошел прочь от двери.

## **Белое домино**

Уже пора было ехать. Уже гости разъехались почти все: Софья Петровна Лихутина одиноко слонялась по пустеющим залам; лишь гренадский испанец в ответ на волнение

ее побрякивал звучными кастаньетами. Там, в пустой анфиладе увидела она невзначай одинокое, белое домино; белое домино как-то сразу возникло, и – ну вот: – кто-то печальный и длинный, кого будто видела она многое множество раз, прежде видела, еще недавно, сегодня —

кто-то печальный и длинный, весь обвернутый в белый атлас, ей навстречу пошел по пустеющим залам; из-под прорезей маски на нее смотрел светлый свет его глаз; ей казалось, что свет заструился так грустно от чела его, от его костенеющих пальцев...

Софья Петровна доверчиво окликнула милого обладателя домино:

– «Сергей Сергеевич!.. А, Сергей Сергеевич!..»

Да, сомнения не было: это был Сергей Сергеич Лихутин; он раскаялся во вчерашнем скандале; он приехал за ней – ее увезти.

Софья Петровна снова окликнула милого обладателя домино – печального, длинного:

– «Ведь, это вы?.. Это – вы?»

Но печальный и длинный медленно покачал головою, приложил палец к устам и велел ей молчать.

Доверчиво протянула руку она белому домино: как блистает атлас, как прохладен атлас! И ее лазурная ручка зашуршала, коснувшись этой белой руки и на ней повисла бессильно (у обладателя домино деревянную оказалась рука); на мгновение над головкой ее склонилась лучистая маска, из-

под белого кружева обнаружив горсть бороды, будто связку спелых колосьев.

Никогда Сергея Сергеевича не видала она в этом блестящем виде: и она зашептала:

– «Вы простили меня?»»

Из-под маски ей ответствовал вздох.

– «Мы теперь помиримся?»»

Но печальный и длинный медленно покачал головою.

– «Отчего вы молчите?»»

Но печальный и длинный медленно приложил свой палец к устам.

– «Это... вы, Сергей Сергеевич?»»

Но печальный и длинный медленно покачал головою.

Уж они проходили в переднюю: невыразимое окружало их, невыразимое тут стояло вокруг. Софья Петровна Лихутина, снявши черную масочку, утонула лицом в своем ласковом мехе, а печальный и длинный, надевши пальто, своей маски не снял. С изумлением Софья Петровна глядела на печального, длинного: удивлялась тому, что ему не подали офицерской верхней одежды; вместо этой одежды, он надел рваное пальтецо, из которого как-то странно просунулись его рук удлинённые кисти, ей напомнивши лилии. Вся она рванулась к нему среди изумленных лакеев, смотревших на зрелище; невыразимое окружало их, невыразимое тут стояло вокруг.

Но печальный и длинный на освещенном пороге медлен-

но покачал головой и велел ей молчать.

С вечера стало небо сплошной, грязною слякотью; с ночи сплошная, грязная слякоть опустилась на землю; опустился на землю туман; все теперь опустилось на землю, став на время черноватою мглой, сквозь которую проступали ужасно фонарей рыжеватые пятна. Софья Петровна Лихутина видела, как над рыжим пятном, изогнувшись, упала кариатида подъезда и как она висла; как в пятне выступал кусочек соседнего домика с полукруглыми окнами и с резьбой деревянных мелких скульптур. Длинное очертание неизвестного спутника высилось перед нею. И она умоляюще ему зашептала:

– «Мне бы извозчика».

Длинное очертание неизвестного спутника с белольняной бородкой, опустивши на масочку порыжевший картузик, рукой помахало в туман:

– «Извозчик!»

Софья Петровна Лихутина теперь все поняла: у печально-го очертания был прекрасный и ласковый голос —

– голос, слышанный ею многое множество раз, слышанный так недавно, сегодня: да, сегодня во сне; а она и забыла, как забыла она и вовсе сон прошлой ночи — ...

У него был прекрасный и ласковый голос, но... — сомнения не было: у него был голос не Сергея Сергеевича. А она вот надеялась, а она вот хотела, чтобы этот (хотела она) пре-

красный и ласковый, но чужой человек был ее муж. Но муж за ней не приехал, не увел из ада: увел из ада чужой.

Кто бы мог это быть?

Неизвестное очертание возвышало голос не раз: голос креп, креп и креп, и казалось, что под маскою кто-то крепнет, безмерно-огромный. Молчание лишь кидалось на голос; за чужими воротами лаем отвечивал пес. Улица убегала туда.

– «Ну, да кто ж вы?»

– «Вы все отрекаетесь от меня: я за всеми вами хожу. Отрекаетесь, а потом призываете...»

Софья Петровна Лихутина тут на миг поняла, что такое пред ней: слезы сжали ей горло; она хотела припасть к этим тонким ногам и руками своими обвиться вокруг тонких колен неизвестного, но в это мгновение прозаически загремела пролетка и сутулый, заспанный Ванька вдвинулся в светлый свет фонаря. Дивное очертание ее усадило в пролетку, но когда она умоляюще протянула ему из пролетки свои дрожащие руки, очертание медленно приложило палец к устам и велело молчать. А пролетка уж тронулась: если б остановилась и, о, если бы, повернула назад – повернула в светлое место, где мгновение перед тем стоял печальный и длинный и где его не было, потому что оттуда на плиты всего лишь поблескивал желтый глаз фонаря.

## Позабыла, что было

Софья Петровна Лихутина позабыла, что было. Будущее ее упало в черноватую ночь. Непоправимое напоздало; непоправимое обнимало ее; и туда отошли: дом, квартирка и муж. И она не знала, куда ее увозит извозчик. В черновато-серую ночь позади нее отвалился кусок недавнего прошлого: маскарад, арлекины; и даже (представьте себе!) – даже печальный и длинный. Она не знала, откуда ее вывозит извозчик.

За куском недавнего прошлого отвалился и весь сегоднешний день: передряга с мужем и передряги с мадам Фарнуа за «Maison Tricotons». Едва она передвинулась далее, ища опоры сознанию, едва она хотела вызвать впечатления вчерашнего дня, – и вчерашний день опять отвалился, как кусок громадной дороги, мощеной гранитом; отвалился и грянул о некое совершенно темное дно. И раздался где-то удар, раздробляющий камни.

Перед ней мелькнула любовь этого несчастного лета; и любовь несчастного лета, как все, отвалилась от памяти; и опять раздался удар, раздробляющий камни. Промелькнувши, упали: весенние разговоры ее с Nicolas Аbbleуховым; промелькнувши, упали: годы замужества, свадьба: некая пустота отрывала, глотая, кусок за куском. И неслись удары металла, дробящие камень. Вся жизнь промелькнула, и упала вся жизнь, будто не было еще никогда ее жизни и будто сама

она – нерожденная в жизнь душа. Некая пустота начиналась у нее непосредственно за спиною (потому что все провалилось там, ударившись в некое дно); пустота продолжалась в века, а в веках слышался лишь удар за ударом: то, слетая в некое дно, упали куски ее жизней. Точно некий металлический конь, звонко цокая в камень, у нее за спиной порастапывал отлетевшее; точно там за спиною, звонко цокая в камень, погнался за нею металлический всадник.

И когда она обернулась, ей представилось зрелище: абрис Мощного Всадника... Там – две конских ноздри проницали, пылая, туман раскаленным столбом.

То ее настигала медновенчанная Смерть.

Тут Софья Петровна очнулась: обгоняя пролетку, пролетел вестовой, держа факел в туман. Проблистала на миг его тяжелая медная каска; а за ним, гроыхая, пылая, разлетелась в туман и пожарная часть.

– «Что это там, пожар?» – обратилась Софья Петровна к извозчику.

– «Да как будто пожар: сказывали – горят острова...»

Это ей доложил из тумана извозчик: пролетка стояла у ее подъезда на Мойке.

Софья Петровна все вспомнила: все выплыло перед ней с ужасающим прозаизмом; точно не было этого ада, этих пляшущих масок и Всадника. Маски теперь показались ей неизвестными шутниками, вероятно, знакомыми, посещавшими и их дом; а печальный и длинный, – тот, наверное, был кем-

нибудь из *товарищей* (вот спасибо ему, проводил до извозчика). Только Софья Петровна с досадою прикусила теперь свою полную губку: как могла она ошибиться и спутать знакомого с мужем? И нашептывать ему в уши признания о какой-то там совершенно вздорной вине? Ведь, теперь незнакомый знакомец (спасибо ему, проводил до извозчика) будет всем рассказывать совершенную ерунду, будто она мужа боится. И пойдет гулять по городу сплетня... Ах, уж этот Сергей Сергеич Лихутин: вы сейчас заплатите мне за ненужный позор!

С негодованием ножкою она ударила в подъездную дверь; с негодованием бухнула подъездная дверь за ее склоненной головкой. Тьма объяла ее, невыразимое на мгновение ее охватило (так бывает, наверное, в первый миг после смерти); но о смерти Софья Петровна Лихутина не помышляла нисколько: наоборот – помышляла она о таком все простом. Помышляла она, как она велит сейчас Маврушке поставить ей самоварчик; пока ставится самовар, будет она пилить и отчитывать мужа (она могла, не смолкая, пилить более четырех, ведь, часов); а когда Маврушка ей подаст самовар, то с мужем они помирятся.

Софья Петровна Лихутина теперь позвонила. Громкий звонок оповестил ночную квартиру о ее возвращении. Вот сейчас ей послышится близ передней торопливый шаг Маврушки. Торопливого шага не слышалось. Софья Петровна обиделась и позвонила опять.

Маврушка, видно, спала: стоит только ей уехать из дому, эта дура падает на постель... Но хорош же и муж ее, Сергей Сергеич: он, конечно, ее с нетерпением поджидает и не час, и не два; и, конечно, он расслышал звонок, и, конечно, он понял, что прислуга заснула. И – ни с места! А! Скажите, пожалуйста! Обижается!

Ну, так быть же ему без примиренья и чая!..

Софья Петровна принялась звонить у двери: дребезжали ее звонки – звонок за звонком... Никого, ничего! И она припала головкою к самой скважине двери; и когда она припала головкою к самой скважине двери, то за скважиной двери, от уха ее в расстоянии вершка, явственно так послышались: прерывистое сопение и чирканье спички. Господи Иисусе Христе, кто же мог там сопеть? И Софья Петровна с изумлением отступила от двери, протянувши головку.

Маврушка? Нет, не Маврушка... Сергей Сергеич Лихутин? Да, он. Почему же он там молчит, не отворяет, приложил к дверной скважине голову и прерывисто дышет?

В предчувствии чего-то недоброго Софья Петровна заколотилась отчаянно в дверной колкий войлок. В предчувствии чего-то недоброго Софья Петровна воскликнула:

– «Отворите же!»

А за дверью продолжали стоять, молчать и сопеть так испуганно, так ужасно прерывисто.

– «Сергей Сергеич! Ну, полно...»

Молчание.

– «Это – вы? Что там с вами?»

Ту-ту-ту – отступило от двери.

– «Что же это такое? Господи: я боюсь, я боюсь... Отворите, голубчик!»

Что-то громко завыло за дверью и со всех ног побежало в дальние комнаты, там возилось сперва, после двигало стульями; ей казалось, в гостиной там громко дзынкнула лампа; прогремел откуда-то издали отодвигаемый стол. Все на минуту притихло.

И потом раздался ужасающий грохот, будто упал потолок и будто бы осыпалась сверху известка; в этом грохоте Софью Петровну Лихутину поразил один только звук: глухое падение откуда-то сверху тяжелого человеческого тела.

## Тревога

Аполлон Аполлонович Аблеухов, говоря тривиально, не переваривал никаких выездов из дому; всякий осмысленный выезд был для него выездом в Учреждение или с докладом к министру. Так шутливо ему однажды заметил управляющий министерством юстиции.

Аполлон Аполлонович Аблеухов, говоря откровенно, не переваривал непосредственных разговоров, сопряженных с взглядом друг другу в глаза: разговор посредством телефонного провода устранял неудобство. От стола Аполлона Аполлоновича телефонные провода бежали во все депар-

таменты. Аполлон Аполлонович прислушивался с удовольствием к гудению телефона.

Только раз какой-то шутник на вопрос Аполлона Аполлоновича, из какого он ведомства, со всего размаху ударил ладонью по отверстию телефона, отчего Аполлон Аполлонович имел впечатление, будто он получил удар по щеке.

Всякий словесный обмен, по мнению Аполлона Аполлоновича, имел явную и прямую, как линия, цель. Все же прочее относилось им к чаепитию и куренью окурков: Аполлон Аполлонович всякую папиросу называл неуклонно окурком; и он полагал, что русские люди – ничемные чаепийцы, пьяницы и потребители никотина (на продукты последнего он не раз предлагал повысить налог); оттого-то к сорокапятилетнему возрасту русского человека, по мнению Аполлона Аполлоновича, с головой выдавал неприличный живот и кровавого цвета нос; Аполлон Аполлонович кидался, как бык, на все красное (между прочим, кидался на нос).

Сам Аполлон Аполлонович был обладатель мертвенно-серого носика и тоненькой талии – вы сказали бы талии шестнадцатилетней девчонки – и этим гордился.

С своеобразною ловкостью тем не менее Аполлон Аполлонович объяснял себе посещение гостей: журфиксы были для большинства местом для совместного чаепития и куренья окурков, если только выезжатель не собирался пристроиться к бездельному ведомству и для этого заискивал в посещаемом доме, если только не желал он пристроить к этому

ведомству сына, или этого сына женить на дочери чиновника ведомства; было одно такое бездельное ведомство. С этим ведомством Аполлон Аполлонович упорно боролся.

Аполлон Аполлонович поехал к Цукатовым с единственной целью: нанести удар ведомству. Ведомство стало что-то кокетничать с одной несомненно умеренной партией, подозрительной не своим отрицаньем порядка, а желанием тот порядок чуть-чуть изменить. Аполлон Аполлонович презирал компромиссы, презирал представителей партии и, что главное, ведомство. Представителю ведомства, равно как и представителю партии, он хотел показать, каково будет ближайшее его поведение по отношению к ведомству на высоком и только что ему предложенном посту.

Вот почему Аполлон Аполлонович с неудовольствием считал себя обязанным просидеть у Цукатовых, имея под носом неприятнейший объект созерцанья: конвульсии танцующих ног и кроваво-красные неприятно шуршащие складки арлекинских нарядов; эти красные тряпки он видел когда-то: да, на площади перед Казанским собором; там эти красные тряпки именовались знаменами.

Эти красные тряпки теперь, на простой вечеринке и в присутствии главы того самого Учреждения показались ему неуместною, недостойною и прямо позорною шуткой; а конвульсии танцующих ног вызвали в его представлении одну печальную (неизбежную, впрочем) меру для предотвращения государственных преступлений.

Аполлон Аполлонович неприязненно покосился на гостеприимных хозяев и стал неприятен.

Пляски красных паяцев для него обернулись в иные, кровавые пляски; пляски эти, как, впрочем, и все, начинались на улице; пляски эти, как все, далее продолжались под перекладной двух небезызвестных столбов. Аполлон Аполлонович думал: допусти только здесь эти с виду невинные пляски, уж, конечно, продолжатся эти пляски на улице; и окончатся пляски, конечно, – там, там.

Аполлон Аполлонович, впрочем, сам плясал в юности: польку-мазурку – наверное и, быть может, лансье.

Одно обстоятельство усугубило печальное настроение высокосановой особы: какое-то вздорное домино было ему неприятно до крайности, вызвавши у него тяжелой формы припадок грудной ангины (был ли то еще припадок ангины, – Аполлон Аполлонович сомневался; и странно: что такое ангина, знают решительно все, кому приходилось вращать хоть немного колеса столь внушительных механизмов, как, например, Учреждение). Так вот: вздорное домино, шут гороховый, с ним нахальнейшим образом встретилось при его появлении в зале; при его вхождении в залу вздорное домино (шут гороховый) с ужимками подбежало к нему.

Аполлон Аполлонович тщетно пытался припомнить, где он видел ужимки: и припомнить не мог.

С откровенною скукою, с едва перемогаемым отвращением Аполлон Аполлонович восседал, будто палка, прямой, с

крохотной фарфоровой чашечкой в миниатюрнейших ручках; перпендикулярно в бухарский пестрый ковер оперлись его тощие ножки с поджарыми икрами, образуя нижние части, которые с верхними составляли под коленными чашками прямые, девяностоградусные углы; перпендикулярно к груди протянулись к фарфоровой чашечке чая его тонкие руки. Аполлон Аполлонович Аблеухов, особа первого класса, казалась написанной на ковре фигуркою египтянина – угловатой, плечистой, презирающей все правила анатомии (у Аполлона Аполлоновича, ведь, не было мускулов: Аполлон Аполлонович состоял из костей, сухожилий и жил).

Вот с такою же точно вмененной в обычай им угловатостью Аполлон Аполлонович, египтянин, излагал мудрейшую систему запретов притекшему на этот вечер профессору статистических данных – лидеру новообразованной партии, партии *умеренной* государственной измены, но *все же измены*; и с такою же точно вмененной им в обычай сухой угловатостью излагал докторально систему мудрейших советов редактору консервативной газеты из либеральных поповичей.

С обоими Аполлону Аполлоновичу, особе первого класса, было нечего делать: у обоих были и толстые, так сказать, животы (от невоздержания в отношении чая); оба были, кстати сказать, красноносы (от неумеренного потребления алкогольных напитков). Один был вдобавок попович, а поповичей Аполлон Аполлонович Аблеухов имел понятную и к

тому же от предков им унаследованную слабость: не выносить. Когда Аполлон Аполлонович разговаривал по служебному долгу с сельскими, городскими и консисториальными попами, поповскими сыновьями и внуками, то он слышал так явственно дурной запах от ног; у сельских попов, у попов городских... даже консисториальных с их сынами и внуками, ведь, так явственно выступала черная, неумытая шея и желтые ногти.

Вдруг Аполлон Аполлонович окончательно завертелся между двумя пузатыми сюртуками, принадлежащими попovichу и умеренному государственному изменнику, как будто его обоняние различило так явственно дурной запах от ног; но такое волнение именитого мужа происходило вовсе не от раздражения обонятельных центров; такое волнение произошло от внезапного потрясения чувствительной ушной перепонки: в это время тапер опять упал пальцами на рояль, а всякие звуковые созвучия и всякие прохождения мелодии сквозь сеть гармонических диссонансов слуховой аппарат Аполлона Аполлоновича воспринимал, как бесцельные скрежетания по стеклу, по крайней мере, десятка ногтей.

Аполлон Аполлонович Аблеухов повернулся всем корпусом; и – там, там, он увидел конвульсии уродливых ног, принадлежащих компании государственных преступников: виноват: танцующей молодежи; среди этих дьявольских танцев внимание его поразило то же все домино, развернувшее в

танце кровавый атлас.

Аполлон Аполлонович тщетно пытался припомнить, где видел он все эти жесты. И припомнить не мог.

А когда к нему почтительно подлетел сладенький и на вид паршивенький господинчик, то Аполлон Аполлонович оживился до крайности, вычертив рукой приветственный треугольник в пространстве.

Дело в том, что паршивенький господинчик, презираемый всеми, был одной, так сказать, необходимой фигурой: ну, само собой разумеется, – фигурой переходного времени, существование которой Аполлон Аполлонович в принципе отрицал, существование которой в пределах законности было, конечно, плачевно, но... что поделаете? необходимо, удобно и... во всяком случае раз фигура – существовала, то с ней приходилось мириться. В паршивеньком господинчике, если принять во внимание затруднительность его положения, было то хорошо, что паршивенький господинчик, зная цену себе, не заносился нисколько; не рядился шумихою праздно пущенных фраз, как вот этот профессор; не стучал неприличнейшим образом по столу кулаком, как вот этот редактор. Сладенький господинчик, так себе, молчаливо обслуживал разнообразные ведомства, состоя в одном ведомстве. Аполлон Аполлонович поневоле ценил господинчика, ибо он на равной ноге с чиновниками или просто людьми общества не пытался стоять – словом, был паршивенький господинчик откровенным лакеем. Что ж такое? С лакеями Апол-

лон Аполлонович был отменно учтив: прослужив в аблеуховском доме, ни один лакей не имел еще повода к жалобам.

И Аполлон Аполлонович с подчеркнутой вежливостью погрузился с фигуркою в обстоятельный разговор.

То, что вынес он из этого разговора, его поразило, как громом: кровавое, неприятное домино, шут гороховый, о котором подумал он только что, по словам подсевшего господинчика, оказалось... Нет, нет (Аполлон Аполлонович сделал гримасу, будто он увидел, как режут лимон и как режущий ножик окисляется в соке) – нет, нет: домино оказалось *родным* его сыном!..

Подлинно, уж *родной* ли ему его сын? Его родной сын может, ведь, оказаться просто-напросто сыном Анны Петровны, благодаря случайному, так сказать, преобладанию в жилах матерней крови; а в матерней крови – в крови Анны Петровны – оказалась же по точнейшим образом наведенным справочкам... поповская кровь (эти справочки Аполлон Аполлонович навел после бегства супруги)! Вероятно, поповская кровь *изгадила* незапятнанный аблеуховский род, подарив именитого мужа просто *гаденьким* сыном. Только *гаденький* сын – *настоящий* *ублюдок* – мог проделывать *подобные предприятия* (в аблеуховском роде со времен переселения в Россию киргизкайсака, Аб-Лая, – со времен Анны Иоанновны – ничего подобного не было).

Всего более поразило сенатора то обстоятельство, что гад-

кое, так скакавшее домино (Николай Аполлонович) имело, как докладывал господинчик, и гадкое прошлое, что об этих гадких повадках писала жидовская пресса; тут Аполлон Аполлонович решительным образом пожалел, что все эти дни не удосужился он пробежать *«Дневника происшествий»*, в одном ни с чем не сравнимом месте он имел только время, чтоб ознакомиться с передовицами, принадлежащими перу умеренных государственных преступников (передовицы же преступников неумеренных Аполлон Аполлонович не читал).

Аполлон Аполлонович переменял положение тела: быстро он встал и хотел пробежать в соседнюю комнату для розыска домино, но оттуда, из комнаты, быстро-быстро к нему подлетел бритенький гимназистик, затянутый в сюртучную пару; и ему рассеянно Аполлон Аполлонович чуть не подал руки; бритенький гимназистик при ближайшем осмотре оказался сенатором Аблеуховым: с разбегу Аполлон Аполлонович чуть не кинулся в зеркало, спутавши расположение комнат.

Аполлон Аполлонович переменял положение тела, повернув спину зеркалу; и – там, там: в комнате, промежуточной меж гостиной и залой, Аполлон Аполлонович вновь увидел подлое домино (ублюдка), погруженное в чтение какой-то (вероятно, подлой) записки (вероятно, порнографического содержания). И Аполлон Аполлонович не имел достаточно мужества, чтоб уличить сына.

Аполлон Аполлонович не раз менял положение совокупности сухожилий, кожи, костей, именуемых телом, и казался маленьким египтянином. С неумеренной нервностью потирал свои ручки, подходил многократно к карточным столикам, обнаружив внезапно чрезвычайную вежливость, чрезвычайное любопытство относительно весьма многообразных предметов: у статистика Аполлон Аполлонович осведомлялся некстати об ухабах Ухтомской волости Платогорской губернии; у земского ж деятеля Платогорской губернии он осведомился о потреблении перца на острове Ньюфаундленде. Профессор статистики, тронутый вниманием именитого мужа, но не сведущий вовсе в ухабном вопросе Платогорской губернии, обещал прислать особе первого класса одно солидное руководство о географических особенностях всей планеты Земли. Земский же деятель, неосведомленный в вопросе о перце, лицемерно заметил, будто перец потребляется ньюфаундлендцами в огромном количестве, что есть факт постоянный для всех конституционных стран.

Скоро до слуха Аполлона Аполлоновича докатились какие-то конфузливо возникшие шепоты, шелестение и кривые смешки; Аполлон Аполлонович явно заметил, что конвульсия танцующих ног прекратилась внезапно: на одно мгновение успокоился его взволнованный дух. Но потом опять заработала голова его с ужасающей ясностью; роковое предчувствие всех этих беспокойно текущих часов подтвердилось: сын его, Николай Аполлонович, ужаснейший него-

дядя, потому что только ужаснейший негодяй мог вести себя таким отвратительным образом: в продолжение нескольких дней надевать красное домино, в продолжение нескольких дней подвязывать маску, в продолжение нескольких дней волновать жидовскую прессу.

Аполлон Аполлонович сообразил с решительной ясностью, что пока плясали там в зале – офицеры, барышни, дамы с абитуриентами учебно-воспитательных заведений, его сын, Николай Аполлонович, доплясался до... Но Аполлон Аполлонович так и не мог привести к отчетливой ясности мысль, *до чего именно* доплясался Николай Аполлонович: Николай Аполлонович все же был его сыном, а не просто, так себе... – особой мужского пола, прижитой Анной Петровною, может быть, черт знает – где; у Николая Аполлоновича были, ведь, уши всех Аблеуховых – уши невероятных размеров, и притом оттопыренные.

Эта мысль об ушах чуть смягчила гнев Аполлона Аполлоновича: Аполлон Аполлонович отложил намеренье выгнать сына из дома, не наведя точнейшего следствия о причинах, заставивших сына носить домино. Но во всяком случае Аполлон Аполлонович теперь лишился поста, от поста он должен был отказаться; он не мог принять поста, не отмывши позорных, честь дома порочащих пятен в поведении сына (как-никак – Аблеухова).

С этою плачевною мыслью и с кривыми устами (будто он высосал бледно-желтый лимон) Аполлон Аполлонович по-

дал всем палец и стремительно побежал из гостиной в сопровождении хозяев. И когда, пролетая по залу, в совершеннейшем ужасе озирался он по направлению стен, находя пространство освещенного зала чрезмерно огромным, то он явно видел: кучечка седобровых матрон расшепталась язвительно.

До слуха Аполлона Аполлоновича долетело одно только слово:

– «Цыпленок».

Аполлон Аполлонович ненавидел вид безголовых, оципаных цыплят, продаваемых в лавках.

Как бы то ни было, Аполлон Аполлонович пробежал стремительно зал. В совершенной наивности он, ведь, не ведал, что в шепчущем зале нет уже ни единой души, для которой осталось бы тайной, кто такое красное, здесь недавно плясавшее домино: Аполлону Аполлоновичу так-таки не сказали ни слова о том обстоятельстве, что сын его, Николай Аполлонович, за четверть часа перед тем бросился в неприличное бегство вдоль зала, где теперь с такою явной поспешностью пробегал и он сам.

## Письмо

Николай Аполлонович, пораженный письмом, пробежал за четверть часа до сенатора мимо веселого контреданса. Как он вышел из дома, он совершенно не помнил. Он очнулся в

полной прострации перед подъездом Цукатовых; продолжал там стоять в сплошном темном сне, в сплошной темной слякоти, машинально считая количество стоявших карет, машинально следя за движением кого-то печального, длинно-го, распорядившегося порядком: это был околоточный надзиратель.

Вдруг прошелся печальный и длинный мимо носа Николая Аполлоновича: Николая Аполлоновича вдруг обжег синий взор; околоточный надзиратель, разгневанный на студента в шинели, тряхнул белольняной бородкою: поглядел и прошел.

Совершенно естественно тронулся с места и Николай Аполлонович в сплошном темном сне, в сплошной темной слякоти, сквозь которую поглядело упорно рыжее пятно фонаря: из тумана в пятно сверху мертвенно пала кариатида подъезда над острием фонаря, да в пятне выступал кусочек соседнего домика; домик был черный, одноэтажный, с полукруглыми окнами и с резьбой деревянных мелких скульптур.

Но едва Николай Аполлонович тронулся, как он равнодушно заметил, что ноги его совершенно отсутствуют: бестолково захлюпали в луже какие-то мягкие части; тщетно он пытался с теми частями управиться: мягкие части не повиновались ему; с виду они имели всю видимость очертания ног, но ног он не слышал (ног не было). Николай Аполлонович опустил невольно на приступочке черного домика; просидел так с минуту, запахнувшись в шинель.

Это было естественно в его положении (все его поведение было совершенно естественно); так же естественно распахнул он шинель, обнаруживши красное пятно своего домино; так же естественно закопался в карманах, вытащил мятый конвертик, перечитывал снова и снова содержание записки, стараясь в ней отыскать след простой шутки или след издевательства. Но следов того и другого не мог отыскать он...

«Помня ваше летнее предложение, мы спешим вас, товарищ, уведомить, что очередь ныне за вами; и вот вам немедленно поручается приступить к совершению дела над...» далее Николай Аполлонович не мог прочитать, потому что там стояло имя отца – и далее: «Нужный вам материал в виде бомбы с часовым механизмом своевременно передан в узелке. Торопитесь: время не терпит; желательно, чтобы все предприятие было исполнено в ближайшие дни»... Далее – следовал лозунг: Николаю Аполлоновичу в одинаковой степени были знакомы и лозунг, и почерк. Это писал – Неизвестный: неоднократно он получал записки от того Неизвестного.

Сомнения не было никакого.

У Николая Аполлоновича повисли руки и ноги; нижняя губа Николая Аполлоновича отвалилась от верхней.

С самого рокового момента, как какая-то дама подала ему смятый конвертик, Николай Аполлонович все старался как-нибудь уцепиться за простые случайности, за посторонние совершенно праздные мысли, что как стаи выстрелом спуг-

нутых оголтелых ворон снимаются с суковатого дерева и начинают кружиться – туда и сюда, туда и сюда, до нового выстрела; как кружились в его голове совершенно праздные мысли, например: о количестве книжек, вмещаемых полкою его книжного шкафа, об узорах оборки, которой обшита нижняя юбочка какой-то им любимой прежде особы, когда эта особа кокетливо выходила из комнаты, приподняв чуть-чуть юбочку (что особа эта – Софья Петровна Лихутина, и не вспомнилось как-то).

Николай Аполлонович все старался не думать, старался не понимать: думать, *понять* – разве есть понимание *этого*; *это* – *пришло, раздавило, ревело*; если ж подумать – прямо бросишься в прорубь... Что тут подумаешь? Думать нечего тут... потому что *это ... это ... Ну, как это?..*

Нет, никто тут не в силах подумать.

В первую минуту по прочтении записки в душе его что-то жалобно промычало: промычало так жалобно, как мычит кроткий вол под ножом быкобойца; в первую минуту отыскал он взором отца; и отец показался ему просто так себе, так себе: показался маленьким, стареньким – показался бесперым куренком; ему стало тошно от ужаса; в душе его опять что-то жалобно промычало: так покорно и жалобно.

Тут он бросился вон.

А теперь Николай Аполлонович все старался цепляться за внешности: вон – кариатида подъезда; ничего себе: кариатида... И – нет, нет! Не такая кариатида – ничего подобного

он никогда не видал; виснет над пламенем. А вон – домик: ничего себе – черный домик.

Нет, нет, нет!

Домик неспроста, как неспроста и все: все сместилось в нем, сорвалось, сам с себя он сорвался; и откуда-то (неизвестно откуда), где он не был еще никогда, он глядит!

Вот и ноги – ничего себе ноги... Нет, нет! Не ноги – совершенно мягкие незнакомые части тут празднично болтаются.

Но попытка Николая Аполлоновича уцепиться за посторонние мысли и мелочи как-то сразу оборвалась, когда подъезд того высокого дома, где только что он безумствовал, стал шумно распахиваться и оттуда повалила кучка за кучкой; тронулись там в тумане кареты, тронулись по бокам огни фонарей. Николай Аполлонович с усилием тронулся с приступочки черного домика, Николай Аполлонович завернул в пустой закоулок.

Закоулок был пуст, как и все: как там вверху пространства; так же пуст, как пуста человеческая душа. На минуту Николай Аполлонович попытался вспомнить о трансцендентальных предметах, о том, что события этого брэнного мира не посягают нисколько на бессмертие его центра и что даже мыслящий мозг лишь феномен сознания; что поскольку он, Николай Аполлонович, действует в этом мире, он – не он; и он – брэнная оболочка; его подлинный дух-созерцатель все так же способен осветить ему его путь: осветить ему его путь даже с *этим*; осветить даже... *это* ... Но кругом встало э т о:

встало заборами; а у ног он заметил: какую-то подворотню и лужу.

И ничто не светило.

Сознание Николая Аполлоновича тщетно тщилося светить; оно не светило; как была ужасная темнота, так темнота и осталась. Испуганно озираясь, как-то жалко дополз он до пятна фонаря; под пятном лепетала струя тротуара, на пятне пронеслась апельсинная корочка. Николай Аполлонович опять принялся за записочку. Стаи мыслей слетели от центра сознания, будто стаи оголтелых, бурей спугнутых птиц, но и центра сознания не было: мрачная там прозяла дыра, пред которой стоял растерянный Николай Аполлонович, как пред мрачным колодцем. Где и когда он стоял подобным же образом? Николай Аполлонович силился вспомнить; и вспомнить не мог. И опять принялся за записочку; стаи мыслей, как птицы, низверглись стремительно в ту пустую дыру; и теперь копошились там какие-то дряблые мыслишки.

«Помня ваше летнее предложение», перечитывал Николай Аполлонович и старался к чему-то придраться. И придраться не мог.

«Помня ваше летнее предложение»... Предложение действительно было, но о нем он забыл: он однажды как-то и вспомнил, да потом нахлынули эти события только что миновавшего прошлого, нахлынуло домино; Николай Аполлонович с изумлением окинул недавнее прошлое и нашел его просто неинтересным; там была какая-то дама с хорошень-

ким личиком; впрочем, так себе, – дама, дама и дама!..

Стаи мыслей вторично слетели от центра сознания; но центра сознания не было; пред глазами была подворотня, а в душе – пустая дыра; над пустою дырой задумался Николай Аполлонович. Где и когда он стоял подобным же образом? Николай Аполлонович силился вспомнить; и – вспомнил: он подобным же образом стоял в сквозняках приневского ветра, перегнувшись через перила моста, и глядел в зараженную бактериями воду (ведь, все и пошло с этой ночи: ужасное предложение, домино и вот...). Вот: Николай Аполлонович стоял, согнувшись так низко, продолжая читать записку ужасного содержания (все это – было когда-то: было множество раз).

«Мы спешим вас уведомить, что очередь ныне за вами», читал Николай Аполлонович. И обернулся: за спиною его раздавались шаги; какая-то непокойная тень двусмысленно замаячила в сквозняках закоулка. Николай Аполлонович за своими плечами увидел: котелок, трость, пальто, бороденку и нос.

Николай Аполлонович пошел навстречу прохожему, выжидательно вглядываясь; и увидел котелок, трость, пальто, бороденку и нос; все то проходило, не обратило никакого внимания (только слышался шаг да билось разрывчато сердце); на *все то* Николай Аполлонович обернулся и глядел за собой в грязноватый туман – туда, куда стремительно проходили: котелок, трость и уши; долго еще он стоял изогнув-

шись (и все то – было когда-то), раскрывая рот неприятнейшим образом и во всяком случае представляя собою довольно смешную фигуру безрукого (он был в николаевке) с так нелепо плясавшим по ветру шинельным крылом... Разве можно было с его близорукостью рассмотреть что бы то ни было, кроме края забора?

И вернулся он к чтению.

«Нужный вам материал в виде бомбы с часовым механизмом своевременно передан в узелке...» Николай Аполлонович к этой фразе придрался: нет, не передан, нет, не передан! И придравшись, он ощутил нечто вроде надежды, что все это – шутка... Бомба?.. Бомбы нет у него?! Да, да – нет!!

.....

В узелке?!

.....

Тут припомнилось все: разговор, узелок, подозрительный посетитель, сентябрьский денек, и все прочее. Николай Аполлонович явственно вспомнил, как он взял узелочек, как его засунул он в столик (узелочек был мокрый).

Тут только Николай Аполлонович впервые сумел осознать весь ужас своего положения. Как же так, как же так? И впервые его охватил невыразимый испуг: он почувствовал острое колотье в сердце: край подворотни пред ним завертелся; тьма объяла его, как только что его обнимала; его «я» оказалось лишь черным вместилищем, если только оно не было тесным чуланом, погруженным в абсолютную тем-

ноту; и тут, в темноте, в месте сердца, вспыхнула искорка... искорка с бешеной быстротой превратилась в багровый шар: шар – ширился, ширился, ширился; и шар лопнул: лопнуло все... Николай Аполлонович очнулся: непокойная тень оказалась вторично поблизости: котелок, трость и уши; то какой-то паршивенький господинчик с бородавкой у носа (позвольте: как будто он только что господинчика видел; как будто он видел господинчика на балу; как будто бы господинчик в гостиной там стоял перед *тем, стареньким*, потирая ручонками) – паршивенький господинчик с бородавкой у носа остановился в двух шагах от него перед старым забором – за естественною нуждою; но, став перед старым забором, он лицо повернул к Аблеухову, щелкнул как-то губами и чуть-чуть усмехнулся.

– «Верно с бала?»

– «Да, с бала...»

Николай Аполлонович был застигнут врасплох; да и что ж тут такого: быть на балу еще не есть преступление.

– «Я уж знаю...»

– «Вот как? Почему же вы знаете?»

– «Да у вас под шинелью виднеется, как бы это сказать: ну – кусок домино».

– «Ну да, домино...»

– «И вчера он виднелся...»

– «То есть, как вчера?»

– «У Зимней Канавки...»

– «Милостивый государь, вы забываетесь...»

– «Ну, полноте: вы и есть домино».

– «То есть, какое такое?»

– «Да – *то самое*».

– «Не понимаю вас: и во всяком случае странно подходить к неизвестному вам человеку...»

– «И вовсе не к неизвестному: вы Николай Аполлонович Аблеухов: и еще вы – *Красное Домино*, о котором пишут в газетах...»

Николай Аполлонович был бледней полотна:

– «Послушайте», – протянул он руку к сладкому господинчику, – «послушайте...»

Но господинчик не унимался:

– «Я и батюшку вашего знаю, Аполлона Аполлоновича: только что имел честь с ним беседовать».

– «О, поверьте мне», – заволновался Николай Аполлонович, – «это все какие-то поганые слухи...»

Но окончив естественную нужду, господинчик медленно отошел от забора, застегнул пальтецо, фамильярно засунул в карман свою руку и значительно подмигнул:

– «Вам куда?»

– «На Васильевский Остров», – брякнул Николай Аполлонович.

– «И мне на Васильевский: вот – попутчики».

– «То есть мне – на набережную...»

.....

– «Видно вы сами не знаете, куда следует вам», – усмехнулся паршивенький господинчик, – «и по этому случаю – забежим в ресторанчик».

Закоулок бежал в закоулок: закоулки вывели к улице. По улице пробегали обыденные обыватели в виде черненьких, беспокойных теней.

## Попутчик

Аполлон Аполлонович Аблеухов, в сером пальто и в высоком черном цилиндре, с лицом, напоминающим серую, чуть подернутую зеленью замшу, как-то испуганно выскочил в открытую подъездную дверь, дробным шагом сбежал с подъездных ступенек, оказавшись вдруг на промокшем и скользком крыльце, затуманенном сыростью.

Кто-то выкрикнул его имя и на этот почтительный выкрик черное очертанье кареты из рыжеющей мглы вдвинулось в круг фонаря, подставляя свой герб: единорога, прободающего рыцаря; только что Аполлон Аполлонович Аблеухов, согнувши углом свою ногу, чтобы ею опереться о подножку кареты, изобразил в сыроватом тумане египетский силуэт, только что собрался он прыгнуть в карету и улететь вместе с ней в сыроватый туман тот, как подъездная дверь за ним распахнулась; паршивенький господинчик, только что перед тем открывший Аполлону Аполлоновичу правдивую, но прискорбную истину, показался на улице; он, на нос на-

двинувши котелок, затрусил прочь налево.

Аполлон Аполлонович опустил тогда свою углом поднятую ногу, прикоснулся краем перчатки к борту цилиндра и дал сухой приказ оторопевшему кучеру: возвращаться домой без него. После Аполлон Аполлонович совершил невероятный поступок; такого поступка история его жизни не знала лет уж пятнадцать: сам Аполлон Аполлонович, недоуменно моргая и прижав руку к сердцу, дабы умерить отдышку, побежал вдогонку за ускользавшей в тумане спиной господничка; примите же во внимание один существенный факт: нижние оконечности именитого мужа были миниатюрны до крайности; если вы примете во внимание этот существенный факт, вы поймете, конечно, что Аполлон Аполлонович, помогая себе, стал в беге размахивать ручкою.

Сообщаю эту драгоценную черточку в поведении недавно почившей особы первого класса единственно во внимание к многочисленным собирателям материалов его будущей биографии, о которой, кажется, так недавно писали в газетах.

Ну, так вот.

Аполлон Аполлонович Аблеухов совершил два невероятнейших отступления от кодекса своей размеренной жизни; во-первых: не воспользовался услугой кареты (принимая во внимание его пространственную болезнь, это можно назвать действительным подвигом); во-вторых: в буквальнойшем, а не переносном смысле понесся он темною ночью по безлюднейшей улице. А когда с него ветер сбил высокий цилиндр,

когда Аполлон Аполлонович Аблеухов сел на карачки над лужею для извлечения цилиндра, то вдогонку убегающей куда-то спине он надтреснутым голосом закричал:

– «Мм... Послушайте!..»

Но спина не внимала (собственно, не спина – над спиной бегущие уши).

– «Остановитесь же... Павел Павлович!»

Там мелькающая спина остановилась, повернула там голову и, узнавши сенатора, побежала навстречу (не спина побежала навстречу, а ее обладатель – господин с бородавкою). Господин с бородавкою, увидев сенатора на карачках пред лужею, изумился до крайности и принялся вылавливать из лужи плывущий цилиндр.

– «Ваше высокопревосходительство!.. Аполлон Аполлонович! Какими судьбами?.. Вот-с, извольте получить» (с этими словами паршивенький господинчик подал именитому мужу высочайший цилиндр, предварительно вытертый рукавом пальто господинчика).

– «Ваше высокопревосходительство, а ваша карета?..»

Но Аполлон Аполлонович, надевая цилиндр, прервал излияния.

– «Ночной воздух полезен мне...»

Оба они направились в одну сторону: на ходу господинчик старался совпасть в шаг с сенатором, что было воистину невозможно (шажки Аполлона Аполлоновича можно б было рассматривать под стеклом микроскопа).

Аполлон Аполлонович поднял глаза на попутчика: проморгал и сказал – сказал с видимым замешательством.

– «Я... знаешь-тили» (Аполлон Аполлонович и на этот раз ошибся в окончании слова)...

– «Да-с?» – насторожился тут господинчик.

– «Я знаете ли... хотел бы иметь точнейший ваш адрес, Павел Павлович...»

– «Павел Яковлевич!..» – робко поправил попутчик.

– «Виноват, Павел Яковлевич: у меня, знаете ли, плохая память на имена...»

– «Ничего-с, помилуйте: ничего-с».

Паршивенький господинчик подумал лукаво: это он все о сыне... Тоже хочется знать... а спросить-то и стыдно...

– «Ну, вот-с, Павел Яковлевич: так давайте мне адрес».

Аполлон Аполлонович Аблеухов, расстегнувши пальто, достал свою записную книжечку, переплетенную в кожу павшего носорога; оба стали под фонарем.

– «Адрес мой», – завертелся вдруг господинчик, – «переменчивый адрес: чаще всего я бываю на Васильевском Острове. Ну, да вот: восемнадцатая линия, дом 17. У сапожного мастера, Бессмертного. У него я снимаю две комнаты. Участковому писарю Воронкову».

– «Так-с, так-с, так-с, я у вас буду на днях...»

Вдруг Аполлон Аполлонович приподнял надбровные дуги: изумление изобразили его черты:

– «Но почему», – начал он, – «почему...»

– «Моя фамилия Воронков, тогда как я на самом деле Морковин?»

– «Вот именно...»

– «Так, ведь, это, Аполлон Аполлонович, потому, что там я живу по фальшивому паспорту».

На лице Аполлона Аполлоновича изобразилась брезгливость (ведь и он в принципе отрицал существование подобных фигур).

– «А моя настоящая квартира на Невском...»

Аполлон Аполлонович подумал: «Что поделаешь: существование подобных фигур в переходное время и в пределах строгой законности – необходимость печальная; и все же – необходимость».

– «Я, ваше высокопревосходительство, в настоящее время, как видите, занимаюсь все розыском: теперь – чрезвычайно важные времена».

– «Да, вы правы», – согласился и Аполлон Аполлонович.

– «Подготавливается одно преступление государственной важности... Осторожней: здесь – лужица... Преступление это...»

– «Так-с...»

– «Нам удастся в скором времени обнаружить... Вот сухое место-с: позвольте мне руку».

Аполлон Аполлонович переходил огромную площадь: в нем проснулась боязнь таких широких пространств; и невольно он жался теперь к господинчику.

– «Так-с, так-с: очень хорошо-с...»

Аполлон Аполлонович старался бодриться в сем громадном пространстве, и все же терялся; к нему прикоснулась вдруг ледяная рука господина Морковина, взяла за руку, повела мимо луж: и он шел, шел и шел за ледяною рукою, и пространства летели ему навстречу. Аполлон Аполлонович все же понурился: мысль о судьбе, грозившей России, пересилила на мгновение все его личные страхи: страх за сына и страх перейти столь огромную площадь; с уважением Аполлон Аполлонович бросил взгляд на самоотверженного охранителя существующего порядка: господин Морковин все-таки привел его к тротуару.

– «Подготавливается террористический акт?»

– «Он самый-с...»

– «И жертвой его?..»

– «Должен пасть один высокий сановник...»

По спинному хребту Аполлона Аполлоновича побежали мурашки: Аполлон Аполлонович на днях получил угрожающее письмо; в письме извещался он, что в случае принятия им ответственного поста в него бросят бомбу; Аполлон Аполлонович презирал все подметные письма; и письмо разорвал он; пост же принял.

– «Извините, пожалуйста, если это не секрет: в кого ж они теперь метят?»

Тут произошло нечто поистине странное; все предметы вокруг вдруг как будто принизились, просырелись так явствен-

но и казались ближе, чем следует; господин же Морковин как будто принизился тоже, показался ближе, чем следует: показался старинным и каким-то знакомым; усмешечка прошла по его губам, когда он, наклонив к сенатору голову, произнес шепоточком:

– «Как в кого? В вас, ваше высокопревосходительство, в вас!»

Аполлон Аполлонович увидел: вон – кариатида подъезда; ничего себе: кариатида. И – нет, нет! Не такая кариатида – ничего подобного во всю жизнь он не видел: виснет в тумане. Вон – бок дома; ничего себе бок: бок как бок – каменный. И – нет, нет: бок неспроста, как неспроста и все: все сместилось в нем, сорвалось; сам с себя он сорвался и бессмысленно теперь бормотал в полуночную темь:

– «Как же так?.. Нет, позвольте, позвольте...»

Аполлон Аполлонович Аблеухов все никак себе реально представить не мог, что вот эта перчаткою стянутая рука, завертевшая пуговицу у чужого пальто, что вот эти, вот, ноги и это усталое, совершенно усталое (верьте мне!) сердце под влиянием расширения газов внутри какой-то там бомбы во мгновение ока могут вдруг превратиться... в...

– «То есть, как это?»

– «Да никак-с, Аполлон Аполлонович, а очень все просто...»

Чтобы это было так просто, Аполлон Аполлонович поверить не мог: сначала он как-то задорно профыркал в свои

серые бачки (– и бачки!), выпятил губы (губ не будет тогда), а потом и осунулся, голову свою опустил низко-низко и бездумно глядел, как у ног его лепетала грязная тротуарная струечка. Все кругом лепетало мокрыми пятнами, шелестело, шептало: то несся старушечий шепот осеннего времени.

Под фонарем Аполлон Аполлонович стоял, чуть покачивал серо-пепельным своим ликом, раскрывал удивленно глаза, их закатывал, вращая белками (громыхала пролетка, но казалось, что там громыхало что-то страшное, тяжкое: будто удары металла, дробящие жизнь).

Господину Морковину, очевидно, стало весьма даже жаль это старое, перед ним точно в грязь осевшее очертание. Он прибавил:

– «Вы, ваше высокопревосходительство, не пугайтесь, ибо приняты строжайшие меры; и мы не допустим: непосредственной опасности нет ни сегодня, ни завтра... Через неделю же вы будете в курсе... Повремените немного...»

Наблюдая дрожавшее жалобно лицевое пятно, напоминавшее труп, сияющий бледным блеском фонарного пламени, господин Морковин подумал невольно: «Как же он постарел: да он просто развалина...» Но Аполлон Аполлонович с чуть заметным кряхтением повернул к господинчику безбородый свой лик и вдруг улыбнулся печально, отчего под глазами его образовались огромные морщинистые мешки.

Через минуту, однако, Аполлон Аполлонович совершенно

оправился, помолодел, побелел: крепко он тряхнул Морковину руку и пошел, как палка прямой, в грязноватую, осеннюю муть, напоминая профилем мумию фараона Рамзеса Второго.

Ночь чернела, синела и лиловела, переходя в красноватые фонарные пятна, точно в пятна огненной сыпи. Высились подворотни, стены, заборы, дворы и подъезды – и от них исходили всевозможные лепеты и всевозможные вздохи; несогласные многие вздохи в переулке бегущих ветряных сквозняков, где-то там, за домами, стенами, заборами, подворотнями, сочетались во вздохи согласные; а беглые лепеты струечек, где-то там, за домами, стенами, заборами, подворотнями, все сходились в один беглый лепет: становились вздыханьем все лепеты; и все вздохи начинали там лепетать.

У! Как было сыро, как мозгло, как ночь синела и лиловела, переходя болезненно в ярко-красную сыпь фонарей, как из этой синей лиловости под круги фонарей выбегал Аполлон Аполлонович и опять убегал из-под красного круга в лиловость!

## **Полоумный**

Мы оставили Сергея Сергеевича Лихутина в тот роковой момент его жизни, когда белый как смерть, совершенно спокойный, с иронической улыбкой на твердо сжатых устах он стремительно бросился в переднюю комнату (то есть просто

в переднюю) за непослушной женою и потом, щелкнув шпорами, так почтительно стал перед дверью с меховой шубкой в руках; а когда Софья Петровна Лихутина прошуршала задорно мимо носа сердитого подпоручика, то Сергей Сергеевич Лихутин, как видели мы, все с теми же слишком резвыми жестами стал повсюду ходить и повсюду гасить электричество.

Почему же он обнаружил свое необычное состояние духа этим странным поступком? Ну, какая может быть связь между *всей этой пакостью* и горелками? Столь же мало здесь связи и смысла, сколь мало этой связи и этого смысла между угловато-длинной и печальной фигурой подпоручика в темно-зеленом мундире, слишком резвыми жестами и задорной, льняной бородкой помолодевшего лица, будто вырезанного из пахучего кипариса. Никакой связи и не было; разве вот – зеркала: на свету они отражали – угловато-длинного человека с помолодевшим вдруг личиком: угловато-длинное отражение с помолодевшим вдруг личиком, подойдя вплотную к зеркальной поверхности, ухватило себя за белую тонкую шею – ай, ай, ай! Никакой вот связи и не было между светом и жестами.

«Щелк-щелк-щелк», – тем не менее щелкали выключатели, погружая во тьму угловато-длинного человека с слишком резвыми жестами. Это, может быть, не подпоручик Лихутин?

Нет, войдите в его ужасное положение: отразиться так

пакостно в зеркалах, оттого что какое-то домино нанесло оскорбление его честному дому, оттого что, согласно офицерскому слову, он обязан теперь и жену не пускать к себе на порог. Нет, войдите в его ужасное положение: это все-таки был подпоручик Лихутин – он самый.

«Щелк-щелк-щелк», – выключатель защелкал в соседней уж комнате. Так же он прощелкал и в третьей. Этот звук встревожил и Маврушку; и когда она из кухни прошлепала в комнаты, то ее охватила так густо совершенная темнота.

И она проворчала:

– «Это что же такое?»

Но из тьмы раздался сухой, чуть сдержанный кашель:

– «Уходите отсюда...»

– «Как же так это, барин...»

Кто-то ей из угла просвистел повелительным, негодующим шепотом:

– «Уходите отсюда...»

– «Как же, барин: ведь, за барыней надо прибраться...»

– «Уходите вовсе из комнат».

.....

– «И потом, сами знаете, не стелёны постели...»

.....

– «Вон, вон, вон!..»

.....

И едва она вышла из комнаты в кухню, как к ней в кухню пожаловал барин:

- «Убирайтесь вовсе из дому...»
- «Да как же мне, барин...»
- «Убирайтесь, скорей убирайтесь...»
- «Да куда мне деваться?»
- «Куда знаете сами: чтоб ноги вашей...»
- «Барин!..»
- «Не было здесь до завтра...»
- «Да барин же!!..»
- «Вон, вон, вон...»

Шубу ей в руки, да – в дверь: заплакала Маврушка; испугалась как – ужась: видно, барин-то – не того: ей бы к дворнику да в полицейский участок, а она-то сдуру – к подруге.

Ай, Маврушка...

.....

Как ужасна участь обыденного, совершенно нормального человека: его жизнь разрешается словарем понятливых слов, обиходом чрезвычайно ясных поступков; те поступки влекут его в даль безбережную, как суденышко, оснащенное и словами, и жестами, выразимыми – вполне; если же суденышко то невзначай налетит на подводную скалу житейской невнятности, то суденышко, налетев на скалу, разбивается, и мгновенно тонет простодушный пловец... Господа, при малейшем житейском толчке обыденные люди лишаются разуме-ния; нет, безумцы не ведают стольких опасностей поврежде-ния мозга: их мозги, верно, сотканы из легчайшего эфирно-го вещества. Для простодушного мозга непроницаемо вовсе

то, что эти мозги проникают: простодушному мозгу остается разбиться; и он – разбивается.

Со вчерашнего вечера Сергей Сергеич Лихутин ощущал у себя в голове острейшую мозговую боль, точно он с разбега ударился лбом о железную стену; и пока он стоял перед стеною, он видел, что стена – не стена, что она проницаема и что там, за стеною, есть какой-то невидимый ему свет и какие-то законы бессмыслиц, как вон там, за стенами квартиры, и свет, и движенья извозчиков... Тут Сергей Сергеич Лихутин тяжело промычал и качнул головою, ощущая острейшую мозговую работу, неизвестную ему самому. По стене ползли отсветы: это, верно, какой-нибудь пароходик проносился мимо по Мойке, оставляя на водах светлейшие полосы.

Сергей Сергеич Лихутин помычал еще и еще: еще и еще он мотнул головою: его мысли запутались окончательно, как запуталось все. Начал он свои размышления с анализа поступков своей неверной жены, а кончил он тем, что поймал себя на какой-то бессмысленной дряни: может быть, твердая плоскость непроницаема для него одного, и зеркальные отражения комнат суть подлинно комнаты; и в тех подлинных комнатах живет семья какого-то заезжего офицера; надо будет закрыть зеркала: неудобно исследовать любопытными взглядами поведение замужнего офицера с молодою женою; можно встретить, там всякую дрянь; и на этой дряни Сергей Сергеич Лихутин стал ловить сам себя; и нашел, что сам за-

нимается дрянью, отвлекаясь от существенной, совершенно существенной мысли (хорошо, что Сергей Сергеич Лихутин закрыл электричество; зеркала бы его отвлекали ужасно, а ему сейчас было нужно все усилие воли, чтоб в себе самом отыскать какой-нибудь мысленный ход).

Так вот почему после ухода жены подпоручик Лихутин стал повсюду ходить и повсюду гасить электричество.

Как теперь ему быть? Со вчерашнего вечера *оно* – *началось: приползло, зашипело*: что такое *оно* – почему *оно* началось? Кроме факта переодевания Николая Аполлоновича Аблеухова, прицепиться здесь было решительно не к чему. Голова подпоручика была головой обыденного человека: голова эта служить отказалась в сем деликатном вопросе, а кровь брызнула в голову: хорошо бы теперь на виски да мокрое полотенце; и Сергей Сергеич Лихутин положил себе на виски мокрое полотенце: положил и сорвал. Что-то, во всяком случае, было; и во всяком случае он, Лихутин, вмешался: и, вмешавшись, соединился он с тем; вот – о н о: так стучит, так играет, так бьется, так дергает височные жилы.

Простодушнейший человек, он разбился о стену: а туда, в зазеркальную глубину, он проникнуть не мог: он всего-то лишь вслух, при жене, дал свое офицерское честное слово, что к себе добровольно жену он не пустит обратно, если только эта жена без него поедет на бал.

Как же быть? Как же быть?

Сергей Сергеич Лихутин заволновался и зачиркал вновь

спичкою: протрепетали рыжие светочи; рыжие светочи озарили лицо сумасшедшего; тревожно оно теперь припало к часам: протекло уже два часа с ухода Софьи Петровны; два часа, то есть сто двадцать минут; вычислив количество убежавших минут, Сергей Сергеич принялся высчитывать и секунды:

– «Шестидесятью сто двадцать? Дважды шесть – двенадцать; да один в уме...»

Сергей Сергеич Лихутин схватился за голову:

– «Один в уме; ум – да: ум разбился о зеркало... Надо бы вынести зеркала! Двенадцать, один в уме – да: один кусочек стекла... Нет, одна прожитая секунда...»

Мысли запутались: Сергей Сергеич Лихутин расхаживал в совершеннейшей тьме: ту-ту-ту – раздавался шаг Сергея Сергеича; и Сергей Сергеич продолжал вычислять:

– «Дважды шесть – двенадцать; да один в уме: одинажды шесть – шесть; плюс – единица: отвлеченная единица – не кусочек стекла. Да еще два нуля: итого – семь тысяч двести секундищ».

И восторжествовав над сложнейшею мозговою работою, Сергей Сергеич Лихутин неуместно как-то обнаружил восторг свой. Вдруг он вспомнил: лицо его омрачилось:

– «Семь тысяч двести секундищ, как она убежала: двести тысяч секунд – нет, все кончено!»

По истечении семи тысяч секунд, двести первая, ведь, секунда открывала во времени начало исполнения данного

офицерского слова: семь тысяч двести секунд пережил он, как семь тысяч лет; от создания мира до сей поры протекло немногим, ведь, более. И Сергею Сергеичу показалось, что он от создания мира заключен в этот мрак с острейшею головною болезнью: самопроизвольным мышлением, автономией мозга помимо терзавшейся личности. И Сергей Сергеич Лихутин лихорадочно завозился в углу; на минуту притих; стал креститься; из какого-то ящика спешно выбросил он веревку (подобие змия), размотал, из нее сделал петлю: петля не хотела затягиваться. И Сергей Сергеич Лихутин, отчаявшись, побежал в кабинетик; веревка поволочилась за ним.

Что же делал Сергей Сергеич Лихутин? Сдерживал свое офицерское слово? Нет, помилуйте, – нет. Просто он для чего-то вынул мыло из мыльницы, сел на корточки и мылил веревку перед на пол поставленным тазиком. И едва он намылил веревку, как все его действия приняли прямо-таки фантастический отпечаток; можно было сказать; никогда в своей жизни не проделывал он столь оригинальных вещей.

Посудите же сами!

Для чего-то взобрался на стол (предварительно со стола снял он скатерть); а на стол от полу приподнял венский стулик; взгромоздившись на стул, осторожно снял лампу; бережно ее опустил себе под ноги; вместо же лампы накрепко прикрепил Сергей Сергеич Лихутин к крюку скользкую от мыла веревку; перекрестился и замер; и медленно на руках

своих приподнял над головой свою петлю, имея вид человека, решившего обмотаться змеей.

Но одна блестящая мысль осенила Сергея Сергеича: надо было все-таки выбрать свою волосатую шею; да и, кроме того: надо было вычислить количество терций и кварт: дважды умножить на число шестьдесят – семь тысяч двести.

С этой блестящею мыслью Сергей Сергеич Лихутин прошествовал в кабинетик; там при свете огарка стал брить он свою волосатую шею (у Сергея Сергеича была слишком нежная кожа, и на шее во время бритья эта нежная кожа покрылась прыщами). Выбравшись подбородок и шею, Сергей Сергеич бритвою неожиданно отхватил себе ус: надо было выбриться до конца, потому что – как же иначе? Как они взломают там двери и войдут, то увидят его, одноусого, и при том... в таком положении; нет, никак нельзя начинать предприятия, окончательно не пробрившись.

И Сергей Сергеич Лихутин начисто выбрился: и обрившись выглядел он совершеннейшим идиотом.

Ну, теперь медлить нечего: все кончено – на лице его совершенная бритость. Но как раз в эту минуту в передней раздался звонок; и Сергей Сергеич с досадою бросил мыльную бритву, перепачкав все пальцы себе в волосинках, с сожалением поглядел на часы (сколько часов пролетело?) – как же быть, как же быть? Одну минуту Сергей Сергеич подумал отложить свое предприятие: он не знал, что его застигнут врасплох; что времени терять невозможно, это ему на-

помнил звонок, прозвонивший вторично; и он вспрыгнул на стол, чтоб снять с крюка петлю; но веревка не слушалась, скользя в мыльных пальцах; Сергей Сергеич Лихутин быстрейшим образом слез и стал красться в переднюю; и пока он крался в переднюю, он заметил: медленно начинала ис­таивать в комнатах черно-синяя, всю ночь заливавшая его чернилами, мгла; медленно чернильная мгла просерела, становясь мглой серой: и в сереющей мгле обозначились пред­меты; на столе поставленный стулик, лежащая лампа; и над всем этим – мокрая петля.

В передней Сергей Сергеич Лихутин приложил голову к двери; он замер; но, должно быть, волнение породило в Сер­гее Сергеиче ту степень забывчивости, при которой невыс­лимо предпринять какое бы то ни было дело: Сергей Сер­геич Лихутин не заметил, ведь, вовсе, как он сильно сопит; и когда из-за двери услышал он женины тревожные окрики, то с испугу он закричал благим матом; закричав, он увидел, что все погибает, и бросился приводить в исполнение ори­гинальный свой замысел; быстро вспрыгнул на стол, вытя­нул свежееобритую шею; и на свежеевыбритой шее, покрытой прыщами, стал затягивать быстро веревку, предварительно для чего-то подсунув два пальца меж веревкой и шеей.

После этого он для чего-то вскричал:

– «Слово и дело!»

Оттолкнул стол ногою; и стол откатился от Сергея Серге­ича на медных колесиках (этот звук и услышала Софья Пет­

ровна Лихутина – там за дверью).

## Что же далее?

Мгновение... —

Сергей Сергеич Лихутин во мраке задрогал ногами; при этом он явственно видел фонарные отблески на отдушнике печки; он явственно слышал и стук, и царапанье во входную дверь; что-то с силою ему прижало к подбородку два пальца, так что он более уж их вырвать не мог; далее ему показалось, что он задыхается; уж над ним послышался треск (в голове верно лопнули жилы), вокруг полетела известка; и Сергей Сергеич Лихутин грохнулся (прямо в смерть); и тотчас Сергей Сергеич Лихутин из этой смерти восстал, получивши в том бытии здоровенный пинок; тут увидел он, что очнулся; и когда очнулся, то понял, что не восстал, а воссел на какой-то плоской предметности: он сидел у себя на полу, ощущая боль в позвоночнике да свои невзначай продетые и теперь прищемленные пальцы – меж веревкой и горлом: Сергей Сергеич Лихутин стал рвать на горле веревку; и петля расширилась.

Тут понял он, что он едва не повесился: недоповесился – чуть-чуть. И вздохнул облегченно.

Вдруг чернильная мгла просерела; и стала мглой серой: сероватой – сперва; а потом – чуть сереющей; Сергей Сергеич Лихутин так явственно видел, как сидит он бессмыс-

ленно в окружении стен, как явственно стены сереют японскими пейзажами, незаметно сливаясь с окружающей ночью; потолок, явственно изукрашенный ночью рыжим кружевом фонаря, стал терять свое кружево; кружево фонаря иссякало давно, становилось тусклыми пятнами, удивленно глядевшими в сероватое утро.

Но вернемся к несчастному подпоручику.

Надо сказать о Сергее Сергеиче несколько оправдательных слов: вздох облегчения у Сергея Сергеича вырвался безотчетно, как безотчетны движенья самовольных утопленников перед погружением их в зеленую и холодную глубину. Сергей Сергеич Лихутин (не улыбайтесь!) совершенно серьезно намеревался покончить все свои счета с землею, и намерение это он бы без всяких сомнений осуществил, если бы не гнилой потолок (в этом вините строителя дома); так что вздох облегчения относился не к личности Сергея Сергеича, а к животной-плотской и безличной его оболочке. Как бы то ни было, оболочка эта сидела на корточках и внимала всему (тысячам шорохов); дух же Сергея Сергеича из глубины оболочки обнаруживал полнейшее хладнокровие.

Во мгновение ока прояснились все мысли; во мгновение ока пред его сознанием встала дилемма: как же быть теперь, как же быть? Револьверы где-то запрятаны; их отыскать долго... Бритва? Бритвою – ууу! И невольно в нем все передернулось: начинать с бритвою опыт после только что бывшего первого... Нет: всего естественней растянуться

здесь, на полу, предоставив судьбе все дальнейшее; да, но в этом естественном случае Софья Петровна (несомненно, она услышала стук) немедленно бросится, если не бросилась, к дворнику, протелефонят полиции, соберется толпа; под напором ее сломаются входные двери, и они нагрянут сюда, и, нагрянув, увидят, что он, подпоручик Лихутин, с необычным бритым лицом (Сергей Сергеич не подозревал, что он выглядит без усов таким идиотом) и с веревкой на шее тут расселся на корточках посреди кусков штукатурки.

Нет, нет, нет! Никогда до этого не дойдет подпоручик: честь мундира дороже ему жене данного слова. Остается одно: со стыдом открыть дверь, поскорей примириться с женою, Софьей Петровной, и дать правдоподобное объяснение беспорядку и штукатурке.

Быстро кинул он веревку под диван и позорнейшим образом побежал к входной двери, за которой теперь ничего не было слышно.

С тем же самым произвольным сопеньем он открыл переднюю дверь, нерешительно став на пороге; жгучий стыд его охватил (*недоповесился!*); и притихла в душе бушевавшая буря; точно он, сорвавшись с крюка, оборвал в себе все, бушевавшее только что: оборвался гнев на жену, оборвался гнев по поводу безобразного поведения Николая Аполлоновича. Ведь он сам совершил теперь небывалое, ни с чем несравнимое безобразие: думал повеситься – вместо ж этого вырвал крюк с потолка.

Мгновение... —

В комнату никто не вбежал: тем не менее там стояли (он видел); наконец, влетела Софья Петровна Лихутина; влетела и разрыдалась:

– «Что ж это? Что ж это? Почему темнота?»

А Сергей Сергеич конфузливо тупился.

– «Почему тут был шум и возня?»

Сергей Сергеич холодные пальчики ей конфузливо пожал в темноте.

– «Почему у вас руки все в мыле?... Сергей Сергеевич, голубчик, да что это значит?»

– «Видишь ли, Сонюшка...»

Но она его прервала:

– «Почему вы хрипите?..»

– «Видишь ли, Сонюшка... я... простоял перед открытою форточкой (неосторожно, конечно)... Ну, так вот и охрип... Но дело не в этом...»

Он замялся.

– «Нет, не надо, не надо», – почти прокричал Сергей Сергеич Лихутин, отдернув руку жены, собиравшейся открыть электричество, – «не сюда, не сейчас – в эту вот комнату».

И насильно он ее протащил в кабинетик.

В кабинетике явственно уже выделялись предметы; и мгновенье казалось, будто серая вереница из линий стульев и стен с чуть лежащими плоскостями теней и с беско-

нечностью бритвенных кое-как разброшенных принадлежностей, – только воздушное кружево, паутина; и сквозь эту тончайшую паутину проступало стыдливо и нежно в окошке рассветное небо. Лицо Сергея Сергеича выступало неясно; когда же Софья Петровна к лицу приникла вплотную, то она увидела пред собою... Нет, это – неопишимо: увидела пред собой совершенно синее лицо неизвестного идиота; и это лицо виновато потупилось.

– «Что вы сделали? Вы обрились? Да вы просто какой-то дурак!..»

– «Видишь, Сонюшка», – прохрипел ей в уши испуганный его шепот, – «тут есть одно обстоятельство...»

Но она не слушала мужа и с безотчетной тревогою бросилась осматривать комнаты. Ей вдогонку из кабинетика понеслись слезливые и хрипло звучащие выкрики:

– «Ты найдешь там у нас беспорядок...»

– «Видишь ли, друг мой, я чинил потолок...»

– «Потолок там растрескался...»

– «Надо было...»

Но Софья Петровна Лихутина не слушала вовсе: она стояла в испуге пред грудой на ковер упавших кусков штукатурки, меж которыми прочернел на пол грянувший крюк; стол с опрокинутым на нем стулом был круто отодвинут; из-под мягкой кушетки, на которой Софья Петровна Лихутина так недавно читала *Анри Безансон*, – из-под мягкой кушетки торчала серая петля. Софья Петровна Лихутина дрожала,

мертвела и горбилась.

Там за окнами брызнули легчайшие пламена, и вдруг все просветилось, как вошла в пламена розоватая рябь облачков, будто сеть перламутринок; и в разрывах той сети теперь голубело чуть-чуть: голубело такое все нежное; все наполнилось трепетной робостью; все наполнилось удивленным вопросом: «Да как же? А как же? Разве я – не сияю?» Там на окнах, на шпицах намечался все более трепет; там на шпицах высоких высоко рубинился блеск. Над душою ее вдруг прошлись легчайшие голоса: и ей все просветилось, как на серую петлю пал из окна бледно-розовый, бледно-ковровый косяк от луча встающего солнца. Ее сердце наполнилось неожиданным трепетом и удивленным вопросом: «Да как же? А как же? Почему я забыла?»

Софья Петровна Лихутина тут склонилась на землю, протянула руку к веревке, на которой зарели нежнейшие розоватые кружева; Софья Петровна Лихутина поцеловала веревку и тихонько заплакала: чей-то образ далекого и вновь возвращенного детства (образ забытый не вовсе – где она его видела: где-то недавно, сегодня?): этот образ над ней поднимался, поднялся и вот встал за спиной. А когда она повернулась назад, то она увидела: за спиной стоял ее муж, Сергей Сергеевич Лихутин, долговязый, печальный и бритый: на нее поднимал голубой кроткий взор:

– «Уж прости меня, Сонюшка!»

Почему-то она припала к его ногам, обнимала и плакала:

– «Бедный, бедный: любимый мой!..»

Что они меж собою шептали, Бог ведает: это все осталось меж ними; видно было: в зарю поднималась над ней его сухая рука:

– «Бог простит... Бог простит...»

Бритая голова рассмеялась так счастливо: кто же мог теперь не смеяться, когда в небе смеялись такие легчайшие пламена?

Розоватое, клочковатое облачко протянулось по Мойке: это было облачко от трубы пробежавшего парходика; от парходной кормы холодом проблистала зеленая полоса, ударяясь о берег и отливая янтарным, отдавая – здесь, там – искрою золотой, отдавая – здесь, там – бриллиантом; отлетая от берега, полоса разбивалась о полосу, бьющую ей навстречу, отчего обе полосы начинали блистать роем кольчатых змей. В этот рой въехала лодка; и все змеи разрезались на алмазные струнки; струночки тотчас же путались в серебро чертящую канитель, чтоб потом на поверхности водной качнуться звездами. Но минутное волнение вод успокоилось; воды сгладились, и на них погасли все звезды. Понеслись теперь снова блиставшие водно-зеленые плоскости каменных берегов. Поднимаясь к небу черно-зеленой скульптурой, странно с берега встало зеленое, бело-колонное здание, как живой кусок Ренессанса.

## Обыватель

На далекое расстояние и туда, и сюда раскидались закоулки и улочки, улицы просто, проспекты; то из тьмы выступал высоковерхий бок дома, кирпичный, сложенный из одних только тяжестей, то из тьмы стена зияла подъездом, над которым два каменных египтянина на руках своих возносили каменный выступ балкона. Мимо высоковерхого дома, мимо кирпичного бока, мимо всех миллионнопудовых громад – из тьмы в тьму – в петербургском тумане Аполлон Аполлонович шел, шел, шел, преодолевая все тяжести: перед ним уж вычерчивался серый, гниловатый заборчик.

Тут откуда-то сбоку стремительно распахнулась низкая дверь и осталась открытой; повалил белый пар, раздалась руготня, дребезжание жалкое балалайки и голос. Аполлон Аполлонович невольно прислушался к голосу, озирая мертвые подворотни, стрекотавший в ветре фонарь и отхожее место. Голос пел:

Духом мы к Тебе, Отец,  
В небо мыслию парим  
И за пищу от сердец  
Мы Тебя благодарим.

Так пел голос.

Дверь захлопнулась. В обывателе Аполлон Аполлонович подозревал что-то мелкое, пролетающее за стеклом каретных отверстий (расстояние, ведь, между ближайшей стеною и дверцей кареты исчислялось Аполлоном Аполлоновичем многими миллиардами верст). И вот перед ним все пространства сместились: жизнь обывателя вдруг обстала его подворотнями, стенами, а сам обыватель предстал пред ним голосом. Голос же пел:

Духом мы к Тебе, Отец,  
В небо мыслию парим  
И за пищу от сердец  
Мы Тебя благодарим.

Вот какой обыватель? К обывателю Аполлон Аполлонович восчувствовал интерес, и был миг, когда он хотел постучаться в первую дверь, чтоб найти обывателя; тут он вспомнил, что обыватель его собирается казнить позорною смертию: набок съехал цилиндр, дрябло так опустились над грудью изможденные плечи: —

— да, да, да: они его разорвали на части: не его, Аполлона Аполлоновича, а другого, лучшего друга, только раз посланного судьбой; один миг Аполлон Аполлонович вспоминал те седые усы, зеленоватую глубину на него устремленных глаз, когда они оба склонялись над географической картой империи, и пылала мечтами молодая такая их старость (это было

ровно за день до того, как)... Но они разорвали даже лучшего друга, первого между первыми... Говорят, это длится секунду; и потом – как есть ничего... Что ж такое? Всякий государственный человек есть герой, но – брр-брр... —

Аполлон Аполлонович Аблеухов поправил цилиндр и выпрямил плечи, проходя в гниловатый туманчик, в гниловатую жизнь обывателя, в эти сети из стен, подворотен, заборов, наполненных слизью, оседающих жалко и дрябло, словом – в сплошное дрянное, гнилое, пустое и общее отхожее место. И ему показалось теперь, что его ненавидит и та вот тупая стена, и этот вот гниловатый заборчик; Аполлон Аполлонович по опыту знал, что они ненавидели (днем и ночью ходил он покрытый туманом и х злобы). Кто такие *они*? Ничтожная кучка, смрадная, как и все? Мозговая игра Аполлона Аполлоновича воздвигала пред взором его туманные плоскости; но разорвались все плоскости: исполинская карта России предстала пред ним, таким маленьким: неужели это враги: враги – исполинская совокупность племен, обитающих в этих пространствах: *сто миллионов*. Нет, больше...

«От финских хладных скал до пламенной Колхиды»...

Что такое? Его ненавидели?... Нет: простиралась Россия. А его?.. Его собираются.... собираются... Нет: брр-брр... Праздная мозговая игра. Лучше цитировать Пушкина:

Пора, мой друг, пора!.. Покоя сердце просит.  
Бегут за днями дни. И каждый день уносит

Частицу бытия. А мы с тобой вдвоем  
Располагаем жить. А там: глядь – и умрем...

С кем же вдвоем располагает он жить? С сыном? Сын – ужаснейший негодяй. С обывателем? Обыватель собирает-ся... Аполлон Аполлонович вспомнил, что некогда располагал он прожить свою жизнь с Анной Петровной, по окончании государственной службы перебраться на дачку в Финляндию, а, ведь, вот: Анна Петровна уехала – да-с, уехала!.. – «Уехала, знаете ли: ничего не поделаешь...»

Аполлон Аполлонович понял, что у него нет никакого спутника жизни (до этой минуты он как-то об этом не удосужился вспомнить) и что смерть на посту будет все-таки украшением прожитой его жизни. Ему стало как-то по-детски и печально, и тихо, – так тихо, так как-то уютно. Вокруг только слышался шелест струящейся лужицы, точно чья-то мольба – все о том, об одном: о том, чего не было, но что быть бы могло.

Медленно начинала истаивать черно-серая, всю ночь душившая мгла. Медленно черно-серая мгла просерела и стала мглой серой: сероватой – сначала; потом – чуть сереющей; а домовые стены, освещенные в ночи фонарями, стали бледно сливаться с отлетающей ночью. И казалось, что рыжие фонари, вкруг себя бросавшие только что рыжие светы, стали вдруг иссякать; и постепенно иссякли. Лихорадочно горевшие светочи пропадали на стенах. Наконец, фонари

стали тусклыми точками, удивленно глядевшими в сероватый туман; и мгновение казалось, будто серая вереница из линий, спиц и стен с чуть лежащими плоскостями теней, с бесконечностью оконных отверстий – не громада камней, а воздушно вставшее кружево, состоящее из узоров тончайшей работы, и сквозь эти узоры рассветное небо проступило стыдливо.

Навстречу Аполлону Аполлоновичу быстро кинулся бедно одетый подросток; девушка лет пятнадцати, повязанная платочком; а за нею в рассветном тумане шло очертание мужчины: котелок, трость, пальто, уши, усы и нос; очертание, очевидно, пристало к подростку с гнуснейшими предложениями; Аполлон Аполлонович считал себя рыцарем; неожиданно для себя снял он цилиндр:

– «Милостивая государыня, осмелюсь ли я предложить вам до дому руку: в это позднее время молодым особам вашего пола не безопасно появляться на улице».

Бедно одетый подросток увидел так явственно, что какая-то черная там фигурка почтительно перед ней приподняла цилиндр; бритая, мертвая голова выползла на мгновение из-под воротника и опять туда уползла.

Они шли в глубоком безмолвии; все казалось ближе, чем следует: мокрым и старым, уходящим в века; все это и прежде Аполлон Аполлонович видывал издали. А теперь – вот оно: подворотни, домики, стены и вот этот к руке его боязнь прижатый подросток, для которого он, Аполлон Апол-

лонович, не злодей, не сенатор: просто так себе – неизвестный добрый старик.

Они шли до зеленого домика с кривыми воротами и с гнилой подворотней; на крылечке приподнял сенатор цилиндр, прощаясь с подростком; а когда за ним захлопнулась дверь, то старческий рот искривился так жалобно; в совершенную пустоту зажевали мертвые губы; в это время откуда-то издали раздалось, будто пенье смычка: пение петербургского петьела, извещавшего неизвестно о чем и будившего неизвестно кого.

Где-то сбоку на небе брызнули легчайшие пламена, и вдруг все просветилось, как вошла в пламена розоватая рябь облачков, будто сеть перламутринок; и в разрывах той сети теперь голубел голубой лоскуточек. Отяжелела и очертилась вереница линий и стен; проступили сбоку какие-то тяжести – и уступы, и выступы; проступили подъезды, кариатиды и карнизы кирпичных балконов; но на окнах, на шпицах замечался все более трепет; и от окон, от шпичев зарубинился блеск.

Легчайшее кружево обернулось утренним Петербургом: Петербург расцветился легко и причудливо, там стояли дома песочного цвета о пяти своих этажах; там стояли дома темно-синие, там – серые; рыже-красный Дворец зазарел.

*Конец четвертой главы*

# Глава пятая, в которой повествуется о господинчике с бородавкой у носа и о сардиннице ужасного содержания

*Блеснет завтра луч денницы  
И заиграет яркий день,  
А я, быть может, уж гробницы  
Сойду в таинственную сень.*

*А. Пушкин*

## Господинчик

Николай Аполлонович молчал всю дорогу. Николай Аполлонович обернулся и уставился прямо в лицо за ним бегущему господинчику:

– «Извините меня: с кем...»

Петербургская слякоть шелестела струями; там карета в туман пролетела огнем фонарей...

– «С кем имею честь?..»

Всю дорогу он слышал докучное хлопанье за ним бегу-

щих калош да чувствовал беганье у себя по спине воспаленных и маленьких глазок того котелочка, который за ним увязался от подворотни – там, в закоулочке.

– «Павел Яковлевич Морковин...»

И вот: Николай Аполлонович обернулся назад и уставился прямо в лицо господинчику; лицо ничего не сказало: котелок, трость, пальто, бороденка и нос.

После впал он в забвение, отвернувшись к стене, по которой бежал всю дорогу теневой котелочек, чуть-чуть сдвинутый набок; вид этого котелочка ему внушил омерзение; петербургские сырости заползали под кожу; петербургские слякоти шелестели талыми струями; гололедица, изморось промочили пальто.

Котелок на стене то вытягивал свою тень, а то умаялся; опять отчетливый голос раздался за спиной Аблеухова:

– «Бьюсь об заклад, что вы из сплошного кокетства изволите на себя напустить этот тон равнодушия...» Все то было когда-то.

– «Слушайте, – попытался сказать котелку Николай Аполлонович, – я, признаться сказать, удивлен; я, признаться сказать...»

Вон там вспыхнуло первое светлое яблоко; там – второе; там – третье; и линия электрических яблок обозначила Невский Проспект, где стены каменных зданий заливаются огненным мороком во всю круглую, петербургскую ночь и где яркие ресторанчики кажут в оторопь этой ночи

свои ярко-красные вывески, под которыми шныряют все какие-то пернатые дамы, укрывая в боа кармины подрисованных губ, – среди цилиндров, околышей, котелков, косовороток, шинелей – в световой, тусклой мути, являющей из-за бедных финских болот над многоверстной Россией геены широкоотверстую раскаленную пасть.

Николай Аполлонович следил, все следил за пробегом по стенам теневого черного котелка, вековой темной тени; Николай Аполлонович знал: обстоятельства встречи с загадочным Павлом Яковлевичем ему не позволили оборвать эту встречу прямо там – под заборчиком – с настоящим достоинством для себя: надо было с величайшей осторожностью выпытать, что такое подлинно этот Павел Яковлевич о нем знает, что такое подлинно было сказано между ним и отцом; оттого-то он медлил прощаться.

Вот открылась Нева: каменный перегиб Зимней Канавки под собой показывал плаксивый простор, и оттуда бросились натиски мокрого ветра; за Невой встали абрисы островов и домов; и бросали грустно в туман янтарные очи; и казалось, что плачут.

– «А на самом деле и вы не прочь бы со мною, что называется, снюхаться?» – приставал за спиной тот же все паршивенький голос.

Вот и площадь; та же серая на площади возвышалась скала; тот же конь кидался копытом; но странное дело: тень покрыла Медного Всадника. И казалось, что Всадника не бы-

ло; там вдали, на Неве, стояла какая-то рыболовная шхуна; и на шхуне блестел огонечек.

– «Мне пора бы домой...»

– «Нет, пожалуйста: что теперь дома!»

И они прошли по мосту.

Впереди них шла пара: сорокапятилетний, одетый в черную кожу моряк; у него была шапка с наушниками, были и синеватые щеки и ярко-рыжая с проседью борода; сосед его, просто какой-то гигант в сапожищах, с темно-зеленою поярковой шляпой шагал – чернобровый, черноволосый, с маленьким носиком, с маленькими усами. Оба что-то напомним; и оба прошли в раскрытую дверь ресторанчика под бриллиантовой вывеской. Под буквами бриллиантовой вывески Павел Яковлевич Морковин с непонятым нахальством схватил Аблеухова за крыло николаевки:

– «Вот сюда, Николай Аполлонович, в ресторанчик: вот – как раз, вот – сюда-с!..»

– «Да позвольте же...»

Павел же Яковлевич, рукою держа крыло николаевки, тут принялся зевать: он выгибался, гнулся, вытягивался, подставляя открытое ротовое отверстие Николаю Аполлоновичу, как какой-то людоед, собиравшийся Аблеухова проглотить: проглотить непременно.

Этот припадок зевоты перешел к Аблеухову; губы последнего закривились:

– «Ааа – а: аааа...»

Аблеухов попробовал вырваться:

– «Нет, пора мне, пора».

Но таинственный господин, получивший дар слова, непо-  
чтительным образом перебил:

– «Э, да ну вас – все знаю: скучаете?»

И не давши сказать, перебил его вновь:

– «Да, скучаю и я: а при этом, добавьте, я с насморком;  
все эти дни я лечусь сальной свечкой...»

Николай Аполлонович хотел что-то вставить, но рот его  
разорвался в зевоте:

– «Ааа: ааа – ааа!..»

– «Ну-ну – видите, как скучаете!»

– «Просто хочется спать...»

– «Ну, допустим, а все же (вникните и вы в мое положе-  
ние): редкий случай, рредчайший...»

Делать нечего: Николай Аполлонович чуть-чуть передер-  
нул плечами и с едва заметной брезгливостью открыл ре-  
сторанную дверь... Чернотой обвисшие вешалки: котелка-  
ми, палками, польтами.

– «Редкий случай, рредчайший», – шелкнул пальцем  
Морковин, – «говорю это вам напрямик: молодой человек  
таких исключительных дарований, как вы?.. Отпустить?..  
Оставить в покое?!..»

Густоватый, белеющий пар какого-то блинного запаха,  
смешанный с уличной мокротой; леденящим обжогом в ла-  
донь упал номерок.

– «Хи-хи-хи, – потирал ладонями расходившийся Павел Яковлевич, снявший пальтишко, – молодому философу меня узнать любопытно: не правда ли?»

Петербургская улица начинала теперь, в помещении, едко печь лихорадкой, расплзаясь по телу десятками красноногих мурашиков:

– «Ведь все меня знают... Александр Иванович, ваш батюшка, Бутищенко, Шишиганов, Пеппович...»

После этих сказанных слов Николай Аполлонович почувствовал живейшее любопытство от трех обстоятельств; во-первых: незнакомец – в который раз! – подчеркнул знакомство с отцом (это что-нибудь значило); во-вторых: незнакомец обмолвился об Александре Ивановиче и привел это имя и отчество рядом с именем отчим; наконец, незнакомец привел ряд фамилий (Бутищенко, Шишиганов, Пеппович), так странно знакомо звучащих...

– «Интересная-с», – подтолкнул Павел Яковлевич Аблеухова на яркогубую проститутку в светло-оранжевом платье и с турецкою папироской в зубах...

– «Вы как насчет женщин?.. А то бы...»

– «Ну, не буду, не буду: вижу, что скромник... Да и вовсе не время... Есть о чем...»

А кругом раздавалось:

– «Кто да кто?»

– «Кто?.. Иван!..»

– «Иван Иваныч!..»

– «Иван Иванович Иванов...»

– «Так вот – я говорю: Ивван-Иванч?.. А?.. Ивван-Иванч?.. Что же вы Ивван-Иванч? Ай, ай, ай!..»

– «А Иван Иванович-то...»

– «Все это враки».

– «Нет, не враки... Спросите Ивана Ивановича: вот он там, в бильярдной... Эй, эй!»

– «Ивван!..»

– «Иван Иванович!»

– «Ивван Ивваныч Иванов...»

– «И какая же ты, Иван Иванович, свинья!»

Где-то подняли дым коромыслом; оттуда машина, как десяток крикливых рогов, в копоть бросивших уши рвущие звуки, – вдруг рявкнула: под машиной купец, Иван Иванович Иванов, махая зеленой бутылкою, встал в плясовую позицию с дамой в растерзанной кофточке; там горела грязь ее нечистых ланит; из-под рыжих волос, из-под павших на лоб малиновых перьев, к губам прижимая платок, чтобы вслух не икать, пучеглазая дама смеялась; и в смехе запрыгали груди; ржал Иван Иванович Иванов; публика пьяная разгремелась вокруг.

Николай Аполлонович глядел изумленно: как он мог попасть в такое поганое место и в такой поганой компании в те минуты, когда?..

– «Ха-ха-ха-ха-ха-ха», – разревелась все та же пьяная кучка, когда Иван Иванович Иванов схватил свою даму за волосы

и пригнул ее к полу, отрывая громадное малиновое перо; дама плакала, ожидая побоев; но купца успели вовремя от нее оторвать. Ожесточенно, мучительно в дикой машине, взрвая и бацая бубнами, страшная старина, как на нас из глубин набегающий вулканический взрыв подземных неистовств, звуком крепла, разрасталась и плакала в ресторанное зало из труб золотых: «Ууймии-теесь ваалнеения страа-аа-сти...»

– «Уу-снии безнаа-дее-жнаа-ее сее-ее-рдцее...»

.....

– «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!...»

## **Рюмку водочки!**

Вон грязные комнаты старого, адского кабачка; вон его стены; стены эти расписаны рукой маляра: кипень финских валов, откуда – из далей, проникая мозглый и зеленоватый туман, на теневых больших парусах к Петербургу опять полетели судна осмоленные снасти.

– «Признавайтесь-ка... Эй, две рюмочки водки! – признайтесь...» – выкрикивал Павел Яковлевич Морковин – белый, белый: обрюзгший – весь оплыл, ожирел; белое, желтоватое личико казалось все ж худеньким, хотя расплылось, ожирело: здесь – мешком; здесь – сосочком; здесь – белою бородавочкой...

– «Я бьюсь об заклад, что для вас представляю загадку, над которою в эту минуту тщетно работает ваш умственный

аппарат...»

Вон, вон столик: за столиком сорокапятилетний моряк, одетый в черную кожу (и как будто – голландец), синеватым лицом наклонился над рюмкою.

– «Вам с пикончиком?..»

Кровавые губы голландца – в который раз? – там тянули пламенем жгущей аллаш...

– «Так с пикончиком?»

А рядом с голландцем, за столиком грузно так опустилась тяжеловесная, будто из камня, громада.

– «С пикончиком».

Чернобровая, черноволосая, – громада смеялась двусмысленно на Николая Аполлоновича.

– «Ну-с, молодой человек?» – раздался в это время над ухом его тенорок незнакомца.

– «Что такое?»

– «Что вы скажете о моем поведении на улице?»

И казалось, что та вот громада кулаком ударит по столу – треск рассевшихся досок, звон разбитых стаканчиков огласит ресторан.

– «Что сказать о вашем поведении на улице? Ах, да что вы об улице? Я же, право, не знаю».

Вот громада вынула трубочку из тяжелых складок кафтана, всунула в крепкие губы, и тяжелый дымок вонючего курева задымился над столиком.

– «По второй?»

– «По второй...»

.....

Перед ним блистал терпкий яд; и желая себя успокоить, он выбрал себе на тарелку какие-то вялые листья; так стоял с полной рюмкой в руке, пока Павел Яковлевич озабоченно копошился, стараясь дрожащею вилкою попасть в склизкий рыжичек; и попав в склизкий рыжичек, Павел Яковлевич обернулся (на усах его повисли соринки).

– «Неправда ли, было *там* странно?»

Так стоял он когда-то (ибо все это – было)... Но рюмки чокнулись звонко; так же чокнулись рюмки... – где чокнулись?

– «Где?»

Николай Аполлонович силился вспомнить. Николай Аполлонович, к сожалению, вспомнить не мог.

– «А *там* под забором... Нет, хозяин, сардинок не надо: плавают в желтой слизи».

Павел Яковлевич сделал Аbbleухову пояснительный жест.

– «Как я там вас настиг: вы стояли над лужею и читали записочку: ну, думаю я, редкий случай, рредчайший...»

Кругом стояли все столики; за столиками бражничал какой-то ублюдочный род; и валил, валил сюда этот род: ни люди, ни тени, – поражая какими-то воровскими ухваточками; все то были жители островов, а жители островов – род ублюдочный, странный: ни люди, ни тени. Павел Яковлевич Морковин тоже был с острова: улыбался, хихикал, поражая

какими-то воровскими ухватками.

– «Знаете что, Павел Яковлевич, я, признаться сказать, жду от вас объяснения...»

– «Моего поведения?»

– «Да!»

– «Я его объясню...»

Вновь блеснул терпкий яд: он пьянел – все вертелось; призрачной блистал кабачок; синеватей казался голландец, а громада – огромней; тень ее изломалась на стенах и казалась будто увенчанной неким венцом.

Павел Яковлевич все более лоснился – оплывал, ожиревал: здесь – мешком; здесь – сосочком; здесь – белую бородавочной; одутловатое это лицо в его памяти вызвало кончик сальной, свиной, оплывающей свечки.

– «Так по третьей?»

– «По третьей...»

.....

– «Ну, так что же вы скажете о разговоре под подворотней?»

– «Про домино?»

– «Ну, само собой разумеется!..»

– «Я скажу, что сказал...»

– «Со мной можно быть вполне откровенным».

От пахнущих губ господина Морковина Николай Аполлонович хотел с отвращением отвернуться, но себя перемог; а когда его чмокнули в губы, то невольно свой взгляд, пол-

ный пытки, бросил он в потолок, сметая рукою с высокого лба прядь своих волосинок, в то время как губы его неестественно растянулись в улыбке и, натянуто прыгая, задрожали (неестественно прыгают так лапки терзаемых лягушат, когда лапок этих коснутся концы электрических проволок).

– «Ну вот: так-то лучше; и не думайте ничего: домино – так себе. Домино просто выдумал я для знакомства...»

– «Виноват, вы закапались сардиночным жиром», – перебил его Николай Аполлонович, а сам думал: «Это он все хитрит, чтобы выпытать: надо быть осторожным...» Мы забыли сказать: домино с себя Николай Аполлонович снял в ресторанной передней.

– «Согласитесь: дикая мысль, что вы – домино... Хи-хи-хи: ну, откуда такое возьмется – а? Послушайте? Я себе говорю: эй, Павлуша, да это, батенька мой, просто так себе: курьезное озарение – и при том под забором, при свершении, так сказать, необходимой потребности человеческой... Домино!.. Просто-напросто, предлог для знакомства, милый вы человек, потому что очень, очень, очень наслышаны: о ваших умственных качествах».

Они отошли от водочной стойки, пробираясь меж столиков. И опять оттуда машина, как десяток крикливых рогов, в копоть бросивших уши рвущие звуки, вдруг рявкнула; задилинькали, разбиваясь об уши, стаи маленьких колокольчиков; из отдельного кабинета неслась чья-то наглая похвальба.

– «Человек: чистую скатерть...»

– «И водки...»

– «Ну, так вот-с: покончили с домино. А теперь, дорогой, о другом нас связующем пунктике...»

.....

– «Вы сказали о каком-то нас связующем пункте... Что же это за пункт?»

Положили локти на столик. Николай Аполлонович ощутил опьянение (от усталости, верно); все краски, все звуки, все запахи безобразней ударились в раскаленный добела мозг.

– «Да-да-да; курьезнейший, любопытнейший пунктик... Прекрасно: мне почки с мадерою, а вам... тоже почек?»

– «Что же это за пункт?»

– «Половой, две порции почек... Вы изволили спрашивать о любопытнейшем пункте? Ну, так вот-с – я признаюсь: узы-то – нас связавшие узы – суть священные узы...»

– «?»

– «Это узы родства».

– «?»

– «Узы крови...»

В это время подали почки.

– «О, не думайте, чтобы узы те... – Соли, перцу, горчицы! – были связаны с пролитием крови: да что вы дрожите, голубчик? Ишь ты, как вспыхнули, занялись – молодая девица! Передать вам горчицы? Вот перец».

Николай Аполлонович так же, как и Аполлон Аполлоно-

вич, переперчивал суп; но он остался с висящей в воздухе перечницей.

– «Что вы сказали?»

– «Я сказал вам: вот перец...»

– «О крови...»

– «А? Об узах? Под кровными узами разумею я узы родства». – Маленький столик побежал тут по залу (водка действовала); маленький стол расширился без толку и меры; Павел же Яковлевич вместе с краем стола отлетел, подвздался грязной салфеткою, копошился в салфетке и имел вид трупного червяка.

– «Все-таки, извините меня, я, должно быть, вас вовсе не понял: скажите же, что разумеете вы под нашим родством?»

– «Я, Николай Аполлонович, прихожусь, ведь, вам братом...»

– «Как братом?»

Николай Аполлонович даже привстал, но лицо перегнул через стол к господинчику; с задрожавшими нервно ноздрями лицо его казалось теперь бело-розовым в шапке вставших дыбом волос; волосы же были какого-то туманного цвета.

– «Разумеется, незаконным, ибо я, как-никак, плод несчастной любви родителя вашего... с домовою белошвейкою...»

Николай Аполлонович сел; темно-синие и еще потемневшие очи, и легчайшее благовоние уайт-розовых ароматов, и тонкие, скатерть терзавшие пальцы его выражали томление

смерти: Аплеуховы дорожили всегда чистотой своей крови; дорожил кровью и он; – как же так, как же так: папаша его, стало быть, имел...

– «Папаша ваш, стало быть, имел в своей юности интересный романчик...»

Николай Аполлонович вдруг подумал, что Морковин фразу продолжит словами: «который окончился моим появлением» (что за чушь, что за шалая мысль!).

– «Который окончился моим появлением на свет».

Безумие!

Это было когда-то.

– «И по этому случаю нашей родственной встречи разопьем еще по одной».

Ожесточенно, мучительно в дикой машине, взревая и бая бубнами, страшная старина, как на нас из глубин набегаящий вопль, звуком крепла, разрасталась и плакала в ресторанный зал из труб золотых.

.....

– «Вы хотели сказать, что родитель мой...»

– «Наш *общий* родитель».

– «Если хотите, *наш* общий», – Николай Аполлонович передернул плечами.

– «А-а-а: плечико? Как передернулось!» – перебил его Павел Яковлевич. – «Передернулось – знаете отчего?»

– «Отчего?»

– «Оттого, что для вас, Николай Аполлонович, родство с

подобным субъектом, как-никак, оскорбительно... И потом вы, знаете, похрабрили».

– «Похрабрел? С какой стати мне трусить?»

– «Ха-ха-ха!» – не слушал его Павел Яковлевич, – «похрабрили вы оттого, что по вашему мнению... – Еще почек...»

– «Благодарствуйте...»

– «Объяснилось мое отменное любопытство и наш разговор под забором... И соусу... Вы меня, пожалуйста, извините, что я применяю к вам, мой голубчик, психологический метод, так сказать, пытки – разумеется, ожиданием; я вас щупаю, мой родной, отсюда, оттуда: забегу и туда, и сюда; присяду в засаду. И потом выскочу».

Николай Аполлонович прищурил глаза, и из темных длиннейших ресниц глаза его просинели и дикой, и терпкой решимостью не просить о пощаде, в то время как пальцы пробарабанили по столу.

– «Вот то же о нашем с вами родстве; и это – нащупывание: как отнесетесь... А теперь должен я вас одновременно обрадовать и огорчить-с... Нет, вы меня извините – я всегда при новом знакомстве поступаю подобным же образом: остается заметить вам, что братьями, но... при разных родителях».

– «?...»

– «Про Аполлона Аполлоновича всего-навсего я пошутил: никакого романчика с белошвейкой и не было; не было

вообще – хе-хе-хе – никакого романчика... Исключительно нравственный человек в наш безнравственный век...»

– «Так почему же мы – братья?»

– «По убеждению...»

– «Как вы можете мои убеждения знать?»

– «Вы – убежденнейший террорист, Николай Аполлонович». (Все-все-все в Николае Аполлоновиче слилось в сплошное томление; все-все-все слилось в одну пытку.)

– «Террорист завзятый и я: извольте видеть, фамилии небезызвестные вам я закинул неспроста: Бутищенка, Шишиганова и Пепповича... Помните, давеча приводил? Здесь был тонкий намек, понимайте, мол, как хотите... Александр Иванович Дудкин, Неуловимый!.. А? А?.. Вы – поняли, поняли? Не смущайтесь же: поняли, ибо вы – начитанный человек, теоретик наш, умнейшая бестия: ууу, каналья моя, дайте вас расцелую...»

– «Ха-ха-ха, – откинулся Николай Аполлонович на спинку убогого стула, – „ха-ха-ха-ха-ха...“

– «И-хи-хи», – подхватил Павел Яковлевич, – «и-хи-хи...»

– «Ха-ха-ха», – продолжал хохотать Николай Аполлонович.

– «И-хи-хи», – подхихикивал и Морковин.

Громада с соседнего столика разгневанно повернулась на них и глядела внимательно.

– «Вы чего?»

Николай Аполлонович рассердился.

– «Своя своих не познаша».

– «Я вам вот что скажу», – совершенно серьезно сказал

Николай Аполлонович, сделавши вид, что он бешеный хохот осилил (он смеялся насильно), – вы ошибаетесь, потому что к террору у меня отношение отрицательное; да и, кроме всего: скажите мне, откуда вы заключаете?»

– «Помилуйте, Николай Аполлонович! Да я же все о вас знаю: об узелочке, об Александре Иваныче Дудкине и о Софье Петровне...»

.....

– «Знаю все из личного любопытства и далее: по служебному долгу...»

– «А, вы служите?»

– «Да: в охране...»

– «В охране?»

– «Что это вы, мой родной, ухватились за грудь с таким выраженьем, будто там у вас опаснейший и секретнейший документ... Рюмку водочки!...»

## **Я гублю без возврата**

На мгновение оба застыли; из-за края стола Павел Яковлевич Морковин, чиновник охранного отделения, рос, тянулся, вытягивался с вверх поставленным пальцем; вот уж острый кончик этого крючковатого пальца через стол зацепился за

пуговицу Николая Аполлоновича; тогда Николай Аполлонович с вовсе новою виноватою улыбкою вытащил из бокового кармана переплетенную книжечку, оказавшуюся записной.

— «А, а, а! Пожалуйста-ка эту книжечку мне... на просмотр...» Николай Аполлонович не противился; он сидел все с тою же виноватою улыбкою; попытка его перешла все границы; экстазы терзаемых и вдохновение жертвенной ролью пропали; налицо оказались: униженность, покорность (остатки разрушенной гордости); впереди для него оставался единственный путь: путь тупого бесчувствия. Как бы то ни было: книжечку подал он сыщику на просмотр, как уличенный преступник, распятый страданьем, и как оклеветанный святоша (бесстыдный обманщик!).

Павел же Яковлевич, наклонившись над книжечкой, выставил из-за края стола свою голову, которая показалась прикрепленной не к шее, а к двум кистям рук; на одно мгновение стал он просто чудовищем: Николай Аполлонович в это мгновение увидел: поганая, заморгавшая глазками голова, с волосами, точно из псиной, гребнем начесанной шерсти, окрысившись отвратительным смехом, желтыми складками кожи бегала над столом на десяти своих прыгавших пальцах по листикам книжечки, вид имея огромного насекомого: десятиногого паука, по бумаге шуршавшего лапами.

Но все было комедией...

Павел Яковлевич, видно, хотел Аблеухова напугать видом этого сыска (милая шуточка!); так же крысясь от хохота, кни-

жечку Аbbleухову бросил обратно он через стол.

– «Да зачем же, помилуйте: такая покорность... Я, ведь кажется, вас не собираюсь допрашивать... Не пугайтесь, голубчик: в охранное ж отделение я приставлен от партии... И напрасно вы, Николай Аполлонович, растревожились: ей-Богу, напрасно...»

– «Вы смеетесь?»

– «Ни капли!.. Будь я подлинным полицейским, вы бы были уже арестованы, потому что ваш жест, знаете ли, был достоин внимания; вы сперва схватились за грудь с испуганным выражением лица, будто там у вас документ... Если в будущем встретите сыщика, не повторяйте этого жеста; этот жест вас и выдал... Согласны?»

– «Пожалуй...»

– «А потом, позволю заметить, вы сделали новый промах: вынули невинную записную книжечку в то еще время, когда ее никто у вас не спросил; вынули для того, чтоб отвлечь внимание от другого чего-нибудь; но цели вы не достигли; не отвлекли от внимания, а привлекли внимание; заставили меня думать, что какой-нибудь эдакий документ все же остался в кармане... Ах, как вы легкомысленны... Посмотрите же на эту страничку вами данной мне книжечки; вы открыли невольню мне любовный секретик: тут вот, тут полюбуйтесь...»

Слышались животные вопли машины: крик исполинского зарезаемого на бойне быка: бубны – лопались, лопались,

лопались.

.....  
– «Слушайте!»

Николай Аполлонович произнес это *слушайте* с действительным бешенством.

– «К чему эта попытка? Если вы действительно тот, за кого себя выдаете, – человек, получите! – то все поведение ваше, все ваши ужимочки – недостойны».

Оба встали.

В белых клубках из кухни валившего смрада стоял Николай Аполлонович – бледный, белый и бешеный, разорвавший без всякого смеха красный свой рот, в ореоле из льняно-туманной шапки светлейших волос своих; как оскаленный зверь, затравленный гончими, он презрительно обернулся к Морковину, бросивши половому полтинник.

Машина уж смолкла; давно уже опустевали соседние столики, и ублюдочный род разошелся по линиям острова; вдруг повсюду погасло белое электричество; рыжий свет свечки там и здесь пронизал мертвую пустоту; и стены истаяли в мраке: только там, где стояла свеча да виднелся край размалеванной стенки, в залу билась с шипением белая пена. И оттуда, из дали, на теневых своих парусах, к Петербургу летел Летучий Голландец (у Николая Аполлоновича это, верно, кружилась голова от семи выпитых рюмок); со столика приподнялся сорокапятiletний моряк (не Голландец ли?); на минуту глаза его сверкнули зеленоватыми искрами;

но он скрылся во мраке.

Господин же Морковин, оправивши свой сюртучок, посмотрел на Николая Аполлоновича с какой-то задумчивой нежностью (состояние духа последнего, видно, проняло и его; меланхолически он вздохнул; и глаза опустил; так с минуту они не проронили ни слова.

Наконец, Павел Яковлевич произнес с расстановкой.

– «Полноте: мне так же трудно, как вам...»

– «И что таиться, товарищ?..»

– «Я сюда пришел не для шуток...»

– «Разве нам не надо условиться?..»

.....  
– «?»

.....  
– «Ну, да, да: условиться о дне исполнения обещания...

В самом деле, Николай Аполлонович, вы чудак, каких мало; неужели же вы могли хоть на минуту подумать, чтобы я, так, без дела, шлялся за вами по улицам, наконец, с трудом нашел предлог разговора...»

И потом, строго глядя в глаза Аблеухова, он прибавил с достоинством: «Партия, Николай Аполлонович, немедленно ожидает ответа».

Николай Аполлонович тихо спускался по лестнице; конец лестницы ушел в темноту; внизу же – у двери – стояли: о н и; кто такое *они*, положительно на этот вопрос он не мог себе точно ответить: черное очертание и какая-то зеленая-раззе-

леная муть, будто тускло горящая фосфором (это падал луч наружного фонаря); и *они* его ждали.

А когда прошел он к той двери, то по обе стороны от себя он почувствовал зоркий взгляд наблюдателя: и один из них был тот самый гигант, что тянул аллаш за соседним с ним столиком: освещенный лучом наружного фонаря, он стал там у двери медноглавой громадой; на Аблеухова, войдя в луч, на мгновение уставилось металлическое лицо, горящее фосфором; и зеленая, многосотпудовая рука погрозила.

– «Кто это?»

– «Кто губит нас без возврата...»

– «Сыщик?»

– «Никогда...»

Хлопнула ресторанный дверь.

Многоглазые, высокие фонари, терзаемые ветрами, трепетали странными светами, ширясь в долгую петербургскую ночь; черные, черные пешеходы протекали из темени; опять побежал котелок рядом с ним по стене.

– «Ну, а если я отклоню поручение?»

– «Я вас арестую...»

– «Вы? Меня? Арестуете?»

– «Не забывайте, что я...»

– «Что вы конспиратор?»

– «Я – чиновник охранного отделения; как чиновник охранного отделения, я вас арестую...»

Невский ветер присвистывал в проводах телеграфа и пла-

кался в подворотнях; виднелись ледяные клоки полуизо-  
рванных туч; и казалось, что вот из самого клочковатого об-  
лака оборвутся полосы хлопотливых дождей – стрекотать,  
пришепetyвать, бить по плитам каменным каплями, закру-  
тивши на булькнувших лужах свои холодные пузыри.

– «Что же скажет вам партия?»

– «Партия меня оправдает: пользуясь моим положением в  
охранке, я отомщу вам за партию...»

– «Ну, а если я на вас донесу?»

– «Попробуйте...»

Вот из самого клочковатого облака стали падать поло-  
сы хлопотливых дождей – стрекотать, пришепetyвать, бить  
по плитам каменным каплями, закрутивши по булькнувшим  
лужам свои холодные пузыри.

– «Нет, Николай Аполлонович, я прошу – шутки в сторо-  
ну: потому что я очень, очень серьезен, и должен заметить:  
ваше сомнение, нерешительность ваша меня убивают; надо  
было взвесить все шансы заранее... Наконец, вы могли отка-  
заться (слава Богу, два месяца). Этого вы своевременно не  
позаботились сделать; у вас – один путь; и вам предстоит –  
выбирайте: арест, самоубийство, убийство. Вы, надеюсь, те-  
перь меня поняли? До свиданья...»

Котелочек трусил по направлению к семнадцатой линии,  
а шинель – к мосту.

Петербург, Петербург!

Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздную

мозговую игрой: ты – мучитель жестокосердый: но ты – непокойный призрак: ты, бывало, года на меня нападал; бегал и я на твоих ужасных проспектах, чтоб с разбега влететь вот на этот блистающий мост..

О, большой, электричеством блещущий мост! О, зеленые, кишасщие бациллами воды! Помню я одно роковое мгновение; чрез твои сырые перила сентябрьскою ночью я перегнулся; и миг: тело мое пролетело б в туманы.

На большом чугунном мосту Николай Аполлонович обернулся; не увидел он за собой – ничего, никого над сырыми, сырыми перилами, над кишасщей бациллами зеленоватой водою его охватили плаксиво одни сквозняки приневского, холодного ветра; здесь, на этом вот месте, за два с половиною месяца перед тем, Николай Аполлонович дал свое ужасное обещание; восковое, все то же лицо, оттопыривши губы, над сырыми перилами протянулось из серой шинели; над Невой он стоял, как-то тупо уставившись в зелень – или нет: улетаая взором туда, где принизились берега; и потом быстрехонько засеменял прочь, косолапо путаясь в полах шинели.

Какое-то фосфорическое пятно и туманно, и бешено проносилось по небу; фосфорическим блеском протуманилась нельская даль; и от этого зелено мерцали беззвучно летящие плоскости, отдаваясь то там, то здесь искрою золотой. За Невой теперь вставали громадные здания островов и бросали в туман заогневевшие очи. Выше – бешено простирали клочковатые руки какие-то смутные очертания; рой за роём

они восходили.

Набережная была пуста.

Изредка проходила черная тень полицейского; площадь пустела; справа поднимали свои этажи Сенат и Синод. Высились и скала: Николай Аполлонович с каким-то особенным любопытством глаза выпучил на громадное очертание Всадника. Давеча, когда они проходили здесь с Павлом Яковлевичем, Аблеухову показалось, что Всадника не было (тень его покрывала); теперь же зыбкая полутень покрывала Всадниково лицо; и металл лица двусмысленно улыбался.

Вдруг тучи разорвались, и зеленым дымком распаявшейся меди закурились под месяцем облака... На мгновение все вспыхнуло: воды, крыши, граниты; вспыхнуло – Всадниково лицо, меднолавровый венец; много тысяч металла свисало с матово зеленеющих плеч медноглавой громады; фосфорически заблестали и литое лицо, и венец, зеленый от времени, и простертая повелительно прямо в сторону Николая Аполлоновича многосотпудовая рука; в медных впадинах глаз зеленели медные мысли; и казалось: рука шевельнется (протрезвонят о локоть плаща тяжелые складки), металлические копыта с громким грохотом упадут на скалу и раздастся на весь Петербург гранит раздробляющий голос:

– «Да, да, да...»

– «Это – я...»

– «Я гублю без возврата».

На мгновение для Николая Аполлоновича озарилось

вдруг все; да – он теперь понял, какая громада сидела там за столом, в василеостровском кабачке (неужели же и его посетило видение?); как прошел он к той двери, на него из угла, освещенное уличным фонарем, предстало вот это лицо; и вот эта зеленая рука ему пригрозила. На мгновение для Аплеухова все стало ясно: судьба его озарилась: да – он должен; и да – он обречен.

Но тучи врезались в месяц; полетели под небом обрывки ведьмовских кос.

Николай Аполлонович с хохотом побежал от Медного Всадника:

– «Да, да, да...»

– «Знаю, знаю...»

– «Погиб без возврата...»

В пустой улице пролетел снап огня: то придворная черная карета пронесла ярко-красные фонари, будто кровью налитые взоры; призрачный абрис треуголки лакея и абрис шинельных крыльев пролетели с огнем из тумана в туман.

## **Грифончики**

И простерлись проспекты – там, там: простерлись проспекты; пасмурный пешеход не торопил шагов: пасмурный пешеход озирался томительно: бесконечности зданий! Пасмурный пешеход был Николай Аполлонович.

...Не теряя минуты, надо было тотчас же предпринять –

но что предпринять! Ведь, не он ли, не он ли густо сеял семя теорий о безумии всяческих жалостей? Перед той молчаливою кучкой когда-то не он ли выражал свои мнения – все о том, об одном: о глухом своем отвращении к барину, к барским старым ушам, ко всему татарству и барству, вплоть... до этой по-птичьему протянутой шеи... с подкожною жилюю.

Наконец, он нанял какого-то запоздалого Ваньку: мимо него поехали, полетели четырехэтажные здания.

Адмиралтейство продвинуло восьмиколонный свой бок: пророзовело и скрылось; с той стороны, за Невой, между белыми каймами штукатурки стены старого здания бросили ярко-морковный свой цвет; черно-белая солдатская будка осталась налево; в серой шинели расхаживал там старый павловский гренадер; за плечо перекинул он острый искристый штык свой.

Равномерно, медленно, вяло протрусил мимо павловца Ванька; равномерно, медленно, вяло протрясся мимо павловца и Николай Аполлонович. Ясное утро, горящее невоскими искрами, претворило всю воду там в пучину червонного золота; и в пучину червонного золота с разлету ушла труба свиставшего парходика; он увидел, что сухая фигурочка на тротуаре торопит запоздалый свой шаг, как-то прыгая по камням – та сухая фигурочка, которая... в которой... которую он узнал: то был Аполлон Аполлонович. Николай Аполлонович хотел извозчика задержать, чтобы дать время фи-

гурке отдалиться настолько, чтоб... – было уж поздно: старая, бритая голова повернулась к извозчику, покачалась и отвернулась. Николай Аполлонович, чтоб не быть узнанным, повернул свою спину к запоздалому пешеходу: нос уткнул он в бобер; виднелись – воротник да фуражка; уже дома желтая глыба перед ним там встала в туман.

Аполлон Аполлонович Аблеухов, проводивший подростка, теперь спешил к порогу желтого дома; и мимо него Адмиралтейство продвинуло только что восьмиколонный свой бок; черно-белая полосатая будка осталась налево; уже он шел по набережной, созерцая там, на Неве, пучину червонного золота, куда влетела с разлету труба свиставшего пароходика.

Тут у себя за спиной Аполлон Аполлонович Аблеухов слышал гремяе пролетки; повернулась к пролетке старая бритая голова; и когда извозчик поравнялся с сенатором, то сенатор увидел: там, над сиденьем, – скорчился старообразный и уродливый юноша, неприятнейшим образом завернувшись в шинель; и когда этот юноша поглядел на сенатора, нос уткнувши в шинель (виднелись лишь глаза да фуражка), то сенатора старая голова так стремительно отлетела к стене, что цилиндр ударился о каменный плод черного домового выступа (Аполлон Аполлонович Аблеухов методично цилиндр свой поправил), и Аполлон Аполлонович Аблеухов на минуту уставился в водную глубину: в изумрудно-красную бездну.

Ему показалось тут, что глаза неприятного юноши, увидавши его, во мгновение ока стали шириться, шириться, шириться: во мгновение ока неприятно расширились, остановились полным ужаса взором. В ужасе Аполлон Аполлонович остановился пред ужасом: этот взор преследовал Аполлона Аполлоновича все чаще и чаще; этим взором смотрели на него подчиненные, этим взором смотрел на него проходящий ублюдочный род: и студент, и мохнатая манджурская шапка; да, да, да:

*тем самым* взором взглянули и *тем самым* блеском расширились; а уже извозчик, его обогнавши, докучливо подпрыгивал на камнях; и мелькал номер бляхи: тысяча девятьсот пятый; и Аполлон Аполлонович в совершенном испуге глядел в багровую, многотрубную даль; и Васильевский Остров мучительно, оскорбительно, нагло глядел на сенатора.

Николай Аполлонович выскочил из пролетки, косолапо запутавшись в полах шинели, старообразный и какой-то весь злой, побежал быстро-быстро к подъезду желтого дома, переваливаясь по-утиному и захлопавши в воздухе шинельными крыльями на фоне ярко-багровой зари; Аблеухов стал у подъезда; Аблеухов звонил; и как прежде множество раз (точно так же и нынче) на него откуда-то издали кинулся голос сторожа, Николаича:

– «Здравия желаем, Николай Аполлонович!.. Много вам благодарны-с... Позднечко...»

И как прежде множество раз, точно так же и нынче, пяти-

алтынник упал в руку сторожа, Николаича.

Николай Аполлонович с силой дернул звонок: о, скорее бы дверь открыл там Семеныч, а то – из тумана покажется та сухая фигурочка (почему она была не в карете?); и на каждой из сторон тяжелого домового крыльца он увидел по разъятой пасти грифона, розоватого от зари, и когтями державшего кольца для древков, красно-бело-синего флага, развевавшего над Невой свое трехцветное полотнище в известные календарные дни; над грифонами изваялся на камне и герб Аблеуховых; этот герб изображал длинноперого рыцаря в завитках рококо и пронизанного единорогом; в Николае Аполлоновиче Аблеухове, будто рыба, скользнувшая на мгновение по поверхности вод, – прошла дикая мысль: Аполлон Аполлонович, проживающий за порогом клейменной той двери, ведь и есть прободаемый рыцарь; а за эту мысль и во все туманно скользнуло, не поднимаясь к поверхности (протемнится так издали рыба); родовой старый герб относился ко всем Аблеуховым; и он, Николай Аполлонович, так же был прободаем – но кем прободаем?

Вся та мысленная галиматья пробежала в душе в одну десятую долю секунды: и уж там, и уж там, на панели – в тумане – увидел он спешащую к дому ту сухую фигурочку: та сухая фигурочка подбегала стремительно, – та сухая фигурочка, в которой... которую... которая издали перед ним предстала в виде заморыша-недоноска: с желтым-желтым лицом, истощенный, геморроидальный Аполлон Аполлонович Аб-

леухов, родитель, напоминал смерть в цилиндре; Николай Аполлонович – бывают же шальные мысли – представил себе фигурочку Аполлона Аполлоновича в момент исполнения супружеских отношений к матери, Анне Петровне: и Николай Аполлонович с новой силой почувствовал знакомую тошноту (ведь, в один из этих моментов он и был зачат).

Негодование охватило его: нет, пусть будет, что будет!

Между тем, фигурочка приближалась. Николай Аполлонович, к своему позору, увидел, что прилив его ярости, подогретый искусственно, гаснет и гаснет: знакомое замешательство овладело им, и...

И взору Аполлона Аполлоновича представилось неприятное зрелище: Николай Аполлонович, старообразный и какой-то весь злой, с желтым-желтым лицом, с воспаленными покрасна веками, с оттопыренною губою – Николай Аполлонович стремительно соскочил со ступенек крыльца и, переваливаясь по-утиному, бежал виновато навстречу родителю, с моргающим, избегающим взглядом и с протянутой из-под меха шинели надушенной рукою:

– «Доброе утро, папаша...»

Молчание.

– «Вот нежданная встреча, а я – от Цукатовых...»

Аполлон Аполлонович Аблеухов подумал, что этот вот с виду застенчивый юноша – юноша негодяй; но Аполлон Аполлонович Аблеухов конфузился этой мысли, особенно в присутствии сына; и, сконфузившись, Аполлон Аполлоно-

вич Аблеухов застенчиво бормотал:

– «Так-с, так-с: доброе утро, Коленька... Да, вот, – подите же – встретились... А? Да, да, да...»

И как прежде множество раз, точно так же и нынче, раздался тут в тумане голос сторожа, Николаича:

– «Здравия желаем-с, ваше высокопревосходительство!»

На крыльце, по обе стороны двери, ужасом разорвали грифончики свои клювовидные пасти; длинноперый каменный рыцарь в завитках рококо и с разорванной грудью прободался единорогом; чем слепительней и воздушней разлетались по небу розовоперстые предвестия дня, тем отчетливей тяжелели все выступы зданий; тем малиновой, пурпурной был сам пасть разевавший грифончик.

Двери разорвались; запах знакомого помещения охватил Аблеуховых; в отверстие двери просунулись жиловатые пальцы лакея: сам серый Семеныч, весь заспанный, в наспех накинутой куртке, схваченной в вороте семидесятилетней рукой, щурился, пропуская господ, от нестерпимого заневского блеска.

Аблеуховы как-то бочком пролетели в отверстие двери.

## **Красный, как огонь**

Оба знали, что им предстоит разговор; разговор этот назревал в долгие годы молчания; Аполлон Аполлонович, отдавая лакею цилиндр, пальто и перчатки, что-то здесь заме-

шался с калошами; бедный, бедный сенатор: разве он знал, что Николай Аполлонович по отношению к нему имеет то самое поручение. В равной степени Николай Аполлонович не мог догадаться, что в совершенстве известна родителю вся история красного домино. Оба в минуту ту вдыхали запахи знакомого помещения; на лакейскую, жиловатую руку мягко пал, серебрясь, пышный бобр; сонно как-то свалилась шинель – так-таки в своем домино и предстал Николай Аполлонович перед оком родителя. У Аполлона Аполлоновича, при виде этого домино в уме завертелись давно затверженные строчки:

Краски огненного цвета  
Брошу на ладонь,  
Чтоб предстал он в бездне света  
Красный, как огонь.

Точно такую ж, как у Семеныча, жиловатой рукой (только начисто вымытой) он пощупал бачки:

- «А... а... Красное домино?.. Скажите, пожалуйста!..»
- «Я был ряженым...»
- «Так-с... Коленька... так-с...»

Аполлон Аполлонович стоял перед Коленькой с какою-то горькой иронией, не то шамкая, а не то жуя свои губы; дрянно как-то, с иронией, собралась на лбу его кожа – в морщиночки; дрянно как-то она натянулась на черепе. Чувалось предстоящее объяснение: чувалось, что на древе их жизни вы-

росший плод уж созрел; вот сейчас он сорвется: сорвался и... – вдруг:

Аполлон Аполлонович уронил карандаш (у ступенек бархатной лестницы); Николай Аполлонович, следуя стародавнему навыку, бросился почтительно его поднимать; Аполлон Аполлонович в свою очередь, бросился упреждать услужливость сына, но споткнулся, упав на корточки и руками касаясь ступенек; быстро лысая голова его пролетела вниз и вперед; неожиданно оказавшись под пальцами протянувшего руки сына: Николай Аполлонович пред собою мгновенно увидел желтую жиловатую шею отца, напоминавшую рачий хвостик (сбоку билась артерия); косолапых движений своих Николай Аполлонович не рассчитал, неожиданно прикоснувшись к шее; теплая пульсация шеи испугала его, и отдернул он руку, но – поздно отдернул: под прикосновением его холодной руки (всегда чуть потеющей) Аполлон Аполлонович повернулся и увидел – тот самый взгляд; голова сенатора мгновенно передернулась тиком, кожа дрянно так собралась в морщинки над черепом и чуть дернулись уши. В своем домино Николай Аполлонович казался весь – огненным; и сенатор, как вертлявый японец, изучивший приемы Джу-Джицу, отбросился в сторону, распрямляясь вдруг на хрустящих коленках, – вверх, вверх и вбок...

Все это длилось мгновение. Николай Аполлонович молчаливо взял карандаш и подал сенатору.

– «Вот, папаша!»

Чистая мелочь, стукнувши их друг о друга, породила в обоих взрыв разнороднейших пожеланий, мыслей и чувств; Аполлон Аполлонович переконфузился безобразию только что бывшего: своего испуга в ответ на почтительность незнающей сыновней услуги (этот, весь красный, мужчина все же был его сыном: плотью от плоти его: и пугаться собственной плоти позорно, чего ж испугался он?); тем не менее безобразие было: он сидел *под* сыном на корточках и физически на себе ощущал *тот самый* взор. Вместе с конфузом Аполлон Аполлонович испытал и досаду: он приосанился, кокетливо изогнул свою талию, горделиво сжал губы в колечко, принимая в руки поднятый карандаш.

– «Спасибо, Коленька... Очень тебе благодарен... И желаю тебе приятного сна...»

Благодарность отца в тот же миг переконфузила сына; Николай Аполлонович почувствовал прилив крови к щекам; и когда он подумал, что он розовеет, он был уж багровый. Аполлон Аполлонович поглядел на сына украдкой; и, увидев, что сын багровеет, стал сам розовесть; чтобы скрыть эту розовость, он с кокетливой грацией полетел быстро-быстро по лестнице, полетел, чтобы тотчас почить в своей спальне, завернувшись в тончайшее полотно.

Николай Аполлонович очутился один на ступеньках бархатной лестницы, погруженный в глубокую и упорную думу: но голос лакея оборвал его мысленный ход.

– «Батюшки!.. Вот затмение-с!.. Память-то вовсе отшибло... Барин мой, милый: ведь, случилось-то что!..»

– «Что случилось?»

– «А такое, что – иии... Как сказать-то – не смею...»

На ступени сереющей лестницы, усталой бархатом (попираемым ногою министров), времени Николай Аполлонович; из окошка же, на то самое место, где споткнулся родитель, под ноги падала сеточка из пурпуровых пятен; эта сеточка из пурпуровых пятен почему-то напомнила кровь (кровь багрянула и на старинном оружии). Знакомая, постылая тошнота, только не в прежних (в ужасных) размерах, поднялась от желудка: не страдал ли он несварением пищи?

– «Уж такое случилось! Да – вот-с: барыня наша-то...»

– «Барыня наша, Анна Петровна-с...»

– «Приехали-с!!»

.....

Николай Аполлонович в этот миг с тошноты стал зевать: и громадное отверстие его рта ширилось на зарю: он стоял там, красный, как факел.

Старые губы лакея протянулись под белокурую шапку пышнейших и тончайших волос:

– «Приехали-с!»

– «Кто приехал?»

– «Анна Петровна-с...»

– «Какая такая?..»

– «Как какая?.. Родительница... Что это вы, барин-голуб-

чик, все равно, как чужой: матушка ваша...»

– «?»»

– «Из Гишпании в Петербурх возвратились...»

.....

– «Письмецо с посыльным прислали-с: остановились в гостинице... Потому – сами знаете... Положение их такое-с...»

– «?»»

– «Только что их высокопревосходительство, Аполлон Аполлонович, изволили выехать, как – посыльный: с письмом-с... Ну, письмо я – на стол, а посыльному в руки – двугривенник...»

– «Почитай, не прошло еще часу, как – Бог ты мой: за-  
явились вдруг сами-с!.. С достоверностью, видно, им было  
известно, что нетути на дому никого-с...»

.....

Перед ним поблескивал шестопер: пятно павшего воздуха багровело так странно; пятно павшего воздуха багровело мучительно: столб багровый тянулся от стены до окошка; в столбе плясали пылиночки и казались пунцовыми. Николай Аполлонович думал, что точно вот так же расплясалась в нем кровь; Николай Аполлонович думал, что и сам человек – только столб дымящейся крови.

.....

– «Позвонились... Отворяю я, значит, дверь... Вижу: неизвестная барыня, почтенная барыня; только простенько одетая; и вся – в черном... Я это им: „чего угодно-с, судары-

ня?“ А они на меня: „Митрий Семеныч, али не узнаешь?“ – Я же к ручке: „Матушка, мол, Анна Петровна...“

.....

Стоит первому встречному негодяю в человека ткнуть попросту лезвием, как разрежется белая, безволосая кожа (так, как режется заливной поросенок под хреном), а в виски стучащая кровь изольется вонючею лужею...

.....

– «Анна же Петровна – дай им, Боже, здоровья-с – посмотрели: посмотрели, иетга, оне на меня... Посмотрели оне на меня да и в слезы: „Вот хочу посмотреть, как вы тут без меня...“ Из ридикюльчика – ридикюльчик наших фасонов – повынимали платочек-с...»

– «У меня же, сами, небось, изволите знать, строжайший приказ: не пушать... Ну, только я барыню нашу пустил... А оне...»

Старичок выпучил глазки; он остался с широко открытым ртом и, верно, подумал, что в лаковом доме господи уже давно походили с ума: вместо всякого удивления, сожаления, радости – Николай Аполлонович полетел вверх по лестнице, развевая в пространство причудливо ярко-красный атлас, будто хвост беззаконной кометы.

.....

Он, Николай Аполлонович... Или не он? Нет, он – он: он им, кажется, тогда говорил, что постылого старика ненавидит он; что постылый старик, носитель бриллиантовых зна-

ков, просто-напросто есть отпетый мошенник... Или это он все говорил про себя?

Нет – им, им!..

Николай Аполлонович оттого полетел вверх по лестнице, прервавши Семеныча, что он ясно представил себе: одно скверное действие негодяя над негодяем; вдруг ему представился негодяй; лязгнули в пальцах у этого негодяя блиставшие ножницы, когда негодяй этот мешковато бросился простригать сонную артерию костлявого старикашки; у костлявого старикашки лоб собрался в морщинки; у костлявого старика была теплая, пульсом бьющая шея и... какая-то рачья; негодяй лязгнул ножницами по артерии костлявого старикашки, и вонючая липкая кровь облила и пальцы, и ножницы, старикашка же – безбородый, морщинистый, лысый – тут заплакал навзрыд и вплотную уставился прямо в очи его, Николая Аполлоновича, умоляющим выражением, приседая на корточки и силясь зажать трясущимся пальцем то отверстие в шее, откуда с чуть слышными свистами красные струи все – прядали, прядали, прядали...

Этот образ столь ярко предстал перед ним, будто он был уже только что (ведь, когда старик упал на карачки, то он мог бы во мгновение ока сорвать со стены шестопер, размахнуться, и...). Этот образ столь ярко предстал перед ним, что он испугался.

Оттого-то вот Николай Аполлонович бросился в бегство по комнатам, мимо лаков и блесков, топоча каблуками и

рискуя вызвать сенатора из далекой опочивальни.

## Дурной знак

Если я их сиятельствам, превосходительствам, милостивым государям и гражданам предложил бы вопрос, что же есть квартира наших имперских сановников, то, наверное, эти почтенные звания мне ответили б прямо в том утвердительном смысле, что квартира сановников есть, во-первых, пространство, под которым мы все разумеем совокупности комнат; эти комнаты состоят: из единственной комнаты, называемой залой и залом, что – заметьте себе – все равно; состоят они далее из комнаты для приема многообразных гостей; и протчая, протчая, протчая (остальное здесь – мелочи).

Аполлон Аполлонович Аблеухов был действительным тайным советником; Аполлон Аполлонович был особой первого класса (что опять-таки – то же), наконец: Аполлон Аполлонович Аблеухов был сановник империи; все то видели мы с первых строк нашей книги. Так вот: как сановник, как даже чиновник империи, он не мог не селиться в пространствах, имеющих три измерения; и он селился в пространствах: в пространствах кубических, состоявших, заметьте себе: из зала (иль – залы) и протчего, протчего, протчего, что при беглом осмотре успели мы наблюсти (остальное здесь – мелочи); среди этих-то мелочей был его кабинет,

были – так себе – комнаты.

Эти, так себе, комнаты осветились уж солнцем; и стреляла уж в воздухе инкрустация столиков, и блестели уж весело зеркала: и все зеркала засмеялись, потому что первое зеркало, что глядело в зал из гостиной, отразило белый, будто в муке, лик Петрушки, сам балаганный Петрушка, ярко-красный, как кровь, разбежался из зала (топал шаг его); тотчас зеркало перекинуло зеркалу отражение; и во всех зеркалах отразился балаганный Петрушка: то был Николай Аполлонович, с разбегу влетевший в гостиную и там вставший как вкопанный, убегая глазами в холодные зеркала, потому что он видел: первое зеркало, что глядело в зал из гостиной, Николаю Аполлоновичу отразило некий предметик: смертный остов в застегнутом сюртуке, обладающий черепом, от которого вправо и влево загнулось по голому уху и по маленькой бачке; но меж бак и ушей показался больше, чем следует, заостренный носик; над заостренным носиком две темные орбиты поднялись укоризненно...

Николай Аполлонович понял, что Аполлон Аполлонович сына здесь поджидал.

Аполлон Аполлонович вместо сына увидел в зеркалах просто-напросто балаганную красную марионетку; и увидевши балаганную марионетку, Аполлон Аполлонович замер; балаганная марионетка остановилась средь зала так странно-растерянно...

Тогда Аполлон Аполлонович неожиданно для себя при-

творил двери в зало; отступление было отрезано. Что он начал, надо было скорее кончать. Разговор по поводу странного поведения сына Аполлон Аполлонович рассматривал, как тягостный хирургический акт. Как хирург, подбегающий к операционному столику, на котором разложены ножички, пилочки, сверла, – Аполлон Аполлонович, потирая желтые пальцы, подошел вплотную тут к Nicolas, остановился, и, ища избегающих глаз, бессознательно вынул футляр от очков, повертел между пальцами, спрятал, как-то сдержанно кашлянул, помолчал и сказал:

– «Так-то вот: домино».

В то же время подумал он, что вот этот с виду застенчивый юноша, рот оскаливший до ушей и прямо в глаза не глядящий *теми самыми* взорами – этот застенчивый юноша и наглое петербургское домино, о котором писала жидовская пресса, есть одно и то же лицо; что он, Аполлон Аполлонович, особа первого класса и столбовой дворянин – он его породил; в это самое время Николай Аполлонович как-то смущенно заметил:

– «Да, вот... многие были в масках... Так вот и я себе тоже... костюмчик...»

В это самое время Николай Аполлонович думал, что вот это двухаршинное тельце родителя, составлявшее в окружности не более двенадцати с половиной вершков, есть центр и окружность некоего бессмертного центра: там засело, ведь, «я»; и любая доска, сорвавшись не вовремя, этот центр могла

придавить: придавить окончательно; может быть, под влиянием этой воспринятой мысли Аполлон Аполлонович пробежал быстро-быстро к тому отдаленному столику, пробарабанил на нем двумя пальцами, в то время как Николай Аполлонович, наступая, виновато смеялся:

– «Было, знаешь ли, весело... Танцевали мы, знаешь ли...»

А сам-то он думал: кожа, кости да кровь, без единого мускула; да, но эта преграда – кожа, кости да кровь – по велению судьбы должна разорваться на части; если это будет сегодня избегнуто, будет с завтрашним вечером опять набегать, чтобы завтрашней ночью...

Тут Аполлон Аполлонович, поймавший в блистающем зеркале тот самый взгляд исподлобья, повернулся на каблучках и поймал кончик фразы.

– «Потом, знаешь ли, мы играли в *petit-jeu*».

Аполлон Аполлонович, глядя на сына в упор, ничего не ответил; и *тот самый* взгляд исподлобья уперся в паркетные доски пола... Аполлон Аполлонович вспомнил: ведь, этот посторонний «Петрушка» был маленьким тельцем; тельце это, бывало, он с отеческой нежностью таскал на руках; белокудрый мальчоночек, надев колпачок из бумаги, взбирался на шею. Аполлон Аполлонович, детонируя и срываясь, с хрипотой напевал:

Дурачок-простачок,

Коленька танцует:  
Он надел колпачок,  
На коне гарцует.

После он подносил ребенка вот к этому зеркалу; в зеркале отражались и старый, и малый; он показывал мальчику отражения, приговаривая:

– «Посмотри-ка, сыночек: чужие там...»

Иногда Коленька плакал и потом кричал по ночам. А теперь, а теперь? Аполлон Аполлонович увидел не тельце, а тело: чужое, большое... Чужое ли?

Аполлон Аполлонович зациркулировал по гостиной, и вперед, и назад:

– «Видишь ли, Коленька...»

Аполлон Аполлонович опустился в глубокое кресло.

– «Мне, Коленька, надо... То есть, не мне, а – надеюсь – нам надо... надо с тобой объяснить: располагаешь ли ты сейчас достаточным временем? Вопрос, и волнующий, заключается в том, что»... Аполлон Аполлонович споткнулся на полуслове, подбежал снова к зеркалу (в это время забили куранты), и из зеркала на Николая Аполлоновича посмотрела смерть в сюртуке, поднялся укоризненный взор, пробарабанили пальцы; и зеркало с хохотом лопнуло: поперек его молнией с легким хрустом пролетела кривая игла; и застыла навеки там серебристым зигзагом.

Аполлон Аполлонович Аблеухов бросил взоры на зерка-

ло, и зеркало раскололось; суеверы сказали бы:

– «Дурной знак, дурной знак...»

Кончено, совершилось: разговор предстоял.

Николай Аполлонович всеми способами, очевидно, старался на возможно большее время оттянуть объяснение; а с сегодняшней ночи объяснение было излишне: все и так объяснилось бы. Николай Аполлонович пожалел, что он вовремя не удрал из гостиной (уже сколько часов агония все тянется, тянется: и под сердцем его что-то пухнет, пухнет и пухнет); в своем ужасе он испытывал странное сладострастие: от отца не мог оторваться.

– «Да, папаша: я признаться сказать, объяснения нашего ждал».

– «Аа... ты ждал?»

– «Да, я ждал».

– «Ты свободен?»

– «Да, я свободен».

От отца не мог оторваться: перед ним... Но здесь я должен сделать краткое отступление.

О, достойный читатель: мы явили наружность носителя бриллиантовых знаков в утрированных, слишком резких чертах, но без всякого юмора; мы явили наружность носителя бриллиантовых знаков лишь так, как она предстала бы всякому постороннему наблюдателю, – а вовсе не так, как она несомненно открылась бы и себе, и нам: мы, ведь, к ней присмотрелись; мы проникли в донельзя потрясенную душу

и в ярые вихри сознания; не мешает же напомнить читателю вид той самой наружности в самых общих чертах, потому что мы знаем: каков видимый вид, такова же и суть. Здесь достаточно лишь заметить, что если бы эта суть нам представала, что если бы перед нами промчались все эти вихри сознания, разорвавши лобные кости, и если бы мы могли холодно вскрыть синие сухожильные вздутия, то... Но – молчание. Словом, словом: посторонний взор здесь увидел бы, на этом вот месте, остов старой гориллы, затянутый в сюртук...

– «Да, я свободен...»

– «В таком случае, Коленька, походи к себе в комнату: соберись прежде с мыслями. Если ты найдешь в себе нечто, что не мешало бы нам обсудить, приходи ко мне в кабинет».

– «Слушаю, папа...»

– «Да, кстати:ними с себя эти балаганные тряпки... Говоря откровенно, мне все это крайне не нравится...»

– «?»

– «Да, крайне не нравится! Не нравится в высшей степени!!»

Аполлон Аполлонович уронил свою руку; две желтых костяшки отчетливо пробарабанили на ломберном столике.

– «Собственно», – запутался Николай Аполлонович, – «собственно, надо бы мне...»

Но хлопнула дверь: Аполлон Аполлонович проциркулировал в кабинетик.

## У столика

Николай Аполлонович так и остался у столика: его взоры забегали по листикам бронзовой инкрустации, по коробочкам, полочкам, выходящим из стен. Да, вот тут он играл; тут подолгу он сиживал – на этом вот кресле, где на бледно-атласной лазури сиденья завивались гирляндочки; и все так же, как прежде, висела копия с картины Давида «*Distribution des aigles par Napoléon Premier*». Картина изображала великого императора в венке и в порфире, простиравшего руку к собранию маршалов.

Что он скажет отцу? Снова мучительно лгать? Лгать, когда уже ложь бесполезна? Лгать, когда его положение ныне исключает всякую ложь? Лгать... Николай Аполлонович вспомнил, как лгал он в годы далекого детства.

Вот и рояль, стильный, желтый: прикоснулся к паркету узких ножек колесиками. Как, бывало, садилась здесь матушка, Анна Петровна, как старые звуки Бетховена потрясали здесь стены: старинная старина, взрываясь и жалуясь звуками, тем же вставала томлением в младенческом сердце, что и бледнеющий месяц, который восходит, весь красный, и выше возносит над городом свою бледно-палевую печаль...

Не пора ли идти объясняться – в чем объясняться?

В этот миг в окна глянуло солнце, яркое солнце бросало там сверху свои мечевидные светочи: золотой тысячерукий

титан из старины бешено занавешивал пустоту, освещая и шпицы, и крыши, и струи, и камни, и к стеклу приникающий божественный, склеротический лоб; золотой тысячерукий титан немо плакался там на свое одиночество: «Приходите, идите ко мне – к старинному солнцу!»

Но солнце ему показалось громаднейшим тысячелапым тарантулом, с сумасшедшею страстностью нападавшим на землю...

И невольно Николай Аполлонович зажмурил глаза, потому что все вспыхнуло: вспыхнул ламповый абажур; ламповое стекло осыпалось аметистами; искорки разблистались на крыле золотого амура (амур под зеркальной поверхностью свое тяжелое пламя просунул в золотые розаны венка); вспыхнула поверхность зеркал – да: зеркало расколосось.

Суеверы сказали бы:

– «Дурной знак, дурной знак...»

В это время, среди всего золотого и яркого, за спиной Аблеухова встало неяркое очертание; по всему такому немому, как солнечный зайчик, пробежало явственно бормотание.

– «А как же... мы...»

Николай Аполлонович поднял свой лик...

– «Как же мы... с барыней?»

И увидел Семеныча.

Про возвращение матери он и вовсе забыл; а она, мать, возвратилась; возвратилась с ней старина – с церемонностью, сценами, с детством и с двенадцатью гувернантками,

из которых каждая собою являла олицетворенный кошмар.

– «Да... Не знаю я, право...»

Перед ним Семеныч озабоченно пожевывал свои старые губы.

– «Барину, что ли, докладывать?»

– «Разве папаша не знает?»

– «Не осмелился я...»

– «Так идите, скажите...»

– «Уж пойду... Уж скажу...»

И Семеныч пошел в коридор.

Старое возвращалось: нет, старое не вернется; если старое возвращается, то оно глядит по-иному. И старое на него поглядело – ужасно!

Все, все, все: этот солнечный блеск, стены, тело, душа – все провалится; все уж валится, валится; и – будет: бред, бездна, бомба.

Бомба – быстрое расширение газов... Круглота расширения газов вызвала в нем одну позабытую дикость, и безвластно из легких его в воздух вырвался вздох.

В детстве Коленька бредил; по ночам иногда перед ним начинал попрыгивать эластичный комочек, не то – из резины, не то – из материи очень странных миров; эластичный комочек, касался пола, вызывал на полу тихий лаковый звук: пепп-пеппеп; и опять: пепп-пеппеп. Вдруг комочек, разбухая до ужаса, принимал всю видимость шаровидного толстяка-господина; господин же толстяк, став томительным ша-

ром, – все ширился, ширился и грозил окончательно навалиться, чтоб лопнуть.

И пока надувался он, становясь томительным шаром, чтоб лопнуть, он попрыгивал, багровел, подлетал, на полу вызывая тихий, лаковый звук:

– «Пепп...»

– «Пеппович...»

– «Пепп...»

И он разрывался на части.

А Николенька, весь в бреду, принимался выкрикивать праздные ерундовские вещи – все о том, об одном: что и он округляется, что и он – круглый ноль; все в нем нолилось – ноллилось – ноллл...

Гувернантка же, Каролина Карловна, в ночной белой кофточке, с чертовскими папильотками в волосах, принявших оттенок с ним только что бывшего ужаса, – на крик вскочившая из своей пуховой постели балтийская немка, – Каролина Карловна на него сердито смотрела из желтого круга свечи, а круг – ширился, ширился, ширился. Каролина же Карловна повторяла множество раз:

– «Успокойся, малинка Колинка: это – рост...»

Не глядела, а – карлилась; и не рост – расширение: ширился, пучился, лопался: —

Пепп, Пеппович, Пепп...

– «Что я, брежу?»

Николай Аполлонович приложил ко лбу свои холодные

пальцы: будет – бред, бездна, бомба.

А в окне, за окном – издалека-далека, где принизились берега, где покорно присели холодные островные здания, немо, остро, мучительно, немилосердно уткнулся в высокое небо петропавловский шпиц.

По коридору прошел шаг Семеныча. Медлить нечего: родитель, Аполлон Аполлонович, его ждет.

## **Карандашные пачки**

Кабинет сенатора был прост чрезвычайно; посреди, конечно, высился стол; и это не главное; несравненно важнее здесь вот что: шли шкафы по стенам; справа шкаф – первый, шкаф – третий, шкаф – пятый; слева: второй, четвертый, шестой; полные полки их гнулись под планомерно расставленной книгою; посредине же стола лежал курс *«Планиметрии»*.

Аполлон Аполлонович пред отходом к сну обычно развертывал книжечку, чтобы сну непокорную жизнь в своей голове успокоить в созерцании блаженнейших очертаний: параллелепипедов, параллелограммов, конусов, кубов и пирамид.

Аполлон Аполлонович опустился в черное кресло; спинка кресла обитая кожею, всякого бы манила откинуться, а тем более бы манила откинуться бессонным томительным утром. Аполлон Аполлонович Аблеухов был сам с собой чо-

порен; и томительным утром он сидел над столом, совершенно прямой, поджидая к себе своего негодного сына. В ожидании ж сына он выдвинул ящичек; там под литерой «р» он достал дневничок, озаглавленный «*Наблюдения*»; и туда, в «*Наблюдения*», стал записывать он свои опытом искушенные мысли. Перо заскрипело: «Государственный человек отличается гуманизмом... Государственный человек...»

Наблюдение начиналось от прописи; но на прописи его оборвали; за спиной его раздался испуганный вздох; Аполлон Аполлонович позволил себе сильнейший нажим, повернувшись (перо обломалось), он увидел Семеныча.

– «Барин, ваше высокопревосходительство... Осмелюсь вам доложить (давеча-то запамятовал)...»

– «Что такое!»

– «А такое, что – иии... Как сказать-то, не знаю...»

– «А – так-с, так-с...»

Аполлон Аполлонович вырезался всем корпусом, являясь для внешнего наблюдения совершеннейшим сочетанием из линий: серых, белых и черных; и казался офортом.

– «Да вот-с: барыня наша-с, – осмелюсь вам доложить, – Анна Петровна-с...»

Аполлон Аполлонович сердито вдруг повернул к лакею свое громадное ухо...

– «Что такое – аа?.. Говорите громче: не слышу».

Дрожащий Семеныч склонился к самому бледно-зеленому уху, глядящему на него выжидательно:

– «Барыня... Анна Петровна-с... Вернулись...»

– «?...»

– «Из Гишпании – в Питербурх...»

.....

– «Так-с, так-с: очень хорошо-с!...»

.....

– «Письмецо с посыльным прислали-с...»

– «Остановились в гостинице...»

– «Только что ваше высокопревосходительство изволили выехать-с, как посыльный-с, с письмом-с...»

– «Ну, письмо я на стол, а посыльному в руку – двугривенный...»

– «Не прошло еще часу, вдруг: слышу я йетта – звонят-ся...»

.....

Аполлон Аполлонович, положивши руку на руку, сидел в совершенном бесстрастии, без движенья; казалось, сидел он без мысли: равнодушно взгляд его падал на книжные корешки; с книжного корешка золотела внушительно надпись: «Свод Российских Законов. Том первый». И далее: «Том второй». На столе лежали пачки бумаг, золотела чернильница, примечались ручки и перья; на столе стояло тяжелое пресс-папье в виде толстой подставочки, на которой серебряный мужичок (верноподданный) поднимал во здравие братину. Аполлон Аполлонович перед перьями, перед ручками, перед пачечками бумаг, скрестив руки, сидел без дви-

женья, без дрожи...

.....

– «Отворяю я, ваше высокопревосходительство, дверь: неизвестная барыня, почтенная барыня...»

– «Я это им: “Чего угодно?..” Барыня же на меня: “Митрий Семеныч...”»

– «Я же к ручке: матушка, мол, Анна Петровна...»

– «Посмотрели они, да и в слезы...»

– «Говорят: “Вот хочу посмотреть, как вы тут без меня...”»

.....

Аполлон Аполлонович ничего не ответил, но снова выдвинул ящик, вынул дюжину карандашиков (очень-очень дешевых), взял пару их в пальцы – и захрустела в пальцах сенатора карандашная палочка. Аполлон Аполлонович иногда выражал свою душевную муку этим способом: ломал карандашные пачки, для этого случая тщательно содержимые в ящичке под литерой «б е».

– «Хорошо... Можете идти...»

.....

Но, хрустя карандашными пачками, все же он достойно сумел сохранить беспристрастный свой вид; и никто, никто не сказал бы, что чопорный барин, незадолго до этого мига, задыхаясь и чуть ли не плача, провожал по слякоти кухаркину дочь; никто, никто б не сказал, что огромная лобная выпуклость так недавно таила желанье смести непокорные

толпы, опоясавши землю, как цепью, железным проспектом.

А когда Семеныч ушел, Аполлон Аполлонович, бросив в корзинку обломки карандашей, откинулся головой прямо к спинке черного кресла: старое личико помолодело; быстро он стал поправлять на шее свой галстук; быстро как-то вскочил и забегал, циркулируя от угла до угла: небольшого росточку и какой-то вертлявенький, Аполлон Аполлонович всем напомнил бы сына: еще более он напомнил фотографический снимок с Николая Аполлоновича тысяча девятьсот четвертого года.

В это время из дальнего помещения, из – так себе – комнат, раздался удар за ударом; начинаясь где-то вдали, приближались удары; точно кто-то там шел, металлический, грозный; и раздался удар, раздробляющий все. Аполлон Аполлонович невольно остановился и хотел бежать к двери, запереть на ключ кабинет, но... задумался, остался на месте, потому что удар, раздробляющий все, оказался звуком захлопнутой двери (звук шел из гостиной); несказанно мучительно шел кто-то к двери, громко кашляя и шлепая неестественно туфлями: страшная старина, как на нас из глубин набегающий вопль, вдруг окрепла в памяти звуками стародавнего пения, под которое Аполлон Аполлонович некогда впервые влюбился в Анну Петровну:

– «Уйми-теесь... ваалнее-ния... стра-ааа-стии...»

«Уу-снии... бее-знааа-дее-жнаа-ее сее-ее-рдце...»

Так почему же, так что же?

Дверь отворилась: на пороге ее стоял Николай Аполлонович, в мундирчике, даже при шпаге (так он был на балу, только снял домино), но в туфлях и в пестрой татарской ермолке.

– «Вот, папаша, и я...»

Лысая голова повернулась на сына; ища подходящего слова, защелкал он пальцами:

– «Видишь ли, Коленька», – Аполлон Аполлонович, вместо речи о домино (до домино ли теперь?) заговорил о другом обстоятельстве: об обстоятельстве, принудившем только что его обратиться к перевязанной пачке карандашей.

– «Видишь ли, Коленька: до сих пор я с тобой не обменялся известием, о котором ты, мой друг, без сомнения, слышал... Твоя мать, Анна Петровна, вернулась...»

Николай Аполлонович вздохнул облегченно и подумал: «Так вот оно что», но притворился взволнованным:

– «Как же, как же: я – знаю...»

Действительно: в первый раз Николай Аполлонович себе точно представил, что мать его, Анна Петровна, вернулась; но, представивши это, принялся за старое: за созерцание вдавленной груди, шеи, пальцев, ушей, подбородка перед ним бегущего старика... Эти ручки, эта шейка (какая-то рачья)! Испуганный, переконфуженный вид и чисто девичья стыдливость, с которой старик...

– «Анна Петровна, друг мой, совершила поступок, который... который... так сказать, трудно... трудно мне, Коленька, с достаточным хладнокровием квалифицировать...»

Что-то в углу зашуршало: затрепеталась, забилась там, пискнула – мышь.

– «Словом, поступок этот тебе, надеюсь, известен; этот поступок я до сих пор, – ты это заметил, – воздерживался при тебе обсуждать, во внимание к твоим естественным чувствам...»

Естественным чувствам! Чувства эти были во всяком случае неестественны...

– «К твоим естественным чувствам...»

– «Да, спасибо, папаша: я вас понимаю...»

– «Конечно», – Аполлон Аполлонович засунул два пальца в жилетный карманчик и снова забежал по диагонали (от угла к углу). – «Конечно: возвращение в Петербург твоей матери для тебя неожиданность».

(Аполлон Аполлонович остановил взгляд на сыне, приподнявшись на цыпочках).

– «Полная...»

– «Неожиданность для всех нас...»

– «Кто бы мог подумать, что мама вернется...»

– «То же самое и я говорю: кто бы мог подумать», – Аполлон Аполлонович растерянно развел руками, поднял плечи, раскланялся перед полом, – «что Анна Петровна вернется...» – И забежал опять: – «Эта полная неожиданность может окончиться, как ты имеешь все основания полагать, изменением (Аполлон Аполлонович многозначительно поднял свой палец, гремя на всю комнату басом, точно он пред тол-

пой произносил важную речь) нашего домашнего status quo, или же (он повернулся) все останется по-старинному».

– «Да, я так полагаю...»

– «В первом случае – милости просим».

Аполлон Аполлонович раскланялся двери.

– «Во втором случае, – Аполлон Аполлонович растерянно заморгал, – ты ее увидишь, конечно, но я... Я... Я...»

И Аполлон Аполлонович поднял на сына глаза; глаза были грустные: глаза трепетавшей, затравленной лани.

– «Я, Коленька, право, не знаю: но думаю... Впрочем, это так трудно тебе объяснить, приняв во внимание естественность чувства, которое...»

Николай Аполлонович затрепетал от взгляда сенатора, с которым тот к нему повернулся, и странное дело: он почувствовал неожиданный прилив – можете себе представить чего?

Любви? Да, любви к этому старому деспоту, обреченному разлететься на части.

Под влиянием этого чувства он рванулся к отцу: еще миг, он упал бы пред ним на колени, чтоб каяться и молить о пощаде; но старик, при виде встречного движения сына, вновь поджал свои губы, отбежал как-то вбок и брезгливо стал помахивать ручками:

– «Нет, нет, нет! Оставьте, пожалуйста... Да-с, я знаю, что надо вам!.. Вы меня слышали, потрудитесь теперь меня оставить в покое».

Повелительно по столу простучали два пальца; рука поднялась и показала на дверь:

– «Вы, милостивый государь, изволите водить меня за нос; вы, милостивый государь, мне не сын; вы – ужаснейший негодяй!»

Все это Аполлон Аполлонович не сказал, а воскликнул; эти слова вырвались неожиданно. Николай Аполлонович не помнил, как он выскочил в коридор с прежнею тошнотой и с течением гадливых мыслей: эти пальцы, эта шейка и два оттопыренных уха станут – кровавою слякотью.

## **Пéпп Пéппович Пéпп**

Чуть ли не лбом Николай Аполлонович ударился в дверь своей комнаты; и вот щелкнуло электричество (для чего оно щелкнуло – солнце, солнце смотрело там в окна); на ходу опрокинувши стул, подбежал он к столу:

– «Ай, ай, ай... Где же ключик?»

– «?»

– «!»

– «А!..»

– «Ну, вот-с...»

– «Хорошо-с...»

Николай Аполлонович так же, как Аполлон Аполлонович, сам с собой разговаривал.

И – да: торопился... Выдвигал неподатливый ящик, а

ящик не слушался; он из ящика кинул на стол пачечки перевязанных писем; большой кабинетный портрет оказался под пачками; взгляд скользнул по портрету; и оттуда бросила ответный свой взгляд какая-то миловидная дамочка: поглядела с усмешкой – в сторону полетел кабинетный портрет; под портретом же был узелочек; с деланным равнодушием взвесил его на ладони: там была какая-то тяжесть; поскорей опустил.

Николай Аполлонович быстро стал развязывать узлы полотенца, потянувши за вышитый кончик, изображавший фазана: небольшого росточку – вертлявенький – Николай Аполлонович теперь напомним сенатора: еще более он напомним фотографический снимок сенатора тысяча восемьсот шестидесятого года.

Но чего суетился он? Спокойствия, о побольше спокойствия! Все равно, дрожащие пальцы не развязали узла; да и нечего было развязывать: все и так было ясно. Тем не менее, узелок развязал; его изумление не имело границ:

– «Бонбоньерка...»

– «А!...»

– «Ленточка!...»

– «Скажите, пожалуйста?»

Николай Аполлонович так же, как Аполлон Аполлонович, сам с собой разговаривал.

А когда он ленту сорвал, то надежда разбилась (он на что-то надеялся), потому что в ней – в бонбоньерке, под розовой

ленточкой – вместо сладких конфет от Балле заключалась простая жестяночка; крышка жестяночки обожгла его палец неприятнейшим холодком.

Тут, попутно, заметил он часовой механизм, приделанный сбоку: надо было сбоку вертеть металлическим ключиком, чтобы острая черная стрелка стала на назначенный час. Николай Аполлонович глухо почувствовал встающую в его сознании уверенность, долженствующую доказать его дряньность и слабость: он почувствовал, что повернуть этот ключик никогда он не сможет, ибо не было средств остановить пущенный в ход механизм. И чтоб тут же отрезать себе всякое дальнейшее отступление, Николай Аполлонович тотчас же заключил металлический ключик меж пальцев; оттого ли, что дрогнули пальцы, оттого ли, что Николай Аполлонович, почувствовав головокружение, свалился в ту самую бездну, которую он хотел всею силой души избежать – только, только: ключик медленно повернулся на час, потом повернулся на два часа, а Николай Аполлонович... сделал невольное антраша: отлетел как-то в сторону; отлетев как-то в сторону, он опять покосился на столик: так же все на столе продолжала стоять жестяная коробочка из-под жирных сардинок (он однажды объелся сардинками и с тех пор их не ел); сардинница, как сардинница: блестящая, круглогранная...

Нет – нет – нет!

Не сардинница, а сардинница ужасного содержания!

Металлический ключик уже повернулся на два часа, и

особая, уму непостижная жизнь в сардиннице уже вспыхнула; и сардинница хоть и та ж— да не та; там наверно ползут: часовая и минутная стрелки; суетливая секундная волосинка заскакала по кругу, вплоть до мига (этот миг теперь недалек) — до мига, до мига, когда... —

— ужасное содержание сардинницы безобразно вдруг вспучится; кинется — расширяться без меры; и тогда, и тогда: разлетится сардинница...

— струи ужасного содержания как-то прытко раскинутся по кругам, разрывая на части с бурным грохотом столик: что-то лопнет в нем, хлопнув, и тело — будет тоже разорвано; вместе с щепками, вместе с брызнувшим во все стороны газом оно разбросается омерзительной кровавою слякотью на стенных холодных камнях... —

— в сотую долю секунды все то совершится: в сотую долю секунды провалятся стены, а ужасное содержание, ширясь, ширясь и ширясь, свиснет в тусклое небо щепками, кровью и камнем.

В тусклое небо стремительно разовьются косматые дымы, впусив хвосты на Неву..

Что ж он сделал, что сделал он?

На столе, ведь, пока еще все стояла коробочка; раз он ключ повернул, надо было немедленно схватить ту коробочку, положить ее на должное место (например — в белой спаленке под подушку); или тотчас же раздавить под пятою. Но упрятать ее в должном месте, под взбитой отцовской подуш-

кою, чтобы старая, лысая голова, утомленная только что бывшим, упала с размаху на бомбу, – нет, нет, нет: на это он не способен; предательство это.

Раздавить под пятой?

Но при этой мысли ощутил он нечто такое, от чего его уши положительно дернулись: он испытывал столь огромную тошноту (от семи выпитых рюмок), точно бомбу он проглотил, как пилюлю; и теперь под ложечкой что-то вспучилось: не то – из резины, Не то – из материи очень странных миров...

Никогда не раздавит он, никогда.

Остается бросить в Неву, но на это есть время: стоит только раз двадцать повернуть еще ключик; и *пока* все отсрочится; раз он ключ повернул, надо было немедленно растянуть то *пока*; но он медлил, в совершенном бессилии опустившись в кресло; тошнота, странная слабость, дремота одолевали ужасно; а ослабшая мысль, отрываясь от тела, рисовала бессмысленно Николаю Аполлоновичу все какие-то дрянные, праздные, бессильные арабески... погружаясь в дремоту.

.....

Николай Аполлонович был человек просвещенный; Николай Аполлонович не бессмысленно посвятил философии свои лучшие годы жизни; предрассудки с него посвалились давно, и Николай Аполлонович был решительно чужд волхвованию и всяческим чудесам; волхвование и всякие чудеса затемняли (почему он думает о постороннем, надо думать

об этом... О чем думать? Николай Аполлонович силился из дремоты восстать; и восстать он не мог)... затемняли... всякие чудеса... представление об источнике совершенства; для философа источником совершенства была Мысль: так сказать, Бог, то есть Совершенное Правило... Законодатели же великих религий разнообразные правила выражали в образной форме; законодателей великих религий Николай Аполлонович, так сказать, уважал, не веря, само собой разумеется, их божественной сущности.

Да: почему о религии? Есть ли время подумать... Ведь, совершилось: скорей... Что совершилось?.. Последнее усилие Николая Аполлоновича восстать из дремоты не увенчалось успехом; ни о чем он не вспомнил; все показалось спокойным... до обыденности, и ослабшая его мысль, отрываясь от тела, рисовала бессмысленно все какие-то дрянные, праздные, бессильные арабески.

Будду Николай Аполлонович Аблеухов особенно уважал, полагая, что буддизм превзошел все религии и в психологическом, и в теоретическом отношении; в психологическом – научая любить и животных; в теоретическом: логика развивалась любовно тибетскими ламами. Так: Николай Аполлонович вспомнил, что он когда-то читал логику Дармакирти с комментарием Дармотарры...

Это – во-первых.

Во-вторых: во-вторых (замечаем мы от себя), Николай Аполлонович Аблеухов был человек бессознательный (не

Николай Аполлонович номер первый, а Николай Аполлонович номер второй); от поры до поры, между двух подъездных дверей на него нападало (как и на Аполлона Аполлоновича) одно странное, очень странное, чрезвычайно странное состояние: будто все, что было за дверью, было не тем, а иным: каким, – этого Николай Аполлонович сказать бы не мог. Вообразите лишь, что за дверью – нет ничего, и что если дверь распахнуть, то дверь распахнется в пустую, космическую безмерность, куда остается... разве что кинуться вниз головой, чтоб лететь, лететь и лететь – и куда пролетевши, узнаешь, что та безмерность есть небо и звезды – те же небо и звезды, что видим мы над собой, и видя – не видим. Туда остается лететь мимо странно недвижных, теперь немерцающих звездочек и багровых планетных шаров – в абсолютном ноле, в атмосфере двухсот семидесяти трех градусов холода. То же Николай Аполлонович испытывал вот теперь.

Странное, очень странное полусонное состояние.

## **Страшный Суд**

Вот в таком состоянии он сидел перед сардинницей: видел – не видел – он; слышал – не слышал; будто в ту неживую минуту, когда в черное объятие кресла грянулось это усталое тело, грянулся этот дух прямо с паркетиков пола в неживое какое-то море, в абсолютный нуль градусов; и видел – не видел: нет, видел. Когда усталая голова склонилась неслыш-

но на стол (на сардинницу), то в открытую дверь коридора гляделось бездонное, странное, что Николай Аполлонович постарался откинуть, переходя к текущему делу: к далекому астральному путешествию, или сну (что заметим мы – то же); а открытая дверь продолжала зиять среди текущего, открывая в текущее свою нетекущую глубину: космическую безмерность.

Николаю Аполлоновичу чудилось, что из двери, стоя в безмерности, на него поглядели, что какая-то там просовывалась голова (стоило на нее поглядеть, как она исчезала): голова какого-то бога (Николай Аполлонович эту голову отнес бы к головам деревянных божков, каких встретите вы и поныне у северо-восточных народностей, искони населяющих тусклые тундры России). Ведь таким же точно божкам, может быть, в старинные времена поклонялись его киргиз-кайсацкие предки; эти киргиз-кайсацкие предки, по преданию, находились в сношении с тибетскими ламами; в крови Аб-Лай-Уховых они копошились изрядно. Не оттого ли Николай Аполлонович мог испытывать нежность к буддизму? Тут сказалась наследственность; наследственность прилиwała к сознанию; в склеротических жилах наследственность билась миллионами кровавых желтых шариков. И теперь, когда открытая дверь Аблеухову показала безмерность, он отнесся к этому весьма странному обстоятельству с достойным хладнокровием (ведь, это уж было): опустил в руки голову.

Миг, – и он бы спокойно отправился в обычное астраль-

ное путешествие, развивая от брэнной своей оболочки туманный, космический хвост, пронизающий стены в безмерное, но сон оборвался: несказанно, мучительно, немо шел кто-то к двери, взрывая ветрами небытия: страшная старина, как на нас налетающий вопль бегущего таксомотора, вдруг окрепла звуками старинного пения.

Это пение Николай Аполлонович верней отгадал, чем узнал:

– «Уймии-теесь... ваа-лнее-ния страа-аа-стии...»

Это же незадолго пред тем ревела машина:

– «Уснии... безнаа...»

– «Ааа» – взревело в дверях: труба граммофона? таксомоторный рожок? Нет: в дверях стояла старинная-старинная голова.

Николай Аполлонович привскочил.

Старинная, старинная голова: Кон-Фу-Дзы или Будды? Нет, в двери заглядывал, верно, прапрадед, Аб-Лай.

Лепетал, пришепетывал пестрый шелковый переливный халат; почему-то вспомнился Николаю Аполлоновичу его собственный бухарский халат, на котором павлиньи переливные перья... Пестрый шелковый переливный халат, на котором по дымному, дымно-сапфирному полю (и в дымное поле) ползли все дракончики, остроклювые, золотые, крылатые, малых размеров; о пяти своих ярусах пирамидальная шапка с золотыми полями показалась митрою; над головой и светил, и потрескивал многолучевой ореол: вид чудесный

и знакомый нам всем! В центре этого ореола какой-то морщинистый лик разъял свои губы с *хроническим* видом; неподобный монгол вошел в пеструю комнату; и за ним провели тысячетлетние ветерки.

В первое мгновение Николай Аполлонович Аблеухов подумал, что под видом монгольского предка, Аб-Лая, к нему пожаловал Хронос (вот что таилось в нем!); суетливо заерзали его взоры: он в руках Незнакомца отыскивал лезвие традиционной косы; но косы в руках не было: в благоуханной, как первая лилия, желтоватой руке было лишь восточное блюдо с пахнувшей кучечкой, сложенной из китайских розовых яблочек: райских.

Рай Николай Аполлонович отрицал: рай, или сад (что, как видел он, – то же) не совмещался в представлении Николая Аполлоновича с идеалом высшего блага (не забудем, что Николай Аполлонович был кантианец; более того: когенианец); в этом смысле он был человек нирванический.

Под Нирваную разумел он – Ничто.

И Николай Аполлонович вспомнил: он – старый туранец – воплощался многое множество раз; воплотился и ныне: в кровь и плоть столбового дворянства Российской империи, чтоб исполнить одну стародавнюю, заповедную цель: расшатать все устои; в испорченной крови арийской должен был разгореться Старинный Дракон и все пожрать пламенем; стародавний восток градом невидимых бомб осыпал наше время. Николай Аполлонович – старая туранская бомба – те-

перь разрывался восторгом, увидевши родину; на лице Николая Аполлоновича появилось теперь забытое, монгольское выражение; он казался теперь мандарином Срединной империи, облеченным в сюртук при своем проезде на запад (ведь, он был здесь с единственной и секретнейшей миссией).

– «Так-с...»

– «Так-с...»

– «Так-с...»

– «Очень хорошо-с!»

Странное дело: как он вдруг напомнил отца! Так с душившим душу восторгом старинный туранец, облеченный на время в брентную арийскую оболочку, бросился к кипе старых тетрадок, в которых были начертаны положения им продуманной метафизики; и смущенно, и радостно ухватился он за тетрадки: все тетрадки сложились пред ним в одно громадное дело – дело всей жизни (уподобились сумме дел Аполлона Аполлоновича). Дело жизни его оказалось не просто жизненным делом: сплошное, громадное, монгольское дело засквозило в записках под всеми пунктами и всеми параграфами: до рождения ему врученная и великая миссия: миссия разрушителя.

Этот гость, преподобный туранец, стоял неподвижно: ширилась его глаз беспросветная, как ночь, темнота; а руки – а руки: ритмически, мелодически, плавно поднялись они в бескрайнюю вышину; и плеснула одежда; шум ее напомнил трепеты пролетающих крыл; поле дымного фона очи-

стилось, углубилось и стало куском далекого неба, глядящего сквозь разорванный воздух этого кабинетика: темно-сапфирная щель – как она оказалась в шкафах заставленной комнате? Туда пролетели дракончики, что были расшиты на переливном халате (ведь халат-то стал щелью); в глубине мерцали там звездочками... И сама старинная старина стояла небом и звездами: и оттуда бил кубовый воздух, настоящий на звезде.

Николай Аполлонович бросился к гостю – туранец к туранцу (подчиненный к начальнику) с грудой тетрадок в руке:

– «Параграф первый: Кант (доказательство, что и Кант был туранец)».

– «Параграф второй: ценность, понятая, как никто и ничто».

– «Параграф третий: социальные отношения, построенные на ценности».

– «Параграф четвертый: разрушение арийского мира системой ценностей».

– «Заключение: стародавнее монгольское дело».

Но туранец ответил.

– «Задача не понята: вместо Канта – быть должен Проспект».

– «Вместо ценности – нумерация: по домам, этажам и по комнатам на вековечные времена».

– «Вместо нового строя: циркуляция граждан Проспекта – равномерная, прямолинейная».

– «Не разрушение Европы – ее неизменность...»

– «Вот какое – монгольское дело...»

.....

Николаю Аполлоновичу представилось, что он осужден: и пачка тетрадок на руках его распалась кучечкой пепла, а морщинистый лик, знакомый до ужаса, наклонился вплотную: тут взглянул он на ухо, и – понял, все понял: старый туранец, некогда его наставлявший всем правилам мудрости, был Аполлон Аполлонович; вот на кого он, понявши превратно науку, поднимал свою руку.

Это был Страшный Суд.

.....

– «Как же это такое? Кто же это такое?»

– «Кто такое? Отец твой...»

– «Кто ж отец мой?»

– «Сатурн...»

– «Как же это возможно?»

– «Нет невозможного!...»

.....

Страшный Суд наступил.

Какие-то протекшие сновидения тут были действительно; тут бежали действительно планетные циклы – в миллиардногодичной волне: не было ни Земли, ни Венеры, ни Марса, лишь бежали вокруг Солнца три туманных кольца; еще только что разорвалось четвертое, и огромный Юпитер собирался стать миром; один стародавний Сатурн поднимал из огнево-

го центра черные зонные волны: бежали туманности; а уж Сатурном, родителем, Николай Аполлонович был сброшен в безмерность; и текли вокруг одни расстояния.

На исходе четвертого царства он был на земле: меч Сатурна тогда повисал неистекшей грозой; рушился материк Атлантиды: Николай Аполлонович, Атлант, был развратным чудовищем (земля под ним не держалась – опустилась под воды); после был он в Китае: Аполлон Аполлонович, богдыхан, повелел Николаю Аполлоновичу перерезать многие тысячи (что и было исполнено); и в сравнительно недавнее время, как на Русь повалили тысячи тамерлановых всадников, Николай Аполлонович прискакал в эту Русь на своем степном скакуне; после он воплотился в кровь русского дворянина; и принялся за старое: и как некогда он перерезал там тысячи, так он нынче хотел разорвать: бросить бомбу в отца; бросить бомбу в самое быстротекущее время. Но отец был – Сатурн, круг времени повернулся, замкнулся; сатурново царство вернулось (здесь от сладости разрывается сердце).

Течение времени перестало быть; тысячи миллионов лет созревала в духе материя; но самое время возжаждал он разорвать; и вот все погибало.

– «Отец!»

– «Ты меня хотел разорвать; и от этого все погибает».

– «Не тебя, а...»

– «Поздно: птицы, звери, люди, история, мир – все рушится: валится на Сатурн...»

Все падало на Сатурн; атмосфера за окнами темнела, чернела; все пришло в старинное, раскаленное состояние, расширяясь без меры, все тела не стали телами; все вертелось обратно – вертелось ужасно.

– «Cela... tourne...» – в совершеннейшем ужасе заревел Николай Аполлонович, окончательно лишившийся тела, но этого не заметивший...

– «Нет, Sa... tourne...»

.....

Лишившийся тела, все же он чувствовал тело: некий невидимый центр, бывший прежде и сознанием, и «я», оказался имеющим подобие прежнего, испепеленного: предпосылки логики Николая Аполлоновича обернулись костями; силлогизмы вокруг этих костей завернулись жесткими сухожилиями; содержанье же логической деятельности обросло и мясом, и кожей; так «я» Николая Аполлоновича снова явило телесный свой образ, хоть и не было телом; и в этом *не-теле* (в разорвавшемся «я») открылось чуждое «я»: это «я» пробежало с Сатурна и вернулось к Сатурну.

Он сидел пред отцом (как сиживал и раньше) – без тела, но в теле (вот странность-то!): за окнами его кабинета, в совершеннейшей темноте, раздавалось громкое бормотание: *турн– турн – турн*.

То летоисчисление бежало обратно.

– «Да какого же мы летоисчисления?»

Но Сатурн, Аполлон Аполлонович, расхохотавшись, от-

ветил:

«Никакого, Коленька, никакого: времяисчисление, мой родной, – нулевое...»

Ужасное содержание души Николая Аполлоновича беспокойно вертелось (там, в месте сердца), как жужжавший волчок: разбухало и ширилось; и казалось: ужасное содержание души – круглый ноль – становилось томительным шаром; казалось: вот логика – кости разорвутся на части.

Это был Страшный Суд.

– «Ай, ай, ай: что ж такое “я есмь”?»

– «Я есмь? Нуль...»

– «Ну, а нуль?»

– «Это, Коленька, бомба...»

Николай Аполлонович понял, что он – только бомба; и лопнувши, хлопнул: с того места, где только что возникало из кресла подобие Николая Аполлоновича и где теперь виделась какая-то дрянная разбитая скорлупа (в роде яичной), бросился молниеносный зигзаг, ниспадая в черные, эонные волны...

Николай Аполлонович тут очнулся от сна; с трепетом понял он, что его голова лежит на сардиннице.

И вскочил: страшный сон... А какой? Сон не припомнился; детские кошмары вернулись: Пепп Пеппович Пепп, распухающий из комочка в громаду, видно там до времени приутих – в сардинной коробочке; стародавние детские бреды возвращались назад, потому что —

– Пепп Пеппович Пепп, комочек ужасного содержания, есть просто-напросто партийная бомба: там она неслышно стрекочет волосинкой и стрелками; Пепп Пеппович Пепп будет шириться, шириться, шириться. И Пепп Пеппович Пепп лопнет: лопнет все...

– «Что я... брежу?»

В голове его опять завертелось с ужасающей быстротою: что ж делать? Остается четверть часа: повернуть еще ключ?

Ключик он еще повернул двадцать раз; и двадцать раз что-то хрипнуло там, в жестяночке: стародавние бреды на краткое время ушли, чтобы утро осталось утром, а день остался бы днем, вечер – вечером; на исходе же ночи никакое движение ключика ничего не отсрочит: будет что-то такое, отчего развалятся стены, пурпуром освещенные небеса разорвутся на части, смешавшись с разбрызганной кровью в одну тусклую, первозданную тьму.

*Конец пятой главы*

# Глава шестая, в которой рассказаны происшествия серенького денька

*За ним повсюду Всадник Медный*

*С тяжёлым топотом скакал.*

*А. Пушкин*

## Вновь нащупалась нить его бытия

Было тусклое петербургское утро. Вернемся же к Александру Ивановичу; Александр Иванович проснулся; Александр Иванович приоткрыл слипавшиеся глаза: бежали события ночи – в подсознательный мир; нервы его развинтились; ночь для него была событием исполинских размеров.

Переходное состояние между бдением и сном его бросало куда-то: точно с пятого этажа выскакивал он чрез окошко; ощущения открывали ему в его мире вопиющую брешь; он влетал в эту брешь, проносясь в роящийся мир, о котором мало сказать, что в нем нападали субстанции, подобные фуриям: самая ткань представлялась там фурийной тканью.

Лишь под самое утро Александр Иванович пересиливал этот мир; и тогда попадал он в блаженство; пробуждение

стремительно его низвергало оттуда: он чего-то жалел, а все тело при этом и болело, и ныло.

Первое мгновение по своем пробуждении он заметил, что его трясет жесточайший озноб; ночь прометался он: что-то было – наверное... Только что?

Во всю долгую ночь длилось бредное бегство по туманным проспектам, не то – по ступеням таинственной лестницы; а всего вернее, что бегала лихорадка: по жилам; воспоминание говорило о чем-то; но – воспоминание ускользало; и связать чего-то он памятью все не мог.

Это все – лихорадка.

Не на шутку испуганный (Александр Иванович при своем одиночестве боялся болезней), подумал он, что ему не мешало бы высидеть дома.

С этой мыслью он стал забываться; и, забываясь, он думал: – «Мне бы хинки».

Заснул.

И проснувшись – прибавил:

– «Да крепкого чаю...»

И подумавши вновь, он прибавил еще:

– «С малинкою...»

Он подумал о том, что он все эти дни проводил с недопустимой для его положения легкостью; легкость эта тем более ему показалась постыдной, что надвигались огромные и тяжелые дни.

Он невольно вздохнул:

– «И еще бы мне – строгое воздержание от водки... Не читать Откровение... Не спускаться бы к дворнику... Да и эти беседы с проживающим у дворника Степкой: не болтать бы со Степкой...»

Эти мысли о малиновом чае, о водке, о Степке, о Иоанновом Откровении сперва его успокоили, низводя происшествия ночи к совершеннейшей ерунде.

Но умывшись из крана, как лед, холодной водою при помощи жалкого своего обмылка и мыльной желтеющей слякоти, Александр Иванович почувствовал снова прилив ерунды.

Он окинул взором свою двенадцатирублевую комнату (чердачное помещение).

Что за убогое обиталище!

Главным украшением убогого обиталища представлялась постель; постель состояла из четырех треснувших досок, кое-как положенных на деревянные козлы; на растресканной поверхности этих козел выдавались противные темно-красные, засохшие, вероятно, клопные пятна, потому что с этими темно-красными пятнами Александр Иванович много месяцев упорно боролся при помощи персидского порошка.

Козлы были покрыты тощим, набитым мочалом матрасиком; сверху матрасика на грязную одну простыню рука Александра Ивановича бережно набросила вязаное одеяльце, которое вряд ли можно было назвать полосатым: скудные намеки здесь когда-то бывших голубых и красных полос покры-

вались налетами серости, появившейся, впрочем, по всей вероятности не от грязи, а от многолетнего и деятельного употребления; с этим чьим-то подарком (может быть, матери) Александр Иванович все что-то медлил расстаться; может быть, медлил расстаться за неимением средств (оно ездило с ним и в Якутскую область).

Кроме постели... – да: должен здесь я сказать: над постелью висел образок, изображавший тысячаночную молитву Серафима Саровского среди сосен, на камне (должен здесь я сказать – Александр Иванович под сорочкою носил серебряный крестик).

Кроме постели можно было заметить гладко обструганный и лишенный всякого украшения столик: точно такие же столики фигурируют в виде скромных подставок для умывального таза – на дешевеньких дачках; точно такие же столики продаются повсюду по воскресеньям на рынках; в обителище Александра Ивановича такой столик служил одновременно и письменным, и ночным столиком; умывальный же тазик отсутствовал вовсе: Александр Иванович при совершении туалета пользовался услугами водопроводного крана, раковины и сардинной коробочкой, содержащей обмылок казанского мыла, плававший в своей собственной слизи; была еще вешалка: со штанами; кончик стоптанной туфли из-под постели выглядывал своим дырявым носком (Александр Иванович видел сон, будто эта дырявая туфля есть живое создание: комнатное создание, что ли, как собач-

ка или кошка; она самостоятельно шлепала, переползая по комнате и шурша по углам; когда Александр Иванович собрался ее покормить во рту разжеванным ситником, то шлепающее создание это своим дырявым отверстием его укусило за палец, отчего он проснулся).

Был еще коричневый чемодан, изменивший давно первоначальную форму и хранящий предметы самого ужасного содержания.

Все убранство, с позволения сказать, комнаты отступало на задний план перед цветом обоев, неприятных и наглых, не то темно-желтых, а не то темновато-коричневых, выдававших громадные пятна сырости: по вечерам то по этому пятну, то по другому переползала мокрица. Все комнатное убранство было затянуто полосами табачного дыма. Нужно было не переставая курить по крайней мере двенадцать часов подряд, чтоб бесцветную атмосферу превратить в темно-серую, синюю.

Александр Иванович Дудкин оглядывал свое обиталище, и его опять (так бывало и прежде) потянуло из перекуренной комнаты – прочь: потянуло на улицу, в грязноватый туман, чтобы слипнуться, склеиться, слиться с плечами, со спинами, с зеленоватыми лицами на петербургском проспекте и явить собою сплошное, громадное, серое – лицо и плечо.

К окну его комнаты зелено прилипали рои октябрёвских туманов; Александр Иванович Дудкин почувствовал неудержимое желание пронизаться туманом, пронизать свои мыс-

ли им, чтобы в нем утопить стрекотавшую в мозгах ерунду, угасить ее вспышками бреда, возникавшими огневыми шарами (шары потом лопались), угасить гимнастикой шагающих ног; надо было шагать – вновь шагать, все шагать; от проспекта к проспекту, от улицы к улице; зашагать до полного онемения мозга, чтоб свалиться на столик харчевни и обжечь себя водкой. Только в этом бесцельном блуждании по улицам да кривым переулкам – под фонарями, заборами, трубами – угашаются душу гнетущие мысли.

Надевая пальтишко, Александр Иванович ощутил свой озноб; и он с грустью подумал:

– «Эх, теперь бы да хинки!»

Но какая там хинка...

И, спускаясь по лестнице, снова грустно подумал он:

– «Эх, теперь бы да крепкого чаю с малинкою!..»

## Лестница

Лестница!

Грозная, тeneвая, сырая, – она отдавала безжалостно его шаркнувший шаг: грозная, тeneвая, сырая! Это было сегодняшней ночью. Александр Иванович Дудкин впервые тут вспомнил, что он здесь вчера действительно проходил: не во сне это было: это – *было*. А что было?

Что?

Да: изо всех дверей вон – ширилось погибельное молча-

ние на него; раздавалось без меры и строило все какие-то шорохи; и без меры, без устали неизвестный там губошлеп глотал свои слюни в тягучей отчетливости (не во сне было и это); были страшные, неизвестные звуки, все сплетенные из глухого стенания времен; сверху в узкие окна можно было увидеть – и он это видел – как порой прометалась там мгла, как она там взметалась в клочкастые очертания, и как все озарялось, когда тускло-бледная бирюза под ноги стлалась без единого звука, чтоб лежать бестрепетно и мертво. Там – туда: там глядела луна.

Но рои набегали: рой за роем – косматые, призрачно-дымные, грозовые – все рои набрасывались на луну: тускло-бледная бирюза омрачалась; отовсюду выметывалась тень, все тень покрывала.

Здесь Александр Иванович Дудкин и вспомнил впервые, как по лестнице этой он вчера пробежал, напрягая последние угасавшие силы и без всякой надежды (какой же?) осилить – что именно? А какое-то черное очертание (неужели было и это?), что есть мочи бежало – по его пятам, по его следам.

И губило его без возврата.

.....

Лестница!

В серый будничный день она мирна, обыденна; внизу ухают глухие удары: это рубят капусту – на зиму обзавелся капустою жилец из четвертого номера; обыденно так выглядят – перила, двери, ступени; на перилах: кошкою пахнувший, по-

лурванный, протертый ковер – из четвертого номера; полотер с опухшей щекою в него бьет выбивалкой; и чихает от пыли в передник какая-то белокурая халда, вылезая из двери меж полотером и халдою, сами собой, возникают слова:

– «Ух!»

– «Подсоби-ка, любезный...»

– «Степанида Марковна... Еще чего нанесли!..»

– «Ладно, ладно...»

– «И какая такая, стало быть...»

– «Теперича “нанесли”, а там – за “чашиком”...»

– «И какая такая, стало быть, – говорю я, – работа...»

– «На митингу не шлялись бы: спорилась бы и работа...»

– «Вы митингу не уязвляйте: сами впоследствии ими будете благодарны!»

– «Повыбивай-ка перину, ей, ты, – кавалер!»

.....

Двери!

Та – вон, та; да и – та... От той отодралась клеенка; конский волос космато выпирает из дыр; а у этой вот двери булавкой приколата карточка; карточка пожелтела; и на ней стоит: «Закаталкин»... Кто такой Закаталкин, как зовут, как по отчеству, какой профессией занимается, – предоставляю судить любопытным: «Закаталкин» – и все тут.

Из-за двери скрипичный смычок трудолюбиво выпиливает знакомую песенку. И слышится голос:

– «Атчизне любимай...»

Я так полагаю, что Закаталкин – находящийся в услужении скрипач: скрипач из оркестрика какой-нибудь ресторации.

Вот и все, что можно заметить при наблюдении дверей... Да – еще: в прежние годы около двери ставилась кадка, отдававшая горкlostью: для наполнения водовозной водою: с проведеньем воды повывелись в городах водовозы.

Ступени?

Они усеяны огуречными корками, шлепиками уличной грязи и яичною скорлупой...

## **И, вырвавшись, побежал**

Александр Иванович Дудкин взором окидывал лестницу, полотера и халду, прущую с новой периной из двери; и – странное дело: обыденная простота этой лестницы не рассеяла пережитого здесь за последнюю ночь; и теперь, среди дня, среди ступенек, скорлуп, полотера и кошки, пожирающей на окошке куриную внутренность, к Александру Ивановичу возвращался когда-то испытанный им перепуг: все, что было с ним минувшею ночью, – то подлинно было; и сегодняшней ночью вернется то, подлинно бывшее: вот как ночью вернется он: лестница будет тeneвая и грозная; какое-то черное очертание вновь погонится по пятам; за дверь, где на карточке стоит «Закаталкин», будет вновь глотание слюней губошлепа (может быть, – глотание слюней, а

может быть, – крови)...

И раздастся знакомое, невозможное слово в совершенной отчетливости...

– «Да, да, да... Это – я... Я гублю без возврата...»

Где это слышал он?

.....

Прочь отсюда! На улицу!..

Надо вновь зашагать, все шагать, прочь шагать: до полного истощения сил, до полного онемения мозга и свалиться на столик харчевни, чтоб не снилися мороки; и потом приняться за прежнее: отшагать Петербург, затеряться в сыром тростнике, в дымах виснувших взморья, в оцепенении от всего отмахнуться и очнуться уже среди сырых огоньков петербургских предместий.

Александр Иванович Дудкин затрусил было вниз по каменной многоступенчатой лестнице; но внезапно остановился; он заметил, что какой-то странный субъект в итальянской черной накидке и в такой же точно фантастически загнутой шляпе через три ступени шагая, к нему несется навстречу, опустив низко голову и отчаянно завертевши в руке тяжело-весную трость. Выгибалась его спина.

Этот странный субъект в итальянской черной накидке впопыхах налетел на Александра Ивановича; он его едва не ткнул в грудь головою; а когда закинулась голова, то Александр Иванович Дудкин прямо под носом своим увидел мертвенно-бледный и покрытый испариной лоб – вы пред-

ставьте! – Николая Аполлоновича: лоб с бьющейся, надутою жилой; только по этому характерному признаку (по прыгавшей жиле) Александр Иванович и узнал Абреухова: не по дико косящим глазам, не по странной, заграничной одежде.

– «Здравствуйте: это я – к вам».

Николай Аполлонович быстро-быстро отрезал эти слова; и – что такое? Отрезал угрожающим шепотом? Э, да как же он запыхался. Не подавши даже руки, он стремительно произнес – угрожающим шепотом:

– «Должен я вам, Александр Иваныч, заметить, что я – *не могу*».

– «?»

– «Вы, конечно, поняли, чего именно не могу: *не могу, да и не хочу*; словом – *не стану*».

– «!»

– «Это – отказ: бесповоротный отказ. Можете так передать. И прошу меня оставить в покое...»

На лице Николая Аполлоновича при этом отразилось смущение, будто даже испуг.

Николай Аполлонович повернулся; и, вертя тяжеловесную свою трость, Николай Аполлонович бросился по ступенькам обратно, будто бросился в бегство.

– «Да по стойте, да стойте же», – заспешил за ним и Александр Иванович Дудкин и почувствовал под ногами дробь летящей ступенями лестницы.

– «Николай Аполлонович?»

У выхода он поймал Аbbleухова за рукав, но тот вырвался. На Александра Ивановича Николай Аполлонович повернулся; Николай Аполлонович чуть дрожащей рукою придер­живал поля своей ухарски заломленной шляпы; и, храбрясь, выпалил он полушепотом:

– «Это, так сказать... гадко... Вы слышите?»

Припустился по дворику.

Александр Иванович на мгновение ухватился за дверь; Александр Иванович почувствовал сильнейшее беспокой­ство: оскорбление – ни за что, ни про что; он секунду помед­лил, соображая, что теперь ему предпринять; непроизвольно он задергался; непроизвольным движением обнаружил свою нежнейшую шею; и потом в два скачка он нагнал беглеца.

Он вцепился рукой в отлетающий от него черный край итальянской накидки; обладатель накидки тут стал выры­ваться отчаянно; на мгновение они забарахтались между сложенных дров и в борьбе что-то упало, прозвенев по ас­фальту. Николай Аполлонович с приподнятой палкой от­рывисто, задыхаясь от гнева, стал выкрикивать громко уже какую-то недопустимую и, главное, оскорбительную свою ерунду: оскорбительную для Александра Ивановича.

– «Это вы называете выступлением, партийной работой? Окружить меня сыском... Всюду следовать за мной по пятам... Самому же во всем разувериться... Заниматься чтени­ем Откровения... Одновременно выслеживать... Милости­вый государь, вы... вы... вы...»

Наконец, снова вырвавшись, Николай Аполлонович Аблеухов побежал: они летели по улице.

## Улица

Улица!

Как она изменилась: как и ее изменили эти суровые дни!

Там вон – те чугунные жерди решетки какого-то сада; в ветер бились багряные листья там кленов, ударяясь о жерди; но багряные листья уже свеялись; и суки – сухие скелеты – одни там и чернели, и скрежетали. Был сентябрь: небо было голубое и чистое; а теперь все не то: наливаясь потоком тяжелого олова стало небо с утра; сентября – нет.

Они летели по улице:

– «Но позвольте, Николай Аполлонович», – не унимался взволнованный и разобиженный Дудкин, – «вы согласитесь, что теперь без объяснения нам расстаться нельзя...»

– «Больше нам не о чем говорить», – сухо отрезал Николай Аполлонович из-под ухарски загнутой шляпы.

– «Объяснитесь толковее», – настаивал в свою очередь Александр Иванович.

Обида и беспокойное изумление изобразились в дергавшихся чертах; изумление, скажем мы от себя, было тут неподдельным, и столь неподдельным, что Николай Аполлонович Аблеухов неподдельность того изумления вопреки рассеянную гнева не мог не заметить.

Он обернулся и без прежней запальчивости, но с какою-то плаксивою злостью затараторил стремительно:

– «Нет, нет, нет!.. О чем еще там объясняться?.. И не смейте оспаривать... Сам я вправе потребовать величайшей отчетливости... Сам-то я ведь страдаю, не вы, не товарищ ваш...»

– «Что?.. Да что же?»

– «Передать узелок...»

– «Ну?»

– «Без всякого предупреждения, объяснения, просьбы...»

Александр Иванович густо весь покраснел.

– «И потом в воду кануть... Чрез какое-то подставное лицо угрожать мне полицией...»

Александр Иванович при этом незаслуженном обвинении нервно дернулся к Аблеухову:

– «Остановитесь: какая полиция?»

– «Да, полиция...»

– «О какой вы полиции?.. Что за мерзость?.. Что за намеки?.. Кто из нас невменяем?»

Но Николай Аполлонович, чья плаксивая злость перешла снова в ярость, прохрипел ему в ухо:

– «Я бы вас», – раздался его хрип (оскаленный рот улыбался, казалось: кусая, кидался на ухо)... «Я бы вас... вот сейчас – вот на этом месте: я бы... я... среди белого дня в назидание этой вот публике, Александр Иванович, мой милейший...» (он путался)...»

Там вон, там... —

Из того резного окошка того глянцевого домика в летний вечер июльский на закат жевала губами все какая-то старушонка (— «Я бы вас...», — донеслось откуда-то издали до Александра Ивановича); с августа затворилось окошко и пропала старушка; в сентябре вынесли газетовый гроб; за гробом шла кучка: господин в потертом пальто и в фуражке с кокардой; с ним — семеро белобрых мальчат.

Был гроб заколочен.

(— «Да-с, Александр Иванович, да-с», — донеслось откуда-то до Александра Ивановича.)

После в дом зашныряли картузы и обшваркали лестницу; говорили, будто бы за стенами там фабрикуют снаряды; Александр Иванович знал, что тот самый снаряд принесен был сперва к нему на чердак — из этого домика.

И тут вздрогнул невольно.

Как странно: возвращенный грубо к действительности (странный он был человек: думал о домике в то самое время, когда Николай Аполлонович кидал ему свои фразы...) — ну, так вот: из невнятного бреда сенаторского сынка о полиции, решительном и бесповоротном отказе, Александр Иванович понял единственно:

— «Слушайте», — сказал он, — «немногое, что мне понятно, в вашей речи понятно, это — вот только что: весь вопрос в узелке...»

— «О ней, разумеется: вы мне собственноручно передали

ее на хранение».

– «Странно...»

Странно: разговор происходил у *того самого домика*, где бомба возникла: бомба-то, ставши умственной, описала правильный круг, так что речь о бомбе возникла в месте возникновения бомбы.

– «Тише же, Николай Аполлонович: непонятно мне, признаться, волнение ваше... Вы вот меня оскорбляете: что же вы видите предосудительного в том поступке моем?»

– «Как что?»

– «Да, что подлого в том, что партия», – слова эти произнес шепоточком он, – «вас просила до времени побереечь узелок? Вы же сами были согласны? И – все тут... Так что если вам неприятно держать у себя узелочек, то ничего мне не стоит за узелком забежать...»

– «Ах, оставьте, пожалуйста, эту мину невинности: если бы дело касалось одного узелка...»

– «Тсс! Потихе: нас могут услышать...»

– «Одного узелка, – то... я бы вас понял... Не в этом дело: не притворяйтесь несведущим...»

– «В чем же дело?»

– «В насилии».

– «Насилия не было...»

– «В организованном сыске...»

– «Насилия, повторяю же, не было; вы согласились охотно; что ж касается сыска, то я...»

– «Да, тогда – летом...»

– «Что летом?»

– «В принципе я соглашался, или, верней, предлагал, и... пожалуй... я дал обещание, предполагая, что принуждения никакого не может тут быть, как и нет принуждения в партии; а если тут у вас принуждение, то – вы просто-напросто шаечка подозрительных интриганов... Ну, что ж?.. Обещание дал, но разве я думал, что обещание не может быть взято обратно...»

– «Постойте...»

– «Не перебивайте меня: разве я знал, что самое предложение они истолкуют *так: так* повернут... И мне – *это* предложат...»

– «Нет, постойте: я все-таки вас перебью... Это вы о каком обещании? Выразитесь точнее...»

Александр Ивановичу тут смутно припомнилось что-то (как, однако, он все позабыл!).

– «Да, вы о *том* обещании?..»

Вспомнилось, как однажды в трактирчике сообщила *особа* ему (мысль об этой *особе* заставила его пережить неприятное что-то) – *особа*, то есть Николай Степаныч Липпанченко, – ну, так вот: сообщила, что будто бы Николай Аполлонович – фу!.. Не хочется вспоминать!.. И он быстро прибавил:

– «Так ведь я *не о том*, так ведь дело *не в том*».

– «Как не в *том*? Вся суть – в обещании: в обещании,

истолкованном бесповоротно и *подло*».

– «Тише, тише, Николай Аполлонович, что тут по-вашему подлого? И где – подлость?»

– «Да, да, да: где? Партия вас просила до времени поберечь узелок... Вот и все...»

– «Это по-вашему все?»

– «Все...»

– «Если б дело касалось узелка, то я бы вас понял: но извините...» И махнул он рукой.

– «Нечего нам объясняться: разве не видите, что весь разговор наш топчется вокруг да около одного и того же: сказка про белого бычка, да и только...»

– «И я замечаю... И все-таки: вы тут заладили – затвердили о каком-то насилии, я вот припомнил: и до меня дошли слухи – тогда, летом...»

– «Ну?»

– «О насильственном поступке, который вы нам предложили: так вот это намерение исходило, как кажется, не от нас, а от вас!»

Александр Иванович вспомнил (*особа* все тогда ему рассказала в трактирчике, подливая ликеру): Николай Аполлонович Аблеухов чрез какое-то подставное лицо предложил им тогда собственноручно покончить с отцом; помнится, что *особа* тогда говорила с отвратным спокойствием, прибавляя, однако, что партии остается одно: предложение отклонить; необычность намеренья, неестественность в выборе жертвы

и оттенок цинизма, граничащий с гнусностью, – все это отозвалось на чувствительном сердце Александра Ивановича приступом жесточайшего омерзения (Александр Иванович был тогда пьян; и так вся беседа с Липпанченко представлялась впоследствии лишь игрой захмелевшего мозга, а не трезвой действительностью): это все он и вспомнил теперь:

– «И признаться...»

– «Требовать от меня», – перебил Аблеухов, – «что я... чтобы я... собственноручно...»

– «Вот-вот...»

– «Это гадко!»

– «Да – гадко: и, так сказать, Николай Аполлонович, я тогда не поверил... Поверь я, вы упали тогда бы... во мнении партии...»

– «Так и вы считаете гадостью?»

– «Извините: считаю...»

– «Вот видите! Сами же вы называете это гадостью; и вы сами же, стало быть, приложили к *гадости* руку?»

Что-то такое взволновало вдруг Дудкина: дернулась нежнейшая шея:

– «Постойте...»

И, ухватившись дрожащей рукою за пуговицы итальянской накидки, так и впился он глазами в какую-то постороннюю точку:

– «Не заговаривайтесь: мы вот тут упрекаем друг друга, между тем мы оба согласны...», – с удивлением перевел

он глаза на глаза Аблеухова, – «в наименовании поступка...  
Ведь подлость?»

Николай Аполлонович вздрогнул:

– «Ну, конечно же подлость!..»

Они помолчали...

– «Видите, оба согласны мы...»

Николай Аполлонович, достав из кармана платок, остановился, обтирая лицо.

– «Это меня удивляет...»

– «И меня...»

С недоумением они поглядели друг другу в глаза. Александр Иванович (он теперь позабыл, что его трясет лихорадка) опять протянул свою руку и дотронулся пальцем до края итальянской накидки:

– «Чтоб распутать весь этот узел, ответьте же мне вот на что: обещая собственноручно (и так далее)... – Обещание это не от вас исходило?..»

– «Нет! Нет же!»

– «И к *такому* убийству, стало быть, непричастны вы мыслью, я так спрашиваю потому, что мысль иногда невзначай выражается произвольными жестами, интонацией, взглядами, – даже: дрожанием губ...»

– «Нет же, нет... то есть...», – спохватился Николай Аполлонович, тут же он спохватился, что вслух спохватился о каком-то своем подозрительном мысленном ходе; и спохватившись вслух, покраснел; и – стал объясняться:

– «То есть я отца не любил... И, кажется, я не раз выражался... Но чтобы я?.. Никогда!»

– «Хорошо, я вам верю».

Николай Аполлонович тут, как на зло, покраснел до корня ушей; и, покраснев, захотел еще объясняться, но Александр Иванович решительно покачал головой, не желая касаться какого-то деликатного оттеночка непередаваемой мысли, обоим им одновременно блеснувшей.

– «Да не надо... Я – верю... Я не то, – о другом я: вот вы что мне скажите... Мне скажите теперь откровенно: я, что ли, – причастен?»

Николай Аполлонович с удивлением посмотрел на наивного собеседника: посмотрел, покраснел, и с чрезмерной горячностью, с форсированной убежденностью, ему нужной теперь, чтоб прикрыть какую-то мысль, – он выкрикнул:

– «Я считаю, что – да... Вы ему помогали...»

– «Кому это?»

– «Неизвестному...»

– «*Неизвестный* же требовал...»

– «!»

– «Совершения гадости».

– «Где?»

– «В своей скверной записке...»

– «Такого не знаю...»

– «Неизвестный», – растерянно настаивал Николай Аполлонович, – «ваш товарищ по партии... Что вы так удиви-

лись? Что вас так удивило?»

.....

– «Уверяю вас: *Неизвестного* в партии у нас нет...»

.....

Пришла очередь удивляться и Николаю Аполлоновичу:

– «Как? Нет в партии *Неизвестного*...»

– «Да потише же... Нет...»

– «Я три месяца получаю записочки...»

– «От кого?»

– «От него...»

Оба они замолчали.

Оба они тяжело задышали и оба вцепились глазами в вопрошительно вскинутые глаза; и по мере того, как один растерянно поникал, ужасаясь, пугаясь, тень слабой надежды блеснула в глазах у другого.

.....

– «Николай Аполлонович», – бесконечное возмущение, победивши испуг, разливалось на бледных скулах Александра Ивановича, двумя багровыми пятнами, – «Николай Аполлонович!»

– «Ну?» – схватил его за руку тот.

Но Александр Иванович все не мог отдышаться, наконец, он поднял глаза, и – ну, вот: что-то печальное, что бывает во снах, – невыразимое что-то, без слов понятное всем, тут пахнуло внезапно от его чела, от его костенеющих пальцев.

– «Ну же, ну – не томите!»

Но Александр Иванович Дудкин, приложивши палец к губам, продолжал качать головой и молчать: невыразимое что-то, но понятное в снах, от него проструилось незримо – от чела его, от костенеющих пальцев.

Наконец с трудом он сказал:

– «Заверяю вас – честное слово: я во всей этой темной истории ни при чем...»

Николай Аполлонович сперва не поверил.

– «Что сказали вы? Повторите же, не молчите: поймите же и мое положение...»

– «Я – ни при чем...»

– «Ну, так что ж это значит?»

– «Не знаю...», – и прибавил порывисто: – «нет, нет, нет: это – ложь, это – бред, абракадабра, насмешка...»

– «Разве я знаю?...»

Николай Аполлонович посмотрел невидящими глазами на Александра Ивановича; а потом и в глубь улицы: как улица изменилась!

– «Да разве я знаю?.. Мне не легче от этого... Я не спал эту ночь».

Верх пролетки стремительно уносился в глубь улицы: как улица изменилась, – как и ее изменили эти суровые дни!

Ветер от взморья рванулся: посыпались последние листья; больше листьев не будет до месяца мая; скольких в мае не будет? Эти павшие листья воистину – последние листья. Александр Иванович все знал наизусть: будут, будут кровавые,

полные ужаса дни; и потом – все провалится; о, кружитесь, о, вейтесь, последние, ни с чем не сравнимые дни!

О, кружитесь, о, вейтесь по воздуху вы, – последние листья! Опять праздная мысль...

## Рука помощи

– «Так он был на балу?»

– «Да, он был...»

– «Разговаривал с вашим батюшкой...»

– «Вот именно: упоминал и о вас...»

– «После встретился в переулке?...»

– «И увел в ресторанчик».

– «И назвался?...»

– «Морковиным...»

– «Абракадабра!»

.....

Когда Александр Иванович Дудкин, оторвавшийся от созерцания вьющихся листьев, наконец вернулся к действительности, то он понял, что Николай Аполлонович, забегаая вперед, даже с несвойственной ему живостью растараторился донельзя; жестикулировал он; наклонял низко профиль с неприятным оскалом разорвавшегося рта, напоминая трагическую, античную маску, несочетающуюся с быстрой вертлявостью ящера в одно согласное целое: словом, выглядел он попрыгунчиком с застывшим лицом.

Александр Иванович изредка лишь вставлял замечания:

– «И при этом он говорил про охранку?»

– «И охранкой пугал...»

– «Утверждая, что такое запугивание в плане партии и это партия одобряет?...»

– «Ну да, одобряет...» – с некоторым раздражением твердил Николай Аполлонович и, краснея, пытался осведомиться:

– «Сами же вы, помнится, тогда говорили, что партийные предрассудки...»

– «Что такое я говорил?» – строго вспыхнул и Дудкин.

– «Помнится, говорили вы, что партийные предрассудки низов не разделяются верхом, которому служите...»

– «Вздор!» – и Дудкин тут корпусом дернулся: и в волнении все усиливал шаг.

Николай Аполлонович в свою очередь хватал его за руки с тенью слабой надежды, отвечая на вопросы, как школьник, и неестественно улыбаясь. Наконец, улучив вновь минуту, продолжал он свои излияния о событиях этой ночи: о бале, о маске, о бегстве по залу, о сидении на приступочке черного домика, о подворотне, записочке; наконец, – о поганом трактирчике.

Это был подлинный бред.

Абракадабра все перепутала; все они давно уже посходили с ума, если только то, *губящее безвозвратно*, не существует в действительности.

.....

С улицы покатились навстречу им черные гущи людские: многотысячные рои котелков вставали как волны. С улицы покатились навстречу им: лаковые цилиндры; поднимались из волн как пароходные трубы; с улицы запенилось в лица им: страусовое перо; блинообразная фуражка заулыбалась околышем; и были околыши: синие, желтые, красные.

Отовсюду выскакивал преназойливый нос.

Носы протекали во множестве: нос орлиный и нос петушиный; утиный нос, куриный; и так далее, далее...; нос был свернутый набок; и нос был вовсе не свернутый: зеленоватый, зеленый, бледный, белый и красный.

Все это с улицы покатилося навстречу им: бессмысленно, торопливо, обильно.

Николай Аполлонович, просительно едва поспевавший за Дудкиным, все как будто боялся оформить пред ним основной свой вопрос, вытекающий из открытия, что автор ужасной записки не мог быть носителем партийного директива; в этом состояла теперь его главная мысль: мысль огромнейшей важности – по практическим следствиям; эта мысль застряла теперь у него в голове (переменились их роли: теперь Александр Иванович, не Николай Аполлонович, ожесточенно расталкивал их обставшие котелки).

– «Итак, стало быть, полагаете вы, – итак, стало быть: во всем этом вкралась ошибка?»

Сделавши этот робкий подход к своей мысли, Николай

Аполлонович почувствовал, как по телу его рассыпались горстями мурашки: а ну, если он представляется, – думалось – и – одолевала боязнь.

– «Это вы о записке-то?» – вскинул глазами Александр Иванович; и оторвался от угрюмого созерцания текшего избытка: котелков, голов и усов.

– «Ну, разумеется: мало сказать, что ошибка... Не ошибка, а гнусное шарлатанство тут вмешалось во все; бессмысленно выдержано в совершенстве – с сознательной целью: произвольно ворваться в отношение тесно связанных друг с другом людей, перепутать их; и в партийном хаосе утопить выступление партии».

– «Так помогите мне...»

– «Недопустимое издевательство», – перебил его Дудкин, – «вмешалось – из сплетен и морок».

– «Умоляю же вас, посоветуйте мне...»

– «И во все вмешалась измена: тут несет чем-то грозным, зловещим...»

– «Я не знаю... Запутался я... Я... не спал эту ночь...»

– «И все это – морок».

Теперь Александр Иванович Дудкин протянул Аблеухову в порыве участия руку; и здесь, кстати, заметил: Николай Аполлонович значительно ниже его (Николай Аполлонович не отличался росточком).

– «Соберите же все хладнокровие...»

– «Господи! Вам легко говорить: *хладнокровие* – я не спал

эту ночь... я не знаю, что теперь делать...»

– «Сидите и ждите...»

– «Вы придете ко мне?»

– «Говорю – сидите и ждите: я берусь вам помочь».

Он сказал так уверенно, убежденно, почти вдохновенно, что Аблеухов угомонился мгновенно; а, по правде сказать, в порыве сочувствия Аблеухову Александр Иванович переоценивал свою помощь... В самом деле: чем мог он помочь? Он был одинокий, отрезанный от общения; конспирация покрывала ему доступ в самое партийное тело; в Комитете же Александр Иванович не состоял никогда, хоть он и хвастался Аблеухову штаб-квартирою; если мог он помочь, то единственно мог помочь он Липпанченкой; мог сказать он Липпанченке, воздействовать чрез Липпанченку. Надо было прежде всего Липпанченку захватить. Предварительно же надо было скорей успокоить этого до глубины души потрясенного человека.

И он – успокоил:

– «Я уверен, что узлы гадкой козни распутать сумею я: я сегодня же, тотчас, наведу надлежащие справки, и...»

И – запнулся: надлежащие справки мог дать лишь Липпанченко; более же – никто... Что если нет его в Петербурге?

– «И..?»

– «И дам завтра ответ».

– «Благодарю вас, спасибо, спасибо», – и Николай Аполлонович бросился пожимать ему руки; Александр Иванович

тут смутился невольно (все зависело от того, где теперь находилась особа и какими справками располагала она).

– «Ах, оставьте же: ваше дело касается всех нас лично...»

Но Николай Аполлонович, пребывавший до этой минуты в совершеннейшем ужасе, только и мог отозваться на всякое слово поддержки либо вполне апатично, либо – восторженно.

И Николай Аполлонович отозвался восторженно.

Между тем Александр Иванович уже вновь влетел в свою мысль; поразил его один маленький фактик: Николай Аполлонович и божился, и клялся, что ужасное поручение исходило от неизвестного анонима; аноним Аблеухову писывал уже не раз; и было тут ясно: неизвестный тот аноним и был, собственно, провокатором.

Далее...

Из аблеуховской путаной речи все же можно было вывести следствие; свои особые сношения с партией были тут налицо, и из этих особых сношений нечистота вырастала; силился Александр Иванович себе выяснить и еще кое-что; и силился тщетно: мысль его продолжилась в текшее на них изобилие – усов, бород, подбородков.

## **Невский Проспект**

Бороды, усы, подбородки: то изобилие составляло верхние оконечности человеческих туловищ.

Протекали плечи, плечи и плечи; черную, как смола, гущу образовали все плечи; в высшей степени вязкую и медленно текущую гущу образовали все плечи, и плечо Александра Ивановича моментально приклеилось к гуще; так сказать, оно влипло; и Александр Иванович Дудкин последовал за своенравным плечом, сообразуясь с законом о нераздельной цельности тела; так был выкинут он на Невский Проспект; там икринкой вдавился он в чернотой текущую гущу.

Что такое икринка? Она есть и мир, и объект потребления; как объект потребления икринка не представляет собой удовлетворяющей цельности; таковая цельность – икра: совокупность икринок; потребитель не знает икринок; но он знает икру, то есть гущу икринок, намазанных на поданном бутерброде. Так вот тело влетающих на панель индивидуумов превращается на Невском Проспекте в орган общего тела, в икринку икры: тротуары Невского – бутербродное поле. То же стало и с телом сюда влетевшего Дудкина; то же стало и с его упорною мыслью: в чуждую, уму непостижимую мысль она влипла мгновенно – в мысль огромного, многоногого существа, пробегающего по Невскому.

Они сошли с тротуара; тут бежали многие ноги; и безмолвно они загляделись на многие ноги пробегающей темной гущи людской: эта гуща, кстати сказать, не текла, а ползла: переползала и шаркала – переползала и шаркала на протекающих ножках; из многотысячных члеников была склеена гуща; каждый членик был – туловищем: туловища бежали

на ножках.

Не было на Невском Проспекте людей; но ползучая го-  
лосящая многоножка была там; в одно сырое пространство  
ссыпало многообразие голосов – многообразие слов; чле-  
нораздельные фразы разбивались там друг о друга; и бес-  
смысленно, и ужасно там разлетались слова, как осколки пу-  
стых и в одном месте разбитых бутылок: все они, перепутав-  
шись, вновь сплетались в бесконечность летящую фразу без  
конца и начала; эта фраза казалась бессмысленной и спле-  
тенной из небылиц: непрерывность бессмыслия составляе-  
мой фразы черной копотью повисала над Невским; над про-  
странством стоял черный дым небылиц.

И от тех небылиц, порой надуваясь, Нева и редела, и би-  
лась в массивных гранитах.

Ползучая многоножка ужасна. Здесь, по Невскому, она  
пробегает столетия. А повыше, над Невским, – там бегут вре-  
мена: весны, осени, зимы. Переменчива там череда; и здесь  
– череда неизменна веснами, летами, зимами; веснами, ле-  
тами, зимами череда эта та же. И периодам времени, как из-  
вестно, положен предел; и – период следует за периодом; за  
весной идет лето; следует осень за летом и переходит в зиму;  
и все тает весною. Нет такого предела у людской многонож-  
ки; и ничто ее не сменяет; ее звенья меняются, а она – та  
же вся; где-то там, за вокзалом, завернулась ее голова; хвост  
просунут в Морскую; а по Невскому шаркают членистоно-  
гие звенья – без головы, без хвоста, без сознания, без мысли;

многоножка ползает, как ползла; будет ползать, как ползала.

Совсем сколопендра!

И испуганный металлический конь встал давно там с угла Аничкова Моста; и металлический конюх повис на нем: конюх ли оседлает коня, или конюха конь разобьет? Эта тяжба длится годами, и – мимо них, мимо!

А мимо них, мимо: одиночки, пары, четверки и пары за парами – сморкают, кашляют, шаркают, клевета и смеянь, и сыпают в сырое пространство многообразными голосами многообразие слов, оторвавшихся от их родившего смысла: котелки, перья, фуражки; фуражки, кокарды, перья; треуголка, цилиндр, фуражка; зонтик, платочек, перо.

## Дионис

Да ведь с ним говорили!

Александр Иванович Дудкин снова вытащил свою мысль из бегущего изобилия; протекавшие ахинеи ее загрязнили порядочно; после купания в мысленном коллективе ахинеи стала сама она; он с трудом ее обратил на слова, стрекотавшие в ухо: это были слова Николая Аполлоновича; Николай Аполлонович уж давно бился в ухо словами; но проходное слово, в уши влетая осколком, разбивало смысл фразы; вот поэтому Александру Ивановичу было трудно понять, что такое ему затвердили в барабанную перепонку; в барабанную перепонку праздно, долго, томительно барабанные пал-

ки выбивали мелкую дробь: то Николай Аполлонович, выдираясь из гуши, растараторился безостановочно, быстро.

– «Понимаете ли», – твердил Николай Аполлонович, – «понимаете ли вы, Александр Иваныч, меня...»

– «О, да: понимаю».

И Александр Иванович старался вытащить ухом к нему обращенные фразы: это было не так-то легко, потому что прохожее слово разбивалось об уши его, точно каменный град:

– «Да, я вас понимаю...»

– «Там, в жестяннице», – твердил Николай Аполлонович, – «копошилась наверное жизнь: как-то странно там тикали часики...»

Александр Иваныч подумал тут:

– «Что такое жестянница, какая такая жестянница? И какое мне дело до каких-то жестяниц?»

Но внимательней вслушавшись в то, что твердил сенаторский сын, сообразил он, что речь шла о бомбе.

– «Наверное копошилась там жизнь, как я привел ее в действие: была, так себе, мертвой... Ключик я повернул; даже, да: стала всхлипывать, уверяю вас, точно пьяное тело, спр-сонья, когда его растолкают...»

– «Так вы ее завели?»

– «Да, затикала...»

– «Стрелка?»

– «На двадцать четыре часа».

– «Зачем это вы?»

– «Я ее, жестяночку, поставил на стол и смотрел на нее, все смотрел; пальцы сами собой протянулись к ней; и – так себе: повернули сами собой как-то ключик...»

– «Что вы сделали?! Скорей ее в реку!?!» – в неподдельном испуге всплеснул Александр Иванович руками; дернула его шея.

– «Понимаете ли, скривила мне рожу?..»

– «Жестяница?»

– «Вообще говоря, очень-очень обильные ощущения овладели мной, беспрерывно сменяясь, как стоял я над ней: очень-очень обильные... Просто черт знает что... Ничего подобного я, признаться, и не испытывал в жизни... Отвращение меня одолело – да так, что меня отвращение распирало... Дрянь всякая лезла и, повторяю, – страшное отвращение к *ней*, невероятное, непонятное: к самой форме жестяницы, к мысли, что, может быть, прежде плавали в ней сардинки (видеть их не могу); отвращение к *ней* подымалось, как к огромному, твердому насекомому, застрекотавшему в уши непонятную насекомью свою болтовню; понимаете ли, – мне осмелилась что-то такое тиликать?.. А?..»

– «Гм!..»

– «Отвращение, как к громадному насекомому, которого скорлупа отливает тошнотворною жестью; не то что-то было тут насекомье, не то что-то – от нелуженой посуды... Верите ли, – так меня распирало, тошнило!.. Ну, будто бы я ее...

проглотил...»

– «Проглотили? Фу, гадость...»

– «Просто черт знает что – проглотил; понимаете ли, что это значит? То есть стал ходячею на двух ногах бомбою с отвратительным тиканьем в животе».

– «Тише же, Николай Аполлонович, – тише: здесь нас могут услышать!»

– «Не поймут они ничего: тут понять невозможно... Надо вот так: подержать в столе, постоять и прислушаться к тиканью... Словом, надо все пережить самому, в ощущениях...»

– «А знаете», – заинтересовался теперь и Александр Иванович словами, – «я понимаю вас: тиканье... Звук воспринимаешь по-разному; если только прислушаться к звуку, будет в нем – то же все, да не то... Я раз напугал неврастеника; в разговоре стал по столу пристукивать пальцем, со смыслом, знаете ли, – в такт разговору; так вот он вдруг на меня посмотрел, побледнел, замолчал, да как спросит: „Что вы это?“ А я ему: „Ничего“, а сам продолжаю постукивать по столу... Верите ли – с ним припадок: обиделся – до того, что на улице не отвечал на поклоны... Понимаю я это...»

– «Нет-нет-нет: тут понять невозможно... Что-то тут – приподымалось, припоминалось – какие-то незнакомые и все же знакомые бреды...»

– «Припоминалось детство – не правда ли?»

– «Будто слетела какая-то повязка со всех ощущений... Шевелилось над головой – знаете? Волосы дыбом: это я по-

нимаю, что значит; только это не то – не волосы, потому что стоишь с раскрывшимся теменем. *Волосы дыбом* – выражение это я понял сегодняшней ночью; и это – не волосы; все тело было, как волосы, – *дыбом*: ошетинилось волосинками; и ноги, и руки, и грудь – все, будто из невидной шерсти, которую щекочут соломинкой; или вот тоже: будто садишься в нарзанную холодную ванну и углекислота пузырьками по коже – щекочет, пульсирует, бежит – все быстрее, быстрее, так что если замрешь, то биения, пульсы, щекотка превращаются в какое-то мощное чувство, будто тебя терзают на части, растаскивают члены тела в противоположные стороны: спереди вырывается сердце, сзади, из спины, вырывают, как из плетня хворостину, собственный позвоночник твой; за волосы тащат вверх; за ноги – в недра... Двинешься – и все замирает, как будто...»

– «Словом, были вы, Николай Аполлонович, как Дионис терзаемый... Но – в сторону шутки: вы теперь говорите совсем другим языком; не узнаю я вас... Не по Канту теперь говорите... Этого языка я от вас еще не слышал...»

– «Да я уж сказал вам: какая-то слетела повязка – со всех ощущений... Не по Канту – вы верно сказали... Какое там!.. Там – все другое...»

– «Там, Николай Аполлонович, логика, проведенная в кровь, то есть ощущение мозга в крови или – мертвый застой; а вот налетело на вас настоящее потрясение жизни и кровь бросилась к мозгу; оттого и в словах ваших слышно

биение подлинной крови...»

– «Стою я, знаете ли, над *ней*, и – скажите пожалуйста: мне кажется, – да, о чем это я?»

– «Вам “*кажется*”, сказали вы», – подтвердил Александр Иванович...

– «Мне кажется – весь-то пухну, весь-то я давно пораспух: может быть, сотни лет, как я пухну; да и расхаживаю себе, не замечая того, распухшим уродом... Это, правда, ужасно».

– «Это все – ощущения...»

– «А скажите, я... не...»

Александр Иванович сострадательно усмехнулся:

– «Наоборот, вы осунулись: щеки – втянуты, под глазами – круги».

– «Я стоял там над *ней* ... Да не я там стоял – не я же, не я же, а... какой-то, так сказать, великан с преогромною идиотскою головою и с несросшимся теменем; и при этом – пульсирует тело; всюду-всюду на коже – иголки: стреляет, покалывает; и я явственно слышу укол – в расстоянии по крайней мере на четверть аршина от тела, вне тела!.. А?.. Подумайте только!.. Потом – другой, третий: много-много уколов в ощущении совершенно телесном – вне тела... А уколы-то, биения, пульсы – поймите вы! – очертили собственный контур мой – за пределами тела, вне кожи: кожа – внутри ощущений. Что это? Или я был вывернут наизнанку, кожей – внутрь, или выскочил мозг?»

– «Просто были вы вне себя...»

– «Хорошо это вам говорить „вне себя“; „вне себя“ – так все говорят; выражение это – аллегория просто, не опирающаяся на телесные ощущения, а, в лучшем случае, лишь на эмоцию. Я же чувствовал себя *вне себя* совершенно телесно, физиологически, что ли, и вовсе не эмоционально... Разумеется, кроме того, я был еще *вне себя* в вашем смысле: то есть был потрясен. Главное же не это, а то, что ощущения органов чувств разлились вокруг меня, вдруг расширились, распространились в пространстве: разлетался я, как бомб...»

– «Тсс!»

– «На части!..»

– «Могут услышать...»

– «Кто же это там стоял, ощущал – я, не я? Это было со мною, во мне, вне меня... Видите, какой набор слов?..»

– «Помните, давеча, как я у вас был, с узелком, то я у вас спрашивал, почему это я – я. Вы тогда меня не поняли вовсе...»

– «А теперь я все понял: но ведь это – ужас, ведь ужас...»

– «Не ужас, а подлинное переживание Диониса: не словесное, не книжное, разумеется... Умиряющего Диониса...»

– «Просто, черт знает что!»

– «Успокойтесь же, Николай Аполлонович, вы страшно устали; и устать вам немудрено: столько пережить за одну только ночь... И не такого свалило бы». – Александр Иванович положил свою руку ему на плечо; плечо перед ним выдавалось на уровне груди; и плечо то дрожало; Александр Ива-

нович теперь испытывал прямо-таки потребность отделаться от нервно трещавшего перед ним Николая Аполлоновича, чтобы отдать себе в происшедшем ясный и спокойный отчет.

– «Да я спокоен, совершенно спокоен; теперь, знаете ли, я не прочь даже выпить; бодрость эдакая, подъем... Ведь, вы наверное можете мне сказать, что порученье – обман?»

Этого наверное не мог сказать Александр Иванович; тем не менее Александр Иванович с необычно пылкостью отрезал всего лишь:

– «Ручаюсь...»

## Откровение

Наконец он простился.

Надо было теперь зашагать: все шагать, вновь шагать – до полного одурения мозга, чтоб свалиться на столик харчевни – соображать и пить водку.

Александр Иванович вспомнил: письмецо, письмецо! Сам-то он ведь должен был передать письмецо – по поручению *некой особы*: передать Аbbleухову.

Как он все позабыл! Письмецо с собою он брал, отправляясь тогда к Аbbleухову – с узелочком; письмецо передать он забыл; передал вскоре после – Варваре Евграфовне, которая ему говорила, что с Аbbleуховым встретится. Письмецо то вот и могло оказаться письмецом роковым. Нет, да нет!

Не тем оно было; да и *то, роковое*, по словам Аbbleухова,

ему было передано на балу; и – какою-то маскою... Маска, бал и – Варвара Евграфовна Соловьева. Нет и нет!

Александр Иванович успокоился: значит то письмоцо во-все не было *этим*, переданным Соловьевой и полученным от Липпанченки; значит он, Александр Иванович Дудкин, непричастен был в этом деле; но – главное: ужасное поручение от *особы* исходить не могло; это был главный козырь в руках его: козырь, побивающий бред и все бредные его подозрения (подозрения эти опять пронеслись у него в голове, когда он обещался, ручался за партию – за Липпанченко, то есть потому, что Липпанченко был его орган общения с партией); если бы не этот в руках его находящийся козырь, то есть если бы письмоцо шло от партии, от Липпанченко, *то особа*, Липпанченко, была бы *особою* подозрительной, а он, Александр Иванович Дудкин, оказался бы связанным с подозрительной личностью.

И встали бы бреды.

Только что он сообразил это все и уже собирался пересечь ток пролетов, чтобы прыгнуть в навстречу бегущую конку (трамвая ведь еще не было), как его позвал голос:

– «Александр Иванович, постойте... Минуточку...»

Обернулся и увидел, что оставленный им за мгновенье пред тем Николай Аполлонович, задыхаясь, бежит за ним чрез толпу – весь дрожащий и потный; с лихорадочным огонечком в глазах он махал ему тростью через головы удивленных прохожих...

– «Минуточку...»

Ах ты Господи!

– «Стойте: мне, Александр Иванович, трудно с вами расстаться... Я вот только скажу вам еще...», – он взял его за руку и отвел к ближайшей витрине.

– «Мне открылось еще... Откровенно это, что ли – там, над жестяночкой?..»

– «Слушайте, Николай Аполлонович, мне пора; и по вашему делу пора...»

– «Да, да, да: я сейчас... я секундочку, терцию...»

– «Ну – ну: слушаю...»

Николай Аполлонович обнаруживал теперь своим видом, ну, прямо-таки, вдохновение какое-то; с радости он, очевидно, забыл, что не все еще распуталось для него, и – что главное: *жестяница еще тикала, преодолевая без усталости двадцать четыре часа.*

– «Будто какое-то откровение, что я – рос; рос я, знаете ли, в неизмеримость, преодолевая пространства; уверяю вас, что то было реально: и со мною росли все предметы; и – комната, и – вид на Неву, и – Петропавловский шпигель: все выросло, росло – все; и уже приканчивался рост (просто расти было некуда, не во что); в этом же, что кончалось, в конце, в окончании, – там, казалось мне, было какое-то иное начало: законченное, что ли... Какое-то оно пренелепейшее, неприятнейшее и дичайшее – дичайшее, вот что – главное; дичайшее, может быть, потому, что у меня не имеется орга-

на, который бы умел осмысливать этот смысл, так сказать, законечный; в месте органов чувств ощущение было – „ноль“ ощущением; а воспринималось нечто, что и не ноль, и не единица, а – менее чем единица. Вся нелепость была, может быть, только в том, что ощущение было – ощущением «*ноль минус нечто*», хоть пять, например».

– «Слушайте», – перебил Александр Иванович, – «вы скажите-ка лучше мне вот что: письмецо то вы чрез Варвару Евграфовну Соловьеву, небось, получили?..»

– «Письмо...»

– «Да не то, не *записочку*: письмо, шедшее чрез Варвару Евграфовну...»

– «Ах, про стихи эти с подписью “Пламенная Душа?”»

– «Да уж я там не знаю: словом, шедшее чрез Варвару Евграфовну...»

– «Получил, получил... Нет – вот я говорю, что вот “*ноль минус нечто*”... Что это?»

Господи: все о том же!..

– «Почитали бы вы Апокалипсис...»

– «Я от вас и прежде слышал упрек, что Апокалипсис мне неизвестен; а теперь прочту – непременно прочту; теперь, когда вы меня успокоили относительно... *всего этого*, чувствую, как у меня пробуждается интерес к кругу нашего чтения; вот засяду, знаете, дома, буду пить бром и читать Апокалипсис; у меня громаднейший интерес: что-то осталось от ночи: все то – да не то... Вот, например, посмотрите: вит-

рина... А в витрине-то – отражения: вот прошел господин в котелке – посмотрите... уходит... Вот – мы с вами, видите? И все – как-то странно...»

– «Как-то странно», – кивнул головой утвердительно Александр Иванович: Господи, да ведь по части «*как странно*» был он, кажется, специалист.

– «Или вот тоже: предметы... Черт их знает, что они на самом деле: то же все – да не то... Это я постиг на жестянице: жестяница, как жестяница; и – нет, нет: не жестяница, а...»

– «Тсс?»

– «Жестяница ужасного содержания!»

– А жестяницу вы скорее в Неву; и все – вдвинется; все вернется на место...»

– «Не вернется, не станет, не будет...»

Он тоскливо обвел мимо бегущие пары; он тоскливо вздохнул, потому что он знал: не вернется, не станет, не будет – никогда, никогда!

Александр Иванович удивлялся потоку болтливости, хлынувшему из уст Аблеухова; он, признаться, не знал, что ему с той болтливостью делать: успокаивать ли, поддерживать ли, наоборот – оборвать разговор (присутствие Аблеухова прямо его угнетало).

– «Это вам только, Николай Аполлонович, ощущения ваши кажутся странными; просто вы до сих пор сидели над Кантом в непроветренной комнате; налетел на вас шквал –

вот и стали вы в себе замечать: вы прислушались к шквалу; и себя услышали в нем... Состояния ваши многообразно описаны; они – предмет наблюдений, учебы...»

– «Где же, где?»

– «В беллетристике, в лирике, в *психиатриях*, в оккультических изысканиях».

Александр Иванович улыбнулся невольно такой вопиющей (с его точки зрения) безграмотности этого умственно развитого схоласта и, улыбнувшись, продолжал он серьезно:

– «Психиатр...»

– «?»

– «Назовет...»

– «Да-да-да...»

– «Это все...»

– «Что “*это все – то да не то?*”»

– «Ну, *то да не то* – зовите хоть так – для него обычнейшим термином: псевдогаллюцинацией...»

– «?»

– «То есть родом символических ощущений, не соответствующих раздражению ощущения».

– «Ну так что ж: так сказать, это все равно, что ничего не сказать!..»

– «Да, вы правы...»

– «Нет, меня не удовлетворяет...»

– «Конечно: модернист назовет ощущение это – ощущением бездны, то есть символическому ощущению, не пере-

живаемому обычно, будет он подыскивать соответственный образ».

– «Так ведь тут аллегория».

– «Не путайте аллессию с символом: аллегория это символ, ставший ходячей словесностью; например, обычное понимание вашего «вне себя»; символ же есть самая апелляция к пережитому вами там – над жестянницей; приглашение что-либо искусственно пережить пережитое *так* ... Но более соответственным термином будет термин иной: пульсация стихийного тела. Вы так именно пережили себя; под влиянием потрясения совершенно реально в вас дрогнуло стихийное тело, на мгновение отделилось, отлипло от тела физического, и вот вы пережили все то, что вы там пережили: затасканные словесные сочетания вроде «бездна – бездна» или «вне ... себя» углубились, для вас стали жизненной правдой, символом; переживания своего стихийного тела, по учению иных мистических школ, превращают словесные смыслы и аллессии в смыслы реальные, в символы; так как этими символами изобилуют произведения мистиков, то теперь-то, после пережитого, я и советую вам этих мистиков почитать...»

– «Я сказал вам, что буду: и – буду...»

– «А по поводу бывшего с вами я могу лишь прибавить одно: этот род ощущений будет первым вашим переживанием загробным, как о том повествует Платон, приводя в свидетельство заверенья бакхантов... Есть школы опыта, где ощу-

щения эти вызывают сознательно – вы не верите?.. Есть: это я говорю вам уверенно, потому что единственный друг мой и близкий – там, в этих школах; школы опыта ваш кошмар претворяют работою в закономерность гармонии, изучая тут ритмы, движенья, пульсации и вводя всю трезвость сознания в ощущение расширения, например... Впрочем, что мы стоим: заболтались... Вам необходимо скорее домой, и... жестяницу в реку; и сидите, сидите: никуда – ни ногой (вероятно, за вами следят); так сидите уж дома, читайте себе Апокалипсис, пейте бром: вы ужасно измучились... Впрочем, лучше без брома: бром притупляет сознание; злоупотреблявшие бромом становятся неспособными ни на что... Ну, а мне пора в бегство, и – по вашему делу».

Пожав Аплеухову руку, Александр Иванович от него шмыгнул неожиданно в черный ток котелков, обернулся из этого тока и еще раз оттуда он выкрикнул:

– «А жестяницу – в реку!»

В плечи влипло его плечо: он стремительно был унесен безголовою многоножкой.

Николай Аполлонович вздрогнул: жизнь клокотала в жестяночке; часовой механизм действовал и сейчас; поскорее же к дому, скорее; вот сейчас наймет он извозчика; как вернется, засунет ее в боковой свой карман, и – в Неву ее!

Николай Аполлонович вновь стал чувствовать, что он расширяется; одновременно он чувствовал: накрапывал дождик.

## Кариатида

Там, напротив, чернел перекресток; и там – была улица; каменно принависла там кариатида подъезда.

*Учреждение* возвышалось оттуда: *Учреждение*, где главенствовал надо всем Аполлон Аполлонович Аблеухов.

Есть предел осени; и зиме есть предел: самые периоды времени протекают циклически. И над этими циклами принависла бородатая кариатида подъезда; головокружительно в стену вдавилось ее каменное копыто; так и кажется, что вся она оборвется и просыплется на улицу камнем.

И вот – не срывается.

То, что видит она над собой, как жизнь, переменчиво, неизъяснимо, невнятно: там плывут облака; в неизъяснимости белые выются барашки; или – сеется дождик; сеется, как теперь: как вчера, как позавчера.

То же, что видит она под ногами, как и она, – неизменно: неизменно течение людской многоножки по освещенной панели; или же: как теперь, – в мрачной сырости; мертвенно шелестение пробегающих ног; и вечно-зелены лица; нет, не видно по ним, что события уж гремят.

Наблюдая проход котелков, не сказал бы ты никогда, что гремели события, например, в городке Ак-Тюке, где рабочий на станции, поссорившись с железнодорожным жандармом, присвоил кредитку жандарма, введя ее в свой желу-

док при помощи ротового отверстия, отчего в тот желудок введено было рвотное – железнодорожным врачом; наблюдая проход котелков, не сказал бы никто, что уже в Кутаисском театре публика воскликнула: «Граждане!..» Не сказал бы никто, что в Тифлисе открыл околоточный фабрикацию бомб, библиотека в Одессе закрылась и в десяти университетах России шел многотысячный митинг – в один день, в один час; не сказал бы никто, что именно в это время тысячи убежденных бундистов привалили на сходку, что кочевряжились пермяки и что именно в это время стал выкидывать свои красные флаги, окруженный казаками, ревельский чугунно-литейный завод.

Наблюдая проход котелков, не сказал бы никто, что ключом была новая жизнь, что Потапенко под таким заглавием оканчивал пьесу, что уже началась забастовка на Московско-Казанской дороге; поразбивали на станциях стекла, врывались в пакгаузы, прекращали работу на Курской, Виндавской, Нижегородской и Муромской железных дорогах; и десятками тысяч вагоны, пораженные столбняком, останавливались в многообразных пространствах; сообщение – мертвенело. Наблюдая проход котелков, не сказал бы никто, что в Петербурге уж гремели события, что наборщики почти всех типографий, избрав делегатов, сроились; и – бастовали заводы: судостроительный, Александровский, прочие; что пригороды Петербурга кишели манджурскою шапкою; наблюдая проход котелков, не сказал бы никто, что идущие были *те*,

да не *те*; что не просто шагали, но шагали, тая в себе беспокойство, чувствуя свою голову головой идиотской, с несросшимся теменем, разрубаемым шашкою, расшибаемым и просто деревянным колом; если бы припасть ухом к земле, то слышали бы они чей-то ласковый шелест: шелест от непрерывного револьверного треска – от Архангельска до Колхиды и от Либавы до Благовещенска.

Но циркуляция не нарушилась: монотонно, медлительно, мертвенно еще текли котелки под ногами кариатиды.

.....

Серая кариатида нагнулась и под ноги себе – смотрит: на все ту же толпу; нет предела презрению в старом камне очей; пресыщению – нет предела; и нет предела отчаянью.

И, о, если бы силу!

Распрямились бы мускулистые руки на взлетевших над каменной головою локтях; и резцом иссеченное темя рванулось бы бешено; в гулком реве, в протяжно-отчаянном реве, – разорвался бы рот; ты сказал бы: «То рев урагана» (так ревели черные тысячи картузов городских громил на погромах); как из свистка паровоза, паром обдало б улицу; привскочил бы над улицей ею оторванный от стены сам балконный карниз; и распался б на крепкие громко-гремящие камни (очень скоро потом разбивали камнями окна земских управ и губернских земских собраний); каменным градом на улицу оборвало бы старое изваяние это, описавши в мрачнейшем воздухе и стремительную, и ослепительную ду-

гу; и кровавьясь осколками, улеглось бы оно на испуганных котелках, проходивших здесь – мертвенно, монотонно, медлительно...

.....

В этот серенький петербургский денечек распахнулась тяжелая, роскошная дверь: серый бритый лакей с золотым гадуном на отворотах бросился из передней подавать знаки кучеру; кони кинулись на подъезд, подкатили лаковую карету; серый, бритый лакей поглупел и вытянулся в струну, когда Аполлон Аполлонович Аблеухов, сутуловатый, согбенный, небритый, с болезненно опухшим лицом и с отвисшей губой прикоснулся к краю цилиндра (цвета воронова крыла) перчатками (цвета воронова крыла).

Аполлон Аполлонович Аблеухов бросил мгновенный, исполненный равнодушия взгляд на вытянутого лакея, на карету, на кучера, на большой черный мост, на равнодушные пространства Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали и где пепельно встал неотчетливый Васильевский Остров с бастовавшими десятками тысяч.

Вытянутый лакей захлопнул каретную дверцу, на которой изображался стародворянский герб: единорог, прободающий рыцаря; карета стремительно пролетела в грязноватый туман – мимо матово намечавшегося черноватого храма, Исакия, мимо конного памятника императора Николая – на Невский, где сроилась толпа, где, отрываясь от деревянного древка, гребнями разрывались по воздуху, где трепан-

лись и рвались – легкосвистящие лопасти красного кумачового полотнища; черный контур кареты, абрис треуголки лакея и разлетевшихся в воздухе крыльев шинели неожиданно врезался в черную, косматую гущу, где манджурские шапки, околыши, картузы, сроившись, грянули в стекла кареты отчетливым пением.

Карета остановилась в толпе.

## **Пошел прочь, Том!**

– «Mais j'espère...»

– «Вы надеетесь?»

– «Mais j'espère que oui» – дзенкнула из-за двери речь иностранца.

Шаги Александра Ивановича простучали по доскам терраски с намеренной твердостью; Александр Иванович подслушивать не любил. Дверь, ведущая в комнаты, была полуоткрыта.

Темнело: синело.

Его шагов не расслышали. Александр Иванович Дудкин решил не подслушивать; поэтому переступил порог двери он.

В комнате стояло тяжелое благовоние; смесь парфюмерии с какою-то терпкою кислотою: с медикаментами.

Зоя Захаровна Флейш любезничала, как всегда. В кресло силилась она усадить какого-то захожего иностранца; ино-

странец отнекивался.

Темнело: синело.

– «Ах, как рада вас видеть... Очень, очень рада вас видеть: оботрите ноги, разденьтесь...»

Но ответной радости не последовало; Александр Иванович пожал Зоину руку.

– «Вы, надеюсь, вынесли прекрасное впечатление о России... Не правда ли...», – обратилась она к поджарому иностранцу. – «Какой небывалый подъем?»

И француз сухо дзенкнул:

– «Mais j'espère...»

Зоя Захаровна Флейш, потирая пухлые пальцы, попеременно обращала свой ласковый, немного растерянный взор то на француза, то на Александра Ивановича; у нее были выпуклые глаза: они вылезали из орбит. Зое Захаровне казалось лет сорок; Зоя Захаровна была большеголовой брюнеткой; эмалированы были ее крепкие щеки; со щек сыпалась пудра.

– «А его еще нет... Ведь вам его надо?» – спросила она невзначай Александра Ивановича; в этом беглом вопросе обнаружилась затаиваемая тревога; может быть, затаилась враждебность; а может быть, ненависть; но тревогу, враждебность и ненависть ласково покрывали: улыбка и взор; так скрывается в подаваемых липко-сладких конфетах вся отвратная грязь непрветряемых кондитерских кухонь.

– «Ну, я все-таки его подожду».

Александр Иванович поклонился французу; он потянулся за грушею (на столе стояла ваза с дюшесами); Зоя Захаровна Флейш от Александра Ивановича тут отставила вазу: Александр Иванович так любил груши.

Груши грушами, но не в них была сила.

Сила – в голосе: в голосе, запевавшем откуда-то; голос был совершенно надорванный, невозможно крикливый и сладкий; и при этом: голос был с недопустимым акцентом. На заре двадцатого века так петь невозможно; просто как-то бесстыдно; в Европе так не поют. Александру Ивановичу помешалось, что поющий – сладострастный, жгучий брюнет; брюнет – непременно; у него такая вот впалая грудь, провалившаяся между плеч, и такие вот глаза совершенного таракана; может быть, он чахоточный; и, вероятно, южанин: одесит или даже – болгарин из Варны (пожалуй, так будет лучше); ходит он в не совсем опрятном белье; пропагандирует что-нибудь, ненавидит деревню. Строя мысли свои о невидимом исполнителе песенки, Александр Иванович потянулся вторично за грушею.

Между тем Зоя Захаровна Флейш ни на минуту от себя не отпускала француза:

– «Да, да, да: мы переживаем события исторической важности... Всюду бодрость и молодость... Будущий историк напишет... Не верите? Походите на митинги... Послушайте пылкие излияния чувств, поглядите: всюду – восторг».

Но француз не желал поддерживать разговор.

– «Pardon, madame, monsieur viendra-t-il bientôt?»

Чтоб не быть свидетелем этого неприятного разговора, почему-то унизившего его национальное чувство, Александр Иванович подошел вплотную к окошку, чуть было не споткнувшись о косматого сенбернара, на полу глодавшего кость.

Дачка окнами выходила на море: темнело, синело.

Повернулся глаз маяка; заморгал огонечек «раз-два-три» – и потух; полоскался по ветру там темный плащ отдаленного пешехода; еще дальше курчавились гребни; световую крупую порассыпались береговые огни; многоглазое взморье ощетинилось тростником; издали занывала сирена. Какой ветер!

– «Вот вам пепельница...»

Пепельница опустила под носом Александра Ивановича: но Александр Иванович был обидчивый человек, так что ткнул окурком он в цветочную вазу: ткнул из духа протеста.

– «А поет-то там, кто?»

Зоя Захаровна сделала жест, из которого явствовало, что Александр Иванович отстал: недопустимо отстал.

– «Как? Вы не знаете?.. Да, конечно: не знаете... Ну, так знайте: Шишнарфиев... Вот что значит сидеть бирюком... Шишнарфиев, – он со всеми нами освоился...»

– «Где-то фамилию слышал...»

– «Шишнарфиев замечательно артистичен...»

Зоя Захаровна произнесла эту фразу с видом решитель-

ным – с таким видом, как будто он, Александр Иванович, издавна над артистичностью всем известного, со всеми дружащего обладателя имени поставил неуместнейший вопросительный знак. Но Александр Иванович талантов этого самого господина не намеревался оспаривать.

Он спросил всего-навсего:

– «Армянин? Болгарин? Грузин?»

– «Нет и нет...»

– «Хорват? Персианин?»

– «Персианин из Шемахи, чуть было недавно не павший жертвою резни в Испагани...»

– «А... младоперс?»

– «Разумеется... Вы не знали?.. Стыдитесь...»

Взгляд сожаления, снисхождения в его сторону, и – Зоя Захаровна Флейш повернулась к французу.

Александр Иванович, естественно, разговора не слушал: слушал он безнадежно сорванный тенор; деятель молодой Персии пел там страстный цыганский романс и навеивал на душу все какие-то невеселые думы. Между прочим: Александр Иванович вскользь подумал о том, что черты лица Зои Флейш по справедливости были сняты с лиц самых разнообразных красавиц; нос – с одной, рот – с другой, уши – с третьей красавицы.

Вместе ж взятые, решительно они раздражали. И казалась Зоя Захаровна сшитою из многих красавиц, будучи сама далеко не красива – ей, ей! Но существеннейшею чертою ее

была принадлежность к категории, что называется, жгучих восточных брюнеток.

Трескучая болтовня Зои Захаровны тем не менее долетала и настигала Александра Ивановича:

– «Это вы о деньгах?»

Молчание.

– «Деньги из-за границы – понадобятся...»

Нетерпеливое движение локтя.

– «Вашему редактору лучше не приезжать после разгрома организации Т. Т...»

Но француз – ни гу-гу.

– «Потому что найдены документы».

Если бы Александр Иванович мог подумать о деле, то известие о разгроме Т. Т. могло бы (это скажем мы) сшибить его с ног; но он слушал, – как деятель младой Персии заливался романсом. Француз этим временем, выведенный из себя так и лезшею к нему Зоей Флейш, осадил:

– «Je serai bien triste d'avoir manque l'ocassion de parler á monsieur».

– «Все равно: говорите со мною...»

– «Excusez, dans certains cas je prefére parler personnellement!»...

В окне бился куст.

Меж ветвями куста было видно, как пенились волны да раскачивалось парусное судно, вечеровое и синее; тонким слоем резало оно мглу острокрылатыми парусами; на по-

верхности паруса медленно уплотнялась синеватая ночь.

Казалось, что вовсе стирается парус. К садику в это время подъехал извозчик; тело грузного толстяка, страдающего явно одышкой, неторопливо вываливалось из пролетки; обремененная полудюжиной на веревочках заколебавшихся свертков, неповоротливая рука медлительно как-то стала возиться над кожаным кошельком; из-под мышки над лужею косолапо выпал мешок; налету разрывая бумагу, антоновки покатались по грязи.

Господин завозился над лужею, подбирая антоновки; пальто его распахнулось; он, очевидно, кряхтел; затворяя калитку, он вновь едва не рассыпал покупочки. Господин приблизился к дачке по садовой желтой дорожке между двух рядов в ветре изогнутых кустиков; распространилась вокруг та гнетущая знакомая атмосфера; покрытая шапкой с наушниками, круто как-то на грудь оседала зловещая голова; глубоко в орбитах сидящие глазки на этот раз не бегали вовсе (как бегали они перед всяким пристальным взглядом); глубоко сидящие глазки устало уставились в стекла. Александр Иванович успел подсмотреть в этих глазках (представьте себе!) какую-то особую, свою радость, смешанную с усталостью и печалью – чисто животную радость: отогреться, выспаться и плотно поужинать после стольких перенесенных трудов. Так зверь кровожадный: возвращаясь в берлогу, кажется зверь кровожадный домашним и кротким, обнаружив беззлобие, на какое способен и он; дружелюбно обнюхивает тогда этот

зверь свою самку; и облизывает заскуливших щенят.

Неужели это *особа*?

Да: это – *особа*; и *особа* на этот раз не ужасная; вид ее – прозаический; но это – особа.

.....  
– «Вот и он!»

– «Enfin...»

– «Липпанченко!..»

– «Здравствуйте...»

Желтый пес, сенбернар, с радостным ревом метнулся чрез комнату и, подпрыгнув, пал мохнатыми лапами прямо *особе* на грудь.

– «Пошел прочь, Том!..»

*Особа* не имела даже и времени заприметить своих незваных гостей, защищая отчаянно от мохнатого сенбернара покупочки; на широкоплоском, квадратном лице отпечатлелась смесь юмора с беспомощной злостью; проскользнула – просто какая-то детскость:

– «Опять обслюнявил».

И беспомощно повернувшись от Тома, особа воскликнула:

– «Зоя Захаровна, освободите ж меня...»

Но широкий песий язык неуважительно облизнул кончик *особина* носа; тут *особа* пронзительно вскрикнула – беспомощно вскрикнула (в то же время она, представьте себе, – улыбалась)...

– «Томка же!»

Но увидев, что— гости, и что гости-то — ждут, нетерпеливо посмеиваясь на идиллию домашнего быта, *особа* перестала смеяться и отрезала безо всякой учтивости:

– «Позвольте, позвольте! Сейчас: вот я только...»

И при этом обидчиво дрогнула отвисающая губа; на губе же было написано:

– «И тут нет покою...»

Особа бросилась в угол; там топталась — в углу: все не снимались калоши — новые и несколько тесные; долго еще она стояла в углу, медля снять пальтецо и рукой копаясь в туго набитом кармане (будто там был запрятан двенадцатизарядный браунинг); наконец, рука вылезла из кармана — с детской куколкой, с Ванькой-Встанькой.

Куколку эту она швырнула на стол.

– «А это вот Акулининой Маньке...»

Гости, признаться, тут разинули рты. После же, потирая озябшие руки, она обратилась к французу с робеющей подозрительностью:

– «Пожалуйте... Вот сюда... Вот сюда».

И — кинула Дудкину:

– «Повремените...»

## **Лобные кости**

– «Зоя Захаровна...»

– «А?»

– «Шишнарфиев – это я понимаю: деятель молодой Персии, пылкая артистическая натура; но вот – при чем тут француз?»

«Много станете знать – скоро станете стары», – не по-русски ответила та, и чрезмерные перси ее заходили над туго затянутым лифом; пощипывал в руке пульверизатор.

В комнате слышалось тяжелое благовоние: смесь парфюмерии с искусственно приготавливаемым зубом (кто сиживал в зубоврачебных квартирах, тот запах этот знает наверное – запах не из приятных).

Зоя Захаровна тут придвинулась к Александру Ивановичу.

– «А вы все... отшельником...»

Губы Александра Ивановича как-то криво поджалась:

– «Ваш же сожитель давно уже постарался об этом...»

– «?»

– «Коли я не буду отшельником, все равно: кто-нибудь отшельником да уж будет...»

Направление разговора Зое Захаровне не понравилось явно, так что снова нервически стал в руках ее пощипывать пульверизатор; Александр Иванович улыбнулся нехорошей улыбкой, и – поправился.

– «Да и то сказать: мне рассеяние не к лицу».

Это новое течение мыслей Зоя Захаровна приняла; и поспешила сострить она:

– «Оттого-то вы так рассеянны: пеплом мне засыпали ска-  
терть?»

– «Простите...»

– «Ничего: вот вам пепельница...»

Александр Иванович протянулся за новой грушею; и, проделавши это движение, Александр Иванович себе с доса-  
дой сказал:

– «Экая скряга...»

Он увидел, что вазы с дюшесами (он таки дюшесы лю-  
бил) – вазы с дюшесами не было.

– «Вы что? Вот вам пепельница...»

– «Знаю: я – за дюшесом...»

Зоя Захаровна не предложила дюшесов.

Двери в ту дальнюю комнату были не вовсе притворены: в полуоткрытую дверь с ненасытимой жадностью он смотре-  
л; там виднелися два сидящие очертания. Французик рас-  
тараторился; и казалось, что дзенькает; а особа глухо бубу-  
кала, перебивала французика; нетерпеливо хваталась она в  
разговоре за письменные принадлежности – то за ту, то за  
эту; и чесала затылок угловатым жестом руки; видимо, сооб-  
щением француза особа была взволнована не на шутку; жест  
просто самообороны какой-то подметил Александр Ивано-  
вич.

«Бу-бу-бу...»

Так раздавалось оттуда.

А сенбернар Том на клетчатое колено особе положил свою

слонявую морду; и особа рассеянно гладила его шерсть. Тут наблюдения Александра Ивановича перебили: перебила Зоя Захаровна.

– «Отчего это вы перестали бывать у нас?»

Он рассеянно посмотрел на ее оскаленный рот: посмотрел и заметил:

– «Да так себе: сами же вы сказали – отшельник я...»

Золото пломбы проблистало в ответ:

– «Не отвертывайтесь».

– «Да нисколько...»

– «Просто вы обижены на него...»

– «Вот еще...» – попытался было возразить Александр Иванович и оборвал свои оправдания: вышло – неубедительно.

– «Просто вы обижены на него. Все на него обижаются. И тут вмешался *Липпанченко* ... Этот *Липпанченко*!.. Портит ему репутацию... Да поймите ж: *Липпанченко* – необходимая, взятая роль... Без *Липпанченко* давно бы он был уж схвачен... *Липпанченко* он покрывает всех нас... Но все верят в *Липпанченко* ...»

Некоторые существа имеют печальное свойство: дурной запах во рту... Александр Иванович отодвинулся.

– «Все на него обижаются... А скажите», – Зоя Захаровна ухватила за пульверизатор, – «где сыщете вы такого работника?.. А? Где сыщете?.. Кто согласится, скажите, как он, отказавшись от всех естественных сантиментов, быть *Лип-*

*панченкой* – до конца...»

Александр Иванович подумал, что особа была что-то уж слишком *Липпанченкой*: но возражать не хотел.

– «Уверяю вас...»

Но она перебила:

– «Как же вам не стыдно так его оставлять, так таиться, скрываться; ведь Колечка мучается; рвать все прошлые, интимные связи...»

Александр Иванович с изумлением вспомнил, что *особа-то* – Колечка: сколько месяцев этого он, признаться, не вспомнил?

– «Ну, если там он и выпьет, нагрубиянит; и – ну, там – увлечения... Так ведь: лучшие же спивались, развратничали... И по личной охоте. Колечка же делает это для отвода лишь глаз – как *Липпанченко*: для безопасности, гласности, пред полицией, для общего дела он так губит себя».

Александр Иванович усмехнулся невольно, но поймал на себе недоверчивый, озлобленный взгляд:

– «Что...»

И поспешил:

– «Нет... ничего я...»

– «Тут ведь самая страшная жертва... Не поверите ли, ведь ему грозит многое; от насильственных частых попок, от обязательных в его положении кутежей преждевременно Николай погубит себя...»

Александр Иванович знал, что Зоя Захаровна подозрева-

ет его в том, что он слишком часто бывает с Липпанченко в ресторанчиках, приучая Липпанченко... к многому...

– «Это может ведь кончиться плохо...»

Ну и жизнь: здесь – может кончиться плохо; он, Александр Иванович, медленно сходит с ума. Николая Аполлоновича придавили тяжелые обстоятельства; что-то такое неладное завелось у них в душах; тут ни – полиция, ни – произвол, ни – опасность, а какая-то душевная гнилость; можно ли, не очистившись, приступать к великому народному делу? Вспомнилось: «Со страхом Божиим и верою приступите». А они приступали без всякого страха. И – с верой ли? И так приступая, преступали какой-то душевный закон: становились преступниками, не в том смысле конечно... а – иначе. Все же они преступали.

– «Вспомните Гельсингфорс и катанье на лодках...», – в голосе Зои Захаровны тут послышалась неподдельная грусть. – «И потом: эти сплетни...»

– «А какие?»

Он заинтересовался, он вздрогнул.

– «О Колечке сплетни!.. Вы думаете, не подозревает он, не терзается, не кричит по ночам» (Александр Иваныч запомнил, что – *кричит по ночам*) – «как они о нем говорят после столького. И – нет благодарности, нет сознания, что человек пожертвовал всем... Он все знает: молчит, убивается... Оттого-то он мрачен... Он душою кривить не умеет. Выглядит он всегда неприятно», – в голосе Зои Захаровны послышал-

ся чуть не плач, – «выглядит неприятно... с этой... несчастной наружностью. Верите: он – ребенок, ребенок...»

– «Ребенок?»

– «А вам удивительно?»

– «Нет», – замялся он, – «только, знаете, как-то странно мне это слышать, все-таки представление о Николае Степановиче не вяжется как-то...»

– «Настоящий ребенок! Посмотрите: куколка – Ванька-Встанька», – рукою она показала на куколку, просверкавши браслетом... – «Вы вот уйдете: наговорите ему неприятностей, а он – он!..»

– «?»

– «Он посадит к себе на колени кухаркину дочку и играет с ней в куклы... Видите? А они его упрекают в коварстве... Господи, он играет в солдатики!..»

– «Вот так-так!»

– «В оловянные: покупает персов, выписывает из Нюренберга коробочки... Только – это секрет... Вот какой он!.. Но», – брови ее резко сдвинулись – «но... в детской запальчивости он способен на все».

Александр Иванович все более убеждался из слов, что *особа-то* скомпрометирована не на шутку; а он этого, признаться, не знал; эти намеки на *что-то* теперь принял он к сведению, уплывая взором туда, где сидели они...

Круто как-то на грудь падала узколобая голова; в орбитах глубоко затаились пытливо сверлящие глазки, перепархива-

ющие от предмета к предмету; чуть вздрагивала и посасывала воздух губа. Много было в лице: отвращением необоримым лицо стало пред Дудкиным, складываясь в то самое *странное целое*, уносимое памятью на чердак, чтобы ночью там зашагать, забубукать – сверлить, посасывать, перепархивать и выдавливать из себя невыразимые смыслы, не существующие нигде.

Он теперь внимательно всматривался в гнетущие и самую природою тяжело построенные черты.

Эта лобная кость... —

Эта лобная кость выдавалась наружу в одном крепком упорстве – понять: что бы ни было, какую угодно ценою – понять, или... разлететься на части. Ни ума, ни ярости, ни предательства не выдавала лобная кость; лишь усилие – без мысли, без чувства: понять... И лобные кости понять не могли; лоб был жалобен: узенький, в поперечных морщинах: казалось, он плачет.

Пытливо сверлящие глазки... —

Пытливо сверлящие глазки (приподнять бы им веки) – стали бы и они... так себе... глазками.

И они были грустными.

А посасывающая воздух губа напоминала – ну, право же! – губку полуторагодовалого молокососа (только не было соски); если б в губы ему настоящую соску, то не былб б удивительно, что губа все посасывает; без соски же это движение придавало лицу прескверный оттенок.

Ишь ведь – тоже: играет в солдатики!

Так внимательный разбор чудовищной головы выдавал лишь одно: голова была – головой недоноска; чей-то хиленький мозг оброс ранее срока жировыми и костяными наростами; и в то время как лобная кость выдавалась чрезмерно наружу надбровными дугами (посмотрите на череп гориллы), в это время под костью, может быть, протекал неприятный процесс, называемый в общежитии размягчением мозга.

Сочетание внутренней хилости с носорожьим упорством – неужели это вот сочетание в Александре Ивановиче и сложило химеру, а химера росла – по ночам: на куске темно-желтых обоев усмехалась она настоящим монголом.

Так он думал; в ушах же его затвердилось:

– «Ванька-Встанька... Кричит по ночам... Выписывает из Нюренберга коробочки... Настоящий ребенок...»

И прибавилось от себя:

– «Расшибает лбом лбы... Занимается вампиризмом...  
Предается разврату... И – тащит к гибели...»

И опять затвердилось:

– «Ребенок...»

Но затвердилось только в ушах: Зоя Захаровна уже вышла из комнаты.

**Нехорошо...**

Странное дело!

Доселе в отношении к Александру Ивановичу поведение *некой особы* искони носило характер лишь одних сплошных обязательств, и обязательств навязчивых; многомесячно, многократно, многообразно разводила особа свой орнамент из лести вокруг Александра Ивановича: лести той хотелось верить.

И лести той верилось.

Он *особой* гнушался; он к *ней* чувствовал физиологическое отвращение; более того: Александр Иванович Дудкин убегал от *особы* все эти последние дни, переживая мучительный кризис разуверенья во всем. Но *особа* его настигала повсюду; часто он бросал ей насмешливо слишком уже откровенные вызовы; вызовы эти принимала *особа* стоически – с циническим смехом, если бы он *особу* спросил, почему этот смех, то *особа* ответила б:

– «Это – по вашему адресу».

Но он знал, что *особа* хохочет над общим их делом.

Он *особе* твердил, что программа их партии несостоятельна, отвлеченна, слепа; и она – соглашалась; он же знал, что в выработке программы особа участвовала; если бы он спросил, не провокация ли замешалась в программу, то *особа* ответила б:

– «Нет, и нет: дерзновение...»

Наконец он пытался *ее* поразить своим мистическим *credo*, утверждением, что Общественность, Революция – не категории разума, а божественные Ипостаси вселенной; про-

тив мистики ничего не имела *особа*: слушала со вниманием; и – даже: старалась понять.

Но понять не могла.

Только – только: *особа* стояла перед ним; все протесты его и все крайние выводы принимала с покорным молчанием, трепала его по плечу и тащила в трактирчик; там, за столиком, они тянули коньяк; иногда под бубен машины ему говорила *особа*:

– «Что ж? Я – что: ничего... Я всего лишь подводная лодка; вы у нас – броненосец, кораблю большому и плавание...»

Тем не менее она его загнала на чердак: и, загнав на чердак, там запрятала; броненосец стоял на верфи без команды, без пушек; плаванья Александра Ивановича все последние эти недели ограничивались плаванием от трактира к трактиру: можно сказать, что за эти недели протеста Александра Ивановича превратила *особа* в пропойцу.

Гостеприимно она встречала его; от всех бывших бесед у него осталось одно несомненное впечатление: если бы Александру Ивановичу вдруг понадобилась бы серьезная помощь, эту помощь *особа* была ему должна оказать; все это подразумевалось само собою, конечно; но услуги, но помощи для себя Александр Иванович боялся.

Лишь сегодня представился случай.

Аблеухову он дал слово распутать; и распутает он: при помощи, конечно, *особы*. Роковое смешение обстоятельств Аблеухова бросило просто в какую-то абракадабру; абракадаб-

ру он расскажет *особе*, а *особа*, он верил, уже сумеет распутать тут все.

Появление его здесь было вызвано только словом, данным им Аbbleухову; и вот – нате же...

Тон *особы* к нему переменился обидно; это он заметил с первого появления *особы* на дачке; неузнаваемым стал тон *особы* к нему, – неприятным, обидным, натянутым (таким тоном начальники учреждений встречают просителей, таким тоном встречает редактор газеты газетного репортера, собирателя сведений о пожарах и кражах; и так попечитель говорит с кандидатом на место учителя в... Сольвычегодске, в Сарепте...).

Вот – нате же!..

Так: после беседы с французом (француз теперь удалился) *особа* вопреки всей манере держаться с Александром Ивановичем из кабинета не вышла, а продолжала сидеть – там, за письменным столиком; и – обидно так вышло: будто бы его, Александра Ивановича, и нет вовсе тут; будто бы он не знакомый, а – черт знает что! – неизвестный проситель, располагающий своим временем. Александр Иванович Дудкин был все же – Неуловимый; партийная его кличка гремела в России и за границей; да и, кроме всего: по происхождению был он все же потомственный дворянин, а *особа*, *особа* – гм-гм; появление свое у *особы* он считал *особе* за честь...

Темнело: синело.

А в темнеющем всем, в полусумраке кабинетика, пиджа-

ком отвратительно прожелтилась *особа*; вовсе к столику принагнулась квадратная голова (над спиною виднелся лишь крашенный кок), подставляя широкую мускулистую спину с, должно быть, невымытой шеей; спина как-то выдавилась, подставлялся взору; и подставляясь не так: не прилично, а... как-то... глумливо. И ему отсюда казалось, что насмешливо разнахальничались оттуда, из полусумерок кабинетика, сутулосогбенные – плечо и спина; и он мысленно их раздел; представилась жирная кожа, разрезаемая с такою же легкостью, как кожа поросенка под хреном; проползал таракан (видно здесь водились они в изобилии); ему стало противно, он – сплюнул.

Вдруг безликой улыбкой повыдавилась меж спиной и затылком жировая шейная складка: точно в кресле там засело чудовище; и представилась шея лицом; точно в кресле засело чудовище с безносой, безглазую хारेю; и представилась шейная складка – беззубо разорванным ртом.

Там, на вывернутых ногах, неестественно запрокинулось косолапое чудище – в полусумерках комнаты.

Фу, пакость!

Александр Иванович передернул плечом и подставил спине свою спину; он принялся выщипывать усики с независимым видом; он хотел бы представиться оскорбленным, а представился независимым только; он выщипывал усики с таким видом, будто он сам по себе, а спина сама по себе. Ему бы уйти, хлопнув дверью; а уйти невозможно: от этого раз-

говора зависело спокойствие жизни Николая Аполлоновича; и стало быть: уйти, хлопнув дверью, нельзя; и стало быть, он все-таки от *особы* зависел.

Александр Иванович, сказали мы, подставил спине свою спину; но спина с шейной складкой была все же спиной притягательной; и он на нее повернулся: не повернуться не мог... Тут *особа*, в свою очередь, повернулась круто на стуле: поглядела в упор наклоненная узколобая голова, напоминая дикого кабана, готового вонзить клык в какого угодно преследователя; повернулась и опять отвернулась. Жест этого поворота красноречиво кричал – сплошным желанием нанести оскорбление. Но и не только это выразил жест. Должно быть, *особа* подметила кое-что в устремленном ей в спину взоре, потому что взгляд моргающих глазок язвительно выразил:

– «Э, э, э... Так-то вы, батенька?...»

Александр Иванович сжал в кармане кулак. И опять отвернулся.

Часы тикали. Александр Иванович крикнул два раза, чтобы слуха *особы* коснулось его нетерпение (надо было и себя отстоять, и не слишком обидеть *особы*; обидь он *особу*, Николай Аполлонович от обиды той ведь мог потерпеть)... Но крихтенье Александра Ивановича вышло робеющей спазмой приготовишки перед школьным учителем. Что такое случилось с ним? Откуда возникла та робость? *Особы* он не боялся ничуть: он боялся галлюцинации, возникающей там, на

обоях, – не *особы* же...

*Особа* писать продолжала.

Александр Иванович крикнул еще. И еще. На этот раз *особа* отозвалась.

– «Повремените...»

Что за тон? Что за сухость?

Наконец *особа* привстала и повернулась; грузная ладонь описала в воздухе пригласительный жест:

– «Пожалуйте...»

Александр Иванович как-то весь растерялся; гнев его, перешедший все грани, выразился в суетливом забвении общеупотребительных слов:

– «Я... видите ли... пришел...»

– «?»

– «Как вы знаете, или впрочем... Что за черт!..» – И вдруг коротко так отрезал он:

– «Дело есть...»

Но *особа*, откинувшись в кресло (он ее готов был без жалости придушить в этом кресле), с уничтожающим видом пробарабанила по столу обкусанным пальцем; и – глухо бубкнула:

– «Должен предупредить вас... Времени у меня нет сегодня, чтоб слушать пространные разъяснения. А потому...»

Каково!

– «Потому я просил бы вас, мой милейший, выразаться точнее и кратче...»

И в кадык вдавив подбородок, *особа* уставилась в окна; и пустое от света пространство оттуда кидало шелестящие горсточки своего листопада.

– «А скажите, с какой поры у вас этот... такой тон», – вырвалось у Александра Ивановича не иронически только, а как-то даже растерянно.

Но *особа* опять его перебила: перебила неприятнейшим образом:

– «Ну те-с?»

И скрестила руки у себя на груди.

– «Дело мое...» – и запнулся...

– «Ну те-с...»

– «Стало большой важности...»

Но *особа* в третий раз перебила:

– «Степень важности мы обсудим потом».

И прищурила глазки.

Александр Иванович Дудкин, непонятным образом растерявшись, покраснел и почувствовал, что больше не выдавить фразы. Александр Иванович молчал.

Молчала *особа*.

В окна бил листопад: красные листья, ударяясь о стекла облетая, шушукались; там суки – сухие скелеты – образовали черновато-туманную сеть; был на улице ветер: черноватая сеть начинала качаться; черноватая сеть начинала гудеть. Бестолково, беспомощно, путаясь в выражениях, Александр Иванович излагал аблеуховский инцидент. Но по ме-

ре того, как он вдохновлялся рассказом, преодолевая ухабы в построении своей речи, суше, суровее становилась особа: бесстрастнее выступал и потом разгладилась лоб; пухлые губки перестали посасывать; а в том месте рассказа, где выступил провокатор Морковин, особа значительно вскинула брови и дернула носом: точно она до этого места все старалась действовать на совесть рассказчика, будто с этого места рассказчик стал и вовсе бессовестным, так что все пределы терпимости, на какие способна особа, в этом месте перейдены; и терпение ее – окончательно лопнуло:

– «А?.. Видите?.. А вы говорили?..»

Александр Иванович вздрогнул.

– «А что такое я говорил?»

– «Ничего: продолжайте...»

Александр Иваныч вскричал в совершенном отчаянии:

– «Да я все сказал! Что же еще мне прибавить!»

И в кадык вдавив подбородок, *особа* потупилась, покраснела, вздохнула, укоризненно впиалась в Александра Ивановича теперь неморгающим взглядом (взгляд был грустный); и – прошептала чуть-чуть:

– «Нехорошо... Очень, очень нехорошо... Как вам не стыдно!...»

В смежной комнате появилась Зоя Захаровна с лампою; прислуга, Маланья, накрывала на стол: и ставились рюмочки; господин Шишнарфиев появился в столовой; рассыпался мелким бисером его тенорок, но весь этот бисер давил...

акцент младоперса; сам Шишнарфиев был от взора укрыт цветочною вазою; все то Александр Иванович подметил издалека, и – будто сквозь сон.

Александр Иванович чувствовал трепетание в сердце; и – ужас; при словах «как вам не стыдно» он слышал, как яркий румянец заливал его щеки; явная угроза в словах страшно-го собеседника притаилась губительно; Александр Иванович невольно заерзал на стуле, припоминая какую-то им не совершенную вовсе вину.

Странно: он не осмелился переспрашивать, что значит скрытая в тоне *особы* угроза и что значит по его адресу «стыдно». «Стыдно» это он так-таки проглотил.

– «Что же мне передать Аbbleухову относительно провокаторской этой записки?»

Тут лобные кости приблизились к его лбу:

– «Какой такой провокаторской? Не провокаторской во-все... Должен вас охладить. Письмо к Аbbleухову написано мною самим».

Эта тирада произнеслась с достоинством, превозмогшим и гнев, и упрек, и обиду; с достоинством, превозмогшим себя и теперь снизошедшим до... уничижающей кротости.

– «Как? Письмо написано вами?»

– «И шло – через вас: помните?.. Или забыли?»

Слова «забыли» особа произнесла с таким видом, как будто бы Александр Иванович все это прекрасно сам знал, но для чего-то прикидывался незнающим; вообще *особа* явно

ему давала понять, что теперь она собирается с его притворством играть, как с мышкою кошка...

– «Помните: это письмо передал я вам, там – в трактирчике...»

– «Но я его передал, уверяю вас, не Аbbleухову, а Варваре Евграфовне...»

– «Полноте, Александр Иванович, полноте, батенька: ну, чего нам, своим людям, хитрить: письмо нашло адресата... А остальное – увертки...»

– «И вы – автор письма?»

Сердце Александра Ивановича так трепетало, так билось, и казалось, что – выбьется; точно бык, замычало; и – побежало вперед.

А *особа* значительно стукнула по столу пальцем, сменяя свой вид равнодушия на гранитную твердость, *особа* вскричала:

– «Что же вас удивляет тут?.. Что письмо Аbbleухову написано мною?..»

– «Конечно...»

– «Извините меня, но я сказал бы, что изумление ваше граничит уже с откровенным притворством...»

Из-за вазы, оттуда, выставился черный профиль Шишнарфиева; Зоя Захаровна профилю зашептала, а профиль кивал головой; и потом уставился на Александра Ивановича. Но Александр Иванович ничего не видал. Он только воскликнул, кидаясь к *особе*:

– «Или я сошел с ума, или – вы!..»

Особа ему подмигнула:

– «Ну те-ка?»

Вид же ее говорил:

– «Э, э, э, батенька: давеча я видел, как ты посматривал...»

Думаешь, что со мной эдак можно?..»

Нечто произошло: бодро, как-то весело даже, как-то даже с придурковатым задором *особа* прищелкнула языком, будто хотела воскликнуть:

– «Батенька, да подлость-то, право, с тобою – только с тобой: не со мной...»

Но она сказала лишь:

– «А?... А?..»

Потом, сделавши вид, что свой сардонический хохот она с трудом подавила, строго, внушительно, снисходительно положила *особа* свою тяжелую руку на плечо к Александру Ивановичу. Задумалась и прибавила:

– «Нехорошо... Очень, очень нехорошо...»

И то самое, странное, гнетущее и знакомое состояние охватило Александра Ивановича: состояние гибели пред куском темно-желтых обоей, на которых – вот-вот – появится роковое. Александр Иванович тут почувствовал за собой незнаемую вину; посмотрел, и будто бы облако повисло над ним, окуривая его из того направления, где сидела *особа*, и выкуриваясь из *особы*.

А *особа* уставилась на него узколобою головой; все сидела

и все повторяла:

– «Нехорошо...»

Наступило тягостное молчание.

– «Впрочем, конечно, соответствующих данных я все еще подожду; нельзя же без данных... А впрочем: обвинение – тяжкое; обвинение, скажу прямо вам, столь тяжко, что...» – тут *особа* вздохнула.

– «Но какие же данные?»

– «Вас лично пока не хочу я судить... Мы в партии действуем, как вы знаете, на основании фактов... А факты, а факты...»

– «Да какие же факты?»

– «Факты о вас собираются...»

Этого не хватало лишь!

Вставши с кресла, *особа* обрезала кончик гаванской сигары, двусмысленно замымыкала песенку; непроницаемо она замкнулась теперь в свое благодушие; прошагала в столовую, дружелюбнохватила Шишнарфиева по плечу.

Крикнула по направлению к кухне, откуда потягивало таким вкусным жарким.

– «Смерть как хочется есть...»

Оглядела стол и заметила:

– «Наливочки бы...»

Потом прошагала обратно она в кабинетик.

.....

– «Ваши сидения в дворницкой... Ваша дружба с домовою

полицией, с дворником... Наконец: попойки ваши с участковым писцом Воронковым...»

И на вопросительный, недоумевающий взгляд – взгляд, полный ужаса – Липпанченко, то есть *особа*, продолжала язвительный, многосмысленный шепот, полагая ладонь на плечо к Александру Ивановичу.

– «Будто сами не знаете? Строите удивленные взоры? Не знаете, кто такой Воронков?»

– «Кто такой Воронков? Воронков?!.. Позвольте... да что ж из этого... Что ж тут такого?..»

Но *особа*, Липпанченко, хохотала, схватясь за бока:

– «Не знаете?..»

– «Я не утверждаю этого: знаю...»

– «Прелестно!..»

– «Воронков – писец из участка: посещает домового дворника Матвея Моржова...»

– «С сыщиком изволите выдеться, с сыщиком изволите распивать, как не знаю кто, как последний шпичишко...»

– «Позвольте!..»

– «Ни слова, ни слова», – замахала *особа*, видя попытку Александра Ивановича, перепуганного не на шутку, что-то такое сказать.

– «Повторяю: факт вашего явного участия в провокации не установлен еще, но... предупреждаю – предупреждаю по дружбе: Александр Иванович, родной мой, вы затеяли что-то неладное...»

– «Я?»

– «Отступите: не поздно...»

На мгновение Александру Ивановичу представилось явно, что слова «отступите, не поздно» есть своего рода условие *некой особы*: не настаивать на разъяснении инцидента с Николаем Аполлоновичем; показалось еще кое-что – *особа-то* (вспомнил он) и сама была чем-то крупно ославлена; что-то такое случилось тут – было явно: давешние намеки Зои Захаровны Флейш – о чем же еще!

Но едва это Александр Иванович подумал и, подумав, приободрился немного, как знакомое, зловещее выражение *той самой* галлюцинации – мимолетно скользнуло на лице толстяка; и лобные кости напряжились в одном крепком упорстве – сломать его волю: во что бы ни стало, какую угодно ценою – сломать, или... разлететься на части.

И лобные кости сломали.

Александр Иванович как-то сонно и угнетенно поник, а *особа*, мстящая за только что бывшее мгновение противления своей воле, уже опять наступала; квадратная голова наклонилась так низко.

Глазки – глазки хотели сказать:

– «Э, э, э, батенька... Да ты вот как?»

И слюною брызгался рот:

– «Не прикидывайтесь таким простаком...»

– «Я не прикидываюсь...»

– «Весь Петербург это знает...»

– «Что знает?»

– «О провале Т... Т...»

– «Как?!»

– «Да, да...»

Если бы *особа* хотела сознательно отвлечь мысль Александра Ивановича от могущего произойти в нем открытия подлинных мотивов поведения *особы*, то она совершенно успела, потому что известие о провале Т... Т... поразило, как громом, слабого Александра Ивановича:

– «Господи Иисусе Христе!..»

– «Иисусе Христе!» – издевалась особа. – «Это ж вам известно прежде всех нас... До показания экспертов допустим, что так это... Только: не усугубляйте же на себя подозрений: и ни слова об Аблеухове».

Должно быть, у Александра Ивановича в ту минуту был крайне идиотический вид, потому что особа продолжала все хохотать и дразнила черным оскалом широко раскрытого рта: тем же самым оскалом из мясной глядит на нас кровавая звериная туша с ободранной кожей.

– «Не прикидывайтесь, родной мой, будто роль Аблеухова неизвестна вам; и будто вам неизвестны причины, которые и заставили меня казнить Аблеухова данным ему поручением; будто вам неизвестно, как этот паскудный паршивец разыграл свою роль: роль, заметьте разыграна ловко; и расчет был правильный, – расчет на сантиментальности эти, слюняйство, например, в роде вашего», – смягчилась *особа*:

признанием, что и Александр Иваныч страдает – слюнтяйством она великодушно снимала с Александра Ивановича взведенное за минуту пред тем обвинение; верно, вот отчето при слове «*слюнтяйство*» что-то свалилось с души Александра Иваныча; он уже глухо-глухо старался уверить себя, что относительно *особы* – ошибся он.

– «Да расчетец был правильный: благородный де сын ненавидит отца, собирается де отца укокошить, а тем временем шныряет среди нас с рефератиками и прочею белибердою; собирает бумажки, а когда накаплиется у него коллекция этих бумажек, то коллекцию эту он – преподносит папаше... А у всех у вас к гадине этой какое-то неизъяснимое тяготение...»

– «Да ведь он, Николай Степаныч, он – плакал...»

– «Что же, слезы вас удивили... Чудак же вы: слезы – это обычное состояние интеллигентного сыщика; интеллигентный же сыщик, когда расплачется, то думает, что расплакался искренне: и, пожалуй, даже он жалеет, что – сыщик; только нам от этих интеллигентских слез нисколько не легче... И вы, Александр Иванович, – тоже вот плачете... Я вовсе не хочу сказать, что и вы виноваты» (неправда: только что *особа* твердила тут о вине; и эта *неправда* на мгновение ужаснула Александра Ивановича; подсознательно в душе его, как молния, сверкнуло одно: «Совершается торг: мне предлагается поверить отвратительной клевете, или, точнее, не веря, с клеветою эту согласиться ценой снятия клеветы с меня

самого...» Все это сверкнуло за порогом сознания, потому что ужасную правду заперли за этот порог над глазами склоненные лобные кости *особы* и гнетущая атмосфера грозы, и блеск маленьких глазок с их «э, э, – батенька»... И он думал, что начинает он клевете этой верить).

– «Вы, уверен я, вы, Александр Иванович, чисты, но – что касается Аbbleухова: тут вот, в этом вот ящике у меня на хранение досье: я представлю впоследствии досье на суд партии». Тут *особа* отчаянно затопталась по кабинетнику – из угла в угол – и забила косолапо ладонью в перекрахмаленную свою грудь. В тоне же послышалось неподдельное огорчение, отчаяние – просто какое-то благородство (видно, торг заключен был удачно).

– «Впоследствии-то меня, верьте, поймут: теперь положение меня вынуждает стремительно вырвать с корнем заразу... Да... я действую, как диктатор, единственной волею... Но – верьте мне – жалко: жалко было подписывать ему приговор, но... гибнут десятки... из-за вашего... сенаторского сынка: гибнут десятки!.. И Пеппович, и Пепп уже арестованы... вспомните, сами вы когда-то едва не погибли (Александр Иванович подумал, что он-то – погиб уже)... Кабы не я... Якутскую областька вспомните!.. А вы заступаетесь, соболезнуете... Плачьте же, плачьте! Есть о чем плакать: гибнут десятки!!!..»

Тут *особа* вскинула быстрыми глазками и вышла из кабинета.

Стемнело: была чернота.

.....

Темнота напала; и встала она между всеми предметами комнаты; столики, шкафы, кресла – все ушло в глубокую темноту; в темноте посиживал Александр Иванович – один-одинешенек; темнота вошла в его душу: он – плакал.

Александр Иванович припомнил все оттенки речи *особы* и нашел все эти оттенки оттенками искренними; *особа*, наверное, не лгала; а подозрения, ненависть – все это могло найти объяснение в том болезненном состоянии Александра Ивановича: какой-нибудь случайный полуночный кошмар, в котором главную роль играла *особа*, мог случайно связаться каким-нибудь случайным двусмысленным выраженьем *особы*; и пища для душевной болезни на почве алкоголизма готова; галлюцинация же монгола и бессмысленный в ночи им слышанный шепот: «Енфраншиш» – все это dokonчило остальное. Ну, что такое монгол на стене? Бред. И пресловутое слово.

«Енфраншиш, енфраншиш...» – что такое?

Абракадабра, ассоциация звуков – не более.

Правда, к *некой особе* питал он и прежде недобрые чувства; но правда и то: *особе* был он обязан – *особа* его выручала; отвращение, ужас были ничем не оправданы, разве что... бредом: *пятном на обоях*.

Э, да болен он, болен.

Темнота напала: напала, обстала; с какой-то серьезною

грозностью выступали – стол, кресло, шкаф; темнота вошла в его душу – он плакал: нравственный облик Николая Аполлоновича встал теперь впервые в своем истинном свете. Как он мог его не понять?

Вспомнилась первая встреча с ним (Николай Аполлонович у общих знакомых тогда читал рефератик, в котором ниспровергались все ценности): впечатление вышло не из приятных; и – далее: Николай Аполлонович, правду сказать, выказывал особое любопытство ко всем партийным секретам; с рассеянным видом мешковатого выроodka во все тыкал нос: ведь рассеянность эта могла и быть напускной. Александр Иванович подумал: провокатор высшего типа уж конечно бы мог обладать наружностью Аблеухова – этим грустно-задумчивым видом (избегающим взора ответного) и лягушечьим выражением этих растянутых губ; Александр Иванович медленно убеждался: Николай Аполлонович во всем этом деле повел себя странно; и гибли – десятки...

По мере того, как он уверял себя в причастности Аблеухова в деле провала Т. Т., грозное, гнетущее чувство, овладевавшее им в беседе с *особою*, пропадало; что-то легкое, почти беззаботное вошло в его душу. Александр Иванович издавна почему-то особенно ненавидел сенатора: Аполлон Аполлонович внушал ему особое отвращение, подобное отвращению, которое нам внушает фаланга или даже тарантул; Николая же Аполлоновича он временами любил; теперь же сенаторский сын для него объединился с сенатором в одном

приступе отвращения и в желании тарантуловое это отродье – искоренить, истребить.

– «О, погань!.. Гибнут десятки... О, погань...»

Лучше даже мокрицы, кусок темно-желтых обоев, лучше даже *особа*: в *особе* есть по крайней мере хоть величие ненависти; с *особою* можно все же слиться в желании – истребить пауков:

– «О, погань!..»

Через комнату от него гостеприимно уже поблескивал столик; на столике были уставлены *вкусности*: колбаса, сиг и холодные телячьи котлеты; издали доносилось довольное гымяние вконец уставшей *особы* да Шишнарфиева; этот последний прощался; наконец он ушел.

Скоро в комнату ввалилась *особа*, подошла к Александру Ивановичу, положила тяжелую на его плечи ладонь:

– «Так-то! Лучше нам не ругаться, Александр Иванович; если свои будут в ссоре, так... как же иначе?..»

– «Ну, пойдете же кушать... Откушайте с нами... Только давайте за ужином об этом всем уж ни слова... Все это невесело... Да и Зое Захаровне это нечего знать: устала она у меня... Да и я порядком устал... Все мы порядком устали... И все это – нервы... Мы с вами нервные люди... Ну – ужинать, ужинать...»

Гостеприимно поблескивал столик.

## Опять печальный и грустный

Александр Иванович звонился множество раз.

Александр Иванович звонился у ворот своего сурового дома; дворник не отворял ему; за воротами на звонок лишь отвечивал лаем пес; издали одиноко подал голос на полночь полуночный петух; и – замер. Восемнадцатая линия убежала – туда: в глубину, в пустоту.

Пустота.

Александр Иванович испытывал нечто, подобное удовольствию, в самом деле: отсрочивался его приход в сих плачевных стенах; в сих плачевных стенах раздавались всю ночь шорохи, трески и пiski.

Наконец – и что главное: надо было осилить во мраке двенадцать холодных ступенек; повернувшись, отсчитать снова ровное их число.

Это делал Александр Иваныч четырежды.

Итого – девяносто шесть каменных, гулких ступеней; Далее: надо было стоять перед войлочной дверью; надо было со страхом вложить полуржавый в скважину ключ. Спичку рискованно было зажечь в этом мраке кромешном; спичечный огонек мог осветить неожиданно самую разнообразную дрянь; вроде мыши; и еще кой-чего...

Так подумал Александр Иванович.

Поэтому-то все медлил он под воротами своего сурового

дома.

И – ну вот... —

– Кто-то печальный и длинный, кого Александр Иванович не раз видывал у Невы, опять показался в глубине восемнадцатой линии. На этот раз тихо вступил он в светлый круг фонаря; но казалось что светлый свет золотой грустно заструился от чела, от его костенеющих пальцев... —

– Так неведомый друг показался и нынешний раз.

Александр Иванович вспомнил, как однажды окликнула милого обитателя восемнадцатой линии прохожая старушонка в соломенной шляпе чепцом с лиловыми лентами.

Мишей она его тогда назвала.

Александр Иванович вздрагивал всякий раз, как печальный и длинный, проходя, обращал на него невыразимый, всевидящий взор; и все так же белели при этом его впалые щеки. Александр Иванович видел-невидел и слышал-неслышал после этих встреч на Неве.

– «Если б остановился!..»

– «О, если бы!..»

– «И, о, если бы выслушал!..»

Но печальный и длинный, не глядя, не останавливаясь, уж прошел.

Отчетливо удалялся звук его шага; этот отчетливый звук происходил оттого, что ноги прохожего не были, как у прочих, обуты в калоши. Александр Иванович обернулся и тихо хотел ему что-то такое сказать; тихо хотел он позвать како-

го-то неизвестного Мишу...

Но то место, куда Миша уже ушел безвозвратно, – то место пустело теперь в светлом колеблемом круге; и не было – ничего, никого, кроме ветра да слякоти.

И оттуда мигал желтый огненный язык фонаря.

Тем не менее он опять позвонился. Петербургский петух на звонок отвечал снова: в скважинах просвистал сыроватый ветер морской; ветер стонал в подворотне и напротив с размаху ударился о железную вывеску *«Дешевой столовой»*; и железо грохнуло в темноту.

## Матвей Моржов

Наконец заскрипели ворота.

Бородатый дворник, Матвей Моржов, давнишний приятель Александра Ивановича, пропустил его за домовый порог: отступление было отрезано; и замкнулись ворота.

– «Што позненько?»

– «Все дела...»

– «Изволите искать себе места?»

– «Да, места...»

– «Натурально: местов таперича нет... Разве вот, ежели ослабнитса в Участке...»

– «Да в Участок меня, Матвей, не возьмут...»

– «Натурально: куда вам в Участок...»

– «Вот видишь?»

– «А местов таперича нет...»

Бородатый дворник, Матвей Моржов, иногда засылал к Александру Ивановичу свою дебелую бабу, все болевшую ушною болезнью, то с куском пирога, а то с приглашением в гости; так, они выпивали по праздникам, в дворницкой: с домовою полицией Александру Ивановичу, как нелегальному человеку, надлежало сохранять теснейшую дружбу.

Да и кроме того.

Представлялся лишь выгодный случай безопасно сойти с своего холодного чердака (свой чердак, как видели мы, Александр Иванович ненавидел, а, бывало, неделями он безвыходно в нем сидел, когда выход казался рискован).

Иногда к их компании прибавлялись: участковый писец Воронков да сапожник Бессмертный. А в последнее время все в дворницкой сиживал Степка: Степка же был безработный.

Александр Иванович, очутившись на дворике, явственно слышал, как из дворницкой долетала до слуха его та же все песенка:

Кто канторшыка

Ни любит, —

А я стала бы

Любить...

Абразованные

Люди

Знают,

Што пагаварить...

.....

– «Опять гости?»

Матвей Моржов с свирепой задумчивостью почесал свой затылок:

– «Маненечка забавляемся...»

Александр Иванович улыбнулся:

– «Небось, участковый писарь?..»

– «А то кто же... Он самый...»

Вдруг Александр Иванович вспомнил, что имя писца Воронкова почему-то было настойчиво упомянуто— там, *особо*; почему *особа* знала и писца Воронкова, и о писце Воронкове, и об этих сидениях их? Он тогда удивился, да спросить позабыл.

Купи маминька

На платье

Жиганету

Сераву:

Уважать топерь

Я буду

Васютку

Ликсеева!..

.....

Дворник Моржов, видя какую-то нерешительность Алек-

сандра Ивановича, посопел носом, да и мрачно отрезал:

– «Штош... В дворницкую-то... Захаживайте...»

И зашел бы Александр Иванович: в дворницкой и тепло, и людно, и хмельно; на чердаке же одиноко и холодно. И – нет, нет: там писец Воронков; о писце Воронкове двусмысленно говорила *особа*; и – черт его знает! Но главное: заход в дворницкую был бы решительной трусостью: был бы бегством от собственных стен.

Александр Иванович со вздохом ответил:

– «Нет, Матвей: спать пора...»

– «Натуральное дело: как знаете!..»

А как там распевали:

Купи маминька

На платье

Жиганету

Синева:

Уважать топерь

Я буду

Сыночка

Васильева!..

– «А то выпили б водки?»

И просто с каким-то отчаянием, просто с какою-то злостью он выкрикнул:

– «Нет, нет, нет!»

И пустился бежать к серебристым сажням дров.

Уж Матвей Моржов, уходя, распахнул на минуту дверь дворницкой: белый пар, сноп световой, гам голосов и запах согретой грязи, занесенной с улицы сапожищами, выхватился на мгновение оттуда; и – бац: захлопнулась за Матвеем Моржовым дверь.

Вторично отступление было отрезано.

Луна опять озаряла четкий дворик квадратный и серебристые сажени асиновых дров, меж которых юркнул Александр Иванович, направляясь к черному подъездному входу. В спину ему из дворницкой долетали слова; верно, пел сапожник Бессмертный.

Железнодорожные рельсы!..  
И насыпь!.. И стрелки сигнал!  
Как в глину размытую поезд  
Слетел, низвергаясь со шпал.  
Картина разбитых вагонов!..  
Картина несчастных людей!..

Дальше не было слышно.

Александр Иванович остановился: так, так, так – начиналось; еще он не успел заключиться в темно-желтый свой куб, как уже: начиналась, возникла – неотвратимая, еженощная пытка. И на этот раз она началась у черных входных дверей.

.....

Дело было все в том же: Александра Ивановича они стерегли... Началось это так: как-то раз, возвращаясь домой, он

увидел сходящего с лестницы неизвестного человека, который сказал ему:

– «Вы с Ним связаны...»

Кто был подлинно сходящий с лестницы человек, кто был Он (с большой буквы), Кто связует с Собой, Александр Иванович не пожелал разузнать, но порывисто бросился от неизвестного вверх по лестнице. Неизвестный его не преследовал.

И вторично с Дудкиным – *было*: встретил на улице он человека в глубоко на глаза надвинутом картузе и со столь ужасным лицом (неизъяснимо ужасным), что какая-то проходящая тут незнакомая дама в перепуге схватила Александра Ивановича за рукав:

– «Видели? Это – ужас, ведь ужас... Этого не бывает!.. О, что это?..»

Человек же прошел.

Но вечером, на площадке третьего этажа Александра Ивановича схватили какие-то руки и толкали к перилам, явно пытаясь столкнуть – туда, вниз. Александр Иваныч отбился, чиркнул спичкою, и... на лестнице не было никого: ни спешащих, ни восходящих шагов. Было пусто.

Наконец в последнее время по ночам Александр Иванович слышал нечеловеческий крик... с лестницы: как вскрикнет!.. Вскрикнет, и более не кричит.

Но жильцы, как вскрикнет, – не слышали.

Только раз слышал он на улице этот крик – там, у Медного

Всадника: точь-в-точь так кричало. Но то был автомобиль, освещенный рефлекторами. Только раз иногда коротавший с ним ночи безработный Степан слышал, как... крикнуло. Но на все приставания к нему Александра Ивановича лишь угрюмо сказал:

– «Это вас они ищут...»

Кто *они*, на это Степка – молчок. И больше ни слова. Только стал Александра Ивановича этот Степка чуждаться, реже к нему заходить; ночевать же – ни-ни... И ни дворнику, ни писцу Воронкову, ни сапожнику Степка – ни слова. Александр Иванович – тоже ни слова...

Но каково быть насильственно вбитым *вовсе это*, ни с кем не делиться!

– «Это вас *они* ищут...»

Кто *они*, и почему *они* – ищут?..

.....

Вот и сейчас.

Александр Иванович произвольно бросил кверху свой взор: к окошку на пятом чердачном этажке; и в окошке был свет: было видно, что какая-то угловатая тень беспокойно слонялась в окошке. Миг, – и он беспокойно в кармане нащупал свой комнатный ключик: был ключик с ним. Кто же там очутился в запертой его комнате?..

Может быть – обыск? О, если бы только обыск: он влетел бы на обыск, как счастливейший человек; пусть его заберут и упрячут, хотя б... в Петропавловку, кто спрячет его в Пет-

ропавловку, все же хоть люди во всяком случае, *не они*.

– «Это вас *они* ищут...»

Александр Иванович перевел дыхание и дал себе заранее слово не ужасаться чрезмерно, потому что события, какие с ним теперь могли совершиться, – одна только праздная, мозговая игра.

Александр Иванович вошел в черный ход.

## Мертвый луч падал в окошко

Так, так, так: там стояли они; так же стояли они при последнем ночном возвращении. И они его ждали. Кто они были, этого сказать положительно было нельзя: два очертания. Мертвый луч падал в окошко с третьего этажа; белесовато ложился на серых ступенях.

И в совершеннейшей темноте белесоватые пятна лежали так ужасно спокойно – бестрепетно.

В белесоватое, вот это, пятно вступали лестничные перила; у перил же стояли они: два очертания; пропустили Александра Ивановича, стоя справа и слева от него; также они пропустили Александра Ивановича и тогда; ничего не сказали, не шевельнулись, не дрогнули; чувствовался лишь чей-то дурной из темноты на него прищуренный, не моргающий глаз.

Не приблизиться ль к *ним*, не зашептать ли им на уши в памяти восставшее из сна заклинание?

– «Енфраншиш, енфраншиш!...»

Каково только вот вступать под упорным их взглядом в белесоватое это пятно: быть освещенным луною, чувствуя по обе стороны зоркий взгляд наблюдателя; далее – каково ощутить наблюдателей черной лестницы у себя за спиной, ежесекундно на все готовых; каково не ускорить шага и хладнокровно покашливать?

Ибо стоило Александру Ивановичу быстро-быстро вдруг кинуться вверх по лестничным ступеням, как за ним бы кинулись следом и наблюдатели.

Тут белесоватые пятна стали серыми пятнами и потом гармонично затаяли; и растаяли вовсе в совершеннейшей темноте (видно черное облако набежало на месяц).

Александр Иванович спокойно вошел в перед тем белешее место, так что глаз он не видел, заключая отсюда, что и его глаза не увидели (бедный, он тешился тщетною мыслью, что невидимый проскользнет он к себе на чердак). Александр Иванович не ускорил шага, и даже – стал пощипывать усик; и...

...Александр Иваныч не выдержал.

Он стрелою влетел на площадку второго этажа (экая нетактичность!). И влетев на площадку, он позволил себе нечто, что его окончательно уронило во мнении там стоящего очертания.

Перегнувшись через перила, он вниз метнул растерянный, перепуганный взгляд, предварительно бросив туда зажжен-

ную спичку: вспыхнули железные прутья перил; и среди желтого мерцания этого явственно рассмотрел Александр Иванович силуэты.

Каково же было его изумление!

Один силуэт оказался просто-напросто татарин, Махмудкой, жителем подвального этажа; в желтом трепете догоравшей и мимо падавшей спички Махмудка склонился к господинчику обыденного вида; господинчик обыденного вида был в котелке, но с горбоносым лицом восточного человека; горбоносый, восточный же человек что-то силился спросить у Махмудки, а Махмудка качал отрицательно головой.

Далее – спичка погасла: ничего нельзя было разобрать.

Но горящая спичка выдала пребывание Александра Ивановича горбоносому восточному человеку: быстро вверх зашаркали ноги; и уже над самым ухом Александра Ивановича раздался теперь бойкий голос, но... – представьте себе, без акцента.

– «Извините, вы Андрей Андреич Горельский?»

– «Нет, я Александр Иванович Дудкин...»

– «Да, по подложному паспорту...»

Александр Иванович вздрогнул: он действительно жил по подложному паспорту, но его имя, отчество и фамилия были: Алексей Алексеевич Погорельский, а не Андрей Андреич Горельский.

Александр Иванович вздрогнул, но... решил, что утаива-

ния не приведут ни к чему:

– «Я, а что вам угодно?..»

– «Извините, пожалуйста: я явился к вам в первый раз и в столь неурочное время...»

– «Пожалуйста...»

– «Эта черная лестница: ваша квартира оказалась запертою... И там кто-то есть... Я предпочел ожидать вас у входа... И потом эта черная лестница...»

– «Кто же ждет меня там?..»

– «Не знаю: мне оттуда ответил голос какого-то простолюдина...»

Степка!.. Слава Богу: там – Степка...

– «Что же вам угодно?..»

– «Простите, я столько наслышан о вас: у нас общие с вами друзья... Николай Степаныч Липпанченко, где я бываю принят, как сын... Я давно-давно хотел познакомиться с вами... Я слышал, что вы полуночник... Вот я и осмелился... Я собственно живу в Гельсингфорсе и бываю наездом здесь, хотя моя родина – юг...»

Александр Иванович быстро сообразил, что гость его лжет; и притом пренахальнейшим образом, ибо *та же* история повторилась когда-то (где и когда – этого он не мог сейчас осознать: может быть, дело происходило в позабытом тотчас же сне; и вот – встало).

Нет, нет, нет: вовсе дело не чисто; но вида не надо показывать; и Александр Иванович отвечал в совершенную

тьму.

– «С кем имею честь разговаривать?»

– «Персидский подданный Шишнарфнэ... Мы уже с вами встречались...»

– «Шишнарфиев?..»

– «Нет, Шишнарфнэ: окончание *ве, ер* мне приделали – для руссицизма, если хотите... Мы были вместе сегодня – там, у Липпанченки; два часа я сидел, ожидая, когда вы закончите деловой разговор, и не мог вас дождаться... Зоя Захаровна вовремя не предупредила меня о том, что вы находитесь у нее. Я давно ищу с вами встречи... Я *давно вас ищу*...»

Эта последняя фраза, как и превращение Шишнарфиева в Шишнарфнэ, опять что-то сонно напомнили: было мерзко, тоскливо, томительно.

– «Мы с вами и прежде встречались?»

– «Да... помните?.. В Гельсингфорсе...»

Александр Иванович что-то смутно припомнил; неожиданно для себя он зажег еще новую спичку и поднес эту спичку к самому носу Шишнарфиева – виноват: Шишнарфнэ: вспыхнули на мгновение желтым отсветом стены, промерцали прутья перил; и из тьмы перед самым лицом его вдруг сложилось лицо персидского подданного; Александр Иванович ясно вспомнил теперь, что это лицо он видал в одной гельсингфорсской кофейне; но и тогда то лицо с Александра Ивановича почему-то не спускало подозрительных глаз.

– «Помните?»

Александр Иванович еще припомнил, еще: именно: в Гельсингфорсе у него начались все признаки ему угрожавшей болезни; и именно в Гельсингфорсе вся та праздная, будто кем-то внушенная, началась его мозговая игра.

Помнится, в тот период пришлось ему развивать парадоксальнейшую теорию о необходимости разрушить культуру, потому что период историей изжитого гуманизма закончен и культурная история теперь стоит перед нами, как выветренный трухляк: наступает период здорового зверства, пробивающийся из темного народного низа (хулиганство, буйство апашей), из аристократических верхов (бунт искусств против установленных форм, любовь к примитивной культуре, экзотика) и из самой буржуазии (восточные дамские моды, кэк-уок – негрский танец; и – далее); Александр Иванович в эту пору проповедовал сожжение библиотек, университетов, музеев; проповедовал он и призванье монголов (впоследствии он испугался монголов). Все явления современности разделялись им на две категории: на признаки уже изжитой культуры и на здоровое варварство, принужденное пока таиться под маскою утонченности (явление Ницше и Ибсена) и под этою маскою заражать сердца хаосом, уже тайно взывающим в душах.

Александр Иванович приглашал снимать маски и открыто быть с хаосом.

Помнится, это же он проповедовал и тогда, в гельсинг-

форсской кофейне; и когда его кто-то спросил, как отнесся бы он к сатанизму, он ответил:

– «Христианство изжито: в сатанизме есть грубое поклонение фетишу, то есть здоровое варварство...»

Вот тогда-то – вспомнил он – сбоку, за столиком, сидел Шишнаर्फнэ и с них глаз не спускал.

Проповедь варварства кончилась неожиданным образом (в Гельсингфорсе, тогда же): кончилась совершенным кошмаром; Александр Иванович видел (не то в сне, не то в засыпании), как его помчали чрез неопишное, что можно бы назвать всего проще междупланетным пространством (но что не было им): помчали для свершения некоего, там обыденного, но с точки зрения нашей все же гнусного акта; несомненно, это было во сне (между нами – что сон?), но во сне безобразном, повлиявшем на прекращение проповеди; во всем этом самое неприятное было то, что Александр Иванович не помнил, совершил ли он акт, или нет; этот сон впоследствии Александр Иванович отметил, как начало болезни, но – все-таки: вспоминать не любил.

Вот тогда-то он втихомолку от всех принялся читать Откровение.

И теперь, здесь на лестнице, напоминание о Гельсингфорсе подействовало ужасно. Гельсингфорс стал перед ним. Он невольно подумал:

– «Вот отчего все последние эти недели твердилось мне без всякого смысла: Гель-син-форс, Гель-син-форс...»

А Шишнарфнэ продолжал:

– «Помните?»»

Дело приняло отвратительный оборот: надо было броситься в бегство немедленно – вверх по каменным лестницам; надо было использовать темноту; а не то фосфорический свет бросит в окна белесоватые пятна. Но Александр Иванович медлил в совершеннейшем ужасе; почему-то особенно его поразила фамилия обыденного посетителя:

– «Шишнарфнэ, Шишнарфнэ... Где-то это я все уже знаю...»

А Шишнарфнэ продолжал:

– «Итак, вы позволите мне к вам зайти?.. Я, признаться, устал, поджидая вас... Вы, надеюсь, мне извините этот мой полуночный визит...»

И в припадке невольного страха Александр Иванович выкрикнул:

– «Милости просим...»

Сам подумал же:

– «Степка там выручит...»

.....

Александр Иванович бежал вверх по лестнице. За ним бежал Шишнарфнэ; бесконечная вереница ступеней вводила их, казалось, не к пятому этажу: конца лестницы не предвиделось; и сбежать было нельзя: за плечами бежал Шишнарфнэ, впереди же из комнатки била струя световая. Александр Иванович подумал:

– «Как же мог зайти ко мне Степка: ведь ключ у меня?»»

Но, ощупав карман, убедился он, что ключа не было: вместо дверного ключа был ключ старого чемодана.

## Петербург

Александр Иванович влетел сам не свой в свою убогую комнату и увидел, что на грязных козлах постели расселся Степан над догоравшим огарком; перед развернутой книгою с церковнославянскими буквами низко так опустилась его косматая голова.

Степан читал Требник.

Александр Иванович вспомнил обещание Степки: принести с собой Требник (его там интересовала молитва – молитва Василия Великого: увещательная, к бесам). И он ухватился за Степку.

– «Это ты, Степан: ну, я рад!»

– «Вот принес я вам, барин, Тр...», – но поглядев на вошедшего посетителя, Степка прибавил, – «что просили...»

– «Спасибо...»

– «Поджидаючи вас, зачитался я... (опять взгляд в сторону посетителя)... Мне пора...»

Александр Иванович рукой ухватился за Степку:

– «Не уходи, посиди... Этот вот барин – господин Шишнарфиев...»

Но из двери металлический голос отчеканил гортанно:

– «Не Шишнарфиев, а... Шиш-нар-фнэ...»

И охота была *ему* стоять за отсутствие буквы ве и твердо-го знака? о н виднелся у двери; о н снял котелочек; не скидывал пальтеца и окидывал комнатушку вопросительным взглядом:

– «Плоховато у вас... Сыровато... И холодно...»

Свеча догорала: вспыхнула оберточная бумага, и вдруг стены стали плясать в жидко-красном огне.

.....

– «Нет, барин, увольте: пора мне», – засуетился тут Степан, косясь неприязненно на Александра Ивановича и вовсе не глядя на гостя, – «увольте – до другого уж разу».

Он взял с собой Требник.

Под пристальным взглядом Степана Александр Иванович свои глаза опустил: пристальный взгляд, показалось ему, есть взгляд осудительный. И как быть – со Степаном? Что-то такое ему сказать хотелось – Степану; Степана он оскорбил; Степан не простит; и, казалось, Степан теперь думает:

– «Нет, барин, коли уж *эдакие* к вам повадились, тут уж нечего делать; и не к чему Требник... *Эдакие* не ко всякому вхожи; а к кому *они* вхожи, тот – поля их ягода...»

Стало быть, стало быть, если полагает Степан, – посетитель-то: и есть подозрительный... А тогда, как же быть, ему, одному – без Степана:

– «Степан, оставайся».

Но Степан отмахнулся не без оттенка гадливости: как буд-

то боялся и он, что к нему *это* может пристать:

«Это ведь к *вам* они: не ко мне...»

А в душе отдалось:

– «Это *вас* они ищут...»

За Степаном захлопнулась дверь. Александр Иванович хотел ему крикнуть вдогонку, чтоб оставил он Требник-то, да... устыдился. Вдруг он да и скажет компрометантное для вольнодумца словечко-то «Требник»: но – Александр Иванович дал себе заранее слово: не ужасаться чрезмерно, потому что события, какие с ним могли с уходом Степана быть – галлюцинация слуха и галлюцинация зрения. Пламена, кровавые светочи, проплясав, умирали на стенах; прогорела бумага: пламенек свечи угасал; все – мертвенно зеленело...

.....

На покрытых одеялишком козлах жестом руки попросил посетителя он усесться у столика; сам же стал он в дверях, чтоб при случае оказаться на лестнице и на ключ припереть посетителя, самому же мелкою дробью скатиться по всем девяности шести ступеням.

Посетитель, опершись на подоконник, закуривал папироску и тараторил; черный контур его прочертился на светящемся фоне зеленых заоконных пространств (там бежала луна в облаках)...

– «Вижу я, что попал к вам не вовремя... что, по-видимому, вас беспокою...»

– «Ничего, очень рад», – неубедительно успокаивал гостя

Александр Иванович Дудкин, сам нуждаясь в успокоении и осмотрительно пробуя за спину заложенную рукою, заперта или не заперта дверь.

– «Но... я так собирался к вам, так искал вас повсюду, что когда случайно не встретились мы у Зои Захаровны Флейш, я попросил ее дать ваш адрес; и от нее, от Зои Захаровны, я – прямо к вам: подждать... Те м более, что завтра я чуть свет уезжаю».

– «Уезжаете?» – переспросил Александр Иванович, потому что ему показалось: слова посетителя раздвоились в нем: и внешнее ухо восприняло «я чуть свет уезжаю»; другое ж какое-то ухо восприняло явственно, так восприняло:

– «Я днем уезжаю, приезжаю же с сумерками...»

Но он не настаивал, продолжая воспринимать бьющие в уши слова, как они раздавались, а не как отзывались.

– «Да, уезжаю в Финляндию, в Швецию... Там – я живу; впрочем, родина моя – Шемаха; а я обитаю в Финляндии: климат Петербурга, признаюсь, и *мне* вреден...»

Отдалось, раздвоилось в сознании это «*и мне*». Петербургский климат всем вреден; можно было бы «*и мне*» не подчеркивать вовсе.

– «Да», – машинально ответил Александр Иванович. – «Петербург стоит на болоте...»

Черный контур на фоне зеленых заоконных пространств (там бежала луна в облаках) тут как с места сорвется, и – пошел он писать совершенную ахинею.

– «Да, да, да... Для Русской Империи Петербург – характернейший пункт... Возьмите географическую карту... Но о том, что столичный наш город, весьма украшенный памятниками, принадлежит и к стране загробного мира...»

– «О, о, о!» – подумал Александр Иванович: – «надо ухо теперь держать по ветру, чтобы вовремя успеть убежать...»

Сам же он возразил:

– «Вы говорите столичный наш город... Да не ваш же: столичный ваш город не Петербург – Тегеран... Вам, как восточному человеку, климатические условия *нашей* столицы...»

– «Я космополит: я ведь был и в Париже, и в Лондоне... Да – о чем я: о том, что столичный *наш* город», – продолжал черный контур, – «принадлежит к стране загробного мира, – говорить об этом не принято как-то при составлении географических карт, путеводителей, указателей; красноречиво помалкивает тут сам почтенный Бедекер; скромный провинциал, вовремя не осведомленный об этом, попадает в лужу уже на Николаевском или даже на Варшавском вокзале; он считается с явною администрацией Петербурга: теневого паспорта у него нет».

– «То есть как это?»

– «Да так, очень просто: отправляясь в страну папуасов, я знаю, что в стране папуасов ждет меня папуас: Карл Бедекер заблаговременно предупреждает меня о сем печальном явлении природы; но что было бы со мною, скажите, если бы по

дороге в Кирсанов повстречался бы я со становищем черномазой папуасской орды, что, впрочем, скоро будет во Франции, ибо Франция под шумок вооружает черные орды и введет их в Европу – увидите: впрочем, это вам на руку – вашей теории озверения и ниспровержения культуры: помните?.. В гельсингфорсской кофейне я вас слушал с сочувствием».

Александр Ивановичу все более не по себе: его трясла лихорадка; особенно было гнусно выслушивать ссылку на им оставленную теорию; после ужасного гельсингфорсского сна связь теории этой с сатанизмом была явно осознана им; все это было им отвергнуто, как болезнь; и все это теперь, когда снова он болен, черный контур с лихвою отвратительно ему возвращал.

Черный контур там, на фоне окна, в освещенной луною камерке становился все тоньше, воздушнее, легче; он казался листиком темной, черной бумаги, неподвижно наклеенным на раме окна; звонкий голос его, вне его, сам собой раздавался посредине комнатного квадрата; но всего удивительней было то обстоятельство, что заметнейшим образом передвигался в пространстве самый центр голоса – от окна – по направлению к Александру Ивановичу; это был самостоятельный, невидимый Центр, из которого крепили уши рвущие звуки:

– «Итак, что я? Да... О папуасе: папуас, так сказать, существо земнородное; биология папуаса, будь она даже несколько примитивна, – и вам, Александр Иванович, не чужда. С

папуасом в конце концов вы столкнетесь; ну, хотя бы при помощи спиртного напитка, которому отдавали вы честь все последние эти дни и который создал благоприятнейшую для нашей встречи атмосферу; более того: и в Папуасии существуют какие-нибудь институты правовых учреждений, одобренных, может быть, папуасским парламентом...»

Александр Иванович подумал, что поведение посетителя не должное вовсе, потому что звук голоса посетителя неприличнейшим образом отделился от посетителя; да и сам посетитель, неподвижно застывший на подоконнике – или глаза изменяли? – явно стал слоем копоти на лунной освещенном стекле, между тем как голос его, становясь все звончее и принимая оттенок граммофонного выкрика, раздавался прямо над ухом.

– «Тень – даже не папуас; биология теней еще не изучена; потому-то вот – никогда не столкнуться с тенью: ее требований не поймешь; в Петербурге она входит в вас бактериями всевозможных болезней, проглатываемых с самою водопроводной водой...»

– «И с водкой», – подхватил Александр Иванович и невольно подумал: «Что это я? Или я клюнул на бред? Отозвался, откликнулся?» Тут же мысленно он решил окончательно отмежеваться от ахинеи; если он ахинею эту не разложит сознанием тотчас же, то сознание самое разложится в ахинею.

– «Нет-с: с водкою вы в сознание ваше меня только вво-

дите... Не с водкою, а с водой проглатываете бактерии, а я – не бактерия; и – ну вот: не имея надлежащего паспорта, вы подвергаетесь всем возможным последствиям: с первых же дней вашего петербургского пребывания у вас не варит желудок; вам грозит холера... Далее следуют казусы, от которых не избавят ни просьбы, ни жалобы в петербургский участок; желудок не варит?.. Но – капли доктора Иноземцева?! Угнетает тоска, галлюцинации, мрачность – все следствия холерыны – идите же в *Фарс* ... Поразвлекитесь немного... А скажите мне, Александр Иванович, по дружбе, – ведь галлюцинациями-таки страдаете вы?»

– «Да это уж издевательство надо мною», – подумал Александр Иванович.

– «Вы страдаете галлюцинацией – относительно их выскажется не пристав, а психиатр... Словом, жалобы ваши, обращенные в видимый мир, останутся без последствий, как вообще всякие жалобы: ведь в видимом мире мы, признаться сказать, не живем... Трагедия нашего положения в том, что мы все-таки – в мире невидимом, словом, жалобы в видимый мир останутся без последствий; и, стало быть, остается вам подать почтительно просьбу в мир теней».

– «А есть и такой?» – с вызовом выкрикнул Александр Иванович, собираясь выскочить из каморки и припереть посетителя, становившегося все subtilней: в эту комнату вошел плотный молодой человек, имеющий три измерения; прислонившись к окну, он стал просто контуром (и вдобавок

– двухмерным); далее: стал он тонкою слойкою черной копоти, наподобие той, которая выбивает из лампы, если лампа плохо обрезана; а теперь эта черная оконная копоть, образующая человеческий контур, вся как-то серая, истлевала в блещущую луною золою; и уже зола отлетала: контур весь покрылся зелеными пятнами – просветами в пространства луны; словом: контура не было. Явное дело – здесь имело место разложение самой материи; материя эта превратилась вся, без остатка, в звуковую субстанцию, оглушительно трещавшую – только вот где? Александру Ивановичу казалось, что трещала она – в нем самом.

– «Вы, господин Шишнарфнэ», – говорил Александр Иванович, обращаясь к пространству (Шишнарфнэ-то ведь уже не было), – «может быть являетесь паспортистом потустороннего мира?»

– «Оригинально», – трещал, отвечая себе самому Александр Иванович, – верней трещало из Александра Ивановича... – «Петербург имеет не три измеренья – четыре; четвертое – подчинено неизвестности и на картах не отмечено во все, разве что точкою, ибо точка есть место касания плоскости этого бытия к шаровой поверхности громадного астрального космоса; так любая точка петербургских пространств во мгновение ока способна выкинуть жителя этого измерения, от которого не спасает стена; так минуту пред тем я был там – в точках, находящихся на подоконнике, а теперь появился я...»

– «Где?» – хотел воскликнуть Александр Иванович, но воскликнуть не мог, потому что воскликнуло его горло:

– «Появился я... из точки вашей гортани...»

Александр Иваныч растерянно посмотрел вокруг себя в то время как горло его, автоматически, не слушаясь, оглушительно выкидывало:

– «Тут надо паспорт... Впрочем, вы у нас там прописаны; остается вам совершить окончательный пакт для получения паспорта; этот паспорт – в вас вписан; вы уж сами в себе распишитесь, каким-нибудь экстравагантным поступочком, например... Ну да, поступочек к вам придет: совершите вы сами; этот род расписок признается у нас наилучшим...»

Если бы со стороны в ту минуту мог взглянуть на себя обезумевший герой мой, он пришел в ужас бы: в зеленоватой, луной освещенной камерке он увидел бы себя самого, ухватившегося за живот и с надсадой горланящего в абсолютную пустоту пред собою; вся закинулась его голова, а громадное отверстие орущего рта ему показалось бы черною, небытийственной бездной; но Александр Иванович из себя не мог выпрыгнуть: и себя он не видел; голос, раздававшийся из него громогласно, казался ему чужим автоматом.

– «Когда же я у вас там прописан», – прометнулось в мозгу его (ахинея-то победила сознание).

– «А тогда: после акта», – оглушительно разорвался его рот; и, разорвавшись, сомкнулся.

Тут внезапно пред Александром Ивановичем разверзлась

завеса: все он вспомнил отчетливо... Этот сон в Гельсингфорсе, когда они мчали его чрез какие-то... все же... пространства, соединенные с пространствами нашими в математической точке касания, так что оставался прикрепленным к пространству, все же он воистину мог уноситься в пространства – ну, так вот: когда *они* мчали его чрез иные пространства...

Э т о он совершил.

Этим-то и соединился он с *ними*; а Липпанченко был лишь образом, намекавшим на это; *это* он совершил; с этим вошла в него сила; перебегая от органа к органу и ища в теле душу, сила эта понемногу овладела им всем (стал он пьяницей, сладострастие зашалило и т. д.).

И пока *это* делалось с ним, он и думал, что *они* его ищут; а *они* были – в нем.

И пока он так думал, из него перли ревы, подобные ревам автомобильных гудков:

– «Наши пространства не ваши; все течет там в обратном порядке... И просто Иванов там – японец какой-то, ибо фамилия эта, прочитанная в обратном порядке – японская: Во-нави».

– «Стало быть, и ты прочитываешься в обратном порядке», – прометнулось в мозгу.

И понял он: «Шишнарфнэ, Шиш-нар-фнэ...» Это было словом знакомым, произнесенным им при свершении акта; только сонно знакомое слово то надо было вывернуть на-

изнанку.

И в припадке невольного страха он силился выкрикнуть:

– «Енфраншиш».

Из глубин же его самого, начинаясь у сердца, но чрез посредство собственного аппарата гортани ответило:

«Ты позвал меня... Ну – и вот я...»

*Енфраншиши* само теперь пришло за душой.

.....

Обезьяньим прыжком выскочил Александр Иванович из собственной комнаты: щелкнул ключ; глупый, – нужно было выскочить не из комнаты, а из тела; может быть, комната и была его телом, а он был лишь тенью? Должно быть, потому что из-за запертой двери угрожающе прогремел голос, только что перед тем гремевший из горла:

– «Да, да, да... Это – я... Я – гублю без возврата...»

.....

Вдруг луна осветила лестничные ступени: в совершеннейшей темноте проступили едва, чуть наметились сероватые, серые, белесоватые, бледные, а потом и фосфорически горящие пятна.

## Чердак

По случайной оплошности чердак не был заперт; и туда Дудкин бросился.

За собою захлопнул дверь.

Ночью странно на чердаке; его пол усыпан землею; гладко ходишь по мягкому; вдруг: толстое бревно подлетит тебе под ноги и усадит тебя на карачки. Светло тянутся поперечные полосы месяца, будто белые балки: ты проходишь сквозь них.

Вдруг... —

Поперечное бревно со всего размаху наградит тебя в нос; ты навеки рискуешь остаться с переломленным носом.

Неподвижные, белые пятна — кальсон, полотенец и простынь... Пропорхнет ветерок, — и без шума протянутся белые пятна: кальсон, полотенец и простынь.

Пусто — все.

Александр Иванович как-то сразу попал на чердак; и, попав на чердак, удивился, что чердак оказался незапертым; то, наверное, домовая прачка, вся ушедшая в думы о суженом, за собою оставила незакрытую дверь. Когда Александр Иванович в эту дверь прошмыгнул, то — успокоился, притаился: вздохнул облегченно; не было за ним ни бегущих шагов, ни граммофонного выкрика абракадабры; ни даже ухнувшей двери.

Сквозь разбитые стекла окна только слышалась издали песня:

Купи маминька на платье  
Жиганету синева...

Глухобьющая дверь разрешилась в биении сердца; а внизу нападавшая тень – просто в месяца тень; остальное – галлюцинация; надо было лечиться – вот только.

Александр Иванович прислушался. И – что мог он услышать? То, что мог он услышать, ты, конечно, знаешь и сам. совершенно отчетливый звук растрещавшейся балки; и – густое молчание: то есть – сплетенная сеть из одних только шорохов; тут, во-первых, – в углу велись шики и пшики; во-вторых, – напряжение атмосферы от неслышных уху шагов; и – глотание слюней какого-то губошлепа.

Словом, – все обыденные, домовые звуки: и бояться их – нечего.

Александр Иванович тут собой овладел; и он мог бы вернуться: в комнате – это знал он наверное – никого, ничего (приступ болезни прошел). Но уходить с чердака все же ему не хотелось: осторожно он подходил среди кальсон, полотенец и простынь к заплетенному осеннею паутиной окну и просунул он голову из стекольных осколков: то, что он видел, успокоением и миротворною грустью на него дохнуло теперь.

Под ногами яснили – отчетливо, ослепительно просто: четкий дворовый квадрат, показавшийся отсюда игрушечным, серебристые сажени осиновых дров, откуда он так недавно глядел в свои окна с неподдельным испугом; но что главное: в дворницкой веселились еще; хрипящая песенка раздавалась из дворницкой; чебутарахнул там дверной блок;

и две показались фигурки; одна разоралась там:

Вижу я, Господи, свою неправду:  
Кривда меня в глаза обманула,  
Кривда мне глаза ослепила...  
Возжалел я своего белого тела,  
Возжалел я своего цветного платья,  
Сладкого яствия,  
Пьяного питья —  
Убоялся я, Понтий, архиереев,  
Устрашился, Пилат, фарисеев,  
Руки мыл – совесть смыл!  
Невинного предал на пропятье...

Это пели: участковый писец Воронков и подвальный сапожник Бессмертный. Александр Иванович подумал: «Не спуститься ли к ним?» И спустился бы... Да вот только – лестница.

Лестница испугала его.

Небо очистилось. Бирюзовую островную крышу, оказавшуюся где-то там, под ним, сбоку – бирюзовую, островную крышу прихотливо чертила серебряная чешуя, та серебряная чешуя, далее, вся сливалась с живым трепетом невских вод.

И бурлила Нева.

И кричала отчаянно там свистком запоздалого пароходика, от которого виделся лишь убегающий глаз красного фо-

наря. Далее, за Невой, простиралась и набережная; над коробками желтых, серых, коричнево-красных домов, над колоннами серых и коричнево-красных дворцов, рококо и барокко, поднимались темные стены громадного, рукотворного храма, заостренного в мир луны золотым своим куполом – со стен каменной, черно-серой, цилиндрической и приподнятой формой, обставленной колоннадой: Исакий...

И, едва зримое, побежало в небо стрелой золотое Адмиралтейство. Голос пел:

Помилуй, Господи!

Прости, Иисусе!..

Царю чин верну – о душе вздохну,

Дом продам – нищим раздам,

Жену отпущу – Бога сыщу...

Помилуй, Господи!

Прости, Иисусе!

.....

Верно в час полуночи – там, на площади, уж посапывал старичок гренадер, опираясь на штык; и к штыку привалилась мохнатая шапка; и тень гренадера недвижимо легла на узорные переплеты решетки.

Пустовала вся площадь.

В этот час полуночи на скалу упали и звякнули металлические копыта; конь зафыркал ноздрей в раскаленный туман; медное очертание Всадника теперь отделилось от кон-

ского крупа, а звенящая шпора нетерпеливо царапнула конский бок, чтобы конь слетел со скалы. И конь слетел со скалы.

По камням понеслось *тяжелозвонкое* цоканье через мост: к островам. Пролетел в туман Медный Всадник; у него в глазах была – зеленоватая глубина; мускулы металлических рук – распрямились, напряжились; и рванулось медное темя; на булыжники конские обрывались копыта, на стремительных, на ослепительных дугах; конский рот разорвался в оглушительном ржании, напоминающем свистки паровоза; густой пар из ноздрей обдал улицу световым кипятком; встречные кони, фыркая, зашарахались в ужасе; а прохожие в ужасе закрывали глаза.

Линия полетела за линией: пролетел кусок левого берега – пристанями, парходными трубами и нечистою свалкою пенькой набитых мешков; полетели – пустыри, баржи, заборы, брезенты и многие домики. А от взморья, с окраины города, блеснул бок из тумана: бок непокойного кабачка.

Самый старый голландец, в черную кожу одетый, выгибался с заплесневелого, дверного порога – в холодную свистопляску (в облако убежала луна); и фонарь подрагивал в пальцах под синеватым лицом в черном кожаном капюшоне: знать, отсюда услышало чуткое ухо голландца конское, тяжелое цоканье и паровозное ржание, потому что голландец покинул таких же, как он, корабельщиков, что звенели стаканами от утра до утра. Знать, он знал, что до самого туск-

лого утра здесь протянется бешеный, пьяный пир; знать, он знал, что когда часы отобьют далеко за полночь, на глухой звон стаканов прилетит крепкий Гость: опрокинуть огневого аллашу; не одну пожать канатом натертую руку, которая с капитанского мостика повернет тяжелое пароходное колесо у самых фортов Кронштадта; и вдогонку роющей пену корме, не ответившей на сигнал, бросит рев свой жерло чугунное пушки.

Но судна не догнать: в белое оно войдет к морю прилегшее облако; с ним сольется, с ним тронется – в предрассветную, в ясную синеву.

Все это знал самый старый голландец, в черную кожу одетый и в туман протянутый с заплесневелых ступенек он теперь разглядывал абрис летящего Всадника... Цоканье там уже слышалось; и – фыркали ноздри, которые проницали, пылая, туман световым, раскаленным столбом.

.....

Александр Иванович отошел от окна, успокоенный, усмиренный, озябший (из стекольных осколков продул его ветерок); а навстречу ему заколыхались белые пятна – кальсон, полотенец и простынь; пропорхнул ветерок...

И тронулись пятна.

Робко он отворил чердачную дверь; он решился вернуться в каморку.

## Почему это было...

Озаренный, весь в фосфорических пятнах, он теперь сидел на грязной постели, отдыхая от приступов страха; тут – вот был посетитель; и тут – грязная проползала мокрица: посетителя не было. Эти приступы страха! За ночь было их три, четыре и пять; за галлюцинацией наступал и просвет сознания.

Он был в просвете, как месяц, светящий далеко, – спереди отбегающих туч; и как месяц, светило сознание, озаряя так душу, как озаряются месяцем лабиринты проспектов. Далеко вперед и назад освещало сознание – космические времена и космические пространства.

В тех пространствах не было ни души: ни человека, ни тени.

И – пустовали пространства.

Посреди своих четырех взаимно перпендикулярных стен он себе самому показался в пространствах пойманным узником, если только пойманный узник более всех не ощущает свободы, если только всему мировому пространству по объему не равен этот тесненький промежуток из стен.

Мировое пространство пустынно! Его пустынная комната!.. Мировое пространство – последнее достижение богатств... Однообразное мировое пространство!.. Однообразием его комната отличалась всегда... Обиталище нище-

го показалось бы чрезмерно роскошным перед нищенской обстановкою мирового пространства. Если только действительно удалился от мира он, то роскошное великолепие мира перед этими темно-желтыми стенками показалось бы нищенским...

.....

Александр Иванович, отдохавший от приступов бреда, замечтался о том, как над чувственным маревом мира высоко он привстал.

Голос насмешливый возражал:

– «Водка?»

– «Курение?»

– «Любострастные чувства?»

Так ли был он приподнят над маревом мира?

Он поник головой; оттого и болезни, и страхи, оттого и преследования – от бессонницы, папирос, злоупотребленья спиртными напитками.

Он почувствовал очень сильный укол в коренной, больной зуб; он рукою схватился за щеку.

Приступ острого помешательства для него осветился по-новому; правду острого помешательства он теперь сознал; самое помешательство, в сущности, перед ним стояло отчетом разболевшихся органов чувств – самосознающему «Я»; а персидский подданный Шишнарфнэ символизировал анаграмму; не он, в сущности, настигал, преследовал, гнался, а настигали и нападали на «Я» отяжелевшие телесные органы;

и, убегая от них, «Я» становилось «не-я», потому что сквозь органы чувств – не от органов чувств – «Я» к себе возвращается; алкоголь, куренье, бессонница грызли слабый телесный состав; наш телесный состав тесно связан с пространствами; и когда он стал распадаться, все пространства растрескались, в трещины ощущений теперь заползали бактерии, а в замыкающих тело пространствах – зареяли призраки... Так: кто был Шишнарфнэ? Своею изнанкою – абракадаберным сном, Енфраншишем; сон же этот – несомненно от водки. Опьянение, Енфраншиш, Шишнарфнэ – только стадии алкоголя.

– «Не курить бы, не пить: органы чувств снова будут служить!»

Он – вздрогнул.

Сегодня он предал. Как это он не понял, что предал? Ведь несомненно же предал: Николая Аполлоновича уступил он из страха Липпанченко: вспомнилась так отчетливо безобразная купля-продажа. Он, не веря, поверил, и в этом – предательство. Еще более предатель – Липпанченко; что Липпанченко их предавал, Александр Иванович знал; но таил от себя свое знание (Липпанченко над душою его имел неизъяснимую власть); в этом – корень болезни: в страшном знании этом, что – предатель Липпанченко; алкоголь, куренье, разврат – лишь последствия; галлюцинации, стало быть, довершали лишь звенья той цепи, которою Липпанченко его сознательно заковал. Почему? Потому что Липпанченко знал, что он – *знает*; только в силу этого знания не отлипает Лип-

панченко.

Липпанченко поработил его волю; порабощение воли произошло оттого, что ужасное подозрение с головою бы выдало все; что ужасное подозрение все хотел он рассеять; он ужасное подозрение гнал в усиленном общении с Липпанченко; и, подозревая о подозрении, Липпанченко не отпускал его от себя ни на шаг; так связались оба друг с другом; он вливал в Липпанченко мистику; а последний в него – алкоголь.

Александр Иванович теперь вспомнил отчетливо сцену в кабинете Липпанченко; наглый циник, подлец и на этот раз обошел; вспомнилась жировая и гадкая шея Липпанченки с жировой гадкой складкой; будто шея нахально смеялась там, пока не повернулся Липпанченко, не поймал взгляд на шее; и, поймав взгляд на шее, все понял Липпанченко.

Оттого-то он и принялся запугивать: ошеломил нападением и перепутал все карты; до смерти оскорбил подозрением и потом предложил ему единственный выход: сделать вид, что он верит предательству Аблоухова.

И он, Неуловимый, поверил.

Александр Иваныч вскочил; и в бессильной ярости он потряс кулаками; дело было исполнено; совершилось!

Вот о чем был кошмар.

.....

Александр Иванович совершенно отчетливо перевел теперь невыразимый кошмар на язык своих чувств; лестни-

ца, комнатуха, чердак были мерзостно запущенным телом Александра Ивановича; сам метущийся обитатель сих плачевных пространств, на которого они нападали, который от них убегал, было самосознающее «Я», тяжеловлекущее от себя отпавшие органы; Енфраншиш же было инородною сущностью, вошедшею в обиталище духа, в тело, – с водкой; развиваясь бациллою, перебегал Енфраншиш от органа к органу; это он вызывал все ощущения преследования, чтоб потом, ударившись в мозг, вызвать там тяжелое раздражение.

.....

Припоминалась первая встреча с Липпанченко: впечатление было не из приятных; Николай Степанович, правду сказать, выказывал особое любопытство к человеческим слабостям с ним в общенье вступавших людей; провокатор высшего типа уж, конечно, мог обладать мешковатою этой наружностью, этой парюю неосмысленно моргающих глазок.

Он, наверное, выглядел простаком.

– «Погань... О, погань!»

И по мере того, как он углублялся в Липпанченко, в созерцание частей тела, замашек, повадок, перед ним вырастал не человек, а – тарантул.

И тут что-то стальное вошло к нему в душу:

– «Да, я знаю, что сделаю».

Осенила блестящая мысль: все так просто окончится; как это все не пришло ему раньше; миссия его – начерталась отчетливо.

Александр Иванович расхохотался:

– «Погань думала, что меня обойдет».

И почувствовал он опять очень сильный укол в коренной зуб: Александр Иванович, оторванный от мечтательства, ухватился за щеку; комната – мировое пространство – вновь казалась убогою комнатой; сознание угасало (точно свет луны в облаках); знобила его лихорадка и тревогой, и страхами, и медлительно исполнялись минуты; за папироскою выкуривалась другая, – до бумаги, до ваты...

Как вдруг... —

## Гость

Александр Иванович Дудкин услышал странный грянувший звук; странный звук грянул снизу; и потом повторился (он стал повторяться) на лестнице: раздавался удар за ударом среди промежутков молчания. Будто кто-то с размаху на камень опрокидывал тяжеловесный, многопудовый металл; и удары металла, дробящие камень, раздавались все выше, раздавались все ближе. Александр Иванович понял, что какой-то громила расшибал внизу лестницу. Он прислушивался, не отворится ль на лестнице дверь, чтобы унять безобразия ночного бродяги? Впрочем, вряд ли бродяга...

И гремел удар за ударом; за ступенью там раздроблялась ступень; и вниз сыпались камни под ударами тяжелого шага: к темно-желтому чердаку, от площадки к площадке, шел

упорно навверх металлический кто-то и грозный; на ступень со ступени теперь сотрясающим грохотом падало много тысяч пудов: обсыпались ступени; и – вот уже: с сотрясающим грохотом пролетела у двери площадка.

Расколосась и хряснула дверь: треск стремительный, и – отлетела от петель; меланхолически тусклости проливались оттуда дымными, разделеными клубами; там пространства луны начинались – от раздробленной двери, с площадки, так что самая чердачная комната открывалась в неизъяснимости, посередине ж дверного порога, из разорванных стен, пропускающих купоросного цвета пространства, – наклонивши венчанную, позеленевшую голову, простирая тяжелую позеленевшую руку, стояло громадное тело, горящее фосфором.

Это был – Медный Гость.

Металлический матовый плащ отвисал тяжело – с отливающих блеском плечей и с чешуйчатой брони; плавилась литая губа и дрожала двусмысленно, потому что сызнова теперь повторялися судьбы Евгения; так прошедший век повторился – теперь, в самый тот миг, когда за порогом убогого входа распадались стены старого здания в купоросных пространствах; так же точно разъялось прошедшее Александра Ивановича; он воскликнул:

– «Я вспомнил... Я ждал тебя...»

Медноглавый гигант прогонял чрез периоды времени вплоть до этого мига, замыкая кованный круг; протекали чет-

верти века; и вставал на трон – Николай; и вставали на трон – Александры; Александр же Иваныч, тень, без устали одолевал тот же круг, все периоды времени, пробегая по дням, по годам, по минутам, по сырым петербургским проспектам, пробегая – во сне, на яву пробегая... томительно; а вдогонку за ним, а вдогонку за всеми – громыхали удары металла, дробящие жизни: громыхали удары металла – в пустырях и в деревне; громыхали они в городах; громыхали они – по подъездам, площадкам, ступеням полунощных лестниц.

Громыхали периоды времени; этот грохот я слышал.

Ты – слышал ли?

Аполлон Аполлонович Аблеухов – удар громыхающего камня; Петербург – удар камня; кариатида подъезда, которая оборвется там, – каменный тот же удар; неизбежны – погони; и – неизбежны удары; на чердаке не укроешься; чердак приготовил Липпанченко; и чердак – западня; проломить ее, проломить – ударами... по Липпанченко!

Тогда все обернется; под ударом металла, дробящего камня, разлетится Липпанченко, чердак рухнет и разрушится Петербург; кариатида разрушится под ударом металла; и голая голова Аблеухова от удара Липпанченко рассыдется надвое.

Все, все, все озарилось теперь, когда через десять десятилетий Медный Гость пожаловал сам и сказал ему гулко:

– «Здравствуй, сынок!»

Только три шага: три треска рассевшихся бревен под но-

гами огромного гостя; металлическим задом своим гулко треснул по стулу из меди литой император; зеленеющий локоть его всею тяжестью меди повалился на дешевенький стол из-под складки плаща, колокольными, гудящими звуками; и рассеянно медленно снял с головы император свои медные лавры; и меднолавровый венок, грохоча, оборвался с чела.

И бряцая, и дзанкая, докрасна раскаленную трубочку по-вынимала из складок камзола многосотпудовая рука, и указывая глазами на трубочку, подмигнула на трубочку:

– «Petro Primo Catharina Secunda...»

Всунула в крепкие губы, и зеленый дымок распявшейся меди закурился под месяцем.

Александр Иваныч, Евгений, впервые тут понял, что столетие он бежал понапрасну, что за ним громыхали удары без всякого гнева – по деревням, городам, по подъездам, по лестницам; он – прощенный извечно, а все бывшее совокупно с навстречу идущим – только привранные прохожденья мытарств до архангеловой трубы.

И – он пал к ногам Гостя:

– «Учитель!»

В медных впадинах Гостя светилась медная меланхолия; на плечо дружелюбно упала дробящая камни рука и сломала ключицу, раскаляясь докрасна.

– «Ничего: умри, потерпи...»

Металлический Гость, раскалившийся под луной тысячеградусным жаром, теперь сидел перед ним опаляющий, крас-

но-багровый; вот он, весь прокалясь, ослепительно побелел и протек на склоненного Александра Ивановича пепелящим потоком; в совершенном бреду Александр Иванович трепетал в многосотпудовом объятии: Медный Всадник металлами пролился в его жилы.

## Ножницы

– «Барин: спите?»

Александр Иванович Дудкин сквозь тяжелое забытье смутно слышал давно, что его теребили.

– «А, барин?..»

Наконец открыл он глаза и просунулся в хмурый день:

– «Да барин же!»

Голова наклонилась.

– «Что такое?»

Александр Иванович сообразил только тут, что протянут на козлах.

– «Полиция?»

Угол жаркой подушки торчал у него перед глазом.

– «Никакой полиции нет...»

Темно-красное прочь ползло по подушке пятно – брр: и – мелькнуло в сознании:

– «Это – клоп...»

Он хотел приподняться на локте, но снова забылся.

– «Господи, да проснитесь...»

Он приподнялся на локте:

– «Ты, Степка?»

Он увидел струю бегущего пара; пар – из чайника: у себя на столе он увидел и чайник, и чашку.

– «Ах, как славно: чаек».

– «Что за славно: горите вы, барин...»

Александр Иванович с удивленьем заметил, что он не раздет; даже не было снято пальтишко.

– «Ты тут как очутился?»

– «Я тут к вам позашел: забастовка – на очень многих заводах; полицию понагнали... Я тут к вам позашел, тоись, с Требником».

– «Да ведь, помнится, Требник у меня».

– «Что вы, барин: это вам померещилось...»

– «Разве мы вчера не видались...»

– «Не видались – два дня».

– «А мне думалось: мне показалось...»

Что думалось?

– «Захожу нынче к вам: вижу – лежите и стонете, разметались, горите – в огне весь».

– «Да я, Степка, здоров».

– «Уж какое здоровье!.. Я тут вам чайку вскипятил; хлеб принес; калач-то горячий; попьете – все лучше. А что так-то валяться...»

Ночью в жилах его протекал металлический кипяток (это вспомнил он).

– «Да – да: жар, братец мой, ночью был основательный...»

– «И не мудрено...»

– «Жар во сто градусов...»

– «Ат алхаголю и сваритесь».

– «В собственном кипятке? Ха-ха-ха...»

– «Что ж? Сказывали: у одного алхагольного человека изо рта дымки бегали... И сварился он...»

Александр Иванович усмехнулся нехорошей улыбкой.

– «Допились уж до чертиков...»

– «Были чертики, были... Потому и спрашивал Требник: отчитывать».

– «Допьетесь и до Зеленого Змия...»

Александр Иванович криво вновь усмехнулся:

– «Да и вся-то, дружок мой, Россия...»

– «Ну?»

– «От Зеленого Змия...»

Сам же думал:

– «Эк дернуло!..»

– «Йетта вовсе не так: Христова Рассея...»

– «Брешешь...»

– «Сами брешете: допьетесь – до *нее, до самой ...*»

Александр Иванович испуганно привскочил.

– «До кого?»

– «Допьетесь – *до белой... до женичины ...*»

Что белая горячка подкрадывалась, – сомнения не было.

– «Ах! Вот что: сбегал бы ты до аптеки... Купил бы ты

мне хинки: солянокислой...»

– «Что ж, можно...»

– «Да помни: не сернокислой; сернокислая – одно баловство...»

– «Тут, барин, не хина...»

– «Пошел – вон!...»

Степан – в дверь, а Александр Иванович – вдогонку:

– «Да уж, Степушка, заодно и малинки: малинового варенья – мне к чаю».

Сам же подумал:

– «Малина – прекрасное потогонное средство», – и с прыткими, какими-то текучими жестами подбежал к водопроводному крану; но едва он умылся, как внутри его снова все вспыхнуло, перепутывая действительность с бредом.

Так. Пока говорил он со Степкой, все казалось ему, что за дверью его поджидало: исконно-знакомое. Там, за дверью? И туда проскочил он; но за дверью открылась площадка; да лестничные перила повисали над бездной; Александр Иванович тут над бездной стоял, прислоняясь к перилам, прищелкивая совершенно сухим деревянистым языком и вздрагивая от озноба. Какое-то ощущение вкуса, какое-то ощущение меди: и во рту, и на кончике языка.

– «Верно, *оно* поджидает на дворике...»

Но на дворике никого, ничего.

Тщетно он обежал закоулки, проходки (между кубами сложенных дров); серебрился асфальт; серебрились осины;

никого, ничего.

– «Где ж оно?»

Пробегал там с покупками Степка; но за дрова он от Степки, как шаркнет, потому что его осенило:

– «Оно – в металлическом месте...»

Что такое это за место, почему оно – металлическое *оно*? Обо всем подобном крутящееся сознание Александра Ивановича очень смутно ответило. Тщетно тщился он вспомнить: оставалась вовсе не память о в нем обитавшем сознании; воспоминание оставалось одно: какое-то иное сознание тут действительно было; то иное сознание перед ним развевало очень стройно картины; в этом мире, не похожем во все на наш, обитало *оно*...

*Оно* снова появится.

С пробуждением всякое иное сознание превращалось в математическую, не реальную точку; и *оно*, стало быть, днем сжималось малой частью математической точки; но точка частей не имеет; и – стало быть: *его* не было.

Оставалась память об отсутствии памяти и о деле, которое должно выполнить, которое отлагательств не терпит; оставалась память – о чем?

О *металлическом месте* ...

Что-то его осенило: и пружинными, легкими побежал он шагами к перекрестку двух улиц; на перекрестке двух улиц (он знал это) из окна магазина выпрыскивал переливчатый блеск... Только вот где магазинчик? И – где перекресток?

Там сияли предметы.

– «Металлы там?»

Удивительное пристрастие!

Почему это в Александре Ивановиче обнаружилось такое пристрастие? Действительно: на углу перекрестка металлы сияли; это был дешевенький магазинчик всевозможных изделий: ножей, вилок, ножниц.

Он вошел в магазинчик.

Из-за грязной конторки к засиявшему стальному прилавку приволочилась какая-то сонная харя (вероятно, собственник этих сверл, лезвий, пил); круто как-то на грудь падала узколобая голова; в орбитах, под очками затаивались красновато-карие глазки:

– «Мне бы, мне бы...»

И не зная, что взять, Александр Иванович зацепился рукой за зазубринку пилочки; засверкало и завизжало: «визз-визз-визз». А хозяин оглядывал исподлобья захожего покупателя; неудивительно, что он глядел исподлобья: Александр-то Иванович выскочил с чердака невзначай; как лежал в пальтеце на постели, так и выскочил; пальтецо же было помято и измазано грязью; но что главное: шапки-то он не надел; вихрастая, нечесаная голова с непомерно блистающими глазами напугала бы всякого.

Потому-то хозяин оглядывал его исподлобья, морща лоб, поднимая гнетущие и самой природою тяжело построенные черты; с отвращением необоримым лицо уставилось в Дуд-

кина.

Но лицо это, перемогая себя, пробубукало жалобно:

– «Вам пилу?»

А пытливо сверлящие глазки говорили свирепо:

«Э, э, э!.. Белогорячечный: вот так штука...»

Это только казалось.

– «Нет, знаете ли, пилу – это мне неудобно, пилюю... Мне бы, знаете, финский, отточенный ножик».

Но особа грубо отрезала:

– «Извините: ножей финских нет».

Как будто бы сверлящие глазки говорили решительно:

– «Дать вам ножик, так вы еще... натворите делов...»

Приподнять бы им веки, стали бы пытливо сверлящие глазки просто так себе глазками; все же сходство какое-то поразило Александра Ивановича: представьте – с Липпанченко сходство. Тут фигура почему-то повернулась спиной; и окинула она посетителя таким взором, от которого повалился бы бык.

– «Ну, все равно: ножницы...»

Сам же подумал при этом: почему эта ярость, это сходство с Липпанченко? Тут же сам себя успокоил: какое там в сущности сходство!

Липпанченко – бритый, а у этого толстяка курчавая борода.

Но при мысли о *некой особе* Александру Иванычу теперь вспомнилось: все-все-все – все-все-все! Вспомнилось с со-

вершенной отчетливостью, почему осенила мысль его пробежать в магазинчик подобных изделий. То, что намеревался он сделать, было в сущности просто: чирк – и все тут.

Он так и затрясся над ножницами:

– «Не завертывайте – нет, нет... Я живу тут поблизости...»

Мне и так: донесу я и так...»

Так сказав, он засунул в карман миниатюрные ножницы, которыми, наверное, франтик по утрам стрижет ногти, и – бросился.

Удивленно, испуганно, подозрительно ему вслед глядела квадратная, узколобая голова (из-за блещущего прилавка) с выдававшейся лобной костью; эта лобная кость выдавалась наружу в одном крепком упорстве – понять происшедшее: понять, что бы ни было, понять какую угодно ценою; понять, или... разлететься на части.

И лобная кость понять не могла; лоб был жалобен: узенький, в поперечных морщинах; казалось, он плачет.

.....

*Конец шестой главы*

# Глава седьмая, или: происшествия серенького денька все еще продолжаютя

*Устал я, друг, устал: покоя сердце просит.*

*Летят за днями дни...*

*А. Пушкин*

## Безмерности

Мы оставили Николая Аполлоновича в тот момент, когда Александр Иванович Дудкин, удивляясь потоку болтливости, вдруг забившему из уст Аблеухова, пожал ему руку и проворно шмыгнул в черный ток котелков, а Николай Аполлонович чувствовал, что он вновь расширяется.

Мы оставили Николая Аполлоновича в тот момент, когда тяжелое стечение обстоятельств неожиданно разрешилось в благополучие.

До этого мига громоздились тут какие-то массивы из бредов и чудовищных мороков; прогромоздились грозящие Гауризанкары событий и обрушились – в двадцать четыре часа: ожидание в Летнем саду и тревожное карканье галок; облечение в красный шелк; бал, – то есть: пролетающие по за-

лам испугом, пролетающие арлекинадой – полосатые, бубенчатые, арлекины, пламенноногие шутики, желтогорбый Пьеро и мертвецки бледный паяц, пугающий барышень; голубая какая-то маска, танцевавшая с реверансами, подавшая с реверансом записочку; и – позорное бегство из зала чуть не к отхожему месту – у подворотни, где его изловил паршивенький господин; наконец – Пепп Пеппович Пепп, то есть: сардинница ужасного содержания, которая... все еще... тикала.

Сардинница ужасного содержания, способного превратить все вокруг в сплошную, кровавую слякоть.

Мы оставили Николая Аполлоновича у магазинной витрины; но мы его бросили; меж сенаторским сыном и нами закапали частые капельки; набежала сеточка накрапывающего дождя; в сеточке этой все обычные тяжести, выступы и уступы, кариатиды, подъезды, карнизы кирпичных балконов потеряли отчетливость очертаний, мутнея медлительно и едва-едва выделяясь.

Распускали зонты.

Николай Аполлонович стоял у витрины и думал, что имени тяжелому безобразию – нет: безобразию, которое длится сутки, то есть двадцать четыре часа, или – восемьдесят тысяч шестьсот стрекотавших в кармане секундочек: восемьдесят тысяч мгновений, то есть столько же точек во времени; но едва мгновение наступало и на него наступали, – секунда, мгновение, точка, – как-то прытко раскинувшись по кругам, превращалось медлительно в космический, разбуха-

ющий шар; шар этот лопался; пята ускользала в мировые пустоты: странник по времени рушился, неизвестно куда и во что, низвергался, может быть, в мировое пространство, до... нового мига; так тянулись круглые сутки, восемьдесят тысяч стрекотавших в кармане секундочек, каждая – разрывалась. пята скользила в безмерности.

Да, имени тяжелому безобразию – нет!

Лучше было не думать. И – думалось где-то; может быть, – в разбухающем сердце колотились какие-то думы, никогда не встававшие в мозге и все же встававшие в сердце; сердце думало; чувствовал – мозг.

Сам собою вставал остроумнейший, в мелочах проработанный план; и – сравнительно – план безопасный, но... подлый: да... подлый!

Кто его только продумал? Мог ли, мог ли до этого плана додуматься Николай Аполлонович?

Дело вот в чем:

– все последние эти часы сами собою перед глазами маячили иглистые кусочки из мыслей, переливавшиеся все какими-то пламенно-цветными вспышками и звездистыми искрами, как веселые канители рождественской елки: безостановочно падали в одно сознанием освещенное место – из темноты в темноту; то кривилась фигурка шута, а то проносился галопом лимонно-желтый Петрушка – из темноты в темноту – по сознанием освещенному месту; сознание же светило бесстрастно всем роящимся образам; а когда они

впялялись друг в друга, то создание начертало на них потрясающий, нечеловеческий смысл; тогда Николай Аполлонович чуть не плюнул от отвращения:

– «Идейное дело?»

– «Никакого идейного дела и не было...»

– «Есть подлый страх и подлое животное чувство: спасти свою шкуру...»

– «Да, да, да...»

– «Я – отъявленный негодяй...»

Но мы видели прежде, что к точно такому же убеждению приходил постепенно и его почтенный папаша.

.....

Неужели же все *это* (что мы увидим впоследствии) протекало сознательно в воле, в прытко бившемся сердце и в воспаленном мозгу? Нет, нет, нет!

А какие-то все же тут были рои себя мысливших мыслей; мыслил мысли не он, но... себя мысли мыслили... Кто был автор мыслей? Все утро он не мог на это ответить, но... – мыслилось, рисовалось, вставало; прыгало в колотившемся сердце и сверлило в мозгу; возникало оно над *сардинницей* – там именно: вероятно, все это переползло из *сардинницы*, когда он очнулся от теперь забытого сна и увидел, что покоится на сардиннице головой – переползло из *сардинницы*; тогда-то он и припрятал *сардинницу* – он не помнит куда, но... кажется... в столик; тогда-то он заблаговременно выскочил из проклятого дома, пока там все спали; и крутился по ули-

цам он, перебегая от кофейни к кофейне.

Мыслила не голова, а... *сардинница*.

Но на улицах это все еще продолжало вставать, формируя, рисуя, вычерчивая; если мыслила его голова, то его голова – и она! – превратилась тоже в сардинницу ужасного содержания, которая... все еще... тикала, или мыслями правил не он, а громозвучный проспект (на проспекте все личные мысли превращаются в безличное месиво); но если и мыслило месиво, месиву проливаться чрез уши не препятствовал он.

Потому-то и мыслились мысли.

Что-то серое, мягкое болезненно копошилось под головными костями: мягкое и, главное, – серое, как... проспект, как плита тротуара, как от взморья безостановочно перший туманистый войлок.

Наконец, – продуманный, готовый во всех отношениях план (о котором мы скажем впоследствии) появился и в поле сознания – в самый неподходящий момент, когда Николай Аполлонович, Бог весть почему забежавший в переднюю университета (где церковь), прислонился небрежно к одной из четырех массивных колонн, беседуя с захожим доцентом, который к нему наклонился и, обрызгивая слюной, торопливо спешил передать ему содержание немецкой статьи, где... – да: в душе его неожиданно лопнуло что-то (так лопается водородом надутая кукла на дряблые куски целлулоида, из которого фабрикуют баллоны): он, – вздрогнув, откинувшись, вырвавшись – побежал, сам не зная куда, потому

что – именно: в это время открылось: —

– автор плана-то – он...

Он – отъявленный негодяй!..

Вот когда это понял он, то бросился на Васильевский Остров, к восемнадцатой линии; вез его захудалый извозчик, и из пролетки, прямо в спину извозчику, раздавался прерывистый, негодующий шепот:

– «А?.. Скажите пожалуйста?.. Притворщик... обманщик... убийца... Просто – спасти свою шкуру...»

Негодовал, вероятно, он громко, потому что извозчик на него повернулся с досадою.

– «Ась?»

– «Нет-с... Ничего...»

Извозчик же думал:

– «Барин, право, чудной...»

Николай Аполлонович, как и Аполлон Аполлонович, сам с собой разговаривал.

Ветры вторили:

– «Отцеубийца!..»

– «Обманщик!..»

Сам не свой, выскочил Николай Аполлонович из пролетки; пересекая и асфальтовый дворик, и сажени осиновых дров, влетел в черную лестницу, чтобы броситься по ступеням и – неизвестно зачем; вероятно, просто из любопытства: заглянуть в глаза виновнику происшествия, притащившему узелок, потому что «отказ», который придумал он, был – ко-

нечно – предлогом: можно было «отказ» не бросать им в лицо (и тем выиграть время).

Тут-то столкнулся с Александром Ивановичем: остальное мы видели.

.....

Имени тяжелому безобразию – нет!

Да – но сердце его, разогретое всем, бывшим с ним, стало медленно плавиться: ледяной сердечный комок – стал-таки сердцем; прежде билось оно неосмысленно; теперь оно билось со смыслом; и бились в нем чувства; эти чувства нечаянно дрогнули; сотрясения эти теперь – потрясли, перевернули всю душу.

Та громадина дома только что громоздилась над улицей гирями кирпичных балконов; перебежав мостовую, он мог бы рукою нащупать ее каменный бок; но как стал накрапывать дождик, то в тумане заплывал ее каменный бок.

Как и все теперь плывало.

Стал накрапывать дождик, – и громадина сцепленных камней вот уже расцепилась; вот уже она поднимает – из-под дождика в дождик – кружева легких контуров и едва-едва обозначенных линий – просто какое-то рококо: рококо уходит в ничто.

Мокрый блеск заяснел на витринах, на окнах, на трубах: первая струечка хлынула из водосточной трубы; из другой водосточной трубы закапали частые капли; бледные тротуары изошли мелким крапом; побурела медлительно сухая их

мертвизна; фыркнула грязью мимо летящая шина. И пошло, и пошло...

В дымновеющей мокроте, накрытый зонтами прохожих, пропадал Николай Аполлонович: плавали в дымах проспекты; казалось, что громадины зданий повыдавились из пространства в какое-то иное пространство; смутно их оттуда маячили узоры из перепутанных – кариатид, шпицев, стен. Голова его закружилась; он прислонился к витрине; что-то в нем лопнуло, разлетелось; и – встал кусок детства.

.....

У старушки, у Ноккерт, – у гувернантки – на дрожащих коленях, он видит, покоится его голова; старушка читает под лампой:

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?  
Es ist der Vater mit seinem Kind...

Вдруг, – за окнами кинулись буревые порывы; и бунтует там мгла, и бунтует там шум: совершается там, наверно, за младенцем погоня; на стене подрагивает гувернанткина тень.

И опять... —

Аполлон Аполлонович – маленький, седенький, старенький – Коленьку обучает французскому контредансу; выступает он плавно и, отсчитывая шажки, выбивает ладонями такт:

прогуливается – направо, налево; прогуливается – и вперед и назад; вместо музыки он отрезывает – скороговоркою, громко:

Кто скачет, кто мчится под холодной мглой:  
Ездок запоздалый, с ним сын молодой...

И потом поднимает на Коленьку безволосые брови:  
– «Какова же, гм-гм, мой голубчик, первая фигура кадрили?»»

Все остальное было *хладною* мглой, потому что погоня настигла: сына вырвали у отца:

В руках его мертвый младенец лежал...

Вся протекшая жизнь оказалась игрою тумана после этого мига. Кусок детства закрылся.

Мокрый блеск ясел на витринах, на окнах, на трубах; прядала струечка из водосточной трубы; глянцевила бурая мокрота тротуара; грязью фыркала шина. В дымно-веющей мокроте, накрытый зонтами прохожих, пропадал Николай Аполлонович; казалось, что громадины зданий повыдавились из пространства в пространство; замаячили их оттуда узоры из перепутанных линий – кариатид, шпицев, стен.

## Журавли

Николаю Аполлоновичу захотелось на родину, в детскую, потому что он понял: он – малый ребенок.

Надо было все, все – отрясти, позабыть, надо было – всему, всему – опять научиться, как учатся в детстве; старая, позабытая родина – он теперь ее слышит. И – уже: надо всем раздался вдруг голос сирого и все же милого детства, голос давно не звучавший; зазвучавший – теперь.

Того голоса звук?

Как невнятно над городом курлыканье журавлей, он так же невнятен; высоко летящие журавли – в грохоте городском горожане не слышат их; а они летят, пролетают над городом, – журавли!.. Где-нибудь, положим, на Невском Проспекте, в трепете мимо летящих пролетов и в гвалте газетчиков, где надо всем поднимается разве что горло автомобиля, – среди металлических этих горл, в час предвечерний, весенний, на панели, как вкопанный, встанет обитатель полей, в город попавший случайно; остановится, – кудластую, бородатую голову набок он склонит и тебя остановит.

– «Тсс!..»

– «Что такое?»

А он, обитатель полей, в город попавший случайно, на твое изумление бородатую, кудластую головой потрясет и хитро-хитро усмехнется:

– «А разве не слышите?»

– «?..»

– «Послушайте...»

– «Что? Да что же?..»

Он же вздохнет:

– «Там... кричат... журавли».

Ты тоже слушаешь.

Сперва ничего не услышишь; и потом, откуда-то сверху, в пространствах услышишь ты: звук родимый, забытый – звук странный...

Там кричат журавли.

Оба вы поднимаете головы. Поднимает голову третий, пятый, десятый.

Мировые пространства сперва ослепляют всех вас; ничего, кроме воздуха... И – нет: есть, кроме воздуха..., потому что среди всего голубого такого там явственно проступает – все же знакомое что-то: на север... летят... журавли!

Вокруг – целое кольцо любопытных; у всех подняты головы, и тротуар – запружен; городской пробирается; и – нет: не сдержал любопытства; остановился, голову запрокинул; он – смотрит.

И ропот:

– «Журавли!..»

– «Опять возвращаются...»

– «Милые...»

Над проклятыми петербургскими крышами, над торцо-

вою мостовой, над толпой – предвесенний тот образ, тот голос знакомый!

.....

Итак – голос детства!

Он бывает не слышен; и он – есть; курлыканье журавлей над петербургскими крышами – нет-нет – и раздастся же! Так голос детства.

Что-то такое расслышал теперь и Николай Аполлонович.

Будто кто-то печальный, кого Николай Аполлонович еще ни разу не видывал, вокруг души его очертил благой проникающий круг и вступил в его душу; стал душу пронизывать светлый свет его глаз. Николай Аполлонович вздрогнул; раздалось что-то, бывшее в душе его сжатым; в необъятность теперь оно уходило легко; да, тут была необъятность, которая говорила нетрепетно:

– «Вы все меня гоните!...»

– «Что, что, что?» – попытался расслышать тот голос и Николай Аполлонович; необъятность же говорила нетрепетно:

– «Я за всеми вами хожу...»

Так она говорила.

Николай Аполлонович удивленно окинул глазами пространство, будто он ожидал обладателя нетрепетно певшего голоса увидеть пред собой; но увидел он нечто другое; а именно: увидел плывущую гущу – котелков, усов, подбородков; дальше шел – просто туманный проспект; и в нем

плавали взоры, как все теперь плавало.

Туманный проспект показался знакомым и милым; ай-ай-ай – каким грустным казался туманный проспект; а котелковый поток с его лицами? Все эти тут проходящие лица – проходили задумчивы, невыразимо грусны.

Обладателя голоса ж не было.

.....

Только кто это там? Вон на той стороне? У вон той громадины дома? и – под грудой балконов?

Да, там кто-то стоит.

Как и он, Николай Аполлонович; и тоже – у магазинной витрины, стоит себе – под распущенным зонтиком... Да ничего себе: он разве что смотрит... как будто; нельзя лица его разобрать. И что тут особенного? На этой вот стороне – Николай Аполлонович, так себе, для своего удовольствия... Ну и тот – ничего себе тоже: как Николай Аполлонович, как все проходящие мимо, – только случайный прохожий; и он тоже грустный и милый (как и все теперь милые); посматривает с независимым видом: я, де, – что ж, ничего себе: сам я с усами!.. Нет, – бритый... Очертание его пальтеца напоминает, но... что? Он не кивает ли?..

Просто в каком-то картузике.

И где это было?

Не подойти ли к нему, к милому обладателю картуза? Ведь проспект публичный; ну, право же! Всем место найдется на этом публичном проспекте... Просто так себе, – подой-

ти: посмотреть на предметы, которые там... под стеклом за магазинной витриной. Всякий же право имеет...

Рядом там постоять независимо, и при случае мельком окинуть притворным, будто бы рассеянным, а на самом деле внимательным оком, —

– его!

Удостовериться: что, дескать, это такое?

Нет, нет, нет!.. Прикоснуться к наверное костенеющим пальцам, и плакать от глупого счастья!..

На панели пасть ниц!

– «Я – больной, глухой, обремененный... Успокой меня, учитель, укрой...»

И услышать в ответ:

– «Встань...»

– «Иди...»

– «Не греши...»

.....

Нет, конечно, не будет ответа.

Конечно же – ничего не ответит печальный, потому что и не может быть никаких ответов пока; ответ будет после – через час, через год, через пять, а пожалуй, и более – через сто, через тысячу лет; но ответ – будет! А теперь печальный и длинный, никогда не виданный в снах, но оказавшийся всего-навсего незнакомцем, но незнакомцем неспроста, а так сказать, незнакомцем загадочным – просто печальный и длинный на него поглядит и приложит палец к устам. Не гля-

дя, не останавливаясь, он пойдет там по слякоти..

И в слякоти скроется..

.....

Но настанет день.

Изменится во мгновение ока все это. И все незнакомцы прохожие, – те, которые друг перед другом прошли (где-нибудь в закоулке) в минуту смертельной опасности, те, которые о невыразимом том миге сказали невыразимыми взорами и потом отошли в необъятность – все, все они встретятся!

Этой радости встречи у них не отнимет никто.

**Я, себе, иду... я, себе, никого не стесняю...**

– «Что это я», – подумал Николай Аполлонович, – «замечтался не вовремя...»

Времени терять теперь нечего... Время идет, а сардинница себе тикает; прямо бы к столику; бережно завернуть все в бумагу, положить в карман, да в Неву...

И уже отводил он глаза от той громадины дома, где стоял себе незнакомец под грудой кирпичных балконов с распушенным зонтиком, потому что опять стала течь пресловутая гуща из туловищ на своих на многих ногах – гуща тел человеческих, тут бегущих веснами, летами, зимами: тел неизменных.

И не вытерпел, опять посмотрел.

Незнакомец не двинулся с места; очевидно, он ждал,

как ждал Николай Аполлонович: ждал окончания дождика; вдруг он тронулся, вдруг попал в людской ток – в эти пары и в эти четверки; треуголка, блиставшая лоском, позакрыла его; беспомощно вытарчивал зонтик.

– «Отвернуться бы, да идти себе прочь! А ну его, незнакомца – вот тоже, право!»

Но едва он подумал так, как (заметил он) из-под блестящей треуголки и из мимо бегущих плечей любопытный картузик выясняться стал снова; рискуя попасть под извозчика, перебежал мостовую он; он смешно протягивал зонтик, вырываемый ветром.

Ну, как отвернуться тут? Как идти себе прочь?

– «Что это он», – подумал Николай Аполлонович и неожиданно для себя удивился:

– «А, так вот он какой из себя?»

Незнакомец вблизи несомненно проигрывал; издали был авантажнее; вид имел загадочнее; грустнее; движения – медлительней.

– «Э!.. Да помилуйте: у него идиотический вид? Ай, картузик! Вот так картузик? Бежит себе на журавлиных ногах; пальцецо трепыхается, зонтик прорванный; и одна калоша не по ноге...»

– «Фью!» – нечленораздельно тут выразился бы себя уважающий гражданин и пошел бы себе, поджав обиженно губы с независимым видом: уважающий себя гражданин непременно бы почувствовал нечто – что-то в роде такого:

– «Ну и пусть!.. Я, себе, иду... Я, себе, никого не стесняю... Я могу при случае дать дорогу. Но чтобы я?.. Ни-ни-ни: у меня дорога своя...»

Уважающим себя гражданином Николай Аполлонович, признаться, нисколько не чувствовал (уж какое тут уважение!); но, вероятно, таким себя чувствовал незнакомец, вопреки пальтишке, зонтишке и с ноги спадавшей калоше.

Будто он говорил:

– «А ну вот же: я, себе, посторонний прохожий, но прохожий, себя уважающий... И я, себе, никого не пущу на дорогу... Никому дороги не дам...»

Николай Аполлонович тут почувствовал неприязнь; и уже собравшись посторониться, переменил свою тактику: не стал сторониться; так едва они не столкнулись носами; Николай Аполлонович – изумленный; незнакомец – без всякого изумления; удивительно: заоченелая, большая рука (с гусиною кожей) поднялась к картузу; деревянная же и хриплая дробь решительно отчеканила:

– «Ни-ко-лай А-пол-ло-нович!!»

Тут только Николай Аполлонович заприметил, что стремительно налетевший субъект (может быть, из мещан) перевязал себе горло; вероятно, на горле был чирый (чирый же, как известно, стесняя свободу движений, появляется неудобнейшим образом на кадыке, на позвоночнике (меж лопаток) – появляется... в неопишемом месте!..).

Но более подробное размышление о свойствах злокознен-

ных чирьев было прервано:

– «Вы, кажется, не узнаете меня?»

(Ай, ай, ай!)...

– «С кем имею честь», – начал было Николай Аполлонович, поджимая обиженно губы, но, приглядевшись к незнакомцу внимательней, вдруг откинулся, скинул шляпу и воскликнул с перекивленными лицом:

– «Нет... вы ли это?.. Да какими же способами?..»

Он хотел, вероятно, воскликнуть: «какими судьбами»...

Естественно: в случайном прохожем, имеющем вид попрошайки, Сергея Сергеича все же узнать было трудно, потому что, во-первых, Лихутин облекся в партикулярное платье, и оно сидело на нем, как на корове седло; во-вторых: Сергей Сергеич Лихутин был – ай, ай, ай! – выбрит: вот в чем была сила! Вместо вьющейся, белокурой бородки торчала какая-то прыщавая, несуразная пустота; и – куда девались усики? Это-то от волос свободное место (меж губами и носом) превратило знакомую физиономию в незнакомую физиономию, – в просто какую-то неприятную пустоту.

Отсутствие собственной лихутинской бороды и собственных лихутинских усиков придало подпоручику потрясающий вид идиота:

– «Нет... Или глаза мои изменяют мне, но... мне, Сергей Сергеевич, кажется, что... вы...»

– «Совершенно верно: я в штатском...»

– «Я не то, Сергей Сергеич... Не это... Я не тем изумлен...

Изумительно все же...»

– «Что изумительно?»

– «Вы как-то преобразились весь, Сергей Сергеич... Вы меня, пожалуйста, извините...»

– «Это все пустяки-с...»

– «О, конечно, конечно... Я так себе... Я хотел сказать, что вы выбрились...»

– «Э, да что там», – обиделся тут Лихутин, – «э, да что там „побрелись“: отчего же и нет? Ну, побрился... Я не спал эту ночь... Отчего же мне не побриться?..»

В голосе подпоручика Николая Аполлоновича поразила просто какая-то злость, какая-то подавляющая такая чреватость, и столь не идущая к бритости.

– «Ну, и выбрился...»

– «Конечно, конечно...»

– «Ну, и пусть!» – не угомонялся Лихутин. – «Я службу бросаю...»

– «Как бросаете?.. Почему бросаете?..»

– «По причинам приватным, касающимся лично меня... Вас, Николай Аполлонович, эти мелочи не касаются... Не касаются вас приватные наши дела».

Подпоручик Лихутин тут стал придвигаться.

– «Впрочем, есть дела, которые...»

Николай Аполлонович, спиною толкая прохожих, стал явно пятиться:

– «Есть дела, Сергей Сергеич?»

– «Дела, которые, сударь...»

Явственно зловещую ноту уловил Николай Аполлонович в хриплом голосе подпоручика; и ему показалось, что отчетливо тот собирается для чего-то такого изловить его руки.

– «Вы простудились?» – переменял он порывисто разговор и соскочил с тротуара; в пояснении своего замечания прикоснулся он к собственной шее, разумея шейную перевязку Лихутина, какую-нибудь такую горловую простуду – ну, жабу там, или – грипп.

Но Сергей Сергеевич покраснел, стремительно соскочил с тротуара, продолжая свое наступление для того, чтоб... чтоб... чтоб... Некоторые из прохожих остановились, смотрели:

– «Ни-ко-лай Аполло-нович!...»

– «?»

– «Право же, не для того я за вами бежал, чтобы мы говорили тут о какой-то, черт возьми, шее...»

Остановился третий, пятый, десятый, вероятно подумавши, что изловлен воришка.

– «К делу это все не относится...»

Внимание Аблеухова изострилось; про себя он шептал:

– «Так-так-так?.. Что же к делу относится?» – И избегая Лихутина, он опять очутился на сыром тротуаре.

– «В чем же дело?»

Где была память?

Дело с поручиком предстояло нешуточное. Да – домино

же! черт возьми, домино! О *домино* Николай Аполлонович основательно позабыл; он теперь только вспомнил:

– «Есть дело, есть...»

Софья Петровна Лихутина, без сомнения, поразболтала... о случае в неосвещенном подъезде; поразболтала и о случае у Зимней Канавки.

С этим-то делом теперь и приступает Лихутин.

– «Недоставало только *вот этого* ... Ах, черт возьми: как все это некстати!.. Вот ведь некстати!..»

И вдруг все нахмурилось.

Потемнели рои котелков; мстительно заблестали цилиндры; отовсюду снова стал понаскакивать обывательский нос: носы протекали во множестве: орлиные, петушиные, курьи, зеленоватые, сизые; и – нос с бородавкой: бессмысленный, торопливый, огромный.

Николай Аполлонович, избегая взгляда Лихутина, это все обзрел и глазами уткнулся в витрину.

Между тем Сергей Сергеич Лихутин, завладевая рукой Аблеухова и не то ее пожимая, не то просто сжимая, собирая вокруг толпу любопытных зевак – неумолимо, неугомонно отрезывал деревянную фистулою: ведь вот барабанные палки!

– «Я... я... я... имею честь известить, что с утра уже я... я... я...»

– «?»

– «Я по вашим следам... И я – был: всюду был – между

прочим, у вас... Меня провели в вашу комнату... Я сидел там... Оставил записку...»

– «Ах, какая досад...»

– «Тем не менее», – перебил подпоручик (ведь вот барабанные палки), – «имея к вам дело: безотлагательный деловой разговор...»

– «Вот оно, начинается», – шарахнулось в мозгу Аbbleухова, и он отразился в большой магазинной витрине меж перчаток, меж зонтиков и тому подобных вещей.

Между тем рассвисталась по Невскому холодная свистопляска, чтобы дробными, мелкими, частыми каплями нападать, стрекотать и шушукать по зонтам, по сурово согнутым спинам, обливая волосы, обливая озябшие жиловатые руки мещан, студентов, рабочих; между тем рассвисталась по Невскому холодная свистопляска, поливая вывески ядовитым, насмешливым, металлическим бликом, чтобы в воронки закручивать миллиарды мокрых пылиночек, вить смерчи, гнать и гнать их по улицам, разбивая о камни; и далее, чтобы гнать нетопыриное крыло облаков из Петербурга по пустырям; и уже рассвисталась над пустырем холодная свистопляска; посвистом молодецким, разбойным она гуляла в пространствах – самарских, тамбовских, саратовских – в буреках, в песчаниках, в чертополохах, в полыни, с крыш срывая солому, срывая высоковерхие скирды и разводя на гумне свою липкую гниль; сноп тяжелый, зернистый – от нее прорастает; ключевой самородный колодезь – от нее засоряется;

поразведутся мокрицы; и по ряду сырых деревень разгуляется тиф.

Разорвалось крыло облаков; дождь кончился: мокрота иссякла...

## Разговор имел продолжение

Между тем разговор имел продолжение:

– «Я имею к вам дело... Хочу я сказать – объяснение, не терпящее отлагательств; я повсюду расспрашивал, как бы это нам встретиться: между прочим, я был и вас расспросил у... как ее?.. У нашей общей знакомой, у Варвары Евграфовны...»

– «Соловьевой?»

– «Вот именно... С Варварой Евграфовной у меня состоялось очень тяжелое разъяснение – относительно вас... Вы меня понимаете?.. Тем хуже... Но о чем это я... Да, – эта-то Соловьева, Варвара Евграфовна (между прочим, я ее запер) мне дала один адрес: приятеля вашего... Дудкина?.. Ну, все равно... Я, конечно, – по адресу, не дойдя до господина – Дудкина, что ли? – встретил вас на дворе... Вы оттуда бежали... Да-с... И притом – не один, а с неизвестной мне личностью... Нет, оставьте: *nomina sunt odiosa*... Вы имели взволнованный вид, а господин...? *Nomina sunt odiosa*... имел вид болезненный... Я беседы вашей прервать не решился с господином... Извините – можете фамилию этого господина со-

хранить про себя...»

– «Сергей Сергеевич, я...»

– «Погодите-с!.. Я беседы прервать не решился, конечно, хотя... правду сказать, вас с таким трудом удалось мне поймать... Ну вот: я за вами проследовал; разумеется, на известной дистанции, чтоб случайно не быть свидетелем разговора: я просовывать нос, Николай Аполлонович, не люблю... Но об этом мы после...»

Тут Лихутин задумался, почему-то тут обернулся, глядя в даль Невского.

– «Проследовал... До вот этого места... Вы все время о чем-то вдвоем говорили... Я – за вами ходил и, признаться, досадовал... Послушайте», – оборвал он повествование, похожее на типографский, случайно рассыпанный, собранный и случайно прочтенный набор, – «вы не слышите?»

– «Нет...»

– «Тсс!.. Слушайте...»

– «Что такое?»

– «Какая-то нота, – на „у“... Там... там... загудело...»

Николай Аполлонович повернул свою голову; странное дело – как торопливо полетели мимо пролетки – и все в одну сторону; ускорился бег пешеходов (поминутно толкали их); иные оборачивались назад; сталкивались с идущими им навстречу; равновесие совершенно нарушилось; он озирался и не слушал Лихутина.

– «Вы потом остались одни и прислонились к витрине; тут

пошел дождик... Прислонился к витрине и я, на той стороне... Вы все время, Николай Аполлонович, на меня глядели в упор, но вы делали вид, что меня и не заметили вовсе...»

– «Я не узнал вас...»

– «А я кланялся...»

– «Так и есть», – продолжал досадовать Николай Аполлонович, – «он за мной гоняется... Он меня собирается...»

Что собирается?

Николай Аполлонович получил от Сергея Сергеича письмецо тому назад два с половиной месяца, в котором Сергей Сергеич Лихутин убедительным тоном просил не смущать покоя горячо любимой супруги – это было уже после *моста*; некоторые выражения письмеца были трижды подчеркнуты; от них веяло чем-то очень-очень серьезным – был эдакий неприятный словесный сквозняк, без намеков, а – так себе... И в ответном письме Николай Аполлонович обещался...

Обещание дал, и – нарушил.

Что такое?

Запрудив тротуар, остановились прохожие; широчайший проспект был пуст от пролетов; не было слышно ни суетливого кляканья шин, ни цоканья конских копыт: пролетели пролетки, образуя там, издали, – черную, неподвижную кучу, образуя здесь – голую торцовую пустоту, о которую опять свистопляска кидала каскадами рои растрещавшихся капелек.

– «Посмотрите-ка?»

– «Ах, как странно, как странно?»

Точно тут пообнажились мгновенно громадные гранитные голыши, над которыми тысячелетия проносилась белая водопадная пена; но оттуда, из дали проспекта, из совершеннейшей пустоты, чистоты, между двух рядов черного от людей тротуара, по которому побежал тысячеголосый, крепнущий гул (как бы гул шмелиного роя), – оттуда понесся лихач; полустоя на нем, изогнулся безбородый, потрепанный барин без шапки, зажимая в руке тяжелое и высокое древко: и отрываясь от деревянного древка по воздуху гребнями разрывались, трепались и рвались легкосвистящие лопасти красного кумачового полотнища – в огромную, в холодную пустоту; было странно увидеть летящее красное знамя по пустому проспекту; и когда пролетела пролетка, то все котелки, треуголки, цилиндры, околыши, перья, фуражки и косматые манджурские шапки – загудели, зашаркали, затолкались локтями и вдруг хлынули с тротуара на середину проспекта; из разорванных туч бледный солнечный диск пролился на мгновение палевым отсветом – на дома, на зеркальные стекла, на котелки, на околыши. Свистопляска промчалась. Дождь кончился.

Толпа смела с тротуара и Аблеухова, и Лихутина; разъединенные парой локтей, они побежали туда, куда все побежали; пользуясь давкою, Николай Аполлонович имел намерение ускользнуть от объяснения некстати, чтобы броситься в первую там стоящую в отдаленье пролетку и, не теряя

драгоценного времени, укатить по направлению к дому: ведь бомба-то... в столике... тикала! Пока она не в Неве, успокоения нет!

Бегущие его толкали локтями; черные фигурки выливались из магазинов, дворов, парикмахерских, перекрестных проспектов; и в магазины, дворы, боковые проспекты черные фигурки убегали спешно обратно; голосили, ревели, топтались: словом – паника; издали, над головами там будто хлынула кровь; поразвились из чернеющей копоти все кипящие красные гребни, будто бьющиеся огни и будто олени рога.

И, ах как некстати!

Из-за двух-трех плечей, на одном уровне с ним, выглянул ненавистный картузик и два зорких глаза обеспокоенно уставились на него: подпоручик Лихутин и в суматохе его не утеривал из виду, выбиваясь из сил, чтобы снова пробиться к пробивавшемуся от него чрез толпу Аблеухову: Аблеухов же только-только хотел вздохнуть облегченно:

– «Не утеривайте меня... Николай Аполлонович; впрочем, все равно... я от вас не отстану».

– «Так и есть», – убедился теперь окончательно Аблеухов, – «он за мною гоняется: он меня никогда не отпустит...»

И пробивался к пролетке.

А за ними, из далей проспекта, над головами и грохотом голосов вылизывались знамена, будто текущие языки и будто текущие светлости; и вдруг все – пламена, знамена – остано-

вились, застыли: грянуло отчетливо пение.

Николай Аполлонович через толпу, наконец, пробился к пролетке; но едва он хотел в нее занести свою ногу, чтоб заставить извозчика пробиваться далее чрез толпу, как почувствовал, что его опять ухватила просунутая чрез чужое плечо рука подпоручика; тут он стал, будто вкопанный, и, симулируя равнодушие, он с насильственной улыбкой сказал:

– «Манифестация!..»

– «Все равно: я имею к вам дело».

– «Я... видите ли... Я... тоже с вами совершенно согласен... Нам есть о чем побеседовать...»

Вдруг откуда-то издали пролетел пачками рассыпанный треск; и издали, разорвавшись на части, все те в копоты над головою толпы повосставшие светлости, над головою толпы заметались и туда, и сюда; заволновались там красные водовороты знамен и рассыпались быстро на одиноко торчавшие гребни.

– «В таком случае, Сергей Сергеевич, поговоримте в кофейне... Отчего бы нам не в кофейне...»

– «Как так в кофейне...», – возмутился Лихутин. – «Я в подобных местах не привык иметь объяснения...»

– «Сергей Сергеевич? Где же?...»

– «Да и я тоже думаю... Раз вы сядились в пролетку, так сядемте и поедемте ко мне на квартиру...»

Эти слова были сказаны тоном явно притворным: до крови прикусил себе губы тут Николай Аполлонович:

– «На дому, на дому... Как же так – на дому? Это значит с поручиком с глазу на глаз запереться, дать отчет о неуместных проделках над Софьей Петровною; может быть, в присутствии Софьи Петровны дать отчет возмущенному мужу о несдержании слова... Явно: здесь западня...»

– «Но, Сергей Сергеевич, я полагаю, что по некоторым обстоятельствам, вам понятным вполне, мне у вас неудобно...»

– «Э, полноте!»

К чести Николая Аполлоновича, – он более не перечил; он покорно сказал: «Я готов». И держался спокойно он; чуть дрожала нижняя челюсть – вот только.

– «Как человек просвещенный, гуманный, вы, Сергей Сергеевич, меня поймете... Словом, словом... и по поводу Софьи Петровны».

Вдруг, запутавшись, оборвал.

Они сели в пролетку. И – пора: там, где только что металась знамена и откуда рассыпался пачками сухой треск, ни одного уже знамени не было; но оттуда хлынула такая толпа, напирая на впереди тут бегущих, что сроенные в кучи пролетки, стоявшие тут, полетели в глубь Невского – в противоположную сторону, где уже циркуляция была восстановлена, где вдоль улицы бегали серые квартальные надзиратели и конями плясали жандармы.

Поехали.

Николай Аполлонович видел, что многоножка людская здесь текла, как ни в чем не бывало; как текла здесь столе-

тия; времена бежали там, выше; был и им положен предел; и предела того не было у людской многоножки; будет ползать, как ползает; и ползает, как ползла: одиночки, пары, четверки; и пары за парами: котелки, перья, фуражки; фуражки, фуражки, перья; треуголка, цилиндр, фуражка; платочек, зонтик, перо.

Вот все пропало: они свернули с проспекта; выше каменных зданий в небе навстречу им кинулись клочковатые облака с висящею ливенной полосой; Николай Аполлонович весь согнулся под бременем неожиданно свалившейся тяжести; клочковатое облако подползло; и когда серая, синеватая полоса их накрыла, – стали бить, стрекотать, пришепетывать хлопотливые капельки, закруживши на булькнувших лужах свои холодные пузыри; Николай Аполлонович сидел согбенный в пролетке, завернувшись лицом в итальянский свой плащ; на мгновение он позабыл, куда едет; оставалось смутное чувство: он едет – насильно.

Тяжелое стечение обстоятельств тут опять навалилось.

Тяжелое стечение обстоятельств, – можно ли так назвать пирамиду событий, нагроможденных за последние эти сутки, как массив на массиве? Пирамида массивов, раздробляющих душу, и именно – пирамида!..

В пирамиде есть что-то, превышающее все представления человека; пирамида есть бред геометрии, то есть бред, неизмеримый ничем; пирамида есть человеком созданный спутник планеты; и желта она, и мертва она, как луна.

Пирамида есть бред, измеряемый цифрами. Есть цифровой ужас – ужас тридцати друг к другу приставленных знаков, где знак есть, разумеется, ноль; тридцать нолей при единице есть ужас; зачеркните вы единицу, и провалятся тридцать нолей.

Будет – ноль.

В единице также нет ужаса; сама по себе единица – ничтожество; именно – единица!.. Но единица плюс тридцать нолей образуется в безобразии пенталлиона: пенталлион – о, о, о! – повисает на черненькой, тоненькой палочке; единица пенталлиона повторяет себя более чем миллиард миллиардов, повторенных более чем миллиард раз.

Чрез неизмеримости тащится.

Так тащится человек чрез мировое пространство из вековечных времен в вековечные времена.

Да, —

человеческой единицею, то есть эту тощею палочкой, проживал доселе в пространствах Николай Аполлонович, совершая пробег из вековечных времен —

– Николай Аполлонович в costume Адама был палочкой; он, стыдясь худобы, никогда ни с кем не был в бане —

– в вековечные времена!

И вот этой палочке пало на плечи безобразие пенталлиона, то есть: более чем миллиард миллиардов, повторенных более, чем миллиард раз; неприглядное *кое-что* внутри

себя громадное прияло *ничто*; и громада *ничто* разбухала в презентабельном виде из вековечных времен —

– так разбухает желудок, благодаря развитию газов, от которых все Аблеуховы мучились —

– в вековечные времена!

Непрезентабельное *кое-что* внутри себя громадное прияло *ничто*; *кое-что* от громады, пустой, нолевой, разбухало до ужаса. Вспучились просто Гауризанкары какие-то; он же, Николай Аполлонович, разрывался, как бомба.

А? Бомба! Сардинница?..

Во мгновение ока пронеслось то же все, что с утра проносилось: в голове пролетел его план.

Какой такой?

## План

Да, да, да!..

Подкинуть сардинницу: подложить ее к отцу под подушку; или – нет: в соответственном месте подложить ее под матрасик. И – ожидание не обманет: точность арантирует часовой механизм. Самому же ему:

– «Доброй ночи, папаша!»

В ответ:

– «Доброй, Коленька, ночи!..»

Чмокнуть в губы, отправиться в свою комнату.

Нетерпеливо раздеться – непременно раздеться! Дверь защелкнуть на ключ и уйти с головой в одеяло.

Быть страусом.

Но в пуховой, в теплой постели задрожать, прерывисто задышать – от сердечных толчков; тосковать, бояться, подслушивать: как там... бацнет, как... грохнет там – из-за стай каменных стен; ожидать, как бацнет, как грохнет, разорвав тишину, разорвавши постель, стол и стену; разорвав, может быть... – разорвав, может быть...

Тосковать, бояться, подслушивать... И услышать знакомое шлепанье туфель к... ни с чем не сравнимому месту.

От французского легкого чтения перекинуться – просто к хлопковой вате, чтоб ватой заткнуть себе уши: уйти с головой под подушку. Окончательно убедиться: более не поможет ничто! Разом сбросивши с себя одеяло, выставить покрытую испариной голову – и в бездне испуга вырыть новую бездну.

Ждать и ждать.

Вот всего осталось каких-нибудь полчаса; вот уже зеленоватое просветление рассвета; комната синее, серее; умалается пламя свечи; и – всего пятнадцать минут; тут тушится свечка; вечности протекают медлительно, не минуты, а именно – вечности; после чиркает спичка: протекло пять минут... Успокоить себя, что *все это* будет не скоро, через десять медлительных оборотов времен, и потрясающе обмануться, потому что —

– не повторяемый, никогда еще не услышанный, притягательный звук, все-таки... —

– грянет!!..

.....

Тогда: —

наскоро вставив голые ноги в кальсоны (нет, какие кальсоны: лучше так себе, без кальсон!) – или даже в исподней сорочке, с перекошенным, совершенно белым лицом —

– да, да, да! —

– выпрыгнуть из разогретой постели и протопать босыми ногами, в полное тайны пространство: в чернеющий коридор; мчаться и мчаться – стрелюю: к неповторному звуку, натываясь на слуг и грудью вбирая особенный запах: смесь дыма, гари и газа с... еще кое-чем, что ужасней и гари, и газа, и дыма.

Впрочем, запаха, вероятно, не будет.

Вбежать в полную дыма и очень холодную комнату; задыхаясь от громкого кашля, выскочить оттуда обратно, чтобы скоро просунуться снова в черную, стенную пробоину, образовавшуюся после звука (в руке плясать будет кое-как за-свеченный канделябр).

Там: за пробоиной... —

в месте разгромленной спальни, красно-рыжее пламя осветит... Сущую осветит безделицу: отовсюду клубами рвущийся дым.

И еще осветится... – нет!.. Набросить на эту картину за-

весу – из дыма, из дыма!.. Более ничего: дым и дым!

Все же...

Под эту завесу хотя на мгновенье просунуться, и – ай, ай! Совершенно красная половина стены: течет эта красность; стены мокрые, стало быть; и, стало быть, – липкие, липкие... Все это будет – первое впечатленье от комнаты; и, наверно, последнее. Вперемежку, меж двух впечатлений запечатлеется: штукатурка, щепы разбитых паркетов и драные лоскуты пропаленных ковров; лоскуты эти – тлеют. Нет, лучше не надо, но... берцовая кость?

Почему именно она одна уцелела, не прочие части?

Все то будет мгновенно; за спиною ж – мгновенны: идиотский гул голосов, ног неровные топоты в глубине коридора, плач отчаянный – представьте себе! – судомойки; и – треск телефона (это верно трезвонят в полицию)...

Уронить канделябр... Сев на корточки, у пробоины дергаться от в пробоину прущего октябрёвского ветра (разлетелись при звуке все оконные стекла); и – дергаться, обдергивать на себе ночную сорочку, пока тебя сердобольный лакей

---

– может быть, камердинер, тот самый, на которого очень скоро потом всего будет легче свалить (на него, само собой, падут тени) —

– пока сердобольный лакей не потащит насильно в соседнюю комнату и не станет вливать в рот насильно холодную воду...

Но, вставая с полу, увидеть: – у себя под ногами *ту же* все темно-красную липкость, которая сюда шлепнула после громкого звука; она шлепнула из пробоины с лоскутом отодранной кожи... (с какого же места?). Поднять взор – и над собою увидеть, как к стене прилипло...

Брр!.. Тут лишиться вдруг чувств.

.....

Разыграть комедию до конца.

Через сутки всего перед наглухо заколоченным гробом (ибо нечего хоронить) – отчеканивать перед гробом акафист, наклоняясь над свечкой в мундире с обтянутой талией.

Через два всего дня свежевыбритый, мраморный, богоподобный свой лик уткнувши в меха николаевки, проследовать к катафалку, на улицу, с видом невинного ангела; и сжимать в белолайковых пальцах фуражку, следуя скорбно до кладбища в сопровождении всей сановной той свиты... за цветочную грудой (за гробом). На своих дрожащих руках груды эту протащат по лестнице златогрудые, белоштантные старички – при шпагах, при лентах.

Будут груды влачить восемь лысеньких старичков.

.....

И – да, да!

Дать следствию показания, но такие, которые... на кого бы то ни было (разумеется, не намеренно)... будет все же брошена тень; и должна быть тень брошена – тень на кого бы то ни было; если нет, – тень падет на него... Как же иначе?

Тень будет брошена.

.....

Дурачок, простачок  
Коленька танцует  
Он надел колпачок  
На коне гарцует

.....

И ему стало ясно: самый тот миг, когда Николай Аполлонович героически обрекал себя быть исполнителем казни – казни во *имя идеи* (так думал он), этот миг, а не что иное, явился создателем вот такого вот плана, а не серый проспект, по которому он все утро метался; действие во имя идеи соединилось, как ни был взволнован он, с дьявольским хладнокровным притворством и, может быть, с оговорами: оговорами неповиннейших лиц (всего удобнее камердинера: к нему ведь таскался племянник, воспитанник ремесленной школы, и как кажется, беспартийный, но... все-таки...).

На хладнокровие расчет все же был. К отцеубийству присоединялась тут ложь, присоединялась и трусость; но – что главное, – подлость.

.....

Благороден, строен, бледен,  
Волоса, как лен,  
Мыслью щедр и чувством беден

Н. А. А... кто ж он?

.....

Он – подлец...

.....

Все, протекшее за эти два дня, было фактами, где факт был чудовище; груда фактов, то есть стая чудовищ; фактов не было до этих двух дней; и не гнались чудовища. Николай Аполлонович спал, читал, ел; даже, он вождеделел: к Софье Петровне; словом: все текло в рамках.

Но, и – но!..

Он и ел, не как все, и любил, не как все; не как все, испытывал вождеделение: сны бывали тяжелые и тупые; а пища казалась безвкусной, самое вождеделение после моста приняло пренелепый оттенок – издевательства при помощи *доми-но*; и опять-таки: отца – ненавидел. Что-то было такое, что тянулось за ним, что бросало особенный свет на отправление всех его функций (отчего он все вздрагивал, отчего руки болтались, как плети? И Улыбка стала – лягушечьей); это *что-то* не было фактом, но факт оставался; факт этот – в *что-то*.

В чем *что-то*?

В обещании партии? Обещания своего назад он не брал; и хотя он не думал, но... другие тут думали, вероятно (мы знаем, что думал Липпанченко); и ведь вот, он по-странному ел и по-странному спал, вождеделел, ненанавидел, по-странно-

му тоже... Так же странной казалась его небольшая фигурка – на улице; с бьющимся в ветре крылом николаевки, и будто сутулая...

Итак, в обещании, возникшем у моста – там, там: в сквозняке приневского ветра, когда за плечами увидел он котелок, трость, усы (петербургские обитатели отличаются – гм-гм – свойствами!..).

И опять-таки самое стояние у моста есть только следствие того, что на мост погнало; а гнало его вождение; самые страстные чувства переживались им *как-тоне так*, воспламенялся *не так он*, не *по-хорошему*, холодно.

Дело, стало быть, в холоде.

Холод запал еще с детства, когда его, Коленьку, называли не Коленькой, а – отцовским отродьем! Ему стало стыдно. После смысл слова «*отродье*» ему открылся вполне (через наблюдение над позорными замашками из жизни домашних животных), и, помнится, – Коленька плакал; свой позор порождения перенес он и на виновника своего позора: на отца.

Он, бывало, часами простаивал перед зеркалом, наблюдая, как растут его уши: они вырастали.

Тогда-то вот Коленька понял, что все, что ни есть на свете живого, – «*отродье*», что людей-то и нет, потому что они – «*порождения*»; сам Аполлон Аполлонович, оказался и он «*порождением*»; то есть неприятною суммою из крови, кожи и мяса – неприятною, потому что кожа – потеет, мясо – портится на тепле; от крови же разит запахом не первомайских

фиалочек.

Так его душевная теплота отождествлялась с необозримыми льдами, с Антарктикой, что ли; он же – Пирри, Нансен, Амундсен – круговращался там в льдах; или его теплота становилась кровавою слякотью (человек, как известно, есть слякоть, зашитая в кожу)

Души-то, стало быть, не было.

Он свою, родную плоть – ненавидел; а к чужой – вождедел. Так из самого раннего детства он в себе вынашивал личинки чудовищ: а когда созрели они, то повылезли в двадцать четыре часа и обстали – фактами ужасного содержания. Николай Аполлонович был заживо съеден; перелился в чудовищ.

Словом, сам стал чудовищами.

– «Лягушонок!»

– «Урод!»

– «Красный шут!»

Вот именно: при нем кровью шутили, называли «отродье м»; и над собственной кровью зашутил – «шут»; «шут» не был маскою, маской был «Николай Аполлонович»...

Преждевременно разложилась в нем кровь.

Преждевременно она разложилась; оттого-то он, видно, и вызывал отвращение; оттого-то странной казалась его фигурка на улице.

Этот ветхий, скудельный сосуд должен был разорваться: и он разрывался.

## Учреждение

Учреждение...

Кто-то его учредил; с той поры оно есть; а до той поры было – одно время оно. Так гласит нам «Архив».

Учреждение.

Кто-то его учредил, до него была тьма, кто-то над тьмою носился; была тьма и был свет – циркуляр за номером первым, под циркуляром последнего пятилетия была подпись: «Аполлон Аблеухов»; в тысяча девятьсот пятом году Аполлон Аполлонович Аблеухов был душой циркуляров.

Свет во тьме светит. Тьма не объяла его.

Учреждение...

И – торс козлоногой кариатиды. С той поры, как к крыльцу его подлетела карета, влекомая парой взмысленных вороных лошадей, с той поры, как придворный лакей в треуголке, косо надетой на голову, и в крылатой шинели в первый раз распахнул лакированный, штемпелеванный бок и, щелкнувши, дверце откинуло коронками украшенный герб (единорог, бьющий рыцаря); с той поры, как из траурных подушек кареты на подъездный гранит наступила ботинкой пергаментноликая статуя; с той поры, как впервые, отдавая поклоны, рука, облеченная в кожу перчатки, коснулась края цилиндра: – с той поры еще более крепкая власть придавила собой Учреждение, которое бросило над Россией свою креп-

кую власть.

Повосстали параграфы, похороненные в пыль.

Поражает меня самое начертанье параграфа: падают на бумагу два совокупленных крючка, – уничтожаются бумажные стопы; параграф – пожиратель бумаг, то есть бумажная филоксера; в произвол темной бездны, как клещ, вопьется параграф, – и право же: в нем есть что-то мистическое: он – тринадцатый знак зодиака.

Над громадной частью России размножался параграфом безголовый сюртук, и приподнялся параграф, вдунутый сенаторской головою – над шейным крахмалом; по белоколонным нетопленным залам и красного сукна ступеням завелась безголовая циркуляция, циркуляцией этой заведовал Аполлон Аполлонович.

Аполлон Аполлонович – популярнейший в России чиновник за исключением... Коншина (чей неизменный автограф носите вы на кредитных билетах).

Итак: —

Учреждение – есть. В нем есть Аполлон Аполлонович: верней «был», потому что он умер... —

– Я недавно был на могиле: над тяжелою черномраморной глыбой поднимается черномраморный восьмиконечный крест; под крестом явственный горельеф, высекающий огромную голову, исподлобья сверлящую вас пустотою зрачков; демонический, мефистофельский рот! Ниже –

скромная подпись: «Аполлон Аполлонович Аблеухов – сенатор»... Год д рождения, год кончины... Глухая могила!.. —

– Есть Аполлон Аполлонович: есть в директорском кабинете: ежедневно бывает в нем, за исключением дней геморроя.

Есть, кроме того, в Учреждении кабинеты... задумчивости.

И есть просто комнаты; более всего – зал; столы в каждой зале. За столами писцы; на стол приходится пара их; перед каждым: перо и чернила и почтенная стопка бумаг; писец по бумаге поскрипывает, переворачивает листы, листом шелестит и пером верещит (думаю, что зловещее растение «вереск» происходит от верещания); так ветер осенний, невзгодный, который заводят ветра – по лесам, по оврагам; так и шелест песка —

в пустырях, в солончаковых пространствах – оренбургских, самарских, саратовских; —

– тот же шелест стоял над могилой: грустный шелест берез; падали их сережки, их юные листья на чернораморный, восьмиконечный крест, и – мир его праху! —

Словом: есть Учреждение.

.....

Не прекрасная Прозерпина уносится в царство Плутона через страну, где кипит белой пеной Коцит: каждодневно уно-

сится в Тартар похищенный Хароном сенатор на всклокоченных, взмыленных, вороногривых конях; над воротами печального Тартара бородастая повисает кариатида Плутона. Плещутся флегетоновы волны: бумаги.

.....

В своем директорском кабинете Аполлон Аполлонович Аблеухов сидит ежедневно с напряженной височною жилою, заложив ногу на ногу, а жиловатую руку – за отворот сюртука; трещат поленья камина, шестидесятивосьмилетний старик дышит бациллой параграфа, то есть совокупленьем крючков; и дыхание это облетает громадное пространство России: ежедневно десятую часть нашей родины покрывает нетопыриное крыло облаков. Аполлон Аполлонович Аблеухов, осененный счастливою мыслию, заложив ногу на ногу, руку – за отворот сюртука, надувает тогда пузырем свои щеки; он тогда, будто дует (такова уж привычка); холодочки продувают по нетопленным залам; завиваются смерчевые воронки разнообразных бумаг; от Петербурга начинается ветер, на окраине где-нибудь разражается ураган.

Аполлон Аполлонович сидит в кабинете... и дует.

И сгибаются спины писцов; и листы шелестят: так бегают ветры – по суровым, сосновым вершинам... Потом втянет щеки; и все – шелестит: сухая, бумажная стая, как роковой листопад, разгоняется от Петербурга... до Охотского моря.

Раскидается холодная свистопляска – по полям, по лесам, по селам, чтоб гудеть, нападать, хохотать, чтобы гра-

дом, дождем, гололедицей искусувать лапы и руки – птиц, зверей, подорожного путника, опрокидывать на него полосатые бревна шлахт-баумов, – полосатой верстой из канавы выскакивать на шоссе, надмеваться оскаленной цифройю, обнаруживать бездомность и бесконечность пути и протягивать мрачные мрежи из реющих мороков...

Север, север родимый!..

Аполлон Аполлонович Аблеухов – человек городской и вполне благовоспитанный господин: сидит у себя в кабинете в то время, как тень его, проницая камень стены... бросается в полях на прохожих: посвистом молодецким, разбойным она гуляет в пространствах – самарских, тамбовских, саратовских – в буераках и в желтых песчаниках, в чертополохах, в полыни, или в Диком татарнике, обнажает песчаные лысины, рвет высоковерхие скирды, раздувает в овине подозрительный огонек; деревенский красный петух – от нее зарождается; ключевой самородный колодезь – от нее засоряется; как падает на посев вредоносными росами, – от него худеет посев; скот – гниет...

Умножает и роет овраги.

Шутники сказали бы верно: не Аполлон Аполлонович, а... Аквилон Аполлонович.

.....

Умножение количества за день перед писцом пролетевшей бумаги, выдуваемой из дверей Учреждения, умножение этой бумаги на количество бумагу гонящих писцов образу-

ет произведение, то есть бумажное производство, вывозимое не возами, а фурами.

Под каждую бумагою подпись: «Аполлон Аблеухов». Та бумага несется по железнодорожным ветвям от железнодорожного центра: от Санкт-Петербурга; и – до губернского города; растрепав свою стаю по соответственным центрам, Аполлон Аполлонович творит в этих центрах новые очаги бумажного производства.

Обыкновенно бумага с (имя рек) подписью циркулирует до губернского управления; получают бумагу все статские (я разумею – советники): Чичибабины, Сверчковы, Шестковы, Тетерько, Иванчи-Иванчевские; от губернского города соответственно уже Иванчи-Иванчевский рассылает бумаги до городов: Мухоединска, Лихова, Гладова, Мороветринска и Пупинска (городов все уездных); Козлородов, ассессор, тогда получает бумагу.

Вся картина меняется.

Козлородов, ассессор, получивший бумагу, должен бы тотчас сам усесться на бричку, на таратайку, или на тряские дрожки, чтобы заплясать по колдобинам – чрез поля, чрез леса, по весям, по грязям, – и увязнуть медлительно в глинах или в бурых песках, подвергая себя нападению полосатых, приподнятых верст и полосатых шлахт-баумов (в пустырях Аполлон Аполлонович нападает на путников); вместо ж этого Козлородов просто сует в боковой свой карман запрос Иванчи-Иванчевского.

И идет себе в клуб.

Аполлон Аполлонович одинок: и так уже тысячарится он в верстах; и ему одному не поспеть; не поспеть и Иванчи-Иванчевским. Козлородовых – тысячи; за ними стоит обыватель, которого Аблеухов боится.

Поэтому Аполлон Аполлонович и сокрушает лишь пограничные знаки своего кругозора: и места лишаются – Иванчевские, Тетерько, Сверчковы.

Козлородов бесменен.

Пребывая за пределами досягаемости – за оврагами, за колдобинами, за лесами – он винтит себе в Пупинске.

Хорошо еще, что пока он винтит.

## **Он винтить перестал**

Аполлон Аполлонович одинок.

Не поспевает он. И стрела его циркуляра не проникает уездов: ломается. Лишь, пронзенный стрелой, кое-где слетит Иванчевский; да Козлородовы на Сверчкова устроят облаву. Аполлон Аполлонович из Пальмиры, из Санкт-Петербурга, разразится бумажною канонадой, – и (в последнее время) даст маху.

Обыватели бомбы эти и стрелы давно окрестили названием: мыльные пузыри.

Стрелометатель, – тщетно он слал зубчатую Аполлонову молнию; переменялась история; в древние мифы не верят;

Аполлон Аполлонович Аблеухов – вовсе не бог Аполлон: он – Аполлон Аполлонович, петербургский чиновник. И – тщетно стрелял в Иванчевских.

Бумажная циркуляция уменьшалась за все эти последние дни; ветер противный дул: пахнувшая типографским шрифтом бумага начинала подтачивать Учреждение – прошениями, предьявлениями, незаконной угрозой и жалобой; и так далее, далее: тому подобным предательством.

Ну и что же за гнусное обхождение в отношении к начальству циркулировало среди обывателей? Пошел прокламационный тон.

И – что это значило?

Очень многое: непроницаемый, недостижимый Козлородов, ассессор, где-то там, понаглел; и тронулся из провинций на Иванчи-Иванчевских: в одном пункте пространства толпа растащила на колья бревенчатый частокол, а... Козлородов отсутствовал; в другом пункте оказались повыбиты стекла Казенного Учреждения, а Козлородов – отсутствовал тоже.

От Аполлона Аполлоновича поступали проекты, поступали советы, поступали приказы: приказы посыпались залпами; Аполлон Аполлонович сидел в кабинете с надутою височною жилою все последние эти недели, диктуя за приказом приказ; и приказ за приказом уносился бешеной стреловидною молнией в провинциальную тьму; но тьма наступала; прежде только грозила она с горизонтов; теперь заливала уезды и хлынула в Пупинск, чтоб оттуда, из Пупинска, гро-

зить губернскому центру, откуда, заливаемый тьмой, в тьму слетел Иванчевский.

В это время в самом Петербурге, на Невском, показалась провинциальная тьма в виде темной шапки манджурской; та шапка сроилась и дружно прошла по проспектам; на проспектах дразнилась она кумачевою тряпкою (денек такой выдался): в этот день и кольцо многотрубных заводов перестало выкидывать дым.

Громадное колесо механизма, как Сизиф, вращал Аполлон Аполлонович; по крутому подъему истории он пять лет катил колесо безостановочно вверх; лопались властные мускулы; но все чаще вытарчивал из-под мускулов власти ни чему не причастный костяк, то есть вытарчивал – Аполлон Аполлонович Аблеухов, проживающий на Английской Набережной.

Потому что воистину чувствовал он себя обглоданным костяком, от которого отвалилась Россия.

Правду сказать: Аполлон Аполлонович и до роковой этой ночи показался иным его наблюдавшим сановникам каким-то ободранным, снедаемым тайной болезнью, проткну-тым (лишь в последнюю ночь он отек); ежедневно со стонами он кидался в карету цвета вороного крыла, в пальтеце цвета вороного крыла и в цилиндре – цвета воронова крыла; два вороногривых коня бледного уносили Плутона.

По волнам Флегетона несли его в Тартар; здесь, в волнах, он барахтался.

Наконец, – многими десятками катастроф (сменами, например, Иванчевских и событиями в Пупинске) флегетоновы волны бумаг ударились в колесо громадной машины, которую сенатор вращал; у Учреждения обнаружилась брешь – Учреждения, которых в России так мало.

Вот когда случился подобный, ни с чем не сравнимый скандал, как говорили впоследствии, – то из брэнного тела носителя бриллиантовых знаков в двадцать четыре часа улетучился гений; многие даже боялись, что он спятил с ума. В двадцать четыре часа – нет, часов в двенадцать, не более (от полуночи до полудня) – Аполлон Аполлонович Аблеухов стремительно полетел со ступенек служебной карьеры. Пал он во мнении многих.

Говорили впоследствии, что тому причиною послужил скандал с его сыном: да, на вечер к Цукатовым еще прибыл муж государственной важности; но когда обнаружилось, что с вечера бежал его сын, обнаружались также и все недостатки сенатора, начиная с образа мыслей и кончая – росточком; а когда ранним утром появились сырые газеты и мальчишки-газетчики бегали по улицам с криками «*Тайна Красного домино*», то сомнения не было никакого.

Аполлон Аполлонович Аблеухов был решительно вычеркнут из кандидатского списка на исключительной важности ответственный пост.

Пресловутая заметка газеты – но вот она: «Чинами сыскной полиции установлено, что смущающие за последние дни

толки о появлении на улицах Петербурга неизвестного домино опираются на несомненные факты; след мистификатора найден: подозревается сын высокопоставленного сановника, занимающего административный пост; полицией приняты меры».

С этого дня начался и закат сенатора Аблеухова.

Аполлон Аполлонович Аблеухов родился в тысяча восемьсот тридцать седьмом году (в год смерти Пушкина); детство его протекало в Ниже – родской губернии, в старой барской усадьбе; в тысяча восемьсот пятьдесят восьмом году он окончил курс в Училище Правоведения; в тысяча восемьсот семидесятом году был назначен профессором Санкт-Петербургского Университета по кафедре Ф... П...; в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году состоял вице-директором, а в тысяча восемьсот девяностом – директором N. N. департамента; в следующем году был высочайшим указом он назначен в Правительствующий Сенат; в девятисотом году он стал во главе Учреждения.

Вот его curriculum vitae.

## Угольные лепешки

Вот уже зеленоватое просветление утра, а Семеныч – не сомкнул за ночь глаз! Все-то он в каморке кряхтел, переворачивался, возился; нападала зевота, чесотка и – прости прегрешения наши, о, Господи! – чох; при всем эдаком – тому

подобные размышления:

– «Анна Петровна-то, матушка, прибыла из Гишпании – пожаловала...»

Сам себе Семеныч про это:

– «Да-с... Отворяю я, етта, дверь... Вижу, так себе, посторонняя барыня... Незнакомая и в заграничном наряде... А она, етта, мне...»

– «Аааа...».

– «Етта мне...»

– «Прости прегрешения наши, о, Господи».

И валила зевота.

Уже и тетюринская проговорила труба (тетюринской фабрики); уже и свистнули пароходики; электричество на мосту: фук – и нет его... Сбросивши с себя одеяло, приподнялся Семеныч: большим пальцем ноги колупнул половик.

Расшушукался.

– «Я ему: ваше, мол, высокопревосходительство, барин – так мол и так... А они, етта, – да...»

– «Никакого внимания...»

– «И барчонок-то ефтат: от полу не видать... И – прости прегрешения наши, о, Господи! – белогубый щенок и сопляк».

– «Не बारे, а просто хамлеты...»

Так сам себе под нос Семеныч; и – опять головой под подушку; часы протекали медлительно; розоватенькие облачка, зрея солнечным блеском, высоко побежали над зреющей

блеском Невой... А одеялом нагретый Семеныч – все-то он бормотал, все-то он тосковал:

– «Не बारे, а... химики...»

И как бацнула там, как там грохнула коридорная дверь: не воры ли?.. Авгиева-купца обокрали, Агниева-купца обокрали.

Приходили резать и молдаванина Хаху.

Сбросивши с себя одеяло, выставил он испариной покрытую голову; наскоро вставив ноги в кальсоны, он с суетливо обиженным видом и с жующей челюстью выпрыгнул из разогретой постели и босыми ногами прошлепал в полное тайны пространство: в чернеющий коридор.

И – что же?

Щелкнула там задвижка у... ватер-клозета: его высокопревосходительство, Аполлон Аполлонович, барин, с зажженной свечкою оттуда изволил прошествовать, – в спальню.

Синее уж серело в коридоре пространство, и светились прочие комнаты; и искрились хрустали: половина восьмого; пес-бульдожка чесался и лапою цапал ошейник, и мордой оскаленной, тигровой, спину свою доставал.

– «Господи, Господи!»

– «Авгиева-купца обокрали!.. Агниева-купца обокрали!..

Хаху провизора резали!..»

.....

Бешено просверкали лучи по хрустальному, звонкому, по

голубому по небу.

Сбросивши с себя брючки, Аполлон Аполлонович Аблеухов мешковато запутался в малиновых кистях, облекаясь в стеганый, полупротертый халатик мышинного цвета, выставляя из ярко-малиновых отворотов непробритый свой подбородок (впрочем, вчера еще гладкий), весь истыканный иглистой и густой, совершенно белой щетиной, будто за ночь выпавшим инеем, оттеняющим и темные глазные провалы, и провалы под скулами, которые – от себя мы заметим – сильно поувеличились за ночь.

Он сидел, раскрыв рот, с распахнутой волосатою грудью у себя на постели, продолжительно втягивал и прерывисто выдыхал в легкие не проникающий воздух; поминутно щупал свой пульс и глядел на часы.

Видно, он мучился неразрешенной икотой.

И нисколько не думая о серии тревожнейших телеграмм, мчавшихся к нему отовсюду, ни о том, что ответственный пост от него ускользает навеки, ни – даже! – об Анне Петровне, – вероятно, он думал о том, о чем думалось перед раскрытой коробочкой черноватых лепешек.

То есть – он думал, что икота, толчки, перебои и стеснительное дыхание (жажда пить воздух), вызывающие, как всегда, колотье в легкое щекотанье ладоней, у него случаются не от сердца, а – от развития газов.

О поднывающей левой руке и стреляющем левом плече все это время он старался не думать.

– «Знаете ли? Да это просто желудок!»

Так однажды старался ему объяснить камергер Сапожков, восьмидесятилетний старик, недавно скончавшийся от сердечной ангины.

– «Газы, знаете ли, распирают желудок: и грудобрюшная преграда сжимается... Оттого и толчки, и икота... Это все развитие газов...»

Как-то раз, недавно, в Сенате Аполлон Аполлонович разбирая доклад, посинел, захрипел и был выведен; на настойчивое приставание обратиться к врачу он им всем объяснял:

– «Это, знаете, газы... Оттого и толчки».

Абсорбируя газы, черная и сухая лепешка иногда помогала ему, не всегда, впрочем.

.....

– «Да, это – газы», – и тронулся к... к...: было – половина девятого.

Этот звук и услышал Семеныч.

Вскоре после того – грохнула, бацнула коридорная дверь и издали прогудела другая; сняв с озябших колен полосатый свой плед, Аполлон Аполлонович Аблеухов снова тронулся с места, подошел к двери замкнутой спальни, раскрыл эту дверь и выставил покрытое потом лицо, чтоб у самой двери наткнуться – на такое же точно покрытое потом лицо:

– «Это вы?»

– «Я-с...»

– «Что вам?»

– «Тут-с хожу...»

– «Аа: да, да... Почему же так рано...»

– «Приглядеть всюду надобно...»

– «Что такое, скажите?..»

– «?..»

– «Звук какой-то...»

– «А что-с?»

– «Хлопнуло...»

– «А, это-то?»

Тут Семеныч рукой ухватился за край широчайшей кальсоны, неодобрительно покачал головой:

– «Ничего-с...»

.....

Дело в том, что за десять минут перед тем с удивленьем Семеныч приметил: из барчукской из двери белобрысая просунулась голова: поглядела направо и поглядела налево, и – спряталась.

И потом – барчук проюрокнул попрыгунчиком к двери старого барина.

Постоял, подышал, покачал головой, обернулся, не приметив Семеныча, прижатого в теневом углу коридора; постоял, еще подышал, да головой – к свет пропускающей скважине: да – как прилипнет, не отрываясь от двери! Не по-барчукски барчук любопытствовал, не каким-нибудь был, – не таковским...

Что такой за подглядыватель? Да и потом – непристойно

как будто.

Хоть бы он там присматривал не за каким за чужим, кто бы мог утаиться – присматривал за своим, за единокровным папашенькою; мог бы, кажется, присматривать за здоровьем; ну, а все-таки: чуялось, что тут дело не в сыновних заботах, а так себе: праздности ради. А тогда выходило одно: шелапыга!

Не лакеем каким-нибудь был – генеральским сынком, образованным на французский манер. Тут стал гымкать Семенич.

Барчук же, – как вздрогнет!

– «Сюртучок», – сказал он в сердцах, – «мне скорей побчистите...»

Да от папашиной двери – к себе: просто какая-то шелапыга!

– «Слушаюсь», – неодобрительно прожевал губами Семенич, а сам себе думал:

– «Мать приехала, а он экую рань – *почистите сюртучок*».

– «Нехорошо, неприлично!»

– «Просто хамлеты какие-то... Ах ты, Господи... подсматривать в щелку!»

.....

Все это закопошилось в мозгах старика, когда он, ухватившись за края слезавших штанов, неодобрительно качал головой и двусмысленно бормотал себе под нос:

– «А?.. Это-то?.. Хлопнуло: это точно...»

– «Что хлопнуло?»

– «Ничего-с: не изволите беспокоиться...»

– «?...»

– «Николай Аполлонович...»

– «А?»

– «Уходя хлопнули дверью: себе ушли спозаранку...»

Аполлон Аполлонович Аблеухов на Семеныча посмотрел, собирался что-то спросить, да себе промолчал, но... старчески пережевывал ртом: при воспоминании о незадолго протекшем здесь неудачнейшем объяснении с сыном (это было ведь утро после вечера у Цукатовых) под углами губы обиженно у него поотвисли мешочки из кожи. Неприятное впечатление это, очевидно, Аполлону Аполлоновичу претило достаточно: он гнал его.

И, робея, просительно поглядел на Семеныча:

– «Анну Петровну-то старик все-таки видел... С ней – как-никак – разговаривал...»

Эта мысль промелькнула назойливо.

– «Верно, Анна Петровна-то изменилась... Похудела, сдала; и, поди, поседела себе: стало больше морщинок... Пораспросить бы как-нибудь осторожно, обходом...»

– «И – нет, нет!...»

Вдруг лицо шестидесятивосьмилетнего барина неестественно распалось в морщинах, рот оскалился до ушей, а нос ушел в складки.

И стал шестидесятилетний – тысячелетним каким-то; с надсадою, переходящей в крикливость, эта седая развалина принялась насильственно из себя выжимать каламбурик:

«А... ме-ме-ме... Семеныч... Вы... ме-ме... босы?»

Тот обиженно вздрогнул.

– «Виноват-с, ваше высокопр...»

– «Да я... ме-ме-ме... не о том», – силился Аполлон Аполлонович сложить каламбурик.

Но каламбурика он не сложил и стоял, упираясь глазами в пространство; вот чуть-чуть он присел, и вот выпалил он чудовищность:

– «Э... скажите...»

– «?»

– «У вас – желтые пятки?»

Семеныч обиделся:

– «Желтые, барин, пятки не у меня-с: все у них-с, у длинноносых китайцев-с...»

– «Хи-хи-хи... Так, может быть, розовые?»

– «Человеческие-с...»

– «Нет – желтые, желтые!»

И Аполлон Аполлонович, тысячелетний, дрожащий, приземистый, туфлей топнул настойчиво.

– «Ну, а хотя бы и пятки-с?.. Мозоли, ваше высокопревосходительство – они все... Как наденешь башмак, и сверлит тебе, и горит...»

Сам же он думал:

– «Э, какие там пятки?.. И в пятках ли, стало быть, дело?.. Сам-то вишь, старый гриб, за ночь глаз не сомкнувши... И сама-то поблизости тут, в ожидательном положении... И сын-то – хамлетист... А туды же – о пятках!.. Вишь ты – желтые... У самого пятки желтые... Тоже – „особа“!..»

И еще пуще обиделся.

А Аполлон Аполлонович, как и всегда, в каламбурах, в нелепицах, в шуточках (как, бывало, найдет на него) выказывал просто настырство какое-то: иногда, бодрясь, становился сенатор (как никак – действительный тайный, профессор и носитель бриллиантовых знаков) – непоседа, вертуном, приставалой, дразнилой, походя в те минуты на мух, лезущих тебе в глаза, в ноздри, в ухо – перед грозой, в душный день, когда сизая туча томительно вылезает над липами; мух таких давят десятками – на руках, на усах – перед грозой, в душный день.

– «А у барышни-то– хи-хи-хи... А у барышни...»

– «Что у барышни?»

– «Есть...»

Экая непоседа!

– «Что есть-то?»

– «Розовая пятка...»

– «Не знаю...»

– «А вы посмотрите...»

– «Чудак, право барин...»

– «Это у нее от чулочек, когда ножка вспотеет».

И не окончивши фразы, Аполлон Аполлонович Аблеухов, – действительный тайный советник, профессор, глава Учреждения, – туфлями протоптал к себе в спальню; и – щелк: заперся.

Там, за дверью, – осел, присмирел и размяк.

И беспомощно стал озираться: э, да как же он помельчал! Э, да как же он засутулился? И – казался неравноплечим (будто одно плечо перебито). К колотившемуся, к болевшему боку – то и дело жалась рука.

.....

Да-с!

Тревожные донесения из провинции... И, знаете ли, – сын, сын!.. Так себе – отца опозорил... Ужасное положение, знаете ли...

Эту старую дуру, Анну Петровну, обобрали: какой-то негодяй-скоморох, с тараканьими усиками... Вот она и вернулась...

Ничего-с!.. Как-нибудь!..

Восстание, гибель России... И уже – собираются: покусились... Какой-нибудь абитуриент там с глазами и усиками врывается в стародворянский, уважаемый дом...

И потом – газы, газы!..

Тут он принял лепешку...

.....

Перестает быть упругой пружина, перегруженная гирями; для упругости есть предел; для человеческой воли есть пре-

дел тоже; плавится и железная воля; в старости разжижается человеческий мозг. Нынче грянет мороз, – и снежная, крепкая куча прыскает самосветящейся искрой; и из морозных снежинок сваяет человеческий блистающий бюст.

Оттепель прошумит – пробурееет, проточится куча: вся одрябнет, ослизнет; и – сядет.

Аполлон Аполлонович Аблеухов мерз еще в детстве: мерз и креп; под морозною, столичною ночью – круче, крепче, грознее казался блистающий бюст его, – самосветящийся, искристый, выходящий над северной ночью всего более до того гниловатого ветерка, от которого пал его друг, и который в течение последнего времени запалил ураганом.

Аполлон Аполлонович Аблеухов восходил до урагана; и – после...

Одиноко, долго и гордо стоял под палящим жерлом урагана Аполлон Аполлонович Аблеухов – самосветящийся, оледенелый и крепкий; но всему положен предел: и платина плавится.

Аполлон Аполлонович Аблеухов в одну ночь просутилился; в одну ночь развалился он и повис большой головой; и его, упругого, как пружина, свалило; а бывало? Недавно еще на безморщинистом профиле, вызывающе брошенном под небеса навстречу напастям, трепыхалися красные светочи пламени, от которого... могла... загореться... Россия!..

Но прошла всего ночь.

И на огненном фоне горячей Российской Империи вме-

сто крепкого золотомундирного мужа оказался – геморроидальный старик, стоящий с распахнутой, прерывисто-дышащей волосатой грудью, – непробритый, нечесанный, потный, – в халате с кистями, – он, конечно, не мог править бег (по ухабам, колдобинам, рытвинам) нашего раскачавшегося государственного колеса!..

Фортуна ему изменила.

Конечно же, – не события личной жизни, не отъявленный негодяй, его сын, и не страх пасть под бомбою, как падает простой воин на поле, не приезд там какой-нибудь Анны Петровны, малоизвестной особы, не успевающей ни на каком ровно поприще – не приезд там Анны Петровны (в черном, штопаном платье и с ридикюльчиком), и вовсе не красная тряпка превратили носителя сверкающих бриллиантовых знаков просто в талую кучу.

Нет – время...

.....

Видывали ли вы уже впадающих в детство, но все еще знаменитых мужей – стариков, которые полстолетия отражали стойко удары – белокудых (чаще же лысых) и в железо борьбы закованных предводителей?

Я видел их.

В собраниях, в заседаниях, на конгрессах они взлезали на кафедру в белоснежных крахмалах и лоснящихся своих фраках с надставными плечами; сутуловатые старики с отвисающими челюстями, со вставными зубами, беззубые —

— видел я —

— продолжали еще по привычке ударять по сердцам,  
на кафедре овладевая собою.

И я видел их на дому.

Со слабоумною суетою шепоточком мне в ухо кидая боль-  
ные, тупые остроты, в сопровождении нахлебников, они вла-  
чились в кабинет и слюняво там хвастались полочкой собра-  
ния сочинений, переплетенных в сафьян, которую и я ко-  
гда-то почитывал, которую угощали они и меня, и себя.

Мне грустно!

.....

Ровно в десять часов раздавался звонок: отпирал не Се-  
меныч; кто-то там проходил — в комнату Николая Аполло-  
новича; там сидел, там оставил записку.

## **Я знаю, что делаю**

Ровно в десять часов Аполлон Аполлонович откушал ко-  
фей в столовой.

В столовую он, как мы знаем, вбегал — ледяной, строгий,  
выбритый, распространяя запах одеколона и соразмеряя ко-  
фе с хронометром; и царапая туфлями пол, к кофею он при-  
волокся в халате сегодня: ненадушенный, невыбритый.

От половины девятого до десяти часов пополуночи он  
просидел, запершись.

На корреспонденцию не взглянул, на приветствия слуг, вопреки обычаю, не ответил; а когда слюнявая морда бульдога ему легла на колени, то ритмически шамкавший рот —

Зовет меня мой Дельвиг милый,  
Товарищ юности живой,  
Товарищ юности унылой —

– то ритмически шамкавший рот поперхнулся лишь кофеем:

– «Э... послушайте: уберите-ка пса...»

Пощипывая и кроша французскую булочку, окаменевающими глазами уставлялся в черную, кофейную гущу.

В половине двенадцатого Аполлон Аполлонович, будто вспомнив что-то, засуетился, заерзал; беспокойно глазами забегал он, напоминая серую мышь; вскочил, – и бисерными шажками, дрожа, припустился в кабинетную комнату, обнаруживши под распахнутой полрой халата полустегнутые кальсоны.

В кабинетную комнату вскоре заглянул и лакей, чтоб напомнить, что поданы лошади; заглянул – и как вкопанный остановился он на пороге.

С изумлением рассматривал он, как от полочки к полочке по бархатистым, всюду тут разостланным коврикам Аполлон Аполлонович перекатывал тяжелую кабинетную лесенку, – охая, крихтя, спотыкаясь, потея, – и как он взбирался по ле-

сенке, как с опасностью для собственной жизни он, вскарабкавшись, на томах пальцем пробовал пыль; увидавши лакея, Аполлон Аполлонович пожевал брезгливо губами, ничего не ответил на упоминанье о выезде.

Хлопая переплетом по полке, он потребовал тряпок.

Два лакея принесли ему тряпок; тряпки эти пришлось ему передать на полотерной вверх приподнятой щетке (он наверх к себе не пустил никого, да и сам не спустился); два лакея взяли по стеариновой свечке; два лакея стали по обе стороны лесенки с вверх протянутой окаменевшей рукою.

– «Поднимите-ка свет... Да не-так... И не эдак... Э, да – выше же: еще повыше...»

К этому времени из-за заневских строений повыклубились клочкастые облака, понавалились хмурые войлоковидные клубы их; бил в стекла ветер; в зеленоватой, нахмуренной комнате господствовал полусумрак; выл ветер; и повыше, повыше тянулись две стеариновых свечки по обе стороны лесенки, убегающей к потолку; там из пыльного облака, из-под самого потолка копошились полы мышьиного цвета и болтались малиноватые кисти.

– «Ваше всоковство!»

– «Ваше ли дело?...»

– «Извольте себя утруждать...»

– «Помилуйте... Где это видано...»

Аполлон Аполлонович Аблеухов, действительный тайный советник, там из облака пыли и вовсе не мог их расслышать:

какое там! Позабыв все на свете, тряпкою обтирал корешки, ожесточенно похлопывал он томами по перекладинам лесенки; и – под конец расчихался:

– «Пыль, пыль, пыль...»

– «Ишь-ты... Ишь-ты!..»

– «А ну-ка я... тряпкою: так-с, так-с, так-с...»

– «Очень хорошо-с!..»

И кидался на пыль с грязной тряпкой в руке.

Был тревожный треск телефона: трезвонило Учреждение; но из желтого дома ответили на тревожный треск телефона:

– «Его высокопревосходительство?.. Да... Изволят откушивать кофе... Доложим... Да... Лошади поданы...»

И вторично трещал телефон; на вторичный треск телефона вторично ответили:

– «Да... да... Все еще сидят за столом... Да уж мы доложили... Доложим... Лошади поданы...»

Ответили и на третий, уже негодующий треск:

– «Никак нет-с!»

– «Занимаются разборкою книг...»

– «Лошади?»

– «Поданы...»

Лошади, постояв, отправились на конюшню; кучер сплюнул: выругаться он не посмел...

.....

– «Протру-ка я!»

– «Ай, ай, ай!.. Не угодно ли видеть?»

– «Апчхи...»

И дрожащие желтые руки, вооруженные томами, колотились по полке.

.....

В передней продребезжали звонки: продребезжали прерывисто; проговорило молчание между двумя толчками звонков; напоминанием молчание это – напоминанием о чем-то забытом, родном – пролетело пространство лакированных комнат; и – непрошено вошло в кабинет; старое, старое – тут стояло; и – подымалось по лесенке.

Ухо выставилось из пыли, голова повернулась:

– «Слышите?.. Слушайте...»

Мало ли кто мог быть?

Оказаться мог: тот – Николай Аполлонович, ужаснейший негодяй, беспутник, лгунишка; оказаться мог: этот – Герман Германович, с бумагами; или там – Котоши-Котошинский; или, пожалуй, граф Нольден: оказаться, впрочем, могла – ме-ме-ме – и Анна Петровна...

Дзанкнуло.

– «Неужели не слышите?»

– «Ваше высокопревосходительство, как не слышать: там отворят, небось...»

На дребезжание лишь теперь отозвались лакеи; каменья, они еще продолжали светить.

Только бродивший по коридору Семеныч (все-то он бормотал, все-то он тосковал), перечисляющий скуки ради на-

правления в шифоньере принадлежностей барского туалета: – «Северо-восток: черные галстуки и белые галстуки... Воротнички, манжеты – восток... Часы – север» – только бродивший по коридору Семеныч (все-то он бормотал, все-то он тосковал), только он – насторожился, встревожился, протянул свое ухо по направлению к дребезжавшему звуку; затоптал в кабинет.

Боевой, верный конь отзывается так на звук рога:

– «Я осмелюсь заметить: звонят...»

Не отзывались лакеи.

Каждый вытянул свою свечку – под потолок; из-под самого потолка, с верхушечки лестницы, голая голова просунулась в пыльных клубах; отозвался надтреснутый, разволнованный голос:

– «Да! И я тоже слышал».

Аполлон Аполлонович, оторвавшийся от толстого, переплетенного тома, – он один отозвался:

– «Да, да, да...»

– «Знаете ли...»

– «Звонят... звонки...»

Невыразимое тут, но обоим что-то понятное, знать они учуяли оба, потому что вздрогнули – оба: «торопитесь – бегите – спешите!..»

– «Это барыня...»

– «Это – Анна Петровна!»

Торопитесь, бегите, спешите: дребезжало опять!

Тут лакеи поставили свечи и протопали в темнеющий коридор (первый протопал Семеныч). Из-под самого потолка в зеленоватом освещении петербургского утра Аполлон Аполлонович Аблеухов – серая мышинная куча – беспокойно заерзал глазами; задыхаясь, кое-как стал сползать, покряхтывая, привалившись к перекладинам лестницы волосатую грудь, плечом и щетинистым подбородком; сполз – да как пустится мелкою дробью по направлению к лестнице с грязною подтиральной тряпкой в руке да с распахнутой полой халата, протянувшейся в воздухе фантастическим косяком. Вот споткнулся, вот стал, задышал и пальцем нащупал пульс.

А по лестнице подымался уже господин с пушистыми бакенбардами, в наглухо застегнутом вицмундире с обтянутой талией, в ослепительно белых манжетах, с аннинскою звездой на груди, почтительно предводимый Семенычем; на подносике, чуть дрожащем в руках старика, лежала глянцевитая визитная карточка с дворянской короной.

Аполлон Аполлонович с запахнутой полой халата, суетливо выглядывал из-за статуи Ниобеи на сановитого, пушистого старика.

Право же, походил он на мышь.

## **Будешь ты, как безумный**

Петербург – это сон.

Коли ты во сне бывал в Петербурге, ты без сомнения зна-

ешь тяжеловесный подъезд: там дубовые двери с зеркальными стеклами; стекла эти прохожие видят; но за стеклами этими никогда не бывают они.

Тяжкоглавая медная булава разблисталась беззвучно из-за зеркала стекол тех.

Там – покатое, восьмидесятилетнее плечо: оно снится годами тем случайным прохожим, для которых все – сон и которые – сон; на покатое это плечо восьмидесятилетнего старика падает и темная треуголка; восьмидесятилетний швейцар так же ярко блистает оттуда и серебряным галуном, напоминая служителя из бюро похоронных процессий при отправлении службы.

Так бывает всегда.

Тяжелая медноглавая булава мирно покоится на восьмидесятилетнем плече швейцара; и увенчанный треуголкой швейцар засыпает года над «Биржевкой». Потом встанет швейцар и распахнет дверь. Днем ли, утром ли, под вечер ли ты пройдешься мимо дубовой той двери – днем, утром, под вечер ты увидишь и медную булаву; ты увидишь галун; ты увидишь – темную треуголку.

С изумлением остановишься ты пред все тем же видением. То же видел ты и в свой прошлый приезд. Пять лет уже протекло: проволновались глухо события; уж проснулся Китай; и пал Порт-Артур; желтолицыми наводняется приамурский наш край; пробудились сказания о железных всадниках Чингиз-Хана.

Но видение старых годин неизменно, бессменно: восьмидесятилетнее плечо, треуголка, галун, борода.

Миг, – коль тронется белая за стеклом борода, коль огромная прокачается булава, коль сверкнут ослепительно серебристые галуны, как бегущие с желобов ядовитые струйки, угрожающие холерой и тифом жителю подвального этажа, – коли будет все то, и изменятся старые годы, будешь ты, как безумный, кружиться по петербургским проспектам.

Ядовитая струйка из желоба обольет мозглым холодом октября.

Если б там, за зеркальным подъездом, стремительно проверкала бы тяжкоглавая булава, верно б, верно бы здесь не летали б холеры и тифы: не волновался б Китай; и не пал Порт-Артур; приамурский наш край не наводнялся бы косами; всадники Чингиз-хана не восстали бы из своих многосотлетних гробов.

Но послушай, прислушайся: топоты... Топоты из зауральских степей. Приближаются топоты. Это – железные всадники.

Застывая года над подъездом черно-серого, многоколонного дома, та же все повисает кариатида подъезда: густобородый, каменный колосс.

С грустной тысячелетней усмешкою, с темною пустотою день проницающих глаз повисает года он: повисает томительно; упадет сто лет карниз балконного выступа на затылок бородача и на локти каменных рук. Иссеченным из

камня виноградным листом и кистями каменных виноградин проросли его чресла. Крепко в стену вдавились чернокопытные, козлоподобные ноги.

Старый, каменный бородач!

Улыбался он многие годы над уличным шумом, приподымался он многие годы над летами, зимами, веснами – круглыми завитушками орнаментной лепки. Лето, осень, зима: снова – лето и осень; тот же он; и летом он – пористый; обледенелый, зимой истекал он ледышками; веснами от ледышек тех и сосуллек протекала капель. Но он – тот же: его минуют года. Самое время по пояс кариатиде.

Из безвременья, как над линией времени, изогнулся он над прямою стрелою проспекта. На его бороде уселась ворона: однозвучно каркает на проспект; этот скользкий, мокрый проспект отливает металлическим блеском; в эти мокрые плиты, так невесело озаренные октябрёвским деньком, отражаются: зеленоватый облачный рой, зеленоватые лица прохожих, серебристые струйки, вытекающие из рокочущих желобов.

Каменный бородач, поднятый над вихрем событий, дни, недели, года подпирает подъезд Учреждения.

.....

Что за день!

С утра еще стали бить, стрекотать, пришепетывать капельки; от взморья пер серый туманистый войлок; парами проходили писцы; отворял им швейцар в треуголке; они ве-

шали свои шляпы и сырые одежды на вешалках, пробежали по красного сукна ступеням, пробежали они беломраморным вестибюлем, поднимали глаза на министерский портрет: и шли по нетопленным залам – к своим холодным столам. Но писцы не писали: писать было нечего; из директорского кабинета не приносилась бумага; в кабинете не было никого; в камине растрещались поленья.

Над суровым, дубовым столом лысая голова не напряжилась височными жилами; не глядела она исподлобья туда, где в камине текли резвой стаей васильки угарного газа: в одинокой той комнате все же праздно в камине текли огоньки угарного газа над каленою грудой растрещавшихся огоньков; разрывались там, отрывались и рвались – красные петушиные гребни, пролетая стремительно в дымовую трубу, чтоб сливаться над крышами с гарью, с отравленной копотью и бессменно над крышами повисать удушающей, разъедающей мглой. В кабинете не было никого.

Аполлон Аполлонович в этот день не прошествовал в директорский кабинет.

Уже надоело и ждать; от стола к столу перепархивал недоумевающий шепот; слухи реяли; и – мерещились мороки; в вице-директорском кабинете трещала труба телефона:

– «Выехал ли?.. Быть не может?.. Доложите, что необходимо присутствие... быть не может...»

И вторично трещал телефон:

– «Докладывали?.. Все еще сидит за столом?.. Доложите,

что время не терпит...»

Вице-директор стоял с дрожащею челюстью; недоумевающе разводил он руками; через час-полтора он спустился по бархатным ступеням в высочайшем цилиндре. Распахнулись двери подъезда... Он прыгнул в карету.

Через двадцать минут, поднимаясь по ступенькам желтого дома, он с изумлением видел, как Аполлон Аполлонович Аблеухов, его ближайший начальник, с запахнутой полой гадкого, мышинового цвета халата суетливо выглядывал на него из-за статуи Ниобеи.

– «Аполлон Аполлонович», – выкрикнул седовласый, аннинский кавалер, из-за статуи увидавши щетинистый подбородок сенатора, и поспешно стал оправлять большой шейный орден под галстухом.

– «Аполлон Аполлонович, да вот вы как, вот вы где? А я-то вас, мы-то вас, мы-то к вам – трезвонили, телефонили. Ждали – вас...»

– «Я... ме-ме-ме», – зажевал сутулый старик, – «разбираю свою библиотеку... Извините уж, батюшка», – прибавил ворчливо он, – «что я так, по-домашнему».

И руками он показал на свой драный халат.

– «Что это, вы больны? Э, э, э – да вы будто опухли... Э, да это отеки?» – почтительно прикоснулся гость к пылью покрытому пальцу.

Свою грязную подтиральную тряпку Аполлон Аполлонович уронил на паркет.

– «Вот не вовремя-то изволили расхвораться... А я к вам с известием... Поздравляю вас: всеобщая забастовка – в Морветринске...»

– «С чего это вы?.. Я... ме-ме-ме... Я здоров», – тут лицо старика недовольно распалось в морщины (известие о забастовке принял он равнодушно: видимо, он более ничему удивиться не мог) – «и пожалуйста: завелась, знаете, пыль»...

– «Пыль?»

– «Так я ее – тряпкой».

Вице-директор с пушистыми баками почтительно теперь наклонился перед этою сутуловатой развалиной и пытался все приступить к изложению чрезвычайно важной бумаги, которую он в гостиной перед собой разложил на перламутровом столике.

Но Аполлон Аполлонович снова его перебил:

– «Пыль, знаете, содержит микроорганизмы болезней... Так я ее – тряпкой...»

Вдруг эта седая развалина, только что севшая в кресле ампир, стремительно привскочила, рукой опираясь о ручку; пальцем уткнулась в бумагу стремительно другая рука.

– «Что это?»

– «Как я вам докладывал только что...»

– «Нет-с, позвольте-с» – К бумаге Аполлон Аполлонович ожесточенно припал: помолодел, побелел, стал – бледно-розовым (красным быть он не мог уже).

– «Постойте!.. Да они посходили с ума?.. Нужна моя под-

пись? Под эдакой подписью?!»

– «Аполлон Аполлонович...»

– «Подписи я не дам».

– «Да ведь – бунт!»

– «Сменить Иванчевского...»

– «Иванчевский смнен: вы – забыли?»

– «Подписи я не дам...»

Аполлон Аполлонович с помолодевшим лицом, с неприлично распахнутой полой халата шлепал взад и вперед по гостиной, спрятав за спину руки, опустив низко лысину: подойдя вплотную к изумленному гостю, он забрызгал слюной:

– «Как могли они думать? Одно дело – твердая, административная власть, а другое дело... – нарушение прямых, законных порядков».

– «Аполлон Аполлонович», – урезонивал аннинский кавалер, – «вы человек твердый, вы – русский... Мы надеялись... Нет, вы конечно подпишитесь...»

Но Аполлон Аполлонович завертел подвернувшийся карандаш между двумя костяшками пальцев; остановился, зорко как-то взглянул на бумагу: переломался, треснувши, карандаш; взволнованно он теперь перевязывал кисти халата с гневно дрожащею челюстью.

– «Я, батюшка, человек школы Плеве... Я знаю, что делаю... Яйца кур не учат...»

– «Ме-емме... Я не дам своей подписи».

Молчание.

– «Ме-емме... Ме-емме...»

И надул пузырем свои щеки...

Господин с пушистыми бакенбардами недоумевающе спускался по лестнице; для него было ясно: карьера сенатора Аблеухова, созидаемая годами, рассыпалась прахом. По отъезде вице-директора Учреждения Аполлон Аполлонович продолжал расхаживать в сильном гневе среди кресел ампир. Скоро он удалился; скоро вновь появился: он подмышкою тащил тяжеловесную папку бумаг на перламутровый столик, припадая папкою и плечом к все еще болевшему боку; положивши перед собой эту папку бумаг, Аполлон Аполлонович позвонился и приказал немедленно перед собою развести огонек.

Из-за нотабен, вопросительных знаков, параграфов, черточек, из-за *уже последней* работы на каминный огонь поднималась мертвая голова; губы сами себе бормотали:

– «Ничего-с... Так себе...»

Закипела, и от себя отделяя кипящие трески и блески, расфыркалась жаром дохнувшая грудa – малиновая, золотая; угольями порассыпались поленья.

Лысая голова поднялась на камин с сардоническим, с усмехнувшимся ртом и с прищуренными глазами, воображая, как теперь летит от нее через слякоть взбешенный, окончательный карьерист, предложивший ему, Аблеухову, просто подлую сделку с ничем не запятнанной совестью.

– «Я, мои судари, человек школы Плева... И я знаю, что

делаю... Так-то-с, судари...»

Остро отточенный карандашик – вот он прыгает в пальцах; остро отточенный карандашик стаями вопросительных знаков упал на бумагу; это ведь последнее его дело; через час будет дело это окончено; через час в Учреждение затрещит – в телефон: с уму непостижимым известием.

.....

Подлетела карета к кариатиде подъезда, а кариатида – не двинулась: бородач – старый, каменный, подпирающий подъезд Учреждения.

Тысяча восемьсот двенадцатый год освободил его из лесов. Тысяча восемьсот двадцать пятый год бушевал декабрьскими днями; отбушевали они; пробушевали январские дни так недавно: это был – девятьсот пятый год.

Каменный бородач!

Все бывало под ним и все под ним быть перестало. То, что он видел не расскажет он никому.

Помнит и то, как осаживал кучер свою кровную пару, как клубился дым от тяжелых конских задов; генерал в треуголке, в крылатой, бобром обшитой шинели, грациозно выпрыгивал из кареты и при криках «ура» пробегал в открытую дверь.

После же, при криках «ура» генерал попирал пол балконного выступа белолосинной ногою. Имя то утаит бородач, подпирающий карниз балконного выступа; каменный бородач и доселе знает то имя.

Но о нем не расскажет он.

Никому, никогда не расскажет он о слезах сегодняшней проститутки, приютившейся ночью под ним на ступенях подъезда.

Не расскажет он никому о недавних наездах министра. был тот в цилиндре; и была у него в глазах – зеленоватая глубина; поседевший министр, выходя из легоньких санок, гладил холеный ус серой шведской перчаткой.

Он потом стремительно пробегал в открытую дверь, чтоб задумываться у окон.

Бледное, бледное лицевое пятно, прижатое к стеклам, выдавалось – оттуда вон; не угадал бы случайный прохожий, глядя на это пятно, в том прижатом пятне – не угадал бы случайный прохожий в том прижатом пятне повелительного лица, управляющего отсюда российскими судьбами.

Бородач его знает; и – помнит; но рассказать – не расскажет – никому, никогда!..

Пора, мой друг, пора; покоя сердце просит...

Бегут за днями дни, и каждый день уносит

Частицу бытия; а мы с тобой вдвоем

Располагаем жить; а там– глядь: и умрем.

Так говаривал своему одинокому другу поседевший, одинокий министр, теперь почивающий.

И нет его – и Русь покинул он,

Внесенну им...

И – мир его праху...

Но швейцар с булавой, засыпающий над «Биржевкой», измученное лицо знал хорошо: Вячеслава Константиновича, слава Богу, в Учреждении еще помнят, а блаженной памяти императора Николая Павловича в Учреждении уж не помнят: помнят белые залы, колонны, перила.

Помнит каменный бородач.

Из безвременья, как над линией времени, изогнулся он над прямою ль стрелую проспекта, иль над горькой, соленой, чужой – человеческою слезой?

На свете счастья нет, а есть покой и воля...

Давно желанная мечтается мне доля:

Давно, усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

.....

Приподымается лысая голова, – мефистофельский, блеклый рот старчески улыбается вспышкам; вспышками пробагровеет лицо; глаза – опламененные все же; и все же – каменные глаза: синие – и в зеленых провалах! Холодные, удивленные взоры; и – пустые, пустые. Мороками поразожглись времена, солнца, света. Вся жизнь – только морок. Так стоит ли? Нет, не стоит:

– «Я, судари мои, школы Плеве... Я, судари мои... Я –

меме-ме...»

Падает лысая голова.

.....

В Учреждении от стола к столу перепархивал шепот; вдруг дверь отворилась: пробежал к телефону чиновник с совершенно белым лицом.

– «Аполлон Аполлонович... выходит в отставку...»

Все вскочили; расплакался столоначальник Легонин; и возникло все это: идиотский гул голосов, ног неровные топоты, из вице-директорской комнаты вразумительный голос; и – треск телефона (в департамент девятый); вице-директор стоял с дрожащею челюстью; в руке его кое-как плясала телефонная трубка: Аполлон Аполлонович Аблеухов, собственно, уже не был главой Учреждения.

Через четверть часа, в наглухо застегнутом вицмундире с обтянутой талией седовласый вице-директор с аннинской звездой на груди уже отдавал приказания; через двадцать минут свежесбритый и волнением молодеющий лик проносил он по залам.

Так совершилось событие неопишуемой важности.

## Гадина

Закипевшие воды канала бросились к тому месту, где с оголтелых пространств Марсова Поля ветер ухал в суками стонавшую чашу: что за страшное место!

Страшное место увенчивал великолепный дворец; вверх протянутой башнею напоминал он причудливый замок: розово-красный, тяжелокаменный; венценосец проживал в стенах тех; не теперь это было; венценосца того уже нет.

Во царствии Твоем помяни его душу, о, Господи!

Розово-красный дворец выступал своим вверх протянутым верхом из гудящей гущи узловатых, совершенно безлистных суков; суки протянулись там к небу глухими порывами и, качаясь, ловили бегущие хлопья туманов; каркая, вверх стрельнула ворона; взлетела, прокачалась над хлопьями, и обратно низринулась.

Пролетка пересекала то место.

Полетели навстречу два красненьких, маленьких домика, образовавших подобие выездной арки на площади перед дворцом; слева площади древесная куча угрожала гудением; и будто наваливалось кренящимися верхами стволов; шпиц высокий вытарчивал из-за туманистых хлопьев.

Конная статуя вычернялась неясно с отуманенной площади; проезжие посетители Петербурга этой статуе не уделяют внимания; я всегда подолгу простаиваю перед ней: великолепная статуя! Жалко только, что какой-то убогий насмешник при последнем проезде моем золотил ее цоколь.

Своему великому прадеду соорудил эту статую самодержец и правнук, самодержец проживал в этом замке; здесь же кончились его несчастливые дни – в розовокаменном замке; он не долго томился здесь; он не мог здесь томиться; меж са-

модурною суетой и порывами благородства разрывалась душа его; из разорванной этой души отлетел младенческий дух.

Вероятно, не раз появлялась курносая в белых локонах голова в амбразуре окна; вон окошко – не из этого ль? И курносая в локонах голова томительно дозировала пространства за оконными стеклами; и утопали глаза в розовых угасаниях неба; или же: упирались глаза в серебряную игру и в кипения месячных отблесков в густолиственной куще; у подъезда стоял павловец-часовой в треугольной шапке с полями и брал ружьем на караул при выходе золотогрудного генерала в андреевской ленте, направлявшегося к золотой, расписанной акварелью карете; красно-пламенный высился кучер с приподнятых козел; на запятках кареты стояли губастые негры.

Император Павел Петрович, окинувши взглядом все это, возвращался к сентиментальному разговору с кисейно-газовой фрейлиной, и фрейлина улыбалась; на ланитах ее обозначались две лукавые ямочки, и – черная мушка.

В роковую ту ночь в те же стекла втекало лунное серебро, падая на тяжелую мебель императорской опочивальни; падало оно на постель, озолощая лукавого, мечущего искры амурчика; и на бледной подушке вырисовывался будто тушью набросанный профиль; где-то били куранты; откуда-то намечались шаги... Не прошло и трех мгновений – и постель была смята: в месте бледного профиля отенялась вдавлена головы; простыни были теплы; опочившего – не было; ку-

чечка белокудерных офицеров с обнаженными шашками наклонила головы к опустевшему ложу; в запертую дверь сбоку ломились; плакался женский голос; вдруг рука розовогубого офицера приподняла тяжелую оконную штору; из-под спущенной кисеи, на окне, в сквозном серебре, – там дрожала черная, тощая тень.

А луна продолжала струить свое легкое серебро, падая на тяжелую мебель императорской спальни; падало оно на постель, озолощая блеснувшего с изголовья амурчика; падало оно и на профиль, смертельно белый, будто прочерченный тушью... Где-то били куранты; в отдалении отовсюду топотали шаги.

.....

Николай Аполлонович бессмысленно озирал это мрачное место, не замечая и вовсе, что бритая физиономия его везущего подпоручика от времени и до времени поворачивалась на своего, с позволения заметить, соседа; взгляд, которым окидывал подпоручик Лихутин свою везомую жертву, казался исполненным любопытства; беспокойно вертелся он всю дорогу; всю дорогу толкался он боком. Николай Аполлонович понемногу догадывался, что Сергею Сергеевичу его касаться невмоготу... хотя бы и боком; и вот он пихался, награждая попутчика мелкой дробью толчков.

В это время ветер сорвал с Аблеухова итальянскую шляпу с полями, и произвольным движением этот последний поймал ее на коленях у Сергея Сергеевича; на мгновение он

прикоснулся и к костенеющим пальцам, но пальцы Сергея Сергеича дрогнули и с явным гадливым испугом отскочили вдруг вбок; угловатый локоть задвигался. Подпоручик Лихутин теперь, вероятно, испытывал не прикосновение к коже знакомого и, можно сказать, закадычного товарища детства, а... гадины, которую... пришибают... на месте...

Аблеухов заметил тот жест; в свой черед стал с испугом присматриваться и он к своему товарищу детства, с кем он был когда-то на ты; этот *ты, Серезжа*, то есть Сергей Сергеич Лихутин, со времени их последнего разговора помолодел, ну, право, – лет на восемь, именно превратившись в «*Серезжу*» из Сергея Сергеича; но теперь-то уж этот «*Серезжа*» с подобострастием не внимал парениям аблеуховской мысли, как во *время оно*, на бузине, в старом дедовском парке тому назад – восемь лет; прошло восемь лет; и все восемь лет изменили: бузина сломалась давно, а он... – подобострастно поглядывал он на Сергея Сергеича.

Их неравные отношения опрокинулись; и все, все – пошло в обратном порядке; идиотский вид, пальтецо, толчки угловатого локтя и прочие жесты нервозности, прочитанные Николаем Аполлоновичем, как жесты презрения, – все, все это наводило на грустные размышления о превратности человеческих отношений; наводило на грустные размышления и это ужасное место: розово-красный дворец, дико воющий и в небо вороной стреляющий сад, два красненьких домика и конная статуя; впрочем, сад, замок, статуя уже остались у

них за плечами.

И Аблеухов осунулся.

– «Вы, Сергей Сергеевич, оставляете службу?»

– «А?»

– «Службу...»

– «Как видите...»

И Сергей Сергеевич на него поглядел таким взором, как будто он доселе не знал Аблеухова; он его оглядел от головы и до ног.

– «Я бы вам, Сергей Сергеевич, посоветовал приподнять воротник: у вас простужено горло, а при этой погоде, в самом деле, ничего не стоит – легко...»

– «Что такое?»

– «Легко схватить жабу».

– «И по вашему делу», – глухо буркнул Лихутин; раздалось его суетливое фырканье.

– «?»

– «Да я не о горле... Службу я оставляю *по вашему делу*, то есть не по вашему делу, а именно: благодаря вам».

– «Намек», – чуть было не воскликнул Николай Аполлонович и поймал снова взгляд: на знакомых так никогда не глядят, а глядят так, пожалуй, на небывалое заморское диво, которому место в кунсткамере (не в пролетке, не на проспекте – тем более...).

С видом таким прохожие вскидывают глаза на слонов, иногда проводимых поздно вечером в городе, – от вокзала

до цирка; вскинут глаза, отшатнутся, и – не поверят глазам; дома будут рассказывать:

– «Верите ли, мы на улице повстречали слона!»

Но все над ними смеются.

Вот такое вот любопытство выражали взоры Лихутина; не было в них возмущенности; была, пожалуй, гадливость (как от соседства с удавом); ползучие гадины ведь не вызовут гнева – просто их пришибут, чем попало: на месте...

Николай Аполлонович соображал поручиком процеженные слова о том, что службу покидает поручик – из-за него одного; да, – Сергей Сергеич Лихутин и потеряет возможность состоять на государственной службе после того, что сейчас случится там между ними обоими; квартирка-то, очевидно, будет пуста (в ней *гадина* и будет раздавлена)... Произойдет такое, такое... Николай Аполлонович не на шутку тут струсил; он заерзал на месте и – и: все его десять пальцев, дрожащих, холодных, вцепились в рукав подпоручика.

– «А?... Что это?... Почему это вы?»

Промаячил тут домик, домик кисельного цвета, снизу доверху обставленный серою лепною работою: завитушками рококо (может быть, некогда послуживший пристанищем для той самой фрейлины с черной мушкой, с двумя лукавыми ямочками на лилейных ланитах).

– «Сергей Сергеич... Я, Сергей Сергеевич... Я должен признаться вам... Ах, как я сожалею... Крайне, крайне печально: мое поведение... Я, Сергей Сергеич, вел себя... Сер-

гей Сергеевич... позорно, плачевно... Но у меня, Сергей Сергеевич, оправдание – есть: да, есть, есть оправдание. Как человек просвещенный, гуманный, как светлая личность, не как какой-нибудь, Сергей Сергеевич, – вы сумеете все понять... Я не спал эту ночь, то есть, я хотел сказать, страдаю бессонницей... Доктора нашли меня», – унизился он до лганья, – «то есть мое положение – очень-очень опасным... Мозговое переутомление с псевдогаллюцинациями, Сергей Сергеевич (почему-то вспомнились слова Дудкина)... Что вы скажете?»

Но Сергей Сергеевич ничего не сказал: без возмущения посмотрел; и была во взгляде гадливость (как от соседства с удавом); гадины не вызывают ведь гнева: их... пришибают... на месте...

– «Псевдогаллюцинации...», – умоляюще затвердил Аблеухов, перепуганный, маленький, косолапый, залезая глазами в глаза (глаза глазам не ответили); он хотел объясниться немедленно; и – здесь, на извозчике: объясниться здесь – не в квартирке; и так уже не далек роковой тот подъезд; если же до подъезда не сумеют они прийти в соглашение с офицером, то – все, все, все: будет кончено! Кон-че-но!! Произойдет убийство, оскорбление действием, или просто случится безобразная драка:

– «Я... я... я...»

– «Сходите: приехали...»

Николай Аполлонович поглядывал пред собой оловянно-

ми, неморгающими глазами – поглядывал на синеватые тумана клоки, откуда все хлюпали капельки, закружившие на булькнувших лужах металлические пузыри.

Подпоручик Лихутин, соскочивший на тротуар, бросил деньги извозчику и теперь стоял перед пролеткой, ожидая сенаторского сына; этот что-то замешкался.

– «Погодите, Сергей Сергеевич: тут со мной была палка... Ах? Где она? Неужели же я выронил палку?»

Он действительно отыскивал палку; но палка пропала бесследно; Николай Аполлонович, совершенно бледный, обеспокоенно поворачивал во все стороны умоляющие глаза.

– «Ну? Что же?»

– «Да палка».

Голова Аблеухова глубоко ушла в плечи, а плечи качались; рот же криво раздвинулся; Николай Аполлонович поглядывал перед собой оловянными, неморгающими глазами на синеватые тумана клоки; и – ни с места.

Тут Сергей Сергеич Лихутин стал сердито, нетерпеливо дышать; он, схватив Аблеухова за рукав, хотя деликатно, но крепко, принялся осторожно высаживать его из пролетки, возбуждая явное любопытство домового дворника, – принялся высаживать, как товарами переполненный тюк.

Но ссаженный Николай Аполлонович так и вцепился ногтями Лихутину в руку: как они пройдут в эту дверь, – в темноте рука-то ведь может, пожалуй, принять неприличную позу по отношению к его, Николаю Аполлоновичу, щеке;

в темноте-то ведь не отскочишь; и – кончено: телодвижение совершится; род Аблеуховых опозоренным навеки останется (их никогда не бивали).

Вот и так уже подпоручик Лихутин (вот бешеный!) свободно ухватился рукою за ворот итальянской накидки, и Николай Аполлонович стал белей полотна.

– «Я пойду, пойду, Сергей Сергеич...»

Каблуком инстинктивно он уткнулся в бока приподъездной ступеньки; впрочем, он тотчас одумался, чтобы не казаться посмешищем.

Хлопнула подъездная дверь.

## **Тьма кромешная**

Тьма кромешная охватила их в неосвещенном подъезде (так бывает в первый миг после смерти); тотчас же в темноте раздалось пыхтение подпоручика, сопровождаемое мелким бисером восклицаний.

– «Я... вот здесь стоял: вот-вот – здесь стоял... Стоял, себе, знаете...»

– «Это так-то вы, Николай Аполлонович?... Это так-то вы, сударь мой?..»

– «В совершенно нервном припадке, повинуюсь болезненным ассоциациям представлений...»

– «Ассоциациям?... Почему же ни с места вы?... Как сказали-то – ассоциациям?..»

– «Врач сказал... Э, да что вы подтаскиваете? Не подтаскивайте: я ходить умею и сам...»

– «А вы что хватаетесь за руку?.. Не хватайтесь, пожалуйста», – раздалось уже выше...

– «И не думаю...»

– «Хватаетесь...»

– «Я же вам говорю...», – раздалось еще выше...

– «Врач сказал, – врач сказал: редкое такое – мозговое расстройство, такое-такое: домино и все подобное там... Мозговое расстройство...», – пропищало уже откуда-то сверху.

Но еще где-то неожиданный упитанный голос громогласно воскликнул:

– «Здравствуйте!»

Это было у самой двери Лихутиных.

– «Кто тут такое?»

Сергей Сергеич Лихутин из совершеннейшей тьмы недовольно возвысил свой голос.

– «Кто тут такое?», – возвысил голос свой и Николай Аполлонович с огромнейшим облегчением; вместе с тем он почувствовал: ухватившаяся за него оторвалась, упала – рука; и – щелкнула облегчительно спичка.

Незнакомый, упитанный голос продолжал возглашать:

– «А я стою себе тут... Звонюсь, звонюсь – не отпирают. И, скажите пожалуйста: знакомые голоса».

Когда чиркнула спичка, то обозначились пухло-белые

пальцы со связкою роскошнейших хризантем; а за ними, во мраке, обозначилась и статная фигура Вергефдена – почему это он был здесь в этот час.

– «Как? Сергей Сергеевич?»

– «Обрились?..»

– «Как!.. В штатском...»

И тут сделавши вид, что Аблеухов замечен впервые им (Аблеухова, скажем мы от себя, заметил он тотчас), он чиркнул спичкой и с высоко приподнятыми бровями на него стал Вергефден выглядывать из-за качавшихся в руке хризантем.

– «И Николай Аполлонович тут?.. Как ваше здоровье, Николай Аполлонович?.. После вчерашнего вечера я, признаться, подумал... Вам ведь было не по себе?.. С балу вы как-то шумно исчезли?.. Со вчерашнего вечера...»

Снова чиркнула спичка; из цветов уставились два насмешливых глаза: знал прекрасно Вергефден, что Николай Аполлонович не вхож в Лихутинский дом; видя его, столь явно влекомого к двери, по соображениям светских приличий Вергефден заторопился:

– «Я не мешаю вам?.. Дело в том, что я на минуточку... Мне и некогда... Мы по горло завалены... Аполлон Аполлонович, батюшка ваш, поджидает меня... По всем признакам ожидается забастовка... Дел – по горло...»

Ему не успели ответить, потому что дверь отворилась стремительно; перекрахмаленная полотняная бабочка показалась из двери, – бабочка, сидящая на чепце.

– «Маврушка, я не вóвремя?»

– «Пожалуйте, барыня дома-с...»

– «Нет, нет, Маврушка... Лучше уж вы передайте цветы эти барыне... Это долг», – улыбнулся он Сергею Сергеичу, пожимая плечами, как пожимает плечами и улыбается мужчина мужчине после дня, проведенного совместно в светском обществе дам...

– «Да, мой долг перед Софьей Петровной – за количество сказанных *фифок* ...»

И опять улыбнулся: и – спохватился:

– «Ну так прощайте, дружище. Adieu, Николай Аполлонович: вид у вас переутомленный, нервозный...»

Дробью вниз упали шаги; и оттуда, с нижней площадки, еще раз долетало:

– «И нельзя же все с книгами...»

Николай Аполлонович чуть было вниз не крикнул:

– «Я, Герман Германович, тоже... И мне пора восвоеси... Не по дороге ли нам?»

Но шаги упали, и – бац: хлопнула дверь.

Тут Николай Аполлонович почувствовал вновь себя одиноким; и вновь – схваченным; да, – на этот раз окончательно; схваченным перед Маврушкой. На лице его написался тут ужас, на лице же Маврушки – недоумение и перепуг, в то время как какая-то откровенная сатанинская радость совершенно отчетливо написалась на лице подпоручика; обливаясь испариной, из кармана он вытащил свободной ру-

кою носовой свой платок – тиская, прижимая к стенке, таща, увлекая, подталкивая другой свободной рукою отбивающуюся фигурку студента.

В свою очередь: отбивающаяся фигурка оказалась гибкой, как угорь; в свою очередь, эта фигурка, сама собой отбиваясь, от двери отскакивала – прочь-прочь; подталкиваемая, – отталкивалась она и оттискивалась она; так, попав ногой в муравейник, мы отскакиваем инстинктивно, видя тысячи красненьких муравьев, заметавшихся суетливо на ногою продавленной куче; и от кучи исходит тогда отвратительный шелест; неужели же некогда привлекательный дом превратился для Nicolas Аблеухова – в ногою продавленный муравейник? Что могла подумать тут изумленная Маврушка?

Был-таки Николай Аполлонович втолкнут.

– «Пожалуйста, милости просим...»

Был-таки втолкнут; но в прихожей он, соблюдая последние крохи достоинства, озирая желтую знакомую под дуб вешалку и у ящика перед зеркалом озирая ту же перебитую ручку, заметил:

– «Я к вам... собственно... ненадолго...»

И свой плащ чуть было не отдал он Маврушке (фу – парового отопления жар и запах); и – розовый кимоно!.. Пропорхнул атласный кусок его из прихожей в соседнюю комнату: кусок самой Софьи Петровны; точнее – платья Софьи Петровны...

Не было времени думать.

Плащ не был отдан, потому что Сергей Сергеич Лихутин, подвернувшийся под руки Маврушке, отрывисто просипел:

– «В кухню...»

И без соблюдения элементарных приличий радушного хозяина дома Сергей Сергеевич пропихнул широкополую шляпу и разлетевшийся по воздуху плащ прямо в комнату с Фудзи-Ямами. Нечего прибавлять, что под шляпой с полями и под складками разлетевшегося плаща разлетелся в ту комнату и обладатель плаща, Николай Аполлонович.

Николай Аполлонович, влетая в столовую, на одно мгновение увидел пробегающий в дверь: кимоно; и – захлопнулась дверь за куском кимоно.

Николай Аполлонович проехался через комнату с Фудзи-Ямами, не заметивши здесь никакой существенной перемены, не заметивши следов штукатурки на полосатом, пестром ковре; под ногами она надавилась – *после случая*; ковры потом чистили; но следы штукатурки остались. Николай Аполлонович ничего не заметил: ни следов штукатурки, ни переплета осыпавшегося потолка. Поворачивая рта трусливый оскал на его влекущего палача, он внезапно заметил...

---

Там дверь приоткрылась – из Софьи Петровниной комнаты, там в дверную щель просунулась голова: Николай Аполлонович только и видел – два глаза: в ужасе глаза на него повернулись из потока черных волос.

Но едва на глаза повернулся он, как глаза от него отвер-

нулись; и раздалось восклицание:

– «Ай, ай!»

Софья Петровна увидела: меж альковым покрытый испариной подпоручик по коврам и паркетам влачился с крылатою жертвою (Николай Аполлонович в плаще казался крылатым), покрытой испариной тоже, – с жертвою, у которой из-под крыльев плаща пренеприлично болталася зеленая брюка, выдавая предательски штрипку.

– «Тррр» – волочились по ковру его каблуки; и ковер покрылся морщинками.

В это время Николай Аполлонович и повернул свою голову, и, увидевши Софью Петровну, плаксиво он ей прокричал:

– «Оставьте нас, Софья Петровна: между мужчинами полагается это», – в это время слетел с него плащ и пышно упал на кушетку фантастическим двукрылым созданием.

– «Тррр» – волочились по ковру его каблуки.

Ощувив громадную встряску, на мгновенье в пространстве Николай Аполлонович взвесился, дрыгая ногами, и... – отделилась от его головы, мягко шлепнувши, широкополая шляпа. Сам же он, дрыгая ногами и описывая дугу, грянулся в незапертую дверь плотно закрытого кабинетика; подпоручик уподобился тут праще, а Николай Аполлонович уподобился камню: камнем грянулся в дверь; дверь раскрылась: он пропал в неизвестности.

## Обыватель

Наконец Аполлон Аполлонович встал. Обеспокоенно как-то он стал озираться; оторвался от пачечек параллельно положенных дел: нотабен, параграфов, вопросительных, восклицательных знаков; замирая, дрожала и прыгала рука с карандашиком – над пожелтевшим листом, над перламутровым столиком; лобные кости натужились в одном крепком упорстве: понять, что бы ни было, какую угодно ценою.

И – понял.

Лакированная карета с гербом уже более не подлетит к старой, каменной кариатиде; там, за стеклами, навстречу не тронутся: восьмидесятилетнее плечо, треуголка, галун и медноглавая булава; из развалин не сложится Порт-Артур; но – взволнованно встанет Китай; чу – прислушайся: будто топот далекий; то – всадники Чингиз-Хана.

Аполлон Аполлонович прислушался: топот далекий; нет, не топот: там проходит Семеныч, пересекая холодные великолепия разблеставшихся комнат; вот он входит, озираясь, проходит; видит – треснуло зеркало: поперек его промерцала зигзагами серебряная стрела; и – застыла навеки.

Проходит Семеныч.

Аполлон Аполлонович не любил своей просторной квартиры с неизменною перспективой Невы: зеленоватым ро-ем там неслись облака; они сгущались порою в желтоватый

дым, припадающий к взморью; темная, водная глубина сталью своих чешуй плотно билась в граниты; в зеленоватый рой убежал неподвижный шпиц... с Петербургской Сторони. Аполлон Аполлонович обеспокоенно стал озираться: эти стены! Здесь он засядет надолго – с перспективой Невы. Вот его домашний очаг; окончилась служебная деятельность.

Что же?

Стены – снег, а не стены! Правда, немного холодные... Что ж? Семейная жизнь; то есть: Николай Аполлонович, – ужаснейший, так сказать...; и – Анна Петровна, ставшая на старости лет... просто Бог знает кем!

Ме-емме...

Аполлон Аполлонович крепко сжал свою голову в пальцах, убегая взглядом в растрещавшийся и жаром дохнувший камин: праздная мозговая игра!

Она убегала – убегала за грани сознания: там она продолжала вздыматься в рой хаотических клубов; и вспомнился Николай Аполлонович – небольшого росточку с какими-то пытливо-синими взорами и с клубком (должно отдать справедливость) многообразнейших умственных интересов, перепутанных донельзя.

И – вспомнилась девушка (это было, тому назад, – тридцать лет); рой поклонников; среди них еще сравнительно молодой человек, Аполлон Аполлонович Аблеухов, уже статский советник и – безнадежный вздыхатель.

И – первая ночь: ужас в глазах оставшейся с ним подру-

ги – выражение отвращения, презрения, прикрытое покорной улыбкой; в эту ночь Аполлон Аполлонович Аблеухов, уже статский советник, совершил гнусный, формой оправданный акт: изнасиловал девушку; насильничество продолжалось года; а в одну из ночей зачат был Николай Аполлонович – между двух разнообразных улыбок: между улыбками похоти и покорности; удивительно ли, что Николай Аполлонович стал впоследствии сочетанием из отвращения, перепуга и похоти? Надо было бы тотчас же им приняться за совместное воспитание ужаса, порожденного ими: очеловечивать ужас. Они же его раздували... И раздувши до крайности ужас, поразбежались от ужаса; Аполлон Аполлонович – управлять российскими судьбами; Анна ж Петровна – удовлетворять половое влечение с Манталани (итальянским артистом); Николай Аполлонович – в философию; и оттуда – в собрания абитуриентов несуществующих заведений (ко всем этим усикам!). Их домашний очаг превратился теперь в запустение мерзости.

В эту-то опустевшую мерзость он теперь возвратится; вместо Анны Петровны он встретится с запертою лишь дверью, ведущей в ее апартаменты (если Анна Петровна не возымеет желания возвратиться – в опустевшую мерзость); от апартаментов ключ находится у него (в эту часть холодного дома заходил он – два раза: посидеть; оба раза схватил он там насморк).

Вместо ж сына увидит он моргающий, ускользающий глаз

– огромный, пустой и холодный: василькового цвета; не то – воровской; а не то – перепуганный донельзя; ужас будет там прятаться – тот самый ужас, который у новобрачной вспыхивал в ночь, когда Аполлон Аполлонович Аблеухов, статский советник, впервые...

И так далее, и так далее...

По оставлению им государственной службы эти парадные комнаты, вероятно, позакроются тоже; стало быть, останется коридор с прилегающими – комнатами для него и комнатами для сына; самая его жизнь ограничится коридором: будет шлепать там туфлями; и – будут: газетное чтение, отправление органических функций, ни с чем не сравнимое место, предсмертные мемуары и дверь, ведущая в комнаты сына.

Да, да, да!

Подглядывать в замочную скважину; и – отскакивать, услышавши подозрительный шорох; или – нет: в соответственном месте провертеть шилом дырочку; и – ожидание не обманет: жизнь застенная сына перед ним откроется с точно такую же точностью, с какой открывается взору часовой разобранный механизм. Вместо государственных интересов его встретят новые интересы – с этого обсервационного пункта.

Это все – будет:

– «Доброе утро, папаша!»

– «Доброго, Коленька, утра!»

И – разойдутся по комнатам.

И – тогда, и – тогда: дверь замкнувши на ключ, он приложится к проверченной дырочке, чтобы видеть и слышать и порою дрожать, прерывисто вздрогнуть – от огненной, обнаруженной тайны; тосковать, бояться, подслушивать: как они открывают душу друг другу – Николай Аполлонович и незнакомец тот, с усиками; ночью, сбросивши с себя одеяло, будет он выставлять покрытую испариной голову; и, обсуждая подслушанное, будет он задыхаться от сердечных толчков, разрывающих сердце на части, принимать лепешки и бегать... к ни с чем не сравнимому месту: по коридору отшлепывать туфлями вплоть до... нового утра.

– «Доброе утро!»

– «Так-с, Коленька...»

Вот – жизнь обывателя!

.....

Неодолимое стремление повлекло его в комнату сына; робко скрипнула дверь: открылась приемная комната; остановился он на пороге; весь – маленький, старенький; тербил дрожащей рукою малиновые кисти халата, обозревая нескладицу: и клетку с зелеными попугаями, и арабскую табуретку с инкрустациями из слоновой кости и меди; и видел – нелепицу: во все стороны поразвились с табуретки кипящие красные складки пышно павшего домино, будто бьющиеся огни и льющиеся олени рога – прямо под голову пятнистому леопарду, распластанному на полу, с оскаленной головой; Аполлон Аполлонович постоял, пожевал губами, по-

чесал будто инеем обсыпанный подбородок и с омерзением сплюнул (историю этого домино он ведь знал); шутовское и безголовое, раскидалось оно атласными полами и безрукими рукавами; на суданской ржавой стреле была повешена ма-сочка.

Аполлону Аполлоновичу показалось, что – душно: вместо воздуха в атмосфере был разлит свинец; точно тут передумывались ужасные, нестерпимые мысли... Неприятная комната!.. И – тяжелая атмосфера!

Вот – страдальчески усмехнувшийся рот, вот – глаза василькового цвета, вот – светом стоящие волосы: облеченный в мундир с чрезвычайно тонкою талией и сжимая в руке белолайковую перчатку, Николай Аполлонович, чисто выбритый (может быть, надушенный), при шпаге, страдал из-за рамы: Аполлон Аполлонович внимательно посмотрел на портрет, писанный последней минувшей весной, и – прошествовал в соседнюю комнату.

Незапертый письменный стол поразил внимание Аполлона Аполлоновича: там был выдвинут ящичек; Аполлон Аполлонович возымел инстинктивное любопытство (рассмотреть его содержание); быстрыми шагами подбежал он к письменному столу и схватил – огромный на столе забытый портрет, который он завертел с глубочайшей задумчивостью (рассеянность отвлекла его мысль от содержания ящичка); портрет изображал какую-то даму – брюнетку...

Рассеянность проистекала от созерцания одной высокой

материи, потому что материя эта развернулась в мыслительный ход, по которому устремился сенатор; этот ход не имел ничего общего с комнатой сына, ни со стоянием в комнате сына, куда Аполлон Аполлонович, вероятно, проник машинально (неодолимое стремление – машинальный поступок), машинально потом опустил он глаза и увидел, что рука его вертит уже не портрет, а какой-то тяжелый предмет, в то время как мысль обзирает тот тип государственных деятелей, которые в просторечии имеют быть названы карьеристами, с представителем коих он имел несчастье объясняться недавно: при покойном министре были они солидарны с ним, а теперь они его – Аблеухова – собираются...

Что собираются?

Тяжелый предмет напоминал по форме сардинницу; он был вытасчен рукою сенатора машинально; машинально схватил Аполлон Аполлонович кабинетный портрет, а очнулся от мысли – с круглогранным предметом: и в нем что-то дзанкнуло; менее всего тут сенатор вспомнил о бездне (мы над бездною часто пьем кофе со сливками), но рассматривал круглогранный предмет с величайшим вниманием, наклонив над ним голову и слушая тикание часиков: часовой механизм – в тяжелой сардиннице...

Предмет ему не понравился...

Предмет с собой он понес для более детального рассмотрения – чрез коридор в гостиную комнату, – склонив над ним голову и напоминая серую, мышиную кучу; в это время

он думал о все том же типе государственных деятелей; люди этого типа для защиты себя от ответственности защищаются пустейшими фразами, вроде «*как известно*», когда ничего еще не известно, или: «*наука нас учит*», когда наука не учит (мысль его всегда струила какие-то яды на враждебную партию)...

Аполлон Аполлонович пробежал с предметом к тому краю гостиной, где на львиных ногах поднялся инкрустированный столик; чопорно со стола поднималась там длинноногая бронза; на китайский лаковый он подносик положил тяжелый предмет, наклоня лысую голову, над которою ламповый абажур расширялся стеклом бледно-фиолетовым и расписанным тонко.

Но стекло потемнело от времени; и тонкая роспись потемнела от времени тоже.

.....

## Недообъяснился

Николай Аполлонович, влетев в кабинетик Лихутина, грянулся каблуками со всего размаху о пол; сотрясение это передалось в затылок; задрожали поджилки; он невольно упал на колени, протрамбовывая темно-зеленым сукном неприятно скользкий паркет; и – ушибся.

Упал и... —

— тотчас привскочил, тяжело дыша и хромя,

бросился с перепугу к дубовому тяжелому креслу, представляя собой мешковатую и довольно смешную фигуру с дрожащею челюстью, с явно дрожащими пальцами и с единственным инстинктивным стремлением – поспеть: поспеть ухватиться за кресло, чтобы в случае нападения и сзади торопливо забегать вокруг кресла, перелетая туда и сюда за туда и сюда перелетающим, беспощадным противником, все движенья которого напоминали конвульсии страдающих водобоязною людей; поспеть ухватиться за кресло!..

Или же, вооружившись тем креслом, опрокинуть противника, и пока тот забьется под тяжелыми дубовыми ножками, броситься поскорее к окну (лучше грохнуться из второго этажа на улицу, разбив вдребезги стекла, чем оставаться наедине с... с...)...

Тяжело дыша и хромая, бросился он к дубовому креслу.

Но едва добежал он до кресла, как горячее дыхание подпоручика обожгло ему шею; обернувшись, он успел разглядеть перекошенный блеклый рот и пятипалую руку, готовую упасть на плечо: багровеющее от бешенства лицо, лицо мстителя, с напряженными жилами на него уставилось окаменевающим глазом; в том безобразном лице не узнал бы никто мягкого лица подпоручика, уравновешенно отпускающего за *фифкою фифку*. Пятипалая не рука, а громадная лапа, непременно упала бы Аbbleухову на плечо, изломавши плечо; но он вовремя перепрыгнул через кресло.

Пятипалая лапа упала на кресло.

И треснуло кресло; наземь грохнуло кресло; раздался над ушами – неповторяемый, никогда еще не услышанный, нечеловеческий звук:

– «Потому что тут обречена погибнуть человеческая душа!»

И угловатое тело полетело за отлетевшей фигуркою; из слюной брызнувшего ротового отверстия пачкою растрещавшихся хрипов вырывались, клокотали и рвались тонкие, петушинные ноты – безголосые и какие-то красные...

– «Потому что... я... вмешался... понимаете? Во все это дело... Дело... это... Понимаете?... Дело это такое... Дело мое сторона... То есть нет: не сторона... Да понимаете ли?..»

И обезумевший подпоручик, настигнувши жертву, приподнял над согнувшейся в три погибели фигуркою, ожидавшей затрецины, две трепетавших ладони (под согбенной спиною все тщила фигурка укрыть свою потную голову), нервно сжала в кулаки, повисая всем корпусом над ежившимся у него под руками комочком из мускулов; *комочек* же с трусливо оскаленным ртом изгибался и кланялся, повторяя все ритмы рук и защищая ладонью свою правую щеку:

– «Понимаю, понимаю... Сергей Сергеевич, успокойтесь», – выпискивало из комочка, – «да тише же, умоляю вас, тише: голубчик, да умоляю же вас...»

Этот комочек из тела (Николай Аполлонович пятился, изогнутый неестественно) – этот комочек из тела семенил на

двух подогнутых ножек; и не к окну – от окна (окно отрезывал подпоручик); в то же время в окне видел этот комочек – (как ни странно, это все же был Николай Аполлонович) – и трубу торчавшего парходика; видел он за каналом – крышу мокрую дома; над крышею была огромная и холодная пустота...

Он допятился до угла и – представьте себе: свинцовые пятипалые руки ему упали на плечи (одна рука, скользнувши по шее, обожгла его шею сорокаградусным жаром); так что он опустился – в углу на карачках, обливаясь, как лед, холодной испариной.

Уже он собирался зажмуриться, заткнуть уши, чтоб не видеть полоумного багрового лика и не слушать выкриков петушиного, безголосого голоса:

– «Ааа... Дело... где каждый порядочный человек, где... ааа... каждый порядочный человек... Что я сказал? Да – порядочный... должен вмешаться, пренебрегая приличием, общественным положением...»

Было странно слушать бессвязное чередование все же осмысленных слов при бессмыслице всех черт, всех движений; Николай Аполлонович думал:

– «Не крикнуть ли, не позвать ли?»

Нет, чего там кричать; и кого позовешь там; нет – поздно; закрыть глаза, уши; миг – и все будет кончено; бац: кулак ударился в стену над головой Аблеухова.

Тут на миг приоткрыл он глаза.

Перед собой он увидел; две ноги были так широко расставлены (он сидел на карачках ведь); головокружительная мысль – и: не обсуждая последствий, с трусливо оскаленным, будто смеющимся ртом, с белольняными, растрепавшимися волосами Николай Аполлонович стремительно прополз между двух широко расставленных ног; привскочил, – и без мысли прямо бросился к двери (прометнулся в окне оловянный край крыши), но... пятипалые, прикосновения ждущие лапы ухватили с позором его за сюртучную фалду; рванули: закракала дорогая материя.

Кусок оторванной фалды отлетел как-то вбок:

– «Постойте... Постойте... Я... я... я... вас... не убью...

Остановитесь... вам не угрожает насилие...»

И Николай Аполлонович был грубо отброшен; он спиной ударился в угол; он стоял там в углу, тяжело дыша, казалось, что его волосы – не волосы, а какие-то светлые светлости на багровом фоне прокопченных кабинетных обоев; и его темно-васильковые обычно глаза теперь казались черными от огромного, холодного перепуга, потому что он понял: бесновался над ним не Лихутин, не оскорбленный им офицер, не даже враг, удушаемый мстительным бешенством, а... буйно помешанный, обладающий колоссальной силой мускулов, теперь на него не кидался; но, вероятно, кинется.

А этот буйно помешанный, повернувшись спиной (тут бы его и прихлопнуть), подошел на цыпочках к двери; и – дверь щелкнула: по ту сторону двери раздались какие-то звуки –

не то плач, не то шарканье туфель. И – все смолкло. Отступление было отрезано: оставалось окно.

В запертой комнатухе молча они задышали: отцеубийца и полоумный.

.....

В комнате с обвалившейся штукатуркою было пусто; перед захлопнутой дверью лежала мягкая шляпа с полями, а с кушетки свисало крыло фантастического плаща; но когда в кабинетике глухо грохнуло кресло, то с противоположной стороны, из Софьи Петровниной комнаты, заскрипев, распахнулася дверь; и оттуда протопала туфлями Софья Петровна Лихутина в водопаде за спину ей упавших черных волос; сквозной шелковый шарф, напоминая текучую светлость, проволочился за нею; на крошечном Софьи Петровнином лобике обозначалась так явственно складка.

Она подкралась в замочной скважине двери; она присела у двери; она глядела и видела: только две пары переступающих ног да две... панталонные штрипки; ноги протопали в угол; ноги не обозначились нигде, но из угла, клокоча, вырывались тихие хрипы и точно булькало горло: неповторяемый, петушиный, нечеловеческий шепот. И ноги протопали снова; у самого Софьи Петровнина глаза, по ту сторону двери, раздался металлический звук защелкиваемого замка.

Софья Петровна заплакала, отскочила от двери и увидела – передник да чепчик: это Маврушка у нее за спиной закрывала лицо белоснежным чистым передником; и – Маврушка

плакала:

– «Что же это такое?.. Голубушка, барыня?..»

– «Я не знаю... Ничего я не знаю... Что же это такое?..

Что там они делают, Маврушка?»

.....

Половина третьего пополудни.

В одиноком своем кабинете над суровым дубовым столом приподымается лысая голова, легшая на жесткой ладони; и – глядит исподлобья туда, где в камине текут резвой стаей васильки угарного газа над каленою грудой растрещавшихся угольков, и где отрываются, разрываются, рвутся – красные петушинные гребни – едкие, легкие, пролетая стремительно в дымовую трубу, чтобы слиться над крышами с гарью, с отравленной копотью, и бессменно висеть удушающей, разъедающей мглой.

Приподнимается лысая голова, – мефистофельский блеклый рот старчески улыбается вспышкам; вспышками пробагровеет лицо; глаза – опламененные все же; и все ж – каменные глаза: синие – и в зеленых провалах! Из них глянула холодная, огромная пустота; к ним прильнула, глядит из них, не отрываясь от мороков; мороком перед ней расстилается этот мир.

Холодные, удивленные взоры; и – пустые, пустые: мороками поразожгли времена, солнца, светы; от времен побежала история вплоть до этого мига, когда —

– лысая голова, легшая на жесткой ладони,

приподнялась над столом и глядит исподлобья огромною, холодную пустотой, – туда, где в камне текут резвой стаей васильки угарного газа над каленою грудю растраивавшихся угольков. Круг замкнулся.

Что это было?

Аполлон Аполлонович припоминал, где он был, что случилось меж двумя мгновеньями мысли; меж двумя движеньями пальцев с завертевшимся карандашиком; остро отточенный карандашик – вот он прыгает в пальцах.

– «Так себе... Ничего...»

И отточенный карандашик стаями вопросительных знаков падает на бумагу.

.....

Бормоча Бог весть что, полоумный продолжал все кидаться; бормоча Бог весть что, продолжал топотать: продолжал шагать по диагонали душного кабинетика. Николай Аполлонович, распластавшийся на стене, в теновом там углу, продолжал наблюдать за движеньями бедного полоумного, способного все же стать диким зверем.

Всякий раз, как там резким движением выкидывались рука или локоть, он вздрагивал; и полоумный – перестал топотать, остановился, выкинулся из роковой диагонали: от Николая Аполлоновича в двух шагах закачалась снова сухая и угрожающая ладонь. Николай Аполлонович тут откинулся: ладонь коснулась угла – пробарабанила в углу на стене.

Но сошедший с ума подпоручик (жалкий более, чем же-

стокий) его более не преследовал; повернувшись спиной, он уперся локтями в колени, отчего изогнулась спина, и в плечи вошла голова; он глубоко вздохнул; он глубоко задумался.

Вырвалось:

– «Господи!»

И простонало опять:

– «Спаси и помилуй!»

Этим затишием бреда Николай Аполлонович осторожно воспользовался.

Он тихонько привстал и, стараясь оставаться беззвучным, он – выпрямился; голова подпоручика не перевернулась, как только что она перевертывалась, рискуя – ну, право же! – отвинтиться от шеи; видно, бешеный пароксизм разразился; и – теперь шел на убыль; тогда Николай Аполлонович, прихрамывая, заковылял беззвучно к столу, стараясь, чтоб не скрипнул башмак, чтоб не скрипнула половица, – заковылял, представляя собою довольно смешную фигуру в элегантном мундире... – с оторванной фалдою, в резиновых новых калошах и в неснятом с шеи кашне.

Прокрался: остановился у столика, слушая биение сердца и тихое бормотание молитв утихающего больного; и неслышным движением рука его протянулась к пресс-папье; но вот беда: на пресс-папье легла стопочка почтовой бумаги.

Только бы рукавом не зацепить за бумагу!

На беду рукавом стопочку все же он зацепил; раздал-

ся предательский шорох и бумажная стопочка рассыпалась на столе; это шуршанье бумаги пробудило в себя ушедшего подпоручика; разразившийся и теперь утихающий пароксизм разразился с новой силой; голова повернулась и увидела стоящего Николая Аполлоновича с протянутой рукой, вооруженною пресспапье; сердце упало: Николай Аполлонович от стола отскочил, пресс-папье осталось у него в кулаке – предосторожности ради.

В два скачка подлетел к нему Сергей Сергеич Лихутин, бросил руку ему на плечо и стал плечо тискать: словом – он принялся за старое:

– «Должен просить извинение... Извините: погорячился я...»

– «Успокойтесь...»

– «Очень уж необычайно все это... Только, пожалуйста, – сделайте милость: не бойтесь... Ну, чего вы дрожите?.. Кажется, я внушаю вам страх? Я... я... я... оборвал у вас фалду: это... это непроизвольно, потому что вы, Николай Аполлонович, обнаружили намерение уклониться от объяснения... Но, поймите же, от меня вам уйти невозможно, не дав объяснения...»

– «Да я же не уклоняюсь», – взмолился тут Николай Аполлонович, все сжимавший в руке пресс-папье, – «о домино я сам начал в подъезде: я сам ищу объяснения; это вы, Сергей Сергеевич, это вы сами длите: сами вы не даете возможности мне дать объяснение».

– «Мм... да, да...»

– «Верите ли, это домино объясняется переутомлением нервов; и вовсе оно не является нарушением обещания: не добровольно стоял я в подъезде, а...»

– «Так за фалду простите», – перебил его снова Лихутин, доказавши лишь, что подлинно он – неменяемый человек (все же плечо Аблеухова он пока оставил в покое)... – «Фалду вам подошьют; если хотите, я сам: у меня есть и иголки и нитки...»

– «Этого недоставало лишь», – мелькнуло в голове у Аблеухова: он с удивлением рассматривал подпоручика, убеждаясь наглядно, что все-таки пароксизм миновал.

– «Но дело не в этом: не в иголках, не в нитках...»

– «Это, Сергей Сергеевич, в сущности... Это – вздор...»

– «Да, да: вздор...»

– «Вздор по отношению к главной теме нашего объяснения: по отношению к стоянью в подъезде...»

– «Да не о стоянье в подъезде же!» – досадливо замахал рукой подпоручик, принимаясь шагать в том же все направлении: по диагонали душного кабинетика.

– «Ну, о Софье Петровне...», – выступил из угла Аблеухов, теперь заметно смелеющий.

– «Не... не... о Софье Петровне...», – прикрикнул на него подпоручик: – «вы меня совершенно не поняли!!...»

– «Так о чем же?»

– «Это все – вздор-с!.. То есть не вздор, но вздор по отно-

шению к теме нашего разговора...»

– «В чем же тема?»

– «Тема, видите ли», – остановился перед ним подпоручик и поднес свои кровью налитые глаза к расширенным от испуга глазам Аблоухова... «Суть, видите ли вся в том, что вы – заперты...»

– «Но... Почему же я заперт?», – и пресс-папье снова сжалось в его кулаке...

– «Для чего я вас запер? Для чего я вас, так сказать, полунасильственным способом затащил?.. Ха-ха-ха: это не имеет ровно никакого отношения к домино, ни к Софье Петровне...»

– «Решительно, он рехнулся: он позабыл все причины, мозг его подчиняется только болезненным ассоциациям: он-таки, меня собирается...», – промелькнуло в голове Николая Аполлоновича, но Сергей Сергеевич, будто поняв его мысль, поспешил его успокоить, что скорей могло показаться насмешкою и злым издевательством:

– «Повторяю, вы здесь в безопасности... Вот только фалда...»

– «Издевается», – подумал Николай Аполлонович и в мозгу его прометнулась в свою очередь сумасшедшая мысль: хватить пресс-папье по голове подпоручика; оглушивши, связать ему руки, и этим насилием спасти себе жизнь, нужную ему хотя бы лишь потому, что... бомба-то... в столике... тикала!!..

– «Видите ли: вы – не уйдете отсюда... А я... я отсюда пойду с продиктованным мною письмом – с вашей подписью... К вам пойду, в вашу комнату, где я утром уж был, но где ничего не заметил... Все у вас подниму там вверх дном; в случае, если поиски мои окажутся совершенно бесплодны, предупрежу вашего батюшку..., потому что» – он потер себе лоб – «не в батюшке сила; сила – в вас: да, да, да-с – в вас единственно, Николай Аполлонович!»

Жестким пальцем уткнулся он в грудь и стоял теперь с высоко взлетевшею бровью (одной только бровью).

– «Этому, послушайте, не бывать: не бывать, Николай Аполлонович, – не бывать никогда!»

И на бритом, багровом лице проиграло:

– «?»

– «!»

– «!?!»

Совершенно помешанный!

Но странное дело: к этому совершенному бреду Николай Аполлонович прислушался; и что-то в нем дрогнуло: подлинно, – бред ли это? Скорее, намеки, высказываемые бессвязно; но намеки – на что? Не намеки ли на... на... на...?

Да, да, да...

– «Сергей Сергеевич, да о чем вы все это?»

И сердце упало: Николай Аполлонович ощутил, что самая кожа его облекает не тело, а... груди булыжника; вместо мозга – булыжник; и булыжник – в желудке.

– «Как о чем?.. Да о бомбе я...» – и Сергей Сергеевич отступил на два шага, удивленный до крайности.

Пресс-папье выпало из разжатого кулака Аблеухова; за мгновение пред тем Николаю Аполлоновичу показалось, что самая кожа его облекает не тело, а – груди булыжника; а теперь ужасы перешли за черту; он почувствовал, как в пенталлионные тяжести (меж нолями и единицею) четко врезалось что-то; единица осталась.

Пенталлион же стал – ноль.

Тяжести воспламенились внезапно: набившие тело булыжники, ставши газами, во мгновение ока прыснули из отверстий всех кожных пор, снова свили спирали событий, но свили в обратном порядке; закрутили и самое тело в отлетающую спираль; так и самое ощущение тела стало – ноль ощущением; лицевые контуры прочертились, невероятно осмыслились, обнаруживая в молодом человеке лицо шестидесятилетнего старца: прочертились, осмыслились, стали резными какими-то; лицо – белое, бледно-белое – стало самосветящимся ликом, обливающим самосветящимся кипятком; наоборот: лицо подпоручика стало ярко-морковного цвета; выбритость еще более поглупела, а кургузенький пиджачок еще более закургузился...

.....

– «Я, Сергей Сергеевич, удивляюсь вам... Как могли вы поверить, чтобы я, чтобы я... мне приписывать согласие на ужасную подлость... Между тем как я – не подлец... Я, Сер-

гей Сергеевич, – кажется, еще не отпетый мошенник...»

Николай Аполлонович, видимо, не мог продолжать; и он – отвернулся; отвернувшись, повернулся опять...

.....

Из теневого угла, будто сроенная, выступала гордая, сутулоизогнутая фигура, состоящая, как подпоручику показалось, из текучих все светлостей, – со страдальчески усмехнувшимся ртом, с василькового цвета глазами; белольняные, светом стоящие волосы образовали опрозраченный, будто нимбовый круг над блистающим и высочайшим челом; он стоял с разведенными кверху ладонями, негодующий, оскорбленный, прекрасный, весь приподнятый как-то на кровавом фоне обоев: были красного цвета обои.

Он стоял – с болтающимся на шее кашне и с одной только фалдою: другую – увы – оторвали...

Так стоял он: из глазных громадных провалов на подпоручика неотрывно глядела холодная, огромная пустота, темнота; прилипала и леденила; подпоручик Лихутин отчего-то почувствовал тут, что он со всею своей физической силою, здоровьем (он думал, что здоров он) и более того, с благородством, – только мреющий морок; так что стоило Аблеухову с тем сверкающим видом приблизиться к подпоручику, как подпоручик, Сергей Сергеевич, стал явственно от него отступать.

– «Да я верю вам, верю вам», – растерянно замахал он руками.

– «Я, видите ли», – окончательно законфузился он, – «не сомневался нисколько... Мне, право, стыдно... Взволнован я... Мне жена рассказала... Ей записку эту подкинули... Она и прочла – разумеется, распечатала по ошибке», – для чего-то солгал он и покраснел, и потупился...

– «Раз записка мне была распечатана», – тут придрался злорадно сенаторский сын, – «то»... – пожал он плечами, – «то Софья Петровна, конечно, вправе была (это звучало иронией) рассказать вам, как мужу, и самое содержание», – процеживал Николай Аполлонович надменнейшим образом; и – продолжал наступать.

– «Я... я... погорячился», – защищался Лихутин: взгляд его упал на злосчастную фалду, и к фалде он прицепился.

– «Фалду это, не беспокойтесь: я сам пришью...»

Но Николай Аполлонович с чуть-чуть-чуть улыбнувшимся ртом – самосветящийся, стройный – укоризненно продолжал потряхивать ладонями в воздухе:

– «Вы не ведали, что творили».

Темно-васильковые, темно-синие его очи и светом стоящие волосы выражали смутную, неизъяснимую грусть:

– «Идите же: донесите, не верьте!...»

И отвернулся...

Плечи широкие заходили прерывисто... Николай Аполлонович безудержно плакал; вместе с тем: Николай Аполлонович, освободившись от грубого, животного страха, стал и вовсе бесстрашным; и более: в ту минуту он даже хотел по-

страдать; так по крайней мере он себя ощутил в ту минуту: ощутил себя отданным на терзание героем, страдающим все-народно, позорно; тело его в ощущениях было – телом истерзанным; чувства ж были разорваны, как разорвано самое «я»; из разрыва же «я» – ждал он – брызнет слепительный светоч и голос родимый оттуда к нему изречет, как всегда, – изречет в нем самом: для него самого:

– «Ты страдал за меня: я стою над тобою».

Но голоса не было. Светоча тоже не было. Была – тьма. Самое чувство, вероятно, оттого и возникло, что только теперь понял он: от встречи на Невском до этой последней минуты незаслуженно оскорбляли его; привезли насильно сюда, протащили – проволокли в кабинетик: насильно; и – оторвали здесь, в кабинетике, сюртучную фалду; ведь и так непрерывно страдал он – двадцать четыре часа: так за что ж должен был сверх того пережить он и страх перед оскорблением действием? Почему ж не было примиренного голоса: «Ты страдал за меня?» Потому что он ни за кого не страдал: пострадал за себя... Так сказать, расхлебывал им самим заваренную кашу из безобразных событий. Оттого и голоса не было. Светоча тоже не было. В месте прежнего «я» была тьма. Этого он не выдержал: плечи широкие заходили прерывисто.

Он отвернулся: он плакал.

– «Право же», – раздалось у него за спиной и примиренно, и кротко, – «ошибся, не понял я...»

В голосе этом все же был и оттенок досады: стыда и... до-

сады; и Сергей Сергеевич стоял, закусивши больно губу; уж не жалел ли только что усмиренный Лихутин, что ошибся он, что врага-то, пожалуй, не пришибить: ни вот этим вот кулаком, ни благородством; так точно бешеный бык, раздраженный красным платком, бросается на противника и – налетает на железные перекладины клетки: и стоит, и мычит, и не знает, что делать. На лице подпоручика изображалась борьба неприятных воспоминаний (разумеется, домино) и благороднейших чувств; противник же, подставляя все спину и плача, неприятно так приговаривал:

– «Пользуясь своим физическим превосходством, вы меня... в присутствии дамы проволокли, как... как...»

Благороднейший порыв победил; Сергей Сергеич Лихутин с протянутою рукой пересек кабинетик; но Николай Аполлонович, повернувшись (на реснице его задрожала слезинка), голосом, задуманным от его объявшего бешенства и от – увы! – самолюбия, пришедшего слишком поздно, так отрывисто произнес:

– «Как... как... тютюку...»

Протяни ему руку он, – Сергей Сергеич почел бы себя счастливейшим человеком: на лице бы его заиграло полное благодушие; но порыв благородства, точно так же, как бешенства, тут же у него закупорился в душе; пал в пустую тьму порыв благородства.

– «Вы хотели, Сергей Сергеевич, убедиться?.. Что я – не отцеубийца?.. Нет, Сергей Сергеевич, нет: надо было поду-

мать заранее... Вы же вот, как... как тютюку. И – оторвали мне фалду»...

– «Фалду можно подшить!»

И прежде чем Аблеухов опомнился, Сергей Сергеевич бросился к двери:

– «Маврушка!.. Черных ниток!.. Иголку...»

Но раскрытая дверь чуть было не ударилась в Софью Петровну, которая тут за дверью подслушивала; уличенная, она отскочила, но – поздно; уличенная и красная, как пион, была она поймана; и на них – на обоих – бросала она негодующий, уничтожающий взгляд. Между ними троими лежала сюртучная фалда.

– «А?... Сонечка...»

– «Софья Петровна!...»

– «Я вам помешала?...»

– «Поди-ка... Вот Николай Аполлонович... Знаешь ли... оторвал себе фалду... Ему бы...»

– «Нет, не беспокойтесь, Сергей Сергеич; Софья Петровна – сделайте одолжение...»

– «Ему бы пришить».

Но уже Николай Аполлонович с перекошенным от глупого положения ртом, рукавом утирая предательские ресницы и припадая на все еще хромавшую ногу, появился в комнате с Фудзи-Ямами... в трепаном сюртуке, с одною висящею фалдою; приподымая итальянский свой плащ, поднял голову и, увидевши переплет потолка, для соблюдения приличий

перекошенный рот свой обратил на Софью Петровну.

– «А скажите, Софья Петровна, у вас какая-то перемена: на потолке у вас что-то такое... Какая-то неисправность: работали маляры?»

Но Сергей Сергеевич перебил:

– «Это я, Николай Аполлонович: я... чинил потолки...»

Сам же он думал:

– «А? скажите пожалуйста: нынешней ночью – недоповесился; недообъяснился – теперь...»

Николай Аполлонович, уходя, прохромал через зал; упавая с плеча, проволочился за ним черным шлейфом фантастический плащ его.

.....

Из-за нотабен, вопросительных знаков, параграфов, черточек, из-за *уже последней* работы поднимается лысая голова; и – опять упадет. Закипела, и от себя отделяя кипящие трески и блески, расфыркалась жаром дохнувшая груда – малиновая, золотая; угольями порассыпались поленья, – и лысая голова поднялась на камин с сардонически усмехнувшимся ртом и с прищуренными глазами; вдруг губы отогнулись испуганно.

Что это?

Во все стороны поразвились красные, кипящие светочи – бьющиеся огни, льющиеся олени рога: заветвились и ото всюду вылизываются, – древовидные, золотые сквозные; выкидались из красного, каминного жерла; кидаются на сте-

ны: побежал, расширяясь, камин, превращался в каменный и темничный мешок, где застыли (вдруг стали, вдруг замерли) все текущие светлости, пламена, темно-васильковые угарные газы и гребни: в опрозраченном свете – там сроилась фигура, приподнятая под убегающий свод и сутуло протянутая, тянутся красные, пятипалые руки – пополающие прикосновением огней.

Что это?

– Вот – страдальчески усмехнувшийся рот, вот – глаза василькового цвета, вот – светом стоящие волосы: облеченный в ярость огней, с искрою пригвожденными в воздухе широко раздвинутыми руками, с опрокинутыми в воздухе ладонями – ладонями, которые проткнуты, —

– крестовидно раскинутый Николай Аполлонович там страдает из светлости светов и указывает очами на красные ладонные язвы; а из разъятого неба льет ему росы прохладный ширококрылый архангел – в раскаленную печь... —

– «Он не ведает, что творит...»

Вдруг... – головокружительный треск, шипение, фырканье: светлые светлости, всколебавшись, разорвались на части, разметая страдальческий образ водоворотами искр.

.....

Через четверть часа он велел заложить лошадей; через сорок минут прошествовал он в карету (это видели мы в предыдущей главе); через час карета стояла среди праздной

толпы; и – только ли праздной?...

Что-то случилось тут.

Полувершковое пространство, или стенка кареты, отделяло Аполлона Аполлоновича от мятежной толпы; кони храпели, а в стеклах кареты Аполлон Аполлонович видел все головы: котелки, фуражки и, главное, манджурские шапки; видел пару он на себя устремленных, негодующих глаз; видел он и разорванный рот оборванца: поющий рот (пели). Оборванец, увидевши Аблеухова, что-то грубо кричал:

– «Выходите, эй, видите: нет проезду».

К голосу оборванца присоединились голоса оборванцев.

Тогда Аполлон Аполлонович Аблеухов, во избежание неприятностей, по принуждению толпы должен был приоткрыть каретное дверце; оборванцы увидели вылезавшего старика с дрожащей губой, придерживающего перчаткою край цилиндра: Аполлон Аполлонович видел перед собой оружие рты и высокое древко: отрываясь от деревянного древка, по воздуху гребнями разрывались, трепались и рвались легкосвистящие лопасти красного кумачевого полотнища, плещущего в пустоту:

– «Эй вы, шапку долой!»

Аполлон Аполлонович снял цилиндр и поспешно стал тискаться к тротуару, бросив карету и кучера; скоро он семенил по направлению, противоположному роящейся массе; черные тут фигурки повылились из магазинов, дворов, боковых проспектов, трактиров; Аполлон Аполлонович выби-

вался из сил: и – выбился в боковые, пустые проспекты, откуда... летели... казаки...

.....

Уж казачий отряд пролетел; опорожнилось место; виднелись спины мчащихся к полотнищу казаков; и виднелась спина быстро бегущего старичка в высочайшем цилиндре.

## **Пасиансик**

На столе кипел самовар; с этажерки отбрасывал металлический глянec совершенно новенький, совершенно чистенький самоварчик; самовар же, который кипел на столе, был невычищен, грязен; совершенно новенький самоварчик ставился при гостях; без гостей на стол подавалось просто кривое уродище: громко оно хрипело, сопело; и порою стреляло из дырочек красной искрой. Накатала катышки белого хлеба невоспитанная чья-то рука; и они порасплющились на скомканной скатерти в пятнах; под недопитым стаканом прокисшего чая (прокисшего от лимона) неопрятно сырело пятно; и стояла тарелка с объедками холодной котлеты и с картофельным холодным пюре.

Ну и где же были роскошные волосы? Вместо них выдавалась косица.

Вероятно, Зоя Захаровна Флейш носила парик (при гостях разумеется); и – кстати заметить: вероятно, она беззастенчиво красилась, потому что мы ее видели роскошново-

лосой брюнеткой, с эмалированной, слишком гладкою кожей; а теперь перед нами была просто старая женщина с потным носом и с крысиной косичкой; на ней была кофточка: и, опять-таки, грязная (вероятно, ночная).

Липпанченко сидел, полуотвернувшись от чайного столика, подставляя и Зое Захаровне, и грязному самовару квадратную, сутуловатую спину. Перед Липпанченко лежал полуразложенный пасьянс, заставляющий предполагать, что Липпанченко после ужина принялся за обычное препровождение вечера, благотворно влияющее на нервы, но – был потревожен: неохотно он оторвался от карт; призошел продолжительный разговор, во время которого были, конечно, забыты: стакан чаю, пасьянс и все прочее.

После же этого разговора Липпанченко и повернулся спиной: спиной к разговору.

Он сидел без крахмального воротничка, без пиджака, с расстегнутым поясом, очевидно, давившим живот, отчего меж жилетом и съезжающими штанами (темно-желтого цвета – все теми же) предательски выдался язычок неудобной крахмальной сорочки.

Мы застали Липпанченко в то мгновение, когда он задумчиво созерцал, как черное от часов ползло с шелестением пятно таракана; они водились на дачке: огромные, черные; и водились в обилии, – в таком несносном обилии, что, несмотря на свет лампы, – и в углу шелестело, и из щели буфета по временам вытарчивал усик.

От созерцания ползущего таракана был оторван Липпанченко плаксивыми причитаньями своей спутницы жизни.

Чайный поднос от себя отодвинула Зоя Захаровна с шумом, так что Липпанченко вздрогнул.

– «Ну?.. И что же такое?.. И отчего же такое?»

– «Что такое?»

– «Неужели верная женщина, сорокалетняя женщина, вам отдавшая жизнь, – женщина, такая, как я...»

И локтями упала на стол: один локоть был прорван, а в прорыве виднелась старая, поблекшая кожа и на ней расчесанный, вероятно, блошинный укус.

– «Что такое вы там лепечете, матушка: говорите яснее...»

– «Неужели женщина, такая, как я, не имеет права спросить?.. Старая женщина» – и ладонями позакрывала лицо она: выдавался лишь нос да два черных топорщились глаза.

Липпанченко повернулся на кресле.

Видимо, слова ее позадели его; на мгновение выступило на лице подобие гнетущего угрызения; он не то с вялой робостью, а не то просто с детским капризом поморгал двумя глазками; видимо, он хотел что-то высказать; и видимо, – высказать он боялся; что-то такое он теперь медленно сообщал, – уж не то ли, как в душе его спутницы отозвалось бы страшное признание это; голова Липпанченко опустилась; он сопел и глядел исподлобья. Но позыв к правдивости оборвался; и самая правдивость упала в глухое душевное дно.

Он принялся за пасианс:

– «Гм: да, да... На шестерку пятерку... Где дама?.. Тут дама... И – заложен валет...»

Вдруг он бросил на Зою Захаровну испытующий, подозревающий взгляд, и его короткие пальцы с золотистой шерстью перенесли стопочку карт: от стопочки карт – к другой стопочке карт.

– «Ну, – выдался пасиансик...» – продолжал он сердито раскладывать ряды карт.

Начисто протертую чашку Зоя Захаровна бережно понесла к этажерке, припадая на туфли.

– «Ну?.. И отчего же сердиться?»

Теперь, припадая на туфли, она заходила по комнате; раздавалось пришлепыванье (тараканий ус спрятался в буфетную щель).

– «Да я, матушка, не сержусь», – и опять испытующий взгляд бросил он на нее: сложив руки на животе и выпячивая корсетом нестянутый и почтенный живот, на ходу она трепетала отвисающим подбородком; и тихонько к нему подошла, и тихонько тронула за плечо:

– «Вы спросили бы лучше, почему я вас спрашиваю?.. Потому что все спрашивают... Пожимают плечами... Так уж думаю я», – навалилась на кресло она и животом, и грудями, – «лучше мне все узнать»...

Но Липпанченко, закусивши губу, с беспокойною деловитостью ряд за рядом раскладывал карты.

Он-то, Липпанченко, помнил, что завтрашний день для него необычаен по важности; если завтра не сумеет он оправдать ее перед ними, не сумеет стряхнуть угрожающей тяжести на него обрушенных документов, то ему – шах и мат. И он, помня все это, только посапывал носом:

– «Гм: да-да... Тут свободное место... Делать нечего: короля в свободное место...»

И – не выдержал он:

– «Говорите, что спрашивают?..»

– «А вы думали – нет?»

– «И приходят в отсутствие?..»

– «Приходят, приходят: и пожимают плечами...»

Липпанченко бросил карты:

– «Ничего не выйдет: позаложены двойки...»

Видно было, что он волновался.

В это время из спальни Липпанченко что-то жалобно прозвенело, как будто бы там открывали окошко. Оба они повернули головы к спальне Липпанченко; осторожно оба молчали: кто бы мог это быть?

Верно Том, сенбернар.

– «Да поймите, странная женщина, что ваши вопросы» – тут Липпанченко, охая, встал, – для того ли, чтобы удостовериться о причине странного звука, для того ли, чтобы увильнуть от ответа.

– «Нарушают партийную...» – отхлебнул он глоток совершенно кислого чаю – «дисциплину...»

Потягиваясь, он прошел в открытую дверь, – в глубину, в темноту...

– «Да какая же, Коленька, со мной-то партийная дисциплина», – возразила Зоя Захаровна, подперев ладонью лицо, и опустила вниз голову, продолжая стоять над пустым теперь креслом... – «Вы подумайте только...»

Но она замолчала, потому что кресло пустело; Липпанченко оттопатывал по направлению к спальне; и рассеянно перебегала по картам – она.

Шаги Липпанченко приближались.

– «Между нами тайн не было...» – Это она сказала себе.

Тотчас же она повернула голову к двери – к темноте, к глубине – и взволнованно заговорила она навстречу топотавшему шагу:

– «Вы же сами не предупредили меня, что и разговаривать-то нам с вами, в сущности, не о чем (Липпанченко появился в дверях), что у вас теперь тайны, а вот меня...»

– «Нет, так это: в спальне нет никого» – перебил он ее...

– «Меня досаждают: ну и – взгляды, намеки, расспросы...»

Были даже...»

Рот его скучающе разорвался в зевоте; и расстегивая свой жилет, недовольно пробормотал себе в нос:

– «Ну и к чему эти сцены?»

– «Были даже угрозы по вашему адресу...»

Пауза.

– «Ну и понятно, что спрашиваю... Чего раскрича-

лись-то? Что такое я сделала, Коленька?.. Разве я не люблю?.. Разве я не боюсь?»

Тут она обвилась вокруг толстой шеи руками. И – хныкала:

– «Я – старая женщина, верная женщина...»

И он видел у себя на лице ее нос; нос – ястребиный; верней – ястребинообразный; ястребиный, если бы – не мясистость: нос – пористый; эти поры лоснились потом; два компактных пространства в виде сложенных щек исчертились нечеткими складками кожи (когда не было уж ни крема, ни пудры) – кожи, не то, чтобы дряблой, а – неприятной, несвежей; две морщины от носа явственно прорезались под губы, вниз губы эти оттягивали; и уставились в глазки глаза; можно сказать, что глаза вылуплялись и назойливо лезли – двумя черными, двумя жадными пуговицами; и глаза не светились.

Они – только лезли.

– «Ну, оставьте... Оставьте... Довольно же... Зоя Захаровна... Отпустите... Я же страдаю одышкой: задушите...»

Тут он пальцами охватил ее руки и снял с своей шеи; и опустился на кресло; и тяжело задышал:

– «Вы же знаете, какой я сентиментальный и слабонервный... Вот опять я...»

Они замолчали.

И в глубоком, в тяжелом безмолвии, наступающем после долгого, безотрадного разговора, когда все уже сказано, все опасения перед словами изжиты и остается лишь тупая по-

корность, – в глубоком безмолвии она перемывала стакан, блюдце и две чайные ложки.

Он же сидел, полуотвернувшись от чайного столика, подставляя Зое Захаровне и грязному самовару свою квадратную спину.

– «Говорите, – угрозы?»

Она так и вздрогнула.

Так и просунулась вся: из-за самовара; губы вновь оттянулись: обеспокоенные глаза чуть не выскочили из орбит; обеспокоенно побежали по скатерти, вскарабкались на толстую грудь и вломились в моргавшие глазки; и – что сделало время?

Нет, что оно сделало?

Светло-карие эти глазки, эти глазки, блестящие юмором и лукавой веселостью только в двадцать пять лет потускнели, вдавились и подернулись угрожающей пеленой; позатынулись дымами всех поганейших атмосфер: темно-желтых, желто-шафранных; правда, двадцать пять лет – срок немалый, но все-таки – поблекнуть, так съежиться! А под глазками двадцатипятилетие это оттянуло жировые, тупые мешки; двадцать пять лет – срок немалый; но... – к чему этот выдавленный кадык из-под круглого подбородка? Розовый цвет лица ожелтился, промаслился, сваял – заужасал серой бледностью трупа; лоб – зарос; и – выросли уши; ведь бывают же просто приличные старики? А ведь он – не старик...

Что ты сделало, время?

Белокурый, розовый, двадцатилетний парижский студент – студент Липенский, – разбухая до бреда, превращался упорно в сорокапятилетнее, неприличное пауковое брюхо: в Липпанченко.

## Невыразимые смыслы

Куст кипел... На песчанистом побережье здесь и там морщились озерца соленой воды.

От залива летели все белогривые полосы; луна освещала их, за полосой полоса там вскипала вдали и там громыхала; и потом она падала, подлетая у самого берега клочковатою пеной; от залива летящая полоса стлалась по плоскому берегу – покорно, прозрачно; она облизывала пески: срезывала пески – их точила; будто тонкое и стеклянное лезвие, она неслась по пескам; кое-где та стеклянная полоса доплескивалась до соленого озерца; наливала в него раствор соли.

И уже бежала обратно. Новая громопенная полоса ее бросала опять.

Куст кипел...

– Вот – и здесь, вот – и там, были сотни кустов; в некотором отдалении от моря черные протянулись и суховатые руки кустов; эти безлистные руки подымались в пространство полоумными взмахами; черноватенькая фигурочка без калош и без шапки испуганно пробегала меж них; летом шли от них сладкие и тиховейные лепеты; лепеты позасохли дав-

но, так что скрежет и стон подымались от этого места; туманы восходили отсюда; и сырости восходили отсюда; коряги же все тянулись – из тумана и сырости; из тумана и сырости пред фигурочкой узловатая заломалась рука, исходящая жердями, как шерстью.

Уж фигурка склонилась к дуплу – в пелену черной сырости; тут она задумалась горько; и тут в руки она уронила непокорную голову:

– «Душа моя», – встало из сердца: – «душа моя, – ты отошла от меня... Откликнись, душа моя: бедный я...»

Встало из сердца:

– «Пред тобою паду я с разорванной жизнью... Вспомни меня: бедный я...»

Ночь, проколота искрометною точкою, совершалась светло; и подрагивала чуть заметная точка у самого горизонта морского; видно, близилась к Петербургу торговая шхуна; из прокола ночного вызревал огонек, наливаясь светом, как созревающий колос, усатый лучами.

Вот уж он превратился в широкое, багровое око, за собой выдавая темный кузов судна и над ним – лес снастей.

И над черненькой унывавшей фигуркой, навстречу летящему призраку, подлетели под месяцем деревянные, многожердистые руки; голова кустяная, узловатая голова протянулась в пространство, паутинно качая сеть черненьких веточек; и – качалась на небе; легкий месяц в той сети запутался, задрожал, ослепительней засверкал: и будто слезою облил-

ся: наполнились фосфорическим блеском воздушные промежутки из сучьев, являя неизъяснимости, и из них сложилась фигура; – там сложилось оно – там началось оно: громадное тело, горящее фосфором с купоросного цвета плащом, отлетающим в туманистый дым; повелительная рука, указуя в грядущее, протянулась по направлению к огоньку, там мигавшему из дачного садика, где упругие жерди кустов ударялись в решетку.

Фигурочка остановилась, умоляюще она протянулась к фосфорическим промежуткам из сучьев, слагающим тело:

– «Но позволь, позволь; да нельзя же так – по одному подозрению, без объяснения...»

Повелительно рука указывала на световое окошко, простреливающее черные и скрежещущие суки.

Черноватенькая фигурка тут вскрикнула и побежала в пространство; а за нею рванулось черное суковатое очертание, складываясь на песчанистом берегу в то самое странное целое, которое могло выдавить из себя чудовищные, невыразимые смыслы, не существующие нигде; черноватенькая фигурка ударилась грудью в решетку какого-то садика, перелезла через забор и теперь беззвучно скользила, цепляясь ногами о росянистые травы, – к той серенькой дачке, где она была так недавно, где теперь – все не то.

Осторожно она подкралась к террасе, приложила руку к груди; и беззвучно она, в два скачка, оказалась у двери; дверь не была занавешена; фигурочка тогда приникла к окну; там,

за окнами, ширился свет.

Там сидели... —

— На столе стоял самовар; под самоваром стояла тарелка с обедками холодной котлеты; и выглядывал женский нос с неприятным, сконфуженным, немного придавленным видом; нос выглядывал робко; и — робко он прятался: нос — ястребиный; колыхалась на стене тeneвая женская голова с короткой косицей; эта жалкая голова повисала на выгнутой шее. Липпанченко одной рукой облокотился на стол; другая рука лежала свободно на кресельной спинке; грубая, — отогнулась и разогнулась ладонь; поражала ее ширина; поражала короткость пяти будто бы обрубленных пальцев, с заусенцами и с коричневой краскою на ногтях...

— Фигурочка в два скачка отлетела от двери; и — очутилась в кустах; ее охватил порыв неопиcуемой жалости; кинулась безлобая, головаcтая шишка — из дупла, под двумя суками к фигурочке; застонали ветра в гниловатом раcтpубе куста.

И фигурочка ожесточенно зашептала под куст:

— «Ведь нельзя же так просто... Ведь как же так... Ведь еще ничего не доказано...»

## **Лебединая песня**

Повернувшись всем корпусом от вздохнувшей Зои Захаровны, Липпанченко протянул свою руку — ну, представьте

же! – к тут на стенке повешенной скрипке:

– «Человек на стороне имеет всякие неприятности... Возвращается домой, отдохнуть, а тут – нате же...»

Он достал канифоль: просто с какой-то свирепостью, переходящей всякую меру, – он накинулся на кусок канифоли; с наслаждением он взял промеж пальцев кусок канифоли; с виноватой гримаскою, не подходящей нисколько к его положению в партии, ни к только что бывшему разговору, он принялся о канифоль натирать свой смычок; после он принялся за скрипку:

– «Можно сказать, – встречаются слезами...»

Скрипку прижал к животу и над ней изогнулся, упирая в колени ее широким концом; узкий конец он вдавил себе в подбородок; он одною рукою с наслаждением стал натягивать струны, а другою рукой – извлек звук:

– «Дон!»

Голова его выгнулась и склонилась набок при этом; с вопросительным выражением, не то шутовским, не то жалобным (младенческим как-никак), поглядел он на Зою Захаровну и причмокнул губами; он как будто бы спрашивал:

– «Слышите?»

Она села на стул: с вопросительным, полумилым, полужесточенным лицом поглядела она на Липпанченко и на палец Липпанченко; палец пробовал струны; а струны – теренькали.

– «Так-то лучше!»

И он улыбнулся; улыбнулась она; оба кивнули друг другу; он – с помолодевшим задором; она же – с оттенком конфузливости, выдающим и смутную гордость, и старое обожание перед ним (перед Липпанченко?), – она же воскликнула:

– «Ах, какой вы...» —

– «Трень-трень...»

– «Неисправимый ребенок!»

И при этих словах, несмотря на то, что Липпанченко выглядел совершеннейшим носорогом, и стремительным, и ловким движением кисти левой руки перевернул Липпанченко свою скрипку; в угол между огромным плечом и к плечу упавшею головою молниеносно вдвинулся ее широкий конец; узкий край оказался в забегавших пальцах:

– «А нуте-ка».

Подлетела рука со смычком; и – взвесилась в воздухе: замерла, нежнейшим движением смычка прикоснулась к струне; смычок же поехал по струнам; за смычком поехала – вся рука; за рукой поехала голова; за головой – толстый корпус: все набок поехало.

Закорючкою согнулся мизинец: он – смычка не касался.

Кресло треснуло под Липпанченко, который, казалось, натужился в одном крепком упорстве: издать нежный звук; сипловатый и все же приятный басок его неожиданно огласил эту комнату, заглушая и храп сенбернара, и шелестение таракана.

– «Не ии-скууу-шаай», – пел Липпанченко.

– «Меня беез нууу-уууу...» – подхватили нежные, тихо вздохнувшие струны.

– «жды» – пел изогнутый набок Липпанченко, который, казалось, натужился в одном крепком необоримом упорстве: издать нежный звук.

В модные годы еще они певали подолгу этот старый романс, не распеваемый ныне.

.....

– «Тссс!»

– «Послушай?»

– «Окошко?..»

– «Надо пойти: посмотреть».

.....

Дымными и разделенными клубами меланхолически пробегали там тусклости; встала луна из-за облака; и все, что стояло, как тусклость, – разъялось, распалось; и скелеты кустов прочернились в пространстве; и косматыми ключьями повалились на землю их тени; обнажился фосфорический воздух в пролетах из сучьев; все воздушные пятна сложились – вот оно, вот оно: тело, горящее фосфором; повелительно ей оно протянуло свою руку к окну; фигурочка к окну подскочила; окно не было заперто, отворяясь, оно продребезжало чуть-чуть; и отскочила фигурочка.

В окнах двинулись тени; кто-то прошел со свечой – в занавешенных окнах; осветилось и это – незапертое – окно; отдернулась занавеска; толстая постояла фигура и погляде-

ла туда – в фосфорический мир; казалось, что глядит подбородок, потому что – вытарчивал подбородок; глазки не были видны; вместо глазок темнели две орбиты; две безбровые надбровные дуги неестественно пролоснились под лунной. Занавеска задвинулась; кто-то, огромный и толстый, обратно прошел в занавешенных окнах; скоро все успокоилось. Дребезжание скрипки и голоса исходили снова из дачки.

Куст кипел. Головастая, безлобая шишка выдвинулась в луну в одном крепком упорстве: понять – что бы ни было, какую угодно ценою; понять, или– разлететься на части; из дуплистого стволика выдавался этот старый, безлобый нарост, обрастающий мохом и коростом; он протягивался под ветром; он молил пощадить – что бы ни было, какую угодно ценою. От дуплистого стволика вторично отделилась фигурка; и подкралась к окошку; отступление было отрезано; ей оставалось одно: довершить начатое. Теперь она пряталась... в спальне Липпанченки с нетерпением она поджидала Липпанченко – в спальню.

И негодяи, ведь, имеют потребность пропеть себе лебединую песню.

– «Разоо-чаа-роо... ваннооо-му... чуу-уу-жды... все обо-льщее-енья прееежних... днееей... Ууж яя... нее... вее-рюю в уу-веерее-нья...»

– «Уж яя... не вее-рюю в люю-бовь...»

Знал ли он, что поет? и – что такое играет? Почему ему грустно? Почему сжимается горло – до боли?.. От звуков?

Липпанченко этого не понимал, как не понимал он и нежных, им извлекаемых звуков... Нет, лобная кость понять не могла: лоб был маленький, в поперечных морщинах: казалось, он плачет.

Так в одну октябрьскую ночь спел Липпанченко лебединую песню.

## Перспектива

Ну – и вот!

Он попел, поиграл; положив на стол скрипку, отирал платком испариной покрытую голову; медленно колыхалось его неприличное, пауковое, сорокапятилетнее брюхо; наконец, взяв свечу, он отправился в спальню; на пороге он, еще раз, нерешительно повернулся, вздохнул и над чем-то задумался; вся фигура Липпанченко выразила одну смутную, неизъяснимую грусть.

И – Липпанченко провалился во мрак.

Когда пламя свечи неожиданно врезалось в совершенно темную комнату (шторы были опущены), то разрезался мрак; и – крошечная темнота разорвалась в желто-багровых свечениях; по периферии пламенно плясавшего центра круговым движением завертелись беззвучно тут какие-то куски темноты в виде теней всех предметов; и вдогонку за темными косяками, за тенями предметов, тенью, огромный толстяк, вырывавшийся из-под пяток Липпанченко, суетливым

движением припустился по кругу.

Между стеной, столом, стулом безобразный, беззвучный толстяк перепрокинулся, на косяках изломался и мучительно разорвался, будто он теперь испытывал все муки чистилища.

Так, извергнувши, как более уж ненужный балласт, свое тело – так, извергнувши тело, ураганами всех душевных движений подхвачена бывает душа: бегают ураганы по душевным пространствам. Наше тело – суденышко; и бежит оно по душевному океану от духовного материка – к духовному матерiku.

Так... —

Представьте себе бесконечно длинный канат; и представьте, что в поясе тело ваше перевяжут канатом; и потом – канат завертят: с бешеной, с неопишуемой быстротой; подкинутые, на расширяющихся, все растущих кругах, рисуя спирали в пространстве, полетите вы в завоздушную атмосферу головою вниз, а спиной – поступательно; и вы будете, спутник земли, от земли отлетать в мировые безмерности, одолевая многотысячные пространства – мгновенно, и этими пространствами становясь.

Вот таким ураганом будете вы мгновенно подхвачены, когда душой извергнется тело, как более уж ненужный балласт.

И еще представим себе, что каждый пункт тела испытывает сумасшедшее стремление распространиться без меры, распространиться до ужаса (например, занять в поперечни-

ке место, равное сатурновой орбите); и еще представим себе, что мы ощущаем сознательно не один только пункт, а все пункты тела, что все они поразбухли, – разрежены, раскалены – и проходят стадии расширения тел: от твердого до газообразного состояния, что планеты и солнца циркулируют совершенно свободно в промежутках телесных молекул; и еще представим себе, что центростремительное ощущение и вовсе утрачено нами; и в стремлении распространиться без меры телесно мы разорвались на части, и что целостно только наше сознание: сознание о разорванных ощущениях.

Что бы мы ощутили?

Ощутили бы мы, что летящие и горящие наши разъятые органы, будучи более не связаны целостно, отделены друг от друга миллиардами верст; но вяжет сознание наше то кричащее безобразие – в одновременной бесцельности; и пока в разреженном до пустоты позвоночнике слышим мы кипение сатурновых масс, в мозг въедаются яростно звезды созвездий; в центре ж кипящего сердца слышим мы бестолковые, больные толчки, – такого огромного сердца, что солнечные потоки огня, разлетаясь от солнца, не достигли бы поверхности сердца, если б вдвинулось солнце в этот огненный, бестолково бьющийся центр.

Если бы мы телесно себе могли представить все это, перед нами бы встала картина первых стадий жизни души, с себя сбросившей тело: ощущения были бы тем сильнее, чем насильственней перед нами распался бы наш телесный со-

став...

## Тараканы

Липпанченко остановился посередине темнеющей комнаты со свечою в руке; косяки теневые остановились с ним вместе; теневой громадный толстяк, липпанченская душа, головой висел в потолке; ни к теням всех предметов, ни к собственной тени Липпанченко не почувствовал интереса; более интересовался он шелестом – привычным и незагадочным вовсе.

Он чувствовал гадливое отвращение к таракану; и теперь – видел он – десятки этих созданий; в темные свои, шелестя, побежали они углы, накрытые светом свечи. И – злился Липпанченко:

– «Проклятые...»

И протопал к углу за полотерною щеткой, представляющей собою длиннейшую палку с щетинистой шваброй на конце:

– «Ужо мало вам было?!.»

На пол он поставил свечу; с полотерною щеткой в руке взгромоздился на стул он; тяжелое, пыхтящее тело теперь выдавалось над стулом; лопались от усилия сосуды, напряжились мускулы; и взъерошились волосы; за уползающими горстями гонялся он щетинистым краем швабры; раз, два, три! и – щелкало под шваброю: на потолке, на стене; да-

же – в углу этажерки.

– «Восемь... Десять... Одиннадцать» – шелестел угрожающий шепот; и шелка, пятна падали на пол.

Каждый вечер перед отходом ко сну он давил тараканов. Надавивши их добрую кучу, отправлялся он спать.

Наконец, ввалившись в спальню, дверь защелкнул на ключ он; и далее: поглядел под постель (с некоторого времени этот странный обычай составлял неотъемлемую принадлежность его раздевания), перед собою поставил он оплывшую свечку.

Вот он разделся.

Он теперь сидел на постели, волосатый и голый, расставивши ноги; женообразные округлые формы были явственно у него отмечены на лохматой груди.

Спал Липпанченко голый.

Наискось от свечи, меж оконной стеною и шкафиком, в теневой темной нише выступало замысловатое очертание: здесь висящих штанов; и слагалось в подобие – отсюда глядящего; неоднократно Липпанченко свои штаны перевешивал; и всегда выходило: подобие – отсюда глядящего.

Подобие это он увидел теперь.

А когда задул он свечу, то очертание дрогнуло и проступило отчетливей; руку Липпанченко протянул к занавеске окна; отдернулась занавеска: отлетающий коленкор прошуршал; комната просияла зеленоватым свечением меди; там, оттуда: из белого олова тучек диск пылающий грянул по ком-

нате: и... —

На фоне совершенно зеленой и будто бы купоросной стены — там! — стояла фигурочка, в пальтеце, с меловым застывшим лицом: будто — клоун; и белыми улыбалась губами. По направлению к двери Липпанченко протопотал босыми ногами, но животом и грудями он с размаху расплющился на двери (он забыл, что дверь запер); тут его рванули обратно; горячая струя кипятка полоснула его по голой спине от лопаток до зада; падая на постель, понял он, что ему разрезали спину: разрезается так белая безволосая кожа холодного поросенка под хреном; и едва понял он, что случилось со спиной, как почувствовал ту струю кипятка — у себя под пупком.

И оттуда что-то такое прошипело насмешливо; и подумалось где-то, что — газы, потому что живот был распорот; склонив голову над колыхавшимся животом, неосмысленно глядящим в пространство, он весь сонно осел, ощупывая текущие липкости — на животе и на простыне.

Это было последним сознательным впечатлением обыденной действительности; теперь сознание ширилось; чудовищная периферия его внутрь себя всосала планеты; и ощущала их — друг от друга разъятыми органами; солнце плавало в расширениях сердца; позвоночник калился прикосновением сатурновых масс; в животе открылся вулкан.

В это время тело сидело бессмысленно с упдающей на грудь головой и глазами уставилось в рассеченный живот свой; вдруг оно завалилось — животом в простыню; рука све-

силась над окровавленным ковриком, отливая в луне рыже-ватою шерстью; голова с висящею челюстью откинулась по направлению к двери и глядела на дверь не моргавшим зрачком; надбровные дуги безброво залоснились; на простыне проступал отпечаток пяти окровавленных пальцев; и торчала толстая пятка.

.....

Куст кипел: белогривые полосы полетели с залива; они подлетали у берега клочковатою пеной; они облизывали пески; будто тонкие и стеклянные лезвия, они неслись по пескам; доплескивались до соленого озерца, наливали в него раствор соли; и бежали обратно. Меж ветвями куста было видно, как раскачивалось парусное судно, – бирюзоватое, призрачное; тонким слоем срезало пространства острокрылатыми парусами; на поверхности паруса уплотнялся туманный дымок.

.....

Когда утром вошли, то Липпанченки уже не было, а была – лужа крови; был – труп; и была тут фигурка мужчины – с усмехнувшимся белым лицом, вне себя; у нее были усики; они вздернулись кверху; очень странно: мужчина на мертвца сел верхом; он сжимал в руке ножницы; руку эту простер он; по его лицу – через нос, по губам – уползало пятно таракана.

Видимо, он рехнулся.

*Конец седьмой главы*

# Глава восьмая, и последняя

*Минувшее проходит предо мною...  
Давно ль оно неслось, событий полно,  
Волнуясь, как море-окиян?  
Теперь оно безмолвно и спокойно:  
Не много лиц мне память сохранила,  
Не много слов доходит до меня...*

*А. Пушкин*

## Но сперва...

Анна Петровна!

О ней позабыли мы: а Анна Петровна вернулась; и теперь ожидала она... но сперва: —

— эти двадцать четыре часа! —

— эти двадцать четыре часа в повествовании нашем расширились и раскидались в душевных пространствах: безобразнейшим сном; и закрыли кругом кругозор; и в душевных пространствах запутался авторский взор; он закрылся.

С ним скрылась и Анна Петровна. Как суровые, свинцовые облака, мозговые, свинцовые игры тащились в замкну-

том кругозоре, по кругу, очерченному нами, – безвыходно, безысходно, дотошно —

– в эти двадцать четыре часа!..

А по этим сурово плывущим и бесцелебным событиям весть об Анне Петровне пропорхнула отблесками мягкого какого-то света – откуда-то. Мы тогда призадумались грустно – на один только миг; и – забыли; а должно бы помнить... что Анна Петровна – вернулась.

Эти двадцать четыре часа!

То есть сутки: понятие – относительное, понятие, – состоящее из многообразия мигов, где миг —

– минимальный отрезок ли времени, или – что-либо там, ну, иное, душевное, определяемое полнотою душевных событий, – не цифрой; если ж цифрой, он – точен, он – две десятых секунды; и – в этом случае неизменен; определяемый полнотою душевных событий он – час, либо – ноль: переживание разрастается в миге, или – отсутствует в миге —

– где миг в повествовании нашем походил на полную чашу событий.

Но прибытие Анны Петровны есть факт; и – огромный; правда, нет в нем ужасного содержания, как в других отмеченных фактах; потому-то мы, автор, об Анне Петровне забыли; и, как водится, вслед за нами об Анне Петровне забыли и герои романа.

И все-таки... —

Анна Петровна вернулась; событий, описанных нами, не видала она; о событиях этих – не подозревала, не знала; одно происшествие только волновало ее: ее возвращенье; и должно бы оно взволновать мной описанных лиц; лица эти должны бы ведь тотчас же отозваться на происшествие это; осыпать ее записками, письмами, выражением радости или гнева; но записок, посыльных к ней не было: на огромное происшествие не обратили внимание – ни Николай Аполлонович, ни Аполлон Аполлонович.

И – Анна Петровна грустила.

.....

Наружу не выходила она; великолепного тона гостиница заключила ее в своем маленьком номерочке; и Анна Петровна часами сидела на единственном стуле; и Анна Петровна часами сидела, уставившись в крапы обой; эти крапы лезли в глаза; глаза она переводила к окну; а окно выходило в нахально глядящую стену каких-то оливковых оттенков; вместо неба был желтый дым; лишь в окошке там, наискось, виделись груды грязных тарелок, лохань, рукава засученных рук через отблески стекол...

Ни – письма, ни – визита: от мужа, от сына.

Иногда звонила она; какая-то появлялась вертунья в бачкообразном чепце.

И Анна Петровна – в который раз! – изволила спрашивать: – «В комнату, пожалуйста, *thé complet*».

Появлялся лакей в черном фраке, в крахмале, в блистаю-

щем свежестью галстухе – с преогромным подносом, поставленным четко: на ладонь и плечо; он презрительно окидывал номерок, неумело подшитое платье его обитательницы, пестрые испанские тряпки, лежащие на двуспальной постели, и потрепанный чемоданчик; непочтительно, но бесшумно, он срывал с своих плеч преогромный поднос; и без всякого шума на стол упал *«thé complet»*. И без всякого шума лакей удалялся.

Никого, ничего: те же крапы обоев; те же хохот, возня из соседнего номера, разговор двух горничных в коридоре; рояль – откуда-то снизу (в номере заезжей пьянистки, собиравшейся дать свой концерт); и глаза – в который раз – переводила к окну, а окно выходило в нахально глядящую стену каких-то оливковых оттенков; вместо неба был дым, лишь в окошке там, наискось, виделись через отблески стекол —

– (вдруг раздался стук в дверь; вдруг Анна Петровна растерянно расплескала свой чай на чистейшие салфетки подноса) —

– лишь в окошке там, наискось, виделись груды грязных салфеток, лохань, рукава засученных рук.

Влетевшая горничная подала ей визитную карточку; Анна Петровна вся вспыхнула; шумно приподнялась из-за столика; первым жестом ее был тот жест, усвоенный смолоду: быстрое движение руки, оправляющей волосы.

– «Где они?»

– «Ждут-с в коридоре».

Вспыхнувши, проведя рукой от волос к подбородку (жест, усвоенный лишь недавно и обусловленный, вероятно, одышкой), Анна Петровна сказала:

– «Просите».

Задышала и покраснела.

Слышались – хохот, возня из соседнего номера, разговор двух горничных в коридоре и рояль откуда-то снизу; слышались быстро-быстро бегущие к двери шаги; дверь отворилась; Аполлон Аполлонович Аблеухов, не переступая порога, тщетно силился что-либо разобрать в полусумерках номерочка; и первое, что увидел он, оказалось стеною оливковых оттенков, глядящею за окном; и – дым вместо неба; лишь в окошке там, наискось виделись через отблески стекол груды грязных тарелок, лохань, рукава засученных рук, перемывающих что-то.

.....

Первое, что бросилось на него, было скудною обстановкою дешевого номерочка (тени падали так, что Анна Петровна стушевдалась как-то); эдакий номерок и – в перворазрядном отеле! Что ж такого? Тут нечему удивляться; номерочки такие бывают во всех перворазрядных отелях – перворазрядных столиц: на отель их приходится по одному, много по два; но анонсы о них оповещают во всех указателях. Вы читаете, например: «Savoy Premier ordre. Chambres depuis 3 fr.» Это значит: минимальные цены за сносную комнату – не менее пятнадцати франков; но для виду где-нибудь в антресолях

неизменно пустующий угол, неприбранный, грязный, найдете вы – во всех перворазрядных отелях перворазрядных столиц; и о нем-то вот гласит указатель «*depuis trois francs*»; этот номер в загоне; остановиться нельзя в нем (вместо него попадаете вы в пятнадцатифранковый номер); в «*depuis trois francs*» же отсутствуют и воздух, и свет; и прислуга бы им погнушалась, не то что вы, барин; обстановка и что бы то ни было – отсутствуют тоже; горе вам, если вы остановитесь: презирает вас многочисленный штат горничных, официантов и отельных мальчишек.

И вы съедете в гостиницу второго разряда, где за семь-восемь франков будете вы отдыхать в чистоте, комфорте, почете.

«Premier ordre – depuis 3 francs» – Боже вас сохрани!

Вот – постель, стол и стул; в беспорядке разбросаны на постели ридикюльчик, ремни, кружевной черный веер, граненая венецианская вазочка, перевернутая – представьте же – длинным чулочком (чистейшего шелка), плед, ремни да комок лимонного цвета кричащих испанских лоскутьев; все это, по мнению Аполлона Аполлоновича, должно было быть дорожными принадлежностями и сувенирами из Гренады, Толедо, по всей вероятности дорогими когда-то и теперь потерявшими всякий вид, всякий лоск, —

– три же тысячи рублей серебром, высланные так недавно в Гренаду, не могли быть, как видно, получены

---

– так что даме ее положения в свете было неловко с собою возить эту старую рвань; и – сердце в нем сжалось.

Тут увидел он стол, блистающий парюю чистейших салфеток и блистающий «*thé complet*»: принадлежность отеля, небрежно сюда занесенная. Из теней же выступил силуэт: сердце сжалось вторично, потому что на стуле —

– и нет, не на стуле! —

– вставшую он увидел со стула – ту самую ль? – Анну Петровну, осевшую, пополневшую, и – с сильнейшею проседью; первое, что он понял, был прискорбнейший факт: за два с половиною года пребывания в Испании (и – еще где, еще?) – явственней выступил из-под ворота двойной подбородок, а из-под низа корсета явственней выступил округленный живот; только два лазурью наполненных глаза когда-то прекрасного и недавно красивого личика там блистали по-прежнему; в глубине их теперь разыгрались сложнейшие чувства: робость, гнев, сочувствие, гордость, униженность убогою обстановкою номера, затаенная горечь и... страх.

Аполлон Аполлонович этого взгляда не вынес: опустил он глаза и мял в руке шляпу. Да, года пребывания с итальянским артистом изменили ее; и куда девалась солидность, врожденное чувство достоинства, любовь к чистоте и порядку; Аполлон Аполлонович глазами забегал по комнате: в беспорядке разбросаны были – ридикюльчик, ремни кружевной

черный веер, чулочек да комок лимонно-желтых лоскутьев, вероятно, испанских.

Перед Анной Петровной... – да он ли то? Два с половиною года и его изменили; два с половиною года в последний раз перед собой она видела отчетливо выточенное из серого камня лицо, холодно на нее посмотревшее над перламутровым столиком (во время последнего объяснения); каждая черточка в нее врезалась отчетливо ледяющим морозом; а теперь, на лице – полное отсутствие черт.

(От себя же мы скажем: черты еще были недавно; и в начале повествования нашего обрисовали мы их...)

Два с половиною года тому назад Аполлон Аполлонович, правда, уже был стариком, но... в нем было что-то безлетное; и он выглядел – мужем; а теперь – где государственный человек? Где железная воля, где каменность взора, струящая одни только вихри, холодные, бесплодные, мозговые (не чувства) – где каменность взора? Нет, все отступало перед старостью; старик перевешивал все: положение в свете и волю; поражала страшная худоба; поражала сутуловатость; поражали – и дрожание нижней челюсти, и дрожание пальцев; и главное – цвет пальтеца: никогда он при ней не заказывал этого цвета одежды.

Так стояли они друг против друга: Аполлон Аполлонович, – не переступая порога; и Анна Петровна – над столиком: с дрожащею и полурасплесканною чашкою крепкого чая

в руках (чай она расплескала на скатерть).

Наконец Аполлон Аполлонович на нее поднял голову; пожевал он губами и сказал, запинаясь:

– «Анна Петровна!»

Он теперь отчетливо осмотрел ее всю (к полусумеркам привыкли глаза); видел он: все черты ее на мгновение просветились прекрасно; и потом опять на черты набежали морщиночки, одутловатости, жировые мешочки: ясную красоту детских черт они облагали-таки огрубением старости: но на миг все черты ее просветились прекрасно, а именно, – когда резким движением от себя оттолкнула она сервированный чай; и вся как-то рванулась навстречу; но все же: не тронулась с места; и лишь бросила из-за столика там губами жуящему старику:

– «Аполлон Аполлонович!»

Аполлон Аполлонович побежал ей навстречу (так же он бегал навстречу и два с половиною года, чтоб просунуть два пальца, отдернуть их и облить холодной водой); побежал к ней, как есть, через комнату – в пальтеце, со шляпой в руке; лицо ее наклонилось к лысине; голая, как колено, поверхность громадного черепа да два оттопыренных уха ей напомнили что-то, а когда холодные губы коснулись руки ее, замоченной расплесканным чаем, то сложное выражение черт у нее тут сменилось нескрываемым чувством довольства: вы представьте себе, – что-то детское вспыхнуло, проиграло и затаилось в глазах.

А когда разогнулся он, то фигурка его перед ней выдавалась даже с чрезмерной отчетливостью, обвисая брючками, пальтецом (никогда не бывшего цвета) и множеством новых морщинок, двумя, разрывавшими все лицо и новыми какими-то взорами; эти два вылезавших глаза не показались, как прежде, ей двумя прозрачными камнями; проступили в них: неизвестная сила и крепость.

Но глаза опустились. Аполлон Аполлонович, порхая глазами, искал выражений:

– «Я, знае... – подумал он и кончил: – „те ли...“

– «?»

– «Приехал засвидетельствовать вам, Анна Петровна, почтение...»

– «И поздравить с приездом...»

И Анна Петровна поймала растерянный, недоумевающий, просто мягкий какой-то, сочувственный взгляд – темного василькового цвета, точно теплого весеннего воздуха.

Из соседнего номера раздавались: хохот, возня; из-за двери – разговор тех же горничных; и рояль – откуда-то снизу; в беспорядке разбросаны были: ремни, ридикюльчик, кружевной черный веер, граненая венецианская вазочка да комок кричащих лимонных лоскутьев, оказавшихся кофточкой; уставлялись крапы обоей; уставлялось окно, выходящее в нахально глядящую стену каких-то оливковых оттенков; вместо неба был – дым, а в дыму – Петербург: улицы и проспекты; тротуары и крыши; изморось приседала на жестяной

подоконник там; низвергались холодные струечки с жестяных желобов.

– «А у нас...» —

– «Не хотите ли чаю?...»

– «Начинается забастовка...»

## **Качалась над грудой предметов...**

Дверь распахнулась.

Николай Аполлонович очутился в передней, из которой с такую поспешностью он бежал спозаранку; на стенах разблистался орнамент из старинных оружий: здесь ржавели мечи; там – склоненные алебарды: Николай Аполлонович выглядел вне себя; резким взмахом руки он сорвал с себя итальянскую шляпу с полями; шапка белольняных волос смягчала холодную эту почти суровую внешность с напечатленным упрямством (трудно было встретить волосы такого оттенка у взрослого человека; часто встречается этот оттенок у крестьянских младенцев – особенно в Белоруссии); сухо, холодно, четко выступили линии совершенно белого лица, подобного иконописному, когда на мгновенье задумался он, устремляя взор свой туда, где под ржаво-зеленым щитом блистала своим шишаком литовская шапка и проискрилась крестообразная рукоять рыцарского меча.

Вот он вспыхнул; и в мокрой, измятой накидке он, прихрамывая, взлетел по ступеням коврами устланной лестни-

цы; почему же временами он вспыхивал, рдея румянцем, чего никогда не бывало с ним? И он – кашлял; и он – задыхался; лихорадка трясла его: нельзя безнаказанно в самом деле простаивать под дождем; любопытнее всего, что с колена ноги, на которую он прихрамывал, сукно было содрано; и – трепался лоскут; был приподнят студенческий сюртучок под накидкой, горбя спину и грудь; между целою и оторванной сюртучною фалдой пляшущий хлястик выдавался наружу; право, право же: выглядел Николай Аполлонович хромоногим, горбатым, и – с хвостиком, когда полетел что есть мочи он по мягкой ступенчатой лестнице, провеявши шапкою белольняных волос – мимо стен, где клонились пистоль с шестопером.

Поскользнулся пред дверью с граненой хрустальною ручкою; а когда он бежал мимо блестящих лаками комнат, то казалось, что строилась вокруг него лишь иллюзия комнат; и потом разлеталась бесследно, воздвигая за гранью сознания свои туманные плоскости; и когда за собою захлопнул он коридорную дверь и стучал каблуками по гулкому коридору, то казалось ему, что колотятся его височные жилки: быстрая пульсация этих жилок явственно отмечала на лбу преждевременный склероз.

Он влетел сам не свой в свою пеструю комнату: и отчаянно вскрикнули в клетке и забили крылами зеленые попугайчики; этот крик перервал его бег; на мгновенье уставился он пред собой; и увидел: пестрого леопарда, брошенного к но-

гам с разинутой пастью; и – зашарил в карманах (он отыскивал ключик от письменного стола).

– «А?»

– «Черт возьми...»

– «Потерял?»

– «Оставил!?»

– «Скажите, пожалуйста».

И беспомощно заметался по комнате, разыскивая им забытый предательский ключик, перебирая совершенно неподходящие предметы убранства, схвативши трехногую золотую курильницу в виде истыканного отверстия шара с полумесяцем наверху и бормоча сам с собой: Николай Аполлонович так же, как и Аполлон Аполлонович, сам с собой разговаривал.

С испугом он кинулся в соседнюю комнату – к письменному столу: на ходу зацепил он ногою за арабскую табуретку с инкрустацией из слоновой кости; она грохнула на пол; его поразило, что стол был не заперт; выдавался предательски ящик; он был полувыдвинут; сердце упало в нем: как мог он в неосторожности позабыть запереть? Он дернул ящик... И-и-и...

Нет: да нет же!

В ящике в беспорядке лежали предметы; на столе лежал брошенный наискось портрет кабинетных размеров; а... сардинницы не было; яростно, ожесточенно, испуганно выступали над ящиком линии побагровевшего лица с синевою во-

круг громадных черных каких-то очей: черных – от расширенности зрачков; так стоял он меж креслом темно-зеленой обивки и бюстом: разумеется, Канта.

Он – к другому столу. Он – выдвинул ящик, в ящике в совершенном порядке лежали предметы: связки писем, бумаги; он все это – на стол; но... – сардинницы не было... Тут ноги его подкосились; и, как есть, в итальянской накидке, в калошах, – он упал на колени, роня горящую голову на холодные, мокрые, дождем просыревшие руки; на мгновение – так замер он: шапка льняных волос мертвенела так странно там, неподвижно, желтоватым пятном в полусумерках комнаты среди кресел темно-зеленой обивки.

Да – как вскочит! Да – к шкафу! И шкаф – распахнулся; кое-как на ковер полетели предметы; но и там – сардинницы не было; он, как вихрь, заметался по комнате, напоминая юркую обезьянку и стремительностью движений (как у его высокопревосходительного папаши), и невзрачным росточком. В самом деле: подшутила судьба; из комнаты – в комнату; от постели (здесь рылся он под подушками, одеялом, матрасом) – к камину: здесь руки он перепачкал в золе; от камина – к рядам книжных полок (и на медных колесиках заскользил легкий шелк, закрывающий корешки); здесь просовывал руки он меж томами; и многие томы с шелестением, с грохотом полетели на пол.

Но нигде сардинницы не было.

Скоро лицо его, перепачканное золою и пылью, уж без

всякого толка и смысла качалось над кучей предметов, сваленных в бестолковую грудку и перебираемых длинными, какими-то паучьими пальцами, выбегающими на дрожащих руках; руки эти ерзали по полу из стлавшейся итальянской накидки; в этой согнутой позе, весь дрожащий и потный, с налитыми шейными жилами, право-право, напомнил бы всякому он толстобрюхого паука, поедателя мух; так, когда разорвет наблюдатель тонкую паутину, то видит он зрелище: обеспокоенное громадное насекомое, продрожав на серебряной ниточке в пространстве от потолка и до полу, неуклюже забегает по полу на мохнатых ногах.

В такой-то вот позе – над грудой предметов – Николай Аполлонович был застигнут врасплох: вбежавшим Семенычем.

– «Николай Аполлонович!.. Барчук!..»

Николай Аполлонович, все еще сидя на корточках, повернулся; увидев Семеныча, он в стремительном жесте накидку накрыл грудку сваленных в кучу предметов – листики и раскрывшие зевы тома, – напоминая наседку на яйцах: шапка льняных волос мертвенела так странно там, неподвижно, – желтоватым пятном в полусумерках комнаты.

– «Что такое?..»

– «Осмелюсь я доложить...»

– «Оставьте: видите, что... я занят...»

Растянувши рот до ушей, весь напомнил он голову пестрого леопарда, там оскаленного на полу:

– «Разбираю, вот, книги».

Но Семеныч угомониться не мог:

– «Пожалуйте: там... просят вас...»

– «?»

– «Семейная радость: так что матушка-барыня, Анна Петровна, сами изволили к нам пожаловать».

Николай Аполлонович машинально привстал; с него слетела накидка; на перепачканном золою контуре иконописного лика – сквозь пепел и пыль – молнией вспыхнул румянец; Николай Аполлонович представлял собой нелепую и смешную фигурку в растопыренном двумя горбами студенческом сюртуке об одной только фалде – и с пляшущим хлястиком, когда он – закашлялся; хрипло как-то, сквозь кашель, воскликнул он:

– «Мама? Анна Петровна?»

– «С Аполлоном с Аполлоновичем они там-с; в гостиной... Только что вот изволили...»

– «Меня зовут?»

– «Аполлон Аполлонович просят-с».

– «Так, сейчас... Я сейчас... Вот только...»

.....

В этой комнате так недавно еще Николай Аполлонович вырастал в себе самому предоставленный центр – в серию из центра истекающих логических предпосылок, предопределяющих все: душу, мысль и это вот кресло; так недавно еще он являлся здесь единственным центром вселенной; но

прошло десять дней; и самосознание его позорно увязло в этой сваленной куче предметов: так свободная муха, перебегающая по краю тарелки на шести своих лапках, безысходно вдруг увязает и лапкой, и крылышком в липкой гуще медовой.

.....

– «Тсс! Семеныч, Семеныч – послушайте», – Николай Аполлонович прытко выюркнул тут из двери, нагоняя Семеныча, перепрыгнул чрез опрокинутую табуретку и вцепился в рукав старика (ну и цепкие ж пальцы!).

– «Не видали ль вы здесь – дело в том, что...» – запутался он, приседая к земле и оттягивая старика от коридорной от двери – «забыл я... Эдакого здесь предмета не видали ли вы? Здесь, в комнате... Предмета такого: игрушку...»

– «Игрушку-с...»

– «Детскую игрушку... сардинницу...»

– «Сардинницу?»

– «Да, игрушку (в виде сардинницы) – тяжелую весом, с заводом: еще тикают часики... Я ее положил тут: игрушку...»

Семеныч медленно повернулся, высвободил свой рукав от прицепившихся пальцев, на мгновение уставился в стену (на стене висел щит – негритянский: из брони когда-то павшего носорога), подумал и неуважительно так отрезал:

– «Нет!»

Даже не «нет-с»: просто – «нет»...

– «А я, таки, думал...»

Вот подите: благополучие, семейная радость; сияет сам барин, *министер*: для такого случая... А тут нате: сардинница... тяжелая весом... с заводом... игрушка: сам же – с оторванной фалдою!..

– «Так позволите доложить?»

– «Я – сейчас, я – сейчас...»

И дверь затворилась: Николай Аполлонович тут стоял, не понимая, где он, – у опрокинутой темно-коричневой табуретки, перед кальянным прибором; перед ним на стене висел щит, негритянский, толстой кожи павшего носорога и с привешенной сбоку суданскою ржавой стрелой.

Не понимая, что делает, поспешил он сменить предательский сюртучок на сюртук совсем новенький; предварительно же отмыл руки он и лицо от золы; умываясь и одеваясь, приговаривал он:

– «Как же это такое, что же это такое... Куда же я в самом деле упрятал...»

Николай Аполлонович не сознавал еще всей полноты на него напавшего ужаса, вытекающего из случайной пропажи сардинницы; хорошо еще, что пока не пришло ему в голову: в *отсутствие его в комнате побывали и, открывши сардинницу ужасного содержания, сардинницу эту предупредительно унесли от него.*

## Удивились лакеи

И такие же точно там возвышались дома, и такие же серые проходили там токи людские, и такой же стоял там зелено-желтый туман; сосредоточенно побежали там лица, тротуары шептались и шаркали – под ватагою каменных великанов-домов; им навстречу летели – проспект за проспектом; и сферическая поверхность планеты казалась охваченной, как змеиными кольцами, черновато-серыми домовыми кубами; и сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые ширилась бездны поверхностями квадратов и кубов: по квадрату на обывателя.

Но Аполлон Аполлонович не глядел на любимую свою фигуру: квадрат; не предавался бездумному созерцанию каменных параллелепипедов, кубов; покачиваясь на мягких подушках сиденья наемной кареты, он с волнением поглядывал на Анну Петровну, которую вез он сам – в лакированный дом; что такое за чаем они говорили там в номере, навсегда осталось для всех непроницаемой тайной; после этого разговора и порешили они: Анна Петровна завтра же переедет на Набережную; а сегодня вез Аполлон Аполлонович Анну Петровну – на свидание с сыном.

И Анна Петровна конфузилась.

В карете не говорили они; Анна Петровна глядела там в окна кареты: два с половиною года не видала она этих серых

проспектов: там, за окнами, виднелась домовая нумерация; и шла циркуляция; там, оттуда – в ясные дни, издалека-далека, сверкали слепительно: золотая игла, облака, луч багровый заката; там, оттуда, в туманные дни – никого, ничего.

Аполлон Аполлонович с нескрываемым удовольствием привалился к стенкам кареты, отграниченный от уличной мрази в этом замкнутом кубе; здесь он был отделен от протекающих людских толп, от тоскливо мокнущих красных обертков, продаваемых вон с того перекрестка; и порхал он глазами; иногда только Анна Петровна ловила: растерянный, недоумевающий взор, и представьте себе – просто мягкий какой-то: синий-синий, ребяческий, неосмысленный даже (не впадал ли он в детство?).

– «Слышала я, Аполлон Аполлонович: вас прочат в министры?»

Но Аполлон Аполлонович перебил:

– «Вы теперь откуда же, Анна Петровна?»

– «Да я из Гренады...»

– «Так-с, так-с, так-с...» – и, сморкаясь, – прибавил... –

«Да знаете ли, дела: служебные, знаете, неприятности...»

И – что такое? На руке своей ощутил он теплую руку: его погладили по руке... Гм-гм-гм: Аполлон Аполлонович растерялся; сконфузился, перепугался даже он как-то; даже стало ему неприятно... Гм-гм: лет пятнадцать уже не обращались с ним так... Таки прямо погладила... Этого он, признаться, не ждал от особы... гм-гм... (Аполлон Аполлонович

эти два с половиною года ведь особу эту считал за... особу... легкого... поведения...)

– «Выхожу, вот, в отставку...»

Неужели же мозговая игра, разделявшая их столько лет и зловеще сгущенная за два с половиною года, – вырвалась наконец из упорного мозга? И вне мозга уже тучами постушчалась над ними? Наконец разразилась вокруг небывалыми бурями? Но разражаясь вне мозга, она истощилась в мозгу; медленно мозг очищался; в тучах так иногда вы увидите сбoku бегущий и лазурный пролет – сквозь полосы ливня; пусть же ливень хлещет над вами; пусть с грохотом разрываются темные облака клубы багровою молнией! Лазурный пролет набегаёт; ослепительно скоро выглянет солнце; вы уже ожидаете окончания грозы; вдруг – как вспыхнет, как бацнет: в сосну ударила молния.

В окна кареты врывалось зеленоватое освещение дня, потоки людские бежали там волнообразным прибоем; и прибой тот людской – был прибоем громовой.

Здесь вот видел он разночинца; здесь глаза разночинца заблестели, узнали, тому назад – дней уж десять (да, всего десять дней: за десять дней переменялось все; изменилась Россия!)

Леты и грохоты пролетающих пролетов! Мелодичные возгласы автомобильных рулад! И – наряд полицейских!..

Там, где взвесилась только одна бледно-серая гнилость, матово намечался сперва и потом наметился вовсе: грязно-

ватый, черновато-серый Исакий... И ушел обратно в туман. И – открылся простор: глубина, зеленоватая муть, куда убежал черный мост, где туман занавесил холодные многотрубные дали и откуда бежала волна набегающих облаков.

.....

В самом деле: ведь вот – удивились лакеи! Так рассказывал после в передней дежуривший сонный Гришка-мальчишка:

– «Я сиюю это, да считаю по пальцам: ведь вот от Покрова от самого – до самого до Рождества Богородицы... Это значит выходит... От Рождества Богородицы – до Николы до Зимнего...»

– «Да рассказывай ты: Рождество Богородицы, Рождество Богородицы!»

– «А я – что? Рождество Богородицы деревенский наш праздник – престольный... Так что – будет: считаю... Тут слышь – подъехали; я – к дверям. Распахнул, значит, дверь: и – ах, батюшки! Так что барин сам, в наемной каретишке (и плохая ж каретишка!); так что с ним барыня лет почтенных в дешевеньком ватерпруфе.

– «Не ватерпруфе, пострел: нынче ватерпруфов не носят».

– «Не смущайте его: он и так обалдел».

– «Одним словом – в пальте. Барин же суетился: с извозчика – тьфу, с кареты – он соскочил, руку барыне протянул, – улыбается: кавалерственно эдак; всякую помощь оказывает».

– «Ишь ты...»

– «То же...»

– «Я думаю; не видались два года», – раздались вокруг голоса.

– «Само собой: барыня из кареты выходит; только барыня – вижу я – смущены при таком при *случае*: улыбаются там – не в своем в полном виде; себя самих для куражу: за подбородок хватаются; ну, бедно, скажу вам, одеты; на перчатках-то дыры; не заштопаны, вижу, перчатки: может, некому штопать; в Гишпании, может, не штопают...»

– «Рассказывай, ладно уж!..»

– «Я и так говорю: барин же, барин наш Аполлон Аполлонович, всякую авантажность посбросили; стоят у кареты, над лужею, под дождем; дождь – Бог ты мой! Барин ежится, будто на месте забегали, притопатывают на месте носками; а как барыня при сходе с подножки вся на руку на их навалилась – ведь барыня грузная – барин наш так весь даже присел; крохотного барин росточка; ну, куды же им, думаю, грузную такую сдержать! Силенки не хватит...»

– «Не плети белиндрясов; рассказывай».

– «Я не плету белиндрясов; я и так говорю, да и што говорить... Тут вот Митрий Семеныч расскажет: они повстречали в передней... Что рассказывать-то? Барин барыне только всего и сказали: мол, милости просим, сказали – пожалуйста, мол, Анна Петровна... Тут я их и признал».

– «Ну и что ж?»

– Постарели... Спервоначалу-то не узнал; а потом их узнал, потому еще помню: гостинцем кормила».

Так впоследствии говорили лакеи.

.....

Но действительно!

Неожиданный, непредвиденный факт: тому назад два с половиною года, как Анна Петровна уехала от супруга с итальянским артистом; и вот через два с половиною года, покинутая итальянским артистом, от гренадских прекрасных дворцов через цепь Пиренеев, чрез Альпы, чрез горы Тироля примчалась с экспрессом обратно; но всего удивительней то, что сенатору было нельзя заикнуться об Анне Петровне ни два с лишним года, ни даже тому назад – два с половиною дня (еще вчера он топорщился!); два с половиною года Аполлон Аполлонович сознанием избегал даже мысли об Анне Петровне (и все-таки думал о ней); самое звуко сочетание «Анна Петровна» разбивалось о барабанную перепонку ушей точно так, как о лоб учительский разбивается брошенная из-под парты хлопущка; только школьный учитель по кафедре разгневанно простучит кулаком; Аполлон Аполлонович же поджимал презрительно губы при звуко сочетании этом. Отчего ж при известии о ее возвращении обыкновенный поджим сухих губ разорвался в взволнованно-гневно-дрожающей челюстей (вчера ночью – при разговоре с Николенькой); отчего не спал ночь? Отчего в течение полусуток тот гнев испарялся куда-то и сменялся щемящей тоскою,

переходящей в тревогу? Почему сам не выдержал ожидания, сам поехал в гостиницу? Уговаривал – сам: сам – привез. Что такое случилось там – в гостиничном номере; свое строгое обещание забыла и Анна Петровна: обещание это дала она себе – здесь, вчера: здесь в лакированном доме (посетивши его и никого не застав).

Дала обещание: но – вернулась.

Анна Петровна и Аполлон Аполлонович были взволнованы и сконфужены объяснением друг с другом; поэтому при вступлении в лакированный дом не обменялись они обильными излияниями чувств; Анна Петровна искоса посмотрела на мужа: Аполлон Аполлонович стал сморкаться... под ржавую алебарду; испустив трубный звук, стал пофыркивать в бачки. Анна Петровна милостиво изволила отвечать на почтительные поклоны лакеев, проявляя сдержанность, которой мы только что не видели в ней; только Семеныча она обняла и как будто хотела поплакать; но, бросивши перепуганный, растерянный взгляд на Аполлона Аполлоновича, она себя пересилила: пальцы ее потянулись к ридикюльчику, но платка не достали.

Аполлон Аполлонович, стоя над ней на ступеньках, бросал на лакеев повелительно строгие взгляды; взгляды такие бросал он в минуты растерянности: а в обычные времена Аполлон Аполлонович был с лакеями до обидности отменно вежлив и чопорен (за исключением шуток). Он, пока тут стояла прислуга, выдерживал тон равнодушия: ничего не слу-

чилось – до этой поры проживала барыня за границей, для поправленья здоровья; более ничего: и барыня, вот, вернулась... Что ж такое? Ну, вот – и прекрасно!..

Впрочем, был тут лакей (все другие сменились, за исключением Семеныча да Гришки, мальчишки); этот – помнил, что помнил: помнил, какими манерами совершала барыня свой заграничный отъезд – без всякого предупрежденья прислуги: с маленьким саквояжем в руках (и это – на два с половиною года!); накануне ж отъезда – запиралась от барина; дня же два до отбытия все сидел у нее *этот самый, с усами*: черноглазый их посетитель – как его? Миндалини (звали его Манталини), который певал у них нерусские какие-то песни: «Тра-ла-ла... Тра-ла-ла...» И на чай не давал.

Этот самый лакей, что-то такое запомнив, с особенным уважением приложился к превосходительной ручке, чувствуя за собою вину, что подробности бегства – отъезда то есть – не изгладились у него в голове; не на шутку боялся ведь он, что сочтены его дни пребывания в лакированном доме – по случаю счастливого возвращения их высокопревосходительств в лакированный дом.

Вот они – в зале; перед ними паркет, точно зеркало, разблистался квадратиками: эти два с половиною года здесь редко топили; безотчетную грусть вызывали пространства этой комнатной анфилады; Аполлон Аполлонович более все сидел у себя в кабинете, запираясь на ключ; все казалось ему, что отсюда – туда прибежит к нему кто-то знакомый и груст-

ный; и теперь он подумал, что вот он – не один; не один будет он здесь расхаживать по квадратикам паркетного пола, а... с Анной Петровной.

По квадратикам паркетного пола с Николенькой Аполлон Аполлонович расхаживал редко.

Согнув кренделем руку, повел Аполлон Аполлонович через зал свою гостью: хорошо еще, что подставил он правую руку; левая – и стреляла, и ныла от сердечных, стремительных, неугомонных толчков; Анна Петровна же остановила его, подвела его к стенке, показывая на бледнотонную живопись, улыбнулась ему:

– «Ах, все те же!.. Помните, Аполлон Аполлонович, эту вот фреску?»

И – чуть-чуть покосилась, чуть-чуть покраснела; васильковые взоры его тут усталились в два лазурью наполненных глаза; и – взгляд, взгляд: что-то милое, бывшее, стародавнее, что все люди забыли, но что никого не забыло и стоит при *дверях* – что-то такое вдруг встало между взглядами их; это не было в них; и возникло – не в них; но стояло – *меж ними*: будто ветром весенним овеяло. Пусть простит мне читатель: сущность этого взгляда выражу я банальнейшим словом: *любовь*.

– «Помните?»

– «Как же-с: помню...»

– «Где?»

– «В Венеции...»

– «Прошло тридцать лет!..»

Воспоминание о туманной лагуне, об арии, рыдающей в отдалении, охватило его: тому назад тридцать лет. Воспоминания о Венеции и ее охватили, раздвоились: тому назад – тридцать лет; и тому назад два с половиною года; тут она покраснела от воспоминанья некстати, которое она прогнала; и другое нахлынуло: Коленька. За последние два часа о Коленьке позабыла она; разговор с сенатором вытеснил все иное до времени; но за два часа перед тем только о Коленьке она и думала с нежностью; с нежностью и досадой, что от Коленьки – ни привета, ни отзыва.

– «Коленька...»

Они вступили в гостиную; отовсюду бросились горки фарфоровых безделушек; разблестались листики инкрустации – перламутра и бронзы – на коробочках, полочках, выходящих из стен.

– «Коленька, Анна Петровна, ничего себе... так себе... поживает прекрасно», – и отбежал – как-то вбок.

– «А он дома?»

Аполлон Аполлонович, только что упавший в ампирное кресло, где на бледно-лазурном атласе сидений завивались веночки, нехотя приподнялся из кресла, нажимая кнопку звонка:

– «Отчего он ко мне не приехал?»

– «Он, Анна Петровна... мме-емме... был, в свою очередь, очень-очень», – запутался как-то странно сенатор, и

потом достал свой платок: с трубными какими-то звуками очень долго сморкался; фыркая в бачки, очень долго в карманы запихивал носовой свой платок:

– «Словом, был он обрадован».

Наступило молчание. Лысая голова там качалась под холодной и длинноногою бронзою; ламповый абажур не сверкал фиолетовым тоном, расписанным тонко: секрет этой краски девятнадцатый век утерять; стекло потемнело от времени; тонкая роспись потемнела от времени тоже.

На звонок появился Семеныч:

– «Николай Аполлонович дома?»

– «Точно так-с...»

– «Мм... послушайте: скажите ему, что Анна Петровна – у нас; и – просит пожаловать...»

– «Может быть, мы сами пойдем к нему», – заволновалась Анна Петровна и с несвойственной ее годам быстротой приподнялась она с кресла; но Аполлон Аполлонович, повернувшись круто к Семенычу, тут ее перебил:

– «Ме-емме... Семеныч: скажу-ка я...»

– «Слушаю-с!...»

– «Ведь жена то халдея – полагаю я – кто?»

– «Полагаю-с, – халдейка...»

– «Нет – халда!...»

.....

– «Хе-хе-хе-с...»

.....

– «Коленькой, Анна Петровна, я недоволен...»

– «Да что вы?»

– «Коленька уж давно ведет себя – не волнуйтесь – ведет себя: прямо-таки – не волнуйтесь же – странно...»

– «?»

Золотые трюмо из простенков отовсюду глотали гостиную зеленоватыми поверхностями зеркал.

– «Коленька стал как-то скрытен... Кхе-кхе», – и, закашлявшись, Аполлон Аполлонович, пробарабанил рукою по столику, что-то вспомнил – свое, нахмурился, стал рукой тереть переносицу; впрочем, быстро опомнился: и с чрезмерной веселостью почти выкрикнул он:

– «Впрочем – нет: ничего-с... Пустяки».

Меж трюмо отовсюду поблескивал перламутровый столик.

## **Было сплошное бессмыслие**

Николай Аполлонович, перемогая сильнейшую боль в подколенном суставе (он таки порасшибся), чуть прихрамывал: перебежал гулкое коридора пространство.

Свидание с матерью!..

Вихри мыслей и смыслов обуревали его; или даже не вихри мыслей и смыслов: просто вихри бессмыслия; так частицы кометы, пронизывая планету, не вызовут даже изменения в планетном составе, пролетев с потрясающей быстротой; про-

нищая сердца, не вызовут даже изменения в ритме сердечных ударов; но замедлись кометная скорость: разорвутся сердца: самая разорвется планета; и все станет газом; если бы мы хоть на миг задержали крутящийся бессмысленный вихрь в голове Аблеухова, то бессмыслие это разрядилось бы бурно вспухшими мыслями.

И – вот эти мысли.

Мысль, во-первых, об ужасе его положения; ужасное положение – создавалось теперь (вследствие пропажи сардинницы); сардинница, то есть бомба, пропала; ясное дело – пропала; и, стало быть: кто-то бомбу унес; кто же, кто? Кто-нибудь из лакеев; и – стало быть: бомба попала в полицию; и его – арестуют; но это – не главное, главное: бомбу унес – Аполлон Аполлонович сам; и унес в тот момент, когда с бомбою счеты были покончены; и он – знает: все знает.

Все – что такое? Ничего-то ведь не было; план убийства? Не было плана убийства; Николай Аполлонович этот план отрицает решительно: гнусная клевета – этот план.

Остается факт найденной бомбы.

Раз отец его призывает, раз мать его – нет, не может знать: и бомбы не уносил он из комнаты. Да и лакеи... Лакеи бы уж давно обнаружили все. А никто – ничего. Нет, про бомбу не знают. Но – где она, где она? Точно ли он засунул ее в этот стол, не подложил ли куда-нибудь под ковер, машинально, случайно?

С ним такое бывало.

Через неделю сама собой обнаружится... Впрочем, нет: о своем присутствии где-нибудь она заявит сегодня – ужаснейшим грохотом (грохотов Аبلеуховы решительно не могли выносить).

Где-нибудь, может быть, – под ковром, под подушкой, на полочке о себе заявит: загрохочет и лопнет; надо бомбу найти; а теперь вот и времени у него нет на поиски: приехала Анна Петровна.

Во-вторых: его оскорбили; в-третьих: этот паршивенький Павел Яковлевич, – он как будто бы только что где-то видел его, возвращаясь с квартирки на Мойке; Пепп же Пеппович Пепп – вот в-четвертых: Пепп – ужасное расширение тела, растяжение жил, кипятков в голове...

Ах, все спуталось: вихри мыслей крутились с нечеловеческой быстротою и шумели в ушах, так что мыслей и не было: было сплошное бессмыслие.

И вот с этим-то бессмысленным кипятком в голове Николай Аполлонович бежал по гулкому коридору, не обдернув наспех надетого сюртучка и являясь для взора грудогорбым каким-то хромцом, припадающим на правую ногу с болезненно ноющим подколенным суставом.

## Мама

Он открыл дверь в гостиную.

Первое, что увидел он, было... было... Но что тут сказать:

лицо матери он увидел из кресла и протянутых две руки: лицо постарело, а руки дрожали в кружеве золотых фонарей, только что зажженных – за окнами.

И услышал он голос:

– «Коленька: мой родной, мой любимый!»

Он не выдержал больше и устремился весь к ней:

– «Ты ли, мой мальчик...»

Нет, не выдержал больше: опустившись пред ней на колени, цепкими стан ее охватил он руками; он лицом прижался к коленям, судорожными разразился рыданиями – рыданиями неизвестно о чем: безотчетно, бесстыдно, безудержно заходили широкие плечи (вспомним же: Николай Аполлонович не испытывал ласки за эти последние три года).

– «Мама, мама...»

Она плакала тоже.

Аполлон Аполлонович там стоял, в полусумерках ниши; и потрогивал пальцем он куколку из фарфора – китайца: китаец качал головой; Аполлон Аполлонович вышел там из полусумерок ниши; и тихонько побрякивал он; мелкими придвигался шажками к той плачущей паре; и неожиданно загудел он над креслом.

– «Успокойтесь, друзья мои!»

Он, признаться, не мог ожидать этих чувств от холодного, скрытного сына, – на лице которого эти два с половиною года он видел одни лишь ужимочки; рот, разорванный до ушей, и опущенный взор; и потом, повернувшись, озабоченно по-

бежал Аполлон Аполлонович вон из комнаты – за каким-то предметом.

– «Мама... Мама...»

Страх, унижения всех этих суток, пропажа сардинницы, наконец, чувство полной ничтожности, все это, крутясь, развивалось мгновенными мыслями; утопало во влаге свидания:

– «Любимый, мой мальчик».

.....

Ледяное прикосновение пальцев к руке привело его в чувство:

– «Вот тебе, Коленька: отпей глоточек воды».

И когда он поднял с колен свой заплаканный лик, он увидел какие-то *ребенкины* взоры шестидесятивосьмилетнего старика: маленький Аполлон Аполлонович тут стоял в пиджачке со стаканом воды; его пальцы плясали; Николая Аполлоновича он скорее пытался трепать, чем трепал, – по спине, по плечу, по щекам; вдруг погладил рукой белольняные волосы. Анна Петровна смеялась; совершенно некстати рукой оправляла свой ворот; опьяненные от счастья глаза переводила она: с Николеньки – на Аполлона Аполлоновича; и обратно: с него на Николеньку.

Николай Аполлонович медленно приподнялся с колен:

– «Извините, мамаша: я так себе...»

– «Это, это – от неожиданности...»

– «Я – сейчас... Ничего... Спасибо, папа...»

И отпил воды.

– «Вот».

На перламутровый столик Аполлон Аполлонович поставил стакан; и вдруг – старчески рассмеялся чему-то, как смеются мальчишки проказам веселого *дяди*, локоточками толкая друг друга; два старинных, родимых лица!

– «Так-с...»

– «Так-с...»

– «Так-с...»

Аполлон Аполлонович там стоял у трюмо, которое увенчивал крылышком золотощекий амурчик: под амурчиком лавры и розы прободали тяжелые пламена факелов.

Но молнией прорезала память: сардинница!..

Как же так? Что же это такое? И порыв переломался в нем снова.

– «Я сейчас... Я приду...»

– «Что с тобою, мой милый?»

– «Ничего-с... Оставьте его, Анна Петровна... Я советую тебе, Коленька, побыть с собою самим... пять минут... Да, знаешь ли... И потом – приходи...»

И чуть-чуть симулируя только что с ним бывший порыв, Николай Аполлонович пошатнулся, театрально как-то опять лицо уронил в свои пальцы: шапка льняных волос промертвенела так странно там, в полусумерках комнаты.

Он, шатаясь, вышел.

Удивленно отец поглядел на счастливую мать.

.....

– «Собственно говоря, я его не узнал... Эти, эти... Эти, так сказать, чувства», – Аполлон Аполлонович перебежал от зеркала к подоконнику... – «Эти, эти... порывы», – и потрепал себе бачки.

– «Показывают», – повернулся он круто и приподнял носки, мгновение балансируя на каблучках и потом припадая всем телом на упавшие к полу носки.

– «Показывают», – заложил руки за спину (под пиджачок) и вращал за спиною рукою (отчего пиджачок завилял); и казалось – Аполлон Аполлонович бегаёт по гостиной с виляющим хвостиком:

– «Показывают в нём естественность чувства и, так сказать», – тут пожал он плечами, – «хорошие свойства натуры»...

– «Не ожидал-с я никак...»

Лежащая на столике табакерка поразила внимание именитого мужа; и желая придать её положению на столе более симметрический вид относительно стоящего здесь подносика, Аполлон Аполлонович быстро-быстро вдруг подошел к тому столику и схватил... с подносика визитную карточку, которую для чего-то он завертел между пальцев; рассеянность его проистекла оттого, что в сей миг посетила его глубокая дума, развертываясь в убегающий лабиринт посторонних каких-то открытий. Но Анна Петровна, сидевшая в кресле с блаженным растерянным видом, убежденно заме-

тила:

– «Я всегда говорила...»

– «Да-с, знаешь ли...»

Аполлон Аполлонович встал на цыпочки с приподнятым хвостиком пиджака; и – побежал от столика к зеркалу:

– «Тели...»

Аполлон Аполлонович побежал от зеркала в угол:

– «Коленька меня удивил: и признаться – это его поведение меня успокоило» – он сморщил лоб – «относительно... относительно», – вынул руку из-за спины (край пиджачка опустился), рукою пробарабанил по столику:

– «Мда!..»

Круто себя перебил:

– «Ничего-с».

И задумался: поглядел на Анну Петровну; встретился с ее взглядом; они улыбнулись друг другу.

## **И гремела рулада**

Николай Аполлонович вошел в свою комнату; уставился на упавшую арабскую табуретку: прослеживал инкрустацию из слоновой кости и перламутра. Медленно подошел он к окну: там бежала река; и качалась ладья; и плескалась струя; из гостиной, откуда-то издали, неожиданно беги рулад огласили молчание комнаты; так она играла и прежде: и под эти-то звуки, бывало, засыпал он над книгами.

Николай Аполлонович стал над грудой предметов, сообщая мучительно:

– «Где же это такое... Как же это такое... Куда же я в самом деле?»

И – не мог он припомнить.

Тени, тени и тени: зеленели кресла из теней; выдавался из теней там бюст: разумеется, Канта.

Тут заметил он на столе лист, свернутый вчетверо: посетители, не заставши хозяина дома, на столе оставляют вчетверо свернутые листы; машинально взял он бумажку; машинально увидел он почерк – знакомый, лихутинский. Да – ведь вот: он совсем позабыл, что в его отсутствие, утром, побывал здесь Лихутин: копался и шарил (сам же он об этом рассказывал при неприятном свидании)...

Да, да, да: обшаривал комнату.

Вздых облегчения вырвался из груди Николая Аполлоновича. Все объяснялось мгновенно: Лихутин! Ну – конечно, конечно; непременно здесь шарил; искал и нашел; и, нашедши, унес; увидел незапертый стол; и в стол заглянул; сардинница поразила его и весом, и видом, и часовым механизмом; сардинницу и унес подпоручик. Сомнения не было.

С облегчением опустил он в кресло; в это время снова молчание огласили беги рулад; так бывало и прежде: оттуда бежали рулады; и тому назад – девять лет; и тому назад – десять лет: игрывала Шопена (не Шумана) Анна Петровна. И ему показалось теперь, что событий и не было, раз все объ-

яснялось так просто: сардинницу унес подпоручик Лихутин (кто же более, если не допустить, но... – зачем допускать!); Александр Иванович постарается о всем прочем (в эти часы, мы напомним, как раз объяснялся на дачке Александр Иванович Дудкин с покойным Липпанченко); да, событий – и не было.

Петербург там за окнами преследовал мозговую игрой и плаксивым простором; там бросались натиски мокрого холодного ветра; протуманились гнезда огромные бриллиантов – под мостом. Никого – ничего.

И бежала река; и плескалась струя; и качалась ладья; и гремела рулада.

По ту сторону невских вод повставали громады – абрисами островов и домов; и в туманы бросали янтарные очи; и казалось, что – плачут. Ряд береговых фонарей уронил огневые слезы в Неву: закипевшими блесками прожигалась поверхность.

## **Арбуз – овощ...**

После двух с половиною лет состоялся обед их втроем.

Прокуковала стенная кукушка; лакей внес горящую супницу; Анна Петровна сияла довольством; Аполлон Аполлонович... – кстати: глядя утром на дряхлого старика, не узнали бы вы этого безлетнего мужа, вдруг окрепшего, с выправкой, севшего тут за стол и взявшего каким-то пружинным

движеньем салфетки; уже они сидели за супом, когда боковая дверь отворилась: Николай Аполлонович чуть подпудренный, выбритый, чистый, проковылял оттуда, присоединяясь к семейству в наглухо застегнутом студенческом сюртуке с воротником высочайших размеров (напоминающим воротники александровской, миновавшей эпохи).

– «Что с тобою, топ шер», – вскинула к носу пенсне с аффектацией Анна Петровна, – «ты я вижу, хромаешь?»

– «А?..» – Аполлон Аполлонович бросил на Коленьку взгляд и ухватился за перчницу. – «В самом деле...»

Юношеским каким-то движением стал себе переперчивать суп.

– «Пустяки, тапан: я споткнулся... и вот ноет колено...»

– «Не надо ли свинцовой примочки?»

– «В самом, Коленька, деле», – Аполлон Аполлонович, поднеся ложку супа ко рту, поглядел исподлобья, – «с ушибами этими, в подколенном суставе, не шутят; ушибы эти неприятно разыгрываются...»

И – проглотил ложку супа.

Николай Аполлонович, очаровательно улыбнувшись, принялся в свою очередь переперчивать суп.

– «Удивительно материнское чувство», – и Анна Петровна положила ложку в тарелку, выкатила детские свои, большие глаза, прижав голову к шее (отчего из-под ворота выбежал второй подбородок), – «удивительно: он уже взрослый, а я еще, как бывало, беспокоюсь о нем...»

Как-то естественно позабылось, что два с половиною года она беспокоилась не о Коленьке вовсе: Коленьку заслонил им чужой человек, черномазый и длинноусый, с глазами, как два чернослива; естественно, – и она позабыла, как два с лишним года этому чужому мужчине ежедневно повязывала она, там в Испании, галстух: фиолетовый, шелковый; и два с половиною года по утрам давала слабительное – *Гунияди Янос*.

– «Да, материнское чувство: помнишь, – во время твоей дезинтерии...» («*дезинтэрии*» – говорила она).

– «Как же, помню прекрасно... Вы – о ломтиках хлеба?»

– «Вот именно...»

– «Последствиями дезинтерии», – упирая на «и», пророкотал из тарелки Аполлон Аполлонович, – «мой друг ты, как кажется, страдаешь и теперь?»

И проглотил ложку супа.

– «Им-с... ягоды кушать... по сию пору вредно-с», – раздался из-за двери голос Семеныча; выглянула его голова: он оттуда подглядывал – не прислуживал он.

– «Ягоды, ягоды!» – пробасил Аполлон Аполлонович и неожиданно всем он корпусом повернулся к Семенычу: верней к скважине двери.

– «Ягоды», – и зажевал он губами.

Тут служивший лакей (не Семеныч) заранее улыбнулся с таким точно видом, будто он хотел всем поведать:

– «Будет теперь тут такое!»

Барин же вскрикнул.

– «А что, Семеныч, скажите: арбуз – ягода?»

Анна Петровна одними глазами повернулась на Коленьку: снисходительно и лукаво затаила улыбку; перевела глаза на сенатора, так и застывшего по направлению к двери и, казалось, всецело ушедшего в ожиданье ответа на свой нелепый вопрос; глазами она говорила:

– «А он все по-прежнему?»

Николай Аполлонович сконфуженно рукою хватался за ножик, за вилку, пока и бесстрастно, и четко из двери не вылетел голос, не удивленный вопросом:

– «Арбуз, ваше высокопревосходительство, не ягода вообще, а – овощ».

Аполлон Аполлонович быстро перевернулся всем корпусом, неожиданно выпалив – ай, ай, ай! – свой экспромт:

Верно вы, Семеныч,  
Старая ватрушка,—  
Рассудили это  
Лысою макушкой.

Анна Петровна и Коленька не поднимали глаз из тарелок: словом, было – как встарь!

.....

Аполлон Аполлонович после сцены в гостиной своим видом показывал им: все теперь вошло в норму; аппетитно кушал, шутил и внимательно слушал рассказы о красотах Ис-

пании; странное и грустное что-то поднималось у сердца; точно не было времени; и точно вчера это было (подумалось Коленьке): он, Николай Аполлонович, пятилетний; внимательно слушает он разговоры матери с гувернанткой (той, которую Аполлон Аполлонович выгнал); и Анна Петровна – восклицает восторженно:

– «Я и Зизи; а за нами опять – *два хвоста*; мы – на выставку; *хвосты* за нами, на выставку...»

– «Нет, какая же наглость!»

Коленьке рисуется огромное помещенье, толпа, шелест платьев и прочее (раз его на выставку взяли): в отдалении же, повисая в пространстве, огромные, черно-бурые из толпы подплывают *хвосты*. И – мальчику страшно: Николай Аполлонович в детстве не мог понять вовсе, что графиня Зизи называла *хвостами* своих светских поклонников.

Но нелепое воспоминание это о висящих в пространстве хвостах вызвало в нем заглушенное чувство тревоги; надо бы съездить к Лихутиным: удостовериться, что – действительно...

Как так – «действительно?».

В ушах у него раздавалось все тиканье часиков: тики-так, тики-так; бегала волосинка по кругу; уж конечно не бегала здесь – в этих блещущих комнатах (например, где-нибудь под ковром, где любой из них мог ногою случайно...), а – в выгребной, черной яме, на поле, в реке: стоит себе «ти-ки-так»; бегают волосинка по кругу – до рокового до часа...

Что за вздор!

Все это от ужасной сенаторской шутки, воистину грандиозной... в безвкусице; от того все пошло: воспоминание о черно-бурых хвостах, наплывающих из пространства, и – воспоминание о бомбе.

– «Что это, Коленька, ты какой-то рассеянный: и не кушаешь крема?..»

– «Ах, да-да...»

.....

После обеда похаживал он вдоль этого неосвященного зала; зал светился чуть-чуть; и луной, и кружевом фонаря; здесь похаживал он по квадратикам паркетного пола: Аполлон Аполлонович; с ним – Николай Аполлонович; переступали: из тени – в кружево фонарного света; переступали: из светлого этого кружева – в тень. С необычной доверчивой мягкостью, наклонив низко голову, Аполлон Аполлонович говорил: не то – сыну, а не то – сам себе:

– «Знаете ли – знаешь ли: трудное положение – быть государственным человеком».

Повертывались.

– «Я им всем говорил: нет, способствовать ввозу американских сноповязалок, – не такая пустяшная вещь; в этом больше гуманности, чем в пространных речах... Государственное право нас учит...»

Шли обратно по квадратикам паркетного пола; переступали; из тени – в лунный блеск косяков.

– «Все-таки, гуманитарные начала нам нужны; гуманизм – великое дело, выстраданное такими умами, как Джордано Бруно, как...»

Долго еще здесь бродили они.

Аполлон Аполлонович говорил надтреснутым голосом, сына брал иногда двумя пальцами за сюртучную пуговицу: прямо к уху тянулся губами.

– «Они, Коленька, болтуны: гуманность, гуманность!.. В сноповязалках гуманности больше: сноповязалки нам нужны!..»

Тут свободной рукой охватил он талию сына, увлекая к окну, – в уголок; бормотал и качал головой; с ним они не считались, не нужен он:

– «Знаешь ли – обошли!»

Николай Аполлонович не посмел себе верить; да, как все случилось естественно – без объяснения, без бури, без исповедей: этот шепот в углу, эта отцовская ласка.

Почему ж эти годы он... —?

– «Так-то, Коленька, мой дружок: будем с тобой откровеннее...»

– «Что такое? Не слышу...»

Мимо окон пронзительно пролетел сумасшедший свисток парходика; ярко пламенный, кормовой фонарик, как-то наискось, уносился в туман; ширились рубинные кольца. Так с доверчивой мягкостью, наклонив низко голову, Аполлон Аполлонович говорил: не то – сыну, – а не то – сам себе. Пе-

реступали: из тени – в кружево фонарного света; переступали: из светлого этого кружева – в тень.

.....

Аполлон Аполлонович – маленький, лысый и старый, – освещаемый вспышками догорающих угольев, на перламутровом столике стал раскладывать пасианс; два с половиною года не раскладывал он пасиансов; так Анне Петровне запечатлелся он в памяти; было же это, тому назад – два с половиною года: перед роковым разговором; лысенькая фигурка сидела за этим же столиком и за этим же пасиансом.

– «Десятка...»

– «Нет, голубчик, заложена... А весной – вот что: не поехать ли нам, Анна Петровна, в Пролетное» (Пролетное было родовым именем Аблеуховых: Аполлон Аполлонович не был в Пролетном лет двадцать).

Там за льдами, снегами и лесной гребенчатой линией он по глупой случайности едва не замерз, тому назад – пятьдесят лет; в этот час своего одинокого замерзания будто чьи-то холодные пальцы погладили сердце; рука ледяная манила; позади него – в неизмеримости убегали века; впереди – ледяная рука открывала: неизмеримости; неизмеримости полетели навстречу. Рука ледяная!

И – вот: она таяла.

Аполлон Аполлонович, освобождаясь от службы, впервые ведь вспомнил: уездные, сиротливые дали, дымок деревенок; и – галку; и ему захотелось увидеть: дымок деревенок; и –

галку.

– «Что ж, поедем в Пролетное: там так много цветов».

И Анна Петровна, увлекаясь опять, взволнованно говорила о красотах альгамбрных дворцов; но в порыве восторга она позабыла, признаться, что сбивается с тона, что говорит она вместо я «мы» и «мы»; то есть: «я» с Миндалини (Манталини, – так кажется).

– «Мы приехали утром в прелестной колясочке, запряженной ослами; в упряжке у нас, Колечка, были вот такие вот большие помпоны; и знаете, Аполлон Аполлонович, мы привыкли...»

Аполлон Аполлонович слушал, переключив карты; и – бросил: пасианса он не докончил; сгорбился, засутилелся в кресле он, освещаемый ярким пурпуром угольев; несколько раз он хватался за ручку ампирного кресла, собираясь вскочить; все же вовремя соображал, видно, он, что совершает бестактность, обрывая словесный этот поток на неоконченной фразе; и опять падал в кресло; позевывал.

Наконец он плаксиво заметил:

– «Я-таки: признаться – устал»...

И пересел из кресла – в качалку.

.....

Николай Аполлонович вызвался свою мать довести до гостиницы; выходя из гостиной, повернулся он на отца; из качалки – увидел он (так ему показалось) – грустный взор, на него устремленный; Аполлон Аполлонович, сидя в качалке,

чуть качалку раскачивал мановением головы и движением ноги; это было последним сознательным восприятием; собственно говоря, более отца он не видел; и в деревне, и на море, и – на горах, в городах, – в ослепительных залах значительных европейских музеев – этот взгляд ему помнился, и казалось: Аполлон Аполлонович там прощался сознательно – мановением головы и движением ноги: старое это лицо, тихие скрипы качалки; и – взгляд, взгляд!

## Часики

Свою мать Николай Аполлонович проводил до гостиницы; и после – свернул он на Мойку; в окнах квартирки был мрак: Лихутиных не было дома; делать нечего: повернул он домой.

Вот уже проковылял в свою спальню; в совершеннейшей темноте постоял: тени, тени и тени; кружево фонарного света перерезало потолок; по привычке зажег он свечу; и снял с себя часики; рассеянно на них посмотрел: три часа.

Все тут сызнова поднялось.

Понял он, – не осилены его страхи; уверенность, выносившая весь этот вечер, провалилась куда-то; и все – стало зыбким; он хотел принять брому; не было брому; он хотел почитать «Откровение»; не было «Откровения»; в это время до слуха его долетел отчетливый, беспокоящий звук: тики-так, тики-так – раздавалось негромко; неужели – сардинница?

И мысль эта крепла.

Но его не терзала она, а иное терзало: старое, бредное чувство; позабытое за день; и за ночь возникшее:

– «Пепп Пеппович... Пепп...»

Это он, разбухая в громаду, из четвертого измерения проныцал желтый дом; и несся по комнатам; прилипал безвидными поверхностями к душе; и душа становилась поверхностью: да, поверхностью огромного и быстро растущего пузыря, раздутая в сатурнову орбиту... ай-ай-ай: Николай Аполлонович отчетливо холодел; в лоб ему веяли ветры; все потом лопалось: становилось простым.

И – тикали часики.

Николай Аполлонович протягивался к донимавшему звуку: искал места звука; поскрипывая сапогами, тихо крался к столу; тиканье становилось отчетливей; а у стола – пропадало.

– «Тики-так», – раздавалось негромко из теневого угла; и крался обратно: от столика – в угол; тени, тени и тени; грубое молчание...

Николай Аполлонович запыхался, метаясь с протянутой свечкой среди пляски теней; все ловил порхающий звук (так гоняются дети с сачками за желтеньким мотыльчком).

Вот он принял верное направление; странный звук открывался; тиканье раздавалось отчетливо: миг – накроет его (на этот раз мотылек не слетит). Где, где, где?

И когда он стал искать точки распространения звука, то он

сразу нашел эту точку: у себя в животе; в самом деле: огромная тяжесть оттянула желудок.

Николай Аполлонович увидел, что стоит у ночного он столика; а на уровне живота, на поверхности столика, тикают... им же снятые часики; рассеянно на них посмотрел: четыре часа.

Он вошел в свои рамки (подпоручик Лихутин проклятую бомбу унес); пропадало бредное чувство; пропадала и тяжесть в желудке; быстро скидывал сюртучную пару; с наслаждением отстегнул и крахмалы: воротничочек, сорочку; стащил он кальсоны: на ноге, где колено, выдавался кровавый подтек; и колено распухло; уж и ноги ушли в белоснежную простыню, но – задумался, склонившись на руку; четко белые выделялись на белом черты иконописного лика.

И – свечка потухла.

Часы тикали; совершенная темнота окружила его; в темноте же тиканье запорхало опять, будто снявшийся с цветка мотылек: вот – и здесь; вот – и там; и – тикали мысли; в разнообразных местах воспаленного тела – мысли бился пульсами: в шее, в горле, в руках, в голове; в солнечном сплетении даже.

По телу забегали пульсы, нагоняя друг друга.

И отставая от тела, они были вне тела, во все стороны от него образуя бьющийся и сознательный контур; на пол-аршина; и – более; тут совершенно отчетливо понял он, что ведь мыслит не он, то есть: мыслит не мозг, а вне мозга

очерченный, бьющийся этот сознательный контур; в контуре этом все пульсы, или проекции пульсов, превращались мгновенно в себя измышлявшие мысли; в глазном яблоке, в свою очередь, происходила бурная жизнь; обыкновенные точки, видные на свету и проецированные в пространство, – теперь вспыхнули искрами; выскочили из орбит в пространство; заплясали вокруг, образуя докучные канители, образуя роящийся кокон – из светов: на пол-аршина; и – более; это – и было пульсацией: теперь она вспыхнула.

Это и были рои себя мысливших мыслей.

Паутинная ткань этих мыслей – понял он – мыслит-то вовсе не то, что хотелось бы мыслить обладателю этой ткани, то есть вовсе не то, что пытался он мыслить при помощи мозга, и что – убежало из мозга (правду сказать, – мозговые извилины только пыжились; мыслей в них не было); мыслили только пульсы, рассыпаясь бриллиантами – искорок, звездочек; на золотом этом рое пробежала какая-то светоножка, отдаваясь в нем утверждением.

– «А ведь тикает, тикает...»

Пробежала другая...

Мыслилось утверждение того положения, которое мозг его отрицал, с которым боролся упорно: а сардинница – здесь, а сардинница здесь; по ней бегают стрелочка; стрелочка бегать устала: добежит до рокового до пункта (этот пункт уже близок)... Световые, порхавшие пульсы бешено порассыпались тут, как рассыпаются искры костра, если ты по ко-

стру крепко грохнешь дубиной, – порассыпались тут: обнажилась под ними какая-то голубая безвещность, из которой сверкающий центр проколол мгновенно покрытую испариной голову тут прилегшего человека, иглистыми своими и трепетавшими светами напоминая гигантского паука, прибежавшего из миров, и – отражаясь в мозгу: —

– и раздадутся непереносные грохоты, которые, может быть, ты не успеешь услышать, потому что прежде чем ударятся в барабанную перепонку, будешь ты с разорванной перепонкой (и еще кое с чем) —

– Голубая безвещность пропала; с ней – сверкающий центр под набегающей световой канителью; но безумным движеньем Николай Аполлонович из постели тут вылетел: пульсами обернулось мгновенно течение не им мыслимых мыслей; пульсы припали и бились: в виске, горле, шее, руках, а... не вне этих органов.

Он протопал босыми ногами; и попал не туда: не к двери, а – в угол.

Светало.

Быстро он накинул кальсоны и протопал в темнеющий коридор: почему, почему? Ах, он просто боялся... Просто его охватило животное чувство за свою драгоценную жизнь; из коридора же не хотел он вернуться; мужества заглянуть в свои комнаты – не имел; сызнова отыскивать бомбу уж не было ни силы, ни времени; в голове перепуталось все, и не помнил уж точно ни минуты, ни часа истечения срока: роко-

вым оказаться мог – каждый миг. Оставалось до белого дня здесь дрожать в коридоре.

И отойдя в уголок, он уселся на корточках.

Миги же истекали в нем медленно; казались минуты часами; уж и многие сотни часов протекли; коридор – просипел, коридор – просерел: наступал белый день. Николай Аполлонович все более убеждался во вздорности себя мысливших мыслей; мысли эти теперь очутились в мозгу; и мозг с ними справился; а когда он решил, что давно срок истек, версия об уносе сардинницы подпоручиком как-то сама собой разлилась вокруг него парами блаженнейших образов, и Николай Аполлонович, сидя на корточках в коридоре, – от безопасности ли, от усталости ли – только, только: вздремнул он.

Он очнулся от скользкого прикосновения ко лбу; и открывши глаза, он увидел – слюнявую морду бульдожки: перед ним бульдожка посапывал и повиливал хвостиком; равнодушно рукою отстранил он бульдожку и хотел было приняться за старое: продолжать там что-то такое; докрутить какие-то крутни, чтобы сделать открытие. И – вдруг понял: почему это он на полу?

Почему это он в коридоре?

В полусне поплелся к себе: подходя к постели своей, еще он докручивал свои сонные крутни...

– Грохнуло: понял все.

.....

– В долгие зимние вечера Николай Аполлонович много-

кратно потом возвращался к тяжелому грохоту; это был особенный грохот, не сравнимый ни с чем; оглушительный и – не трескучий нисколько; оглушительный и – глухой: с металлическим, басовым, тяготящим оттенком; и все потом замерло.

.....

Скоро послышались голоса, ног босых неровные топоты и тихое подвыванье бульдожки; телефон затрещал: наконец-то он приоткрыл свою дверь; в грудь ему рванулась струя холодная ветра; и лимонно-желтые дымы наполнили комнату; в струе ветра и в дымах совершенно некстати он споткнулся о какой-то расщеп; и скорее ощутил он, чем понял, что это – кусок разорванной двери.

Вот и гряда холодного кирпича, вот и бегают тени: из дыма; пропаленные клочья ковров – как попали они? Вот одна из теней, просунувшись в дымной завесе, на него грубо гаркнула.

– «Эй, чего ты тут: в доме видишь несчастье!»

И еще раздавался там голос; и – слышалось:

– «Их бы всех, подлецов!»

– «Это – я», – попытался он.

Его перебили.

– «Бомба...»

– «Ай!»

– «Она самая... разорвалась...»

– «?»

– «У Аполлона Аполлоновича... в кабинете...»

– «?»»

– «Слава Богу, невредимы и целы...»

Мы напомним читателю: Аполлон Аполлонович рассеянно в кабинетик себе из комнаты сына занес сардинницу; да и забыл о ней вовсе; разумеется, был он в неведение о содержании сардинницы.

Николай Аполлонович подбежал к тому месту, где только что была дверь; и где двери – не было: был огромный провал, откуда шел клубами дым; если бы заглянули на улицу, то увидели бы: собиралась толпа; городской оттискивал ее с тротуара; а ротозеи смотрели, закинувши головы, как из черных оконных провалов да из прорезавшей трещины зловещие желтовато-лимонные клубы выбивали наружу.

.....

Николай Аполлонович, сам не зная зачем, побежал от провала обратно; и попал сам не зная куда... —

– на белоснежной постели (так-таки на постельной подушке!) сидел Аполлон Аполлонович, поджимая голые ножки к волосатой груди; и был он в исподней сорочке: охватив руками колени, он безудержно – не рыдал, а ревел; в общем грохоте его позабыли; не было при нем ни лакея, ни даже... Семеныча; некому было его успокоить; и вот он, один-одинешенек... до надсаду, до хрипу... —

– Николай Аполлонович бросился к этому бессильному тельцу, как бросается мамка посреди

проездной мостовой к трехлетней упавшей каплюшке, которую ей поручили, которую позабыла она посреди проездной мостовой; но это бессильное тельце – каплюшка – при виде бегущего сына – как подскочит с подушки и – как руками замашет: с неопишваемым ужасом и с недетскою резвостью.

И – как пустится в бегство из комнаты, проскочив в коридор!

Николай Аполлонович с криком «держите» – за ней: за эту сумасшедшей фигуркой (впрочем, кто из них сумасшедший?); оба они понеслись в глубину коридора мимо дыма и рвани и жестов гремевших персон (что-то такое тушили); было жутко мелькание этих странно оравших фигурок – в глубине коридора; развевалась в беге сорочка; топотали, мелькали их пятки; Николай Аполлонович пустился вдогонку с прискоком, припадая на правую ногу; за спадающую кальсонину ухватился рукой; а другой рукой норовил ухватиться за плещущийся край отцовской сорочки.

Он бежал и кричал:

– «Погодите...»

– «Куда?»

– «Да постойте».

Добежавши до двери, ведущей в ни с чем не сравнимое место, Аполлон Аполлонович с уму непостижною хитростью уцепился за дверь; и быстрейшим образом очутился в том месте: улепетнул в это место.

Николай Аполлонович на мгновение отпрянул от двери; на мгновение отчетливо врезались: поворот головы, потный лоб, губы, бачки и глаз, блистающий, как расплавленный камень; дверь захлопнулась; все пропало: щелкнула за дверью задвижка; улепетнул в это место.

Николай Аполлонович колотился отчаянно в дверь; и просил – до надсаду, до хрипу:

– «Отворите...»

– «Пустите...»

И —

– «Ааа... ааа... ааа...»

Он упал перед дверью.

Руки он уронил на колени; голову бросил в руки; тут лишился чувств; топотом на него набежали лакеи. Поволокли его в комнату.

Мы ставим здесь точку.

Мы не станем описывать, как тушили пожар, как сенатор в сильнейшем сердечном припадке объяснялся с полицией: после этого объяснения был консилиум докторов: доктора нашли у него расширение аорты. И все-таки: в течение всех забастовочных дней в канцеляриях, кабинетах, министерских квартирах появлялся он – изможденный, худой; убедительно погрохатывал его мощный басок – в канцеляриях, кабинетах, министерских квартирах – глухим, тяготящим оттенком. Скажем только: что-то такое ему доказать удалось. Арестовали кого-то там; и потом – отпустили за ненахожде-

нъем улик; в ход были пущены связи; и дело замяли. Никого не тронули больше. Все те дни его сын лежал в приступах нервной горячки, не приходя в сознание вовсе; а когда пришел он в себя, он увидел, что он – с матерью только; в лакированном доме более не было никого. Аполлон Аполлонович перебрался в деревню и безвыездно просидел эту зиму в снегах, взявши отпуск без срока; и из отпуска выйдя в отставку. Предварительно сыну он приготовил: заграничный паспорт и деньги. Аплеухова, Анна Петровна, сопровождала Николеньку. Только летом вернулась она: Николай Аполлонович не возвращался в Россию до самой кончины родителя.

### *Конец восьмой главы*

## Эпилог

Февральское солнце на склоне. Косматые кактусы разбежались туда и сюда. Скоро, скоро уж из залива к берегу прилетят паруса; летят они: острокрылатые, закачались; в кактусы ушел куполок.

Николай Аполлонович в голубой *гондуре*, в ярко-красной арабской *чечье* застывает на корточках; предлиннейшая кисть упадет с чечьи; отчетливо вылеплется его силуэт с плоской крыши; под ним – деревенская площадь и звуки «там-там»’а: ударяются в уши глухим тяготящим оттенком.

Всюду белые кубы деревенских домишек; погоняет криками ослика раскричавшийся бербер; куча из веток серебится на ослике; бербер – оливковый.

Николай Аполлонович не слушает звуков «там-там»’а; и не видит он бербера; видит то, что стоит перед ним: Аполлон Аполлонович – лысенький, маленький, старенький, – сидя в качалке, качалку качает мановением головы и движением ноги; это движение – помнится...

Издали розовеет миндаль; тот гребенчатый верх – ярко лилово-янтарный; этот верх – Захуан, а тот мыс – карфагенский. Николай Аполлонович у араба снял домик в береговой, подтунисской деревне.

.....

Под тяжестью снеговых, сверкающих шапок перегнулись

еловые ветки: косматые и зеленые; впереди деревянное пятиколонное здание; через перила террасы сугробы перекинулись холмами; на них розовый отблеск от февральской зари.

Сутуловатая показалась фигурка – в теплых валенках, варежках, опираясь на палку; приподнят меховой воротник, меховая шапка надвинута на уши; пробирается по расчищенной тропке; ее ведут под руки; у ведущей фигуры в руках теплый плед.

На Аполлоне Аполлоновиче в деревне появились очки; запотевали они на морозе и не видно было сквозь них ни лесной гребенчатой дали, ни дымка деревенок, ни – галки: видны тени и тени; между них – лунный блеск косяков да квадратики паркетного пола; Николай Аполлонович – нежный, внимательный, чуткий, – наклонив низко голову, переступает: из тени – в кружево фонарного света; переступает: из светлого этого кружева – в тень.

Вечером старичок у себя за столом посреди круглых рам; а в рамах портреты: офицера к лосинах, старушки в атласной наколке; офицер в лосинах – отец его; старушка в наколке – покойная матушка, урожденная Сваргина. Старичок строит мемуары, чтобы в год его смерти они увидели свет.

Они увидели свет.

Остроумнейшие мемуары: их знает Россия.

.....

Пламень солнца стремителен: багровеет в глазах: отвернешься, и – бешено ударяет в затылок; и пустыня от это-

го кажется зеленоватой и мертвенной; впрочем – мертвенная жизнь; хорошо здесь навеки остаться – у пустынного берега.

В толстом пробковом шлеме с развитою по ветру вуалью Николай Аполлонович сел на кучу песка; перед ним громадная, трухлявая голова – вот-вот – развалится тысячелетним песчаником; – Николай Аполлонович сидит перед Сфинксом часами.

Николай Аполлонович здесь два года; занимается в Булакском музее. «Книгу Мертвых» и записи Манефона толкуют превратно; для пытливого ока здесь широкий простор; Николай Аполлонович провалился в Египте; и в двадцатом столетии он провидит – Египет, вся культура, – как эта трухлявая голова: все умерло; ничего не осталось.

Хорошо, что он занят так: иногда, отрываясь от схем, ему начинает казаться, что не все еще умерло; есть какие-то звуки; звуки эти грохочут в Каире: особенный грохот; напоминает он – этот же звук: оглушительный и – глухой: с металлическим, басовым, тяготящим оттенком; и Николай Аполлонович – тянется к мумиям; к мумиям привел этот «случай». Кант? Кант забыт.

Завечерело: и в беззорные сумерки груды Гизеха протянуты безобразно и грозно; все расширено в них; и все от них – ширится; во взвешенной в воздухе пыли загораются темно-карие светы; и – душно.

Николай Аполлонович привалился задумчиво к мертвому, пирамидному боку.

.....

В кресле, на самом припеке, неподвижно сидел старичок; огромными васильковыми он глазами все посматривал на старушку; ноги его были закутаны в плед (отнялись, видно, ноги); на колени ему положили гроздь белой сирени; старичок все тянулся к старушке, корпусом вылезая из кресла:

– «Говорите, окончил?.. Может быть, и приедет?»

– «Да: приводит в порядок бумаги...»

Николай Аполлонович наконец монографию свою довел до конца.

– «Как она называется?»

И – старичок просиял:

– «Монография называется... ме-емме... “О письме Дауфсехруты”». Аполлон Аполлонович забывал решительно все: забывал названия обыкновенных предметов; слово ж то – Дауфсехруты – твердо помнил он; о «Дауфсехруты» – писал Коленька. Голову закинешь наверх, и золото зеленеющих листьев там: бурно бушует: синева и барашки; по дорожке бегала трясогузочка.

– «Он, говоришь, в Назарете?»

Ну и гуща же колокольчиков! Колокольчики раскрывали лиловые зевы; прямо так, в колокольчиках, стояло перенесенное кресло; и на нем морщинистый Аполлон Аполлонович с непробритой щетиною, серебрящейся на щеках, – под парусиновым зонтиком.

.....

В 1913 году Николай Аполлонович продолжал еще днями расхаживать по полю, по лугам, по лесам, наблюдая с угрюмою ленью за полевыми работами; он ходил в картузе; он носил поддевку верблюжьего цвета; поскрипывал сапогами; золотая, лопатообразная борода разительно изменяла его; а шапка волос выделялась отчетливой совершенно серебряной прядью; эта прядь появилась внезапно; глаза у него разболелись в Египте; синие стал носить он очки. Голос его погрубел, а лицо покрылось загаром; быстрота движений пропала; жил одиноко он; никого к себе он не звал; ни у кого не бывал; видели его в церкви; говорят, что в самое последнее время он читал философа Сковороду.

Родители его умерли.

*Конец*